



Дружба народов

2/2022



В номере:

Это не было задумано, но так порой случается — когда номер сложился, неожиданно выявилась его внутренняя тема: самоощущение современного человека в потоке времени.

Похождения провинциала

Повесть Владислава ГОРОДЕЦКОГО — сага о путешествии провинциала из Кемерово в потаенную жизнь Петербурга 90-х, наполненную уличной фантазмагорией: с картавыми милиционерами-«оборотнями», фокусниками, музыкантами, профессиональными попрошайками и рыночными торговцами — городскими сумасшедшими, ботающими по латыни; с БГ в подземном переходе («Он, как известно, проездной теперь купил. Носится по городу, выпрыгивает из кустов, народ смущает»). «Всё происходящее в этом городе Данила еще мог принять — с сомнением, но поверить в эту насмехающуюся сюрреалистичность; теперь же последние исправные шестеренки, привезенные из прежней жизни, остановились, надломились, посыпались в бездну ужаса».

«Я работаю фонарщиком...»

Еще один «питерский» (во всех смыслах) текст: фрагмент романа «От фонаря» Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА. «...Я смотрю на людей в зале ожидания. В каждом, как в космическом аппарате, свое пространство-время. Поэтому у Кафки обычная комната судебного заседания — из-за того, что набита людьми, стоящими даже на галерее и упирающимися головами в потолок, — начинает казаться огромной или безразмерной». Групповой портрет поколения 1970-х и более поздних времен на фоне Ленинграда-Петербурга. Яркая, плотная проза поэта, насыщенная философскими раздумьями о писательских судьбах и дружбах.

«Обо всём, чем и светел, и жив человек»

Поиск и осмысление себя, своего места в жизни и самой жизни, — одна из непреходящих тем поэзии. Поэт «будто слово, / и вложен времени в уста» — признается Феликс ЧЕЧИК. «Как много прошлого...» — сетует Сергей ПАГЫН. Переживая горечь утраты, Олег ХЛЕБНИКОВ «стал видеть содержательные сны» о том, «как оказался на краю». А дебютантка «ДН» Анна ДОЛГАРЕВА простодушно утешает: «Там, где болит — приложи подорожник».

«Последнее время»

«Эти записи появлялись спонтанно... Но они по-своему довольно точно отражают время. Ведь и само время тогда было разорвано на части», — так живущий в Ташкенте культуролог Александр ДЖУМАЕВ предваряет фрагменты своих дневниковых записей о «последнем времени»: времени, «когда рушатся фундаментальные опоры человеческого сообщества, принципы гармонии и в самой жизни, и во внутреннем мире человека».

«Вирусный мир»

«В прошлом жить слишком заманчиво, поэтому невозможно, к тому же, это сверхтрагично — знать всё, чем это закончится. Жить в будущем тоже нереально: последние два года пандемии показали нам, что будущее таковым и является, ибо до сих пор может преподносить сюрпризы и быть непредсказуемым. Поэтому остается — жить в настоящих книгах о будущем...» Наталья ИГРУНОВА расспрашивает критиков Ольгу БАЛЛА и Александра ЧАНЦЕВА об итогах минувшего литературного года.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomrk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.12.2021.
Подписано в печать 26.01.2022.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА
Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА
Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ
Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Денис
ГУЦКО
Иван
ДЗЮБА
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ПАГЫН. В глубине тихоходного снега. <i>Стихи</i>	3
Владислав ГОРОДЕЦКИЙ. Человек из Кемерово. <i>Повесть</i>	7
Алина ГАТИНА. Такая жизнь. <i>Рассказы</i>	56
Олег ХЛЕБНИКОВ. Небесная пурга. <i>Стихи</i>	78
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. От фонаря. <i>Фрагменты романа</i>	80
Елена ДОЛГОПЯТ. Ночь. <i>Рассказ</i>	121
Феликс ЧЕЧИК. И затихает гул. <i>Стихи</i>	136
Андрей ЛАДОГА. Графоманская проза жизни. <i>Три сюжета</i>	141
Валерия КРУТОВА. Время не учит. <i>Рассказы</i>	160
Валентина ПЕТРОВА. Формы насилия. <i>Рассказы</i>	176
Ксения КРУШИНСКАЯ. Два рассказа	189
Евгений СУЛЕС. В сие ли лето, Господи, поеду в Лиссабон? <i>Рассказ</i>	199
Анна ДОЛГАРЕВА. Там, где болит — приложи подорожник. <i>Стихи</i>	204

НАЦИЯ И МИР

Александр ДЖУМАЕВ. Из эпохи «последнего времени».	
<i>Разрозненные мысли и наблюдения</i>	207

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Айганыш АКЫЛБЕКОВА. Осенняя хандра в Кыргызстане: недореволюция, киргизация и балконские	225
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О будущем, неуклонно превращающемся в прошлое. <i>Два письма на одну тему</i>	235
---	-----

КРИТИКА

«Вирусный» мир: спасательный круг чтения. <i>Разговор с Ольгой БАЛЛА и Александром ЧАНЦЕВЫМ о литературных итогах 2021 года ведет Наталья ИГРУНОВА</i>	242
--	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Гений не нужен	262
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Пробиваясь как в туман	266
--	-----

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Язгуль ТИРКИШОВА. Парадоксы аутентичности	270
---	-----

К НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Художник Аннагельды Меретгельдыев

Summary	272
----------------------	-----

Сергей Пагын

В глубине тихоходного снега

* * *

Жизнь прирастает образом и смыслом,
и всем тобой...
Смотри — сейчас и здесь
на этой ветке капелька повисла,
в себя вобрав всю пасмурную взвесь.

И взглядом лишь и держится дорога
среди деревьев спящих ноября...
А мальчик... вот — вдруг замер у порога,
среди синиц увидев снегиря.

* * *

В бездонных пазухах небесных
и птичьих паузах в леске
бормочет некто бестелесный
на неизвестном языке.

И звуки словно ниоткуда.
Какой мне смысл из них извлечь?
Но возвращают близость чуда
его присутствие и речь.

Пагын Сергей Анатольевич — поэт. Родился в 1969 году в Молдавии, в г. Единцы. Окончил филфак Бельцкого пединститута. С 2000 года — главный редактор регионального издания «Норд-инфо». Автор пяти книг стихов, в том числе «Перед снегом» (2012) и «Просто жизнь» (2017). Дипломант Международного поэтического конкурса им. Н.С.Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2010). Лауреат премии «Молодой Петербург» (2011) и др. Живёт в городе Единцы. Постоянный автор «ДН».

Сигнальщик

Кому сигналил пугало, кому?
Истлевшими всё машет рукавами,
истрёпано дождями и снегами,
пустынную пронзающее тьму
безумным взглядом, брошенным вперёд...
Мяч-голова уже гудит от ветра.
И в этом есть отчаянная вера.
И холм плывёт...

* * *

Когда я заболел среди зимы —
сходил с ума под музыку метелей,
на белый свет смотрел со стороны,
и мне казалось, что на самом деле

вся жизнь моя — кривая тень другой:
высокой, неоглядной, незнакомой...
И шёл по шатким улицам домой,
плутал, искал — найти не мог я дома.

И призраки деревьев и дворов
дрожа, вставали, и крылом вороньим
сметало их...
И даже отчий кров
был для меня в то время посторонним.

И зыбилося пространство как вода,
кружился снег неделю за неделей...
И слышу я и летом иногда
ту музыку безумную метелей.

* * *

Длинные тёмные сказки зимы
с неодолимой горчинкой...
В поле репейник,
зовущие сны,
в свежем полене личинка.

Скоро в оконном стекле пузырёк
втянет весь снег над землёю,
ветер и ветку, и птичий комок —
всё, что и будет тобою.

* * *

Откликается то, что в тебе самом...
А всё кажется — там, за углом,
в глубине тихоходного снега
и стоящего в нём человека.

Сам себе ты и отклик, и зов
из каких-то немислимых слов,
что звучат в тебе тише и глубже...
А всё верится: где-то снаружи.

* * *

Музыка в музыке — только большой,
только без сна и без края,
ты и горишь, и трепещешь струной,
с небом ночным совпадая,

словно волна, накатившись, — с пловцом,
словно лицо, приближаясь, — с лицом
в тающем свете венчальном,
где-то совпав изначально.

* * *

Как много прошлого...
Меня уже почти
на вдох один в летящем этом лете.
И все земные горькие пути,
все пустоши полевые на свете

сошлись в просёлок пасмурный — и вот
босые ноги к пыли привыкают,
и бабочка белеет — словно вход
в счастливый снег,
и всё не улетает.

* * *

Воронью стаю в белом небе
как будто кто по кругу гонит.
Огонь свечи в печальном хлебе
так нежно тянется к ладони.

Потом глядишь на снег утешный —
ведь есть в том горькая отрада,
когда становится ушедший
бесшумным сердцем снегопада.

* * *

Человека выносят ногами вперёд...
Перед ним лишь земля и пустой небосвод.
А за ним — нараспашку шербатая дверь.
Занавеска, обретшая ветер, теперь
может мягко взлететь и бесшумно вздохнуть.
Могут вещи, утратив привычную суть,
только формы и тени оставив свои
на руинах раденья, вниманья, любви,
стать словами
и слиться в чудесную речь
о зиме и огне, прогревающем печь,
о тепле молока и пасхальных дарах,
о бескрайних ночах, пробуждающих страх,
и о сорной траве, опрокинутой в снег, —
обо всём, чем и светел,
и жив человек.

Владислав Городецкий

Человек из Кемерова

Повесть

В начале было Слово. А почему, папа?
(х/ф «Жертвоприношение», 1986)

День первый

Поезд прибыл на Московский вокзал ранним утром. Из Кемерова в Петербург — почти трое суток. Соседи по плацкарту, как и виды из окна, менялись весьма условно, не было нужды произносить своё имя и запоминать чужие. Весь путь удавалось сохранять независимость, держаться в стороне, чтобы теперь, дождавшись остановки поезда, оказаться зажатым со всех сторон позеленевшими от усталости, опухшими от выпитого чая, людьми.

Пассажиры по одному выплёвывались как ^{*}лузги в сырой густой туман, пропадали в нём, сделав несколько шагов.

Поторапливаемый тычками в спину, Данила спустился на перрон, выхватив из общего гомона чью-то просьбу: «Угостите сигаретой». Обращались к нему. Прошёл мимо, не поднимая взгляд, — в пачке оставалось совсем немного. Кто-то другой удовлетворил просьбу просившего. «А можно парочку?» — донеслось оттуда же. И следом: «Бог — это Троица, дайте три».

С минуты на минуту на платформе появится Андрей, обнимет и подхватит тяжёлую сумку; кто кого заметит первым? Такое долгое расставание, что впору заново знакомиться.

Владислав Городецкий — архитектор, писатель. Родился в 1993 году в городе Щучинске на севере Казахстана. Окончил Архитектурный факультет КазАТУ им. Сакена Сейфуллина. Автор книги «Инверсия Господа моего» (2020). Лауреат премии «ФИКШН35». В «Дружбе народов» публиковал рассказы (2017, № 1).

^{*} Лузга — это же по умолчанию «много». «выплёвывались, как лузга» ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Сноски сделаны Владиславом В. синей шариковой ручкой на полях рукописи и поперёк неё. После основной части текста приведено его письмо (наст.изд., стр. 46). Вычёркивания, перестановка слов, предложений и абзацев, предложенные Владиславом В., не учтены. — Прим. ред.

Данила прикурил, но, не сделав и затяжки, смочил пальцы слюной и потушил сигарету, — показалось, что на огонёк, как на маяк, побрёл этот пристава, готовый кого угодно помянуть всею, лишь бы заграбастать побольше. Данила положил сигарету обратно в пачку. «С Андреем покурим», — решил он.

Филология, литературоведение, педагогика — да и всё прочее, чему учили в университете, не то что не пригодилось Даниле в жизни, а наоборот, казалось, замедлило социализацию. После того, как разъехались по столицам друзья, Данила оглянулся на окружающих и с ужасом осознал, что для всех, включая немногочисленных родственников, стал чужаком. Большая работа была проделана, чтобы искоренить в себе всю книжность, снова научиться разговаривать просто с простыми людьми.

За университетских друзей было радостно: кто-то стал журналистом, кто-то успешно защитил кандидатскую и преподавал в видном вузе, одна девочка, несмышлёная хохотушка, стала писательницей, но телефонные разговоры становились всё короче: приятелям было в тягость слышать о Данилином скудном бытии, о его бесприбыльном видеопрокате, об одиночестве и тоске по созидательной деятельности, и, что самое глупое, после таких разговоров Данила и сам стыдился себя.

Только с Андреем почему-то всё было иначе.

— Ну, приве-ет! — приятно протянул Андрей, незаметно выступив из толпы. Всё тот же, разве что слегка поседел да округлился. Тепло обнялись.

— Покурим? — предложил Данила и достал две сигареты: мятую, с растрёпанным подпалённым табаком для себя и стройную чистенькую для друга.

— Ты кури, ты с поезда. Наверное, с утра ещё не успел?

— Бросил, что ли?

— Лет пять как, — почти виновато признался Андрей.

Туман улетучился. Вагоны пустели, мужичок в оранжевой жилетке постукивал молотком по колёсам поезда, те отвечали тревожным звоном. Повторно зажжённая сигарета омерзительно пахла — полетела на рельсы недокурной. «Ну что, пошли?»

В метро спускаться не стали, хотя путь предстоял неблизкий. Прошагали по кромке Площади Восстания и вышли на Лиговский проспект к остановке. Разновеликие дома плотно смыкались торцами, образуя неритмичную сплошную линию фасадов, но как будто совершенно игнорировали такую неестественную близость: не поддерживали друг друга ни этажностью, ни цветом отделки, ни, уж конечно, хоть каким-нибудь стилистическим единообразием. Данила старался не удивляться — разглядывал непривычную архитектуру как бы невзначай.

Подошёл автобус, в который ринулась толпа. Андрею удалось застолбить сидячее место для друга, но Данила остался стоять.

— Нам вообще долго? — спросил он.

— Долго-долго. Сейчас приедем, дома плов с курой. Поешь, отдохни, помойся.

Обогнув Триумфальные Ворота, автобус вышел на Московский проспект. Это — сталинский ампир, то — неоклассика, вот типичный образец конструктивизма, здесь у нас райсовет, там Национальная Библиотека, недавно открылась, слева — Парк Победы непроницаемой стеной деревьев и кустарников. Слишком много информации валилось на Данилу, ещё неокрепшего с поезда.

— Увидимся с кем-нибудь из наших?

— Сегодня никак, — Андрей машинально посмотрел на часы. — Сейчас на работу часов до семи, потом дорога, потом обратно. Я буду мёртвый.

По негласной договоренности междугородние звонки совершались поочерёдно и не чаще раза в месяц. Данила заранее составлял список вопросов, чтобы ничего не упустить, однако разобраться в специфике работы Андрея так и не получилось. Уяснил он одно: Андрей отвечает за создание положительного образа местной компании, производящей мясные изделия — пишет какие-то тексты, участвует в организации публичных мероприятий. Он не стеснялся своей работы, но предпочитал не говорить о ней, всегда отмахивался: «Это временно».

Когда Андрей узнал, что Данила планирует поездку в Петербург, забеспокоился. Всякий раз напоминал, что его студия совсем крошечная, что нет места даже на надувной матрас и придётся спать в одной постели. Добавлял, что, конечно, страшно соскучился и будет рад наконец-то увидеться, но, может, не сейчас, может, чуть позже, во время отпуска. Однажды даже изъявил желание посетить Кемерово, заглянуть в альма-матер и, если Даниле надо, прихватит видеодиски, сколько угодно — чемодан-два — рискуя, безусловно, но, говорил Андрей, если и посадят, появится свободное время, экстравагантная строка в биографии, необычный опыт... «Откуда такая жертвенность?» — смеялся Данила. «Из нас двоих, если кто чего и добьётся, то ты, а там разберёмся, — серьёзно отвечал Андрей. — Перегорел я, дружище».

Такие разговоры заканчивались взаимными комплиментами, подбадриваниями, ностальгическими воспоминаниями и мечтаниями о грядущих триумфах.

Сейчас, наконец-то увидевшись, без посредничества привычных трубок и проводов беседу сложить не получалось, несмотря на усилия с обеих сторон. Автобус свернул на Ленинский проспект и размеренно шёл на Юго-Запад Петербурга, в сторону Финского Залива. Андрей смотрел в затылок Даниле, Данила смотрел в окно.

Здесь архитектура была уже другой, без какого-либо намёка на преємственность. Кирпичные многоэтажки замысловатой конфигурации постепенно упрощались в панельные дома, их сменяли совсем уже плоские уродцы, обшитые алюкобондом. В одном из таких домов жил Андрей. Больше года назад он отважился взять в этом районе студию в ипотеку, на выплаты по которой теперь уходит почти вся зарплата.

Из динамиков в потолке лифта играл полифонический «Вальс цветов» Чайковского, приятели ехали молча: то неловко смотрели по углам кабины, то ещё более неловко касались друг друга взглядами. Андрей позвякивал ключами в кармане куртки.

В квартире Данила удивлённо рассматривал каждый угол. Как было раньше?

Все праздники и пьянки проходили у Данилы: с девятнадцати лет он жил один в двухкомнатной квартире первого этажа. На третьем курсе, устав от общежития, Андрей перебрался к другу. Они курили в открытое окно, мечтали о создании авангардной рок-группы, хотели написать в соавторстве интеллектуальный роман. Едва ли не каждый вечер смотрели кино с однопосным переводом на видеомангитофоне под макароны по-флотски (это в светлые дни, чаще были макароны с картошкой), каждую ленту подвергали тщательному анализу. В этой же квартире на новогодней вечеринке Андрей сошёлся с будущей женой. Они по-студенчески скромно поженились; никому из гостей, коих было меньше дюжины, не пришло в голову хотя бы в загсе сделать памятное фото. Последний год жили вдвоём, совместно написали три дипломные работы, защитились на отлично. Но стоило молодожёнам переехать в большой город, и брак распался. «Из-за эстетических расхождений», — отшучивался Андрей.

Студия Андрея была совсем не похожа на жилище человека, с которым когда-то они делили мечты на двоих: богатый тёмный паркет, шоколадная плитка в прихожей

и на кухне, глухие льняные шторы. Полный порядок, не такой, что наводят перед приездом гостей, а настоящий, постоянный. Нарезной хлеб на специально отведённой полочке, продукты в изобилии — свежие, пахнущие, — тоже рассортированы. «И этот человек защищался по Ерофееву?»

Данила же жил почти так же, как и в студенческие годы: как попало питался, курил прямо в комнате, теперь уже не открывая окна, и всё свободное время играл на гитаре. Иногда приходилось подрабатывать промоутером — маленькому бизнесу, видеопрокату в передней той же квартиры, с появлением скоростного интернета грозил крах, но Данила держался за него как мог, отгоняя тягостные мысли. Несколько лет назад, когда DVD-формат вытеснил VHS, Даниле пришлось снести на свалку десятков коробок с видеокассетами и жить в предчувствии второго подобного события было бы невыносимо.

— У нас плотный завтрак сегодня, — сказал Андрей и поставил на стол блюдо. Из-под золотистого риса, приправленного пряным иранским шафраном, выглядывали кусочки белого мяса, зубчики чеснока и мелкая соломка моркови.

Данила ел с большим аппетитом, прихлёбывая чай, Андрей поглядывал на него и внутренне улыбался.

— Так, всё, я побежал, — вставая из-за стола, сказал Андрей. — Накладывай ещё, потом в холодильник.

Данила поднялся вслед за товарищем и протянул руку, но Андрей не заметил жест, точнее, заметил не вовремя, и уже не сам жест, а неладную попытку его скрыть. Андрей, тоже не самым натуральным образом, положил ладонь на плечо Данилы и продолжил инструкции.

— Проветривай тут. Духота постоянная — воздух не цирку... не цир-ку-ри... — он наигранно запнулся, — в общем, не двигается! Полотенце в ванной. Что ещё? Постель сейчас достану. Диван раскладывается вообще-то, но я обычно так. Ну, если девочку привожу...

— Ну да, ну да...

Прощаться не стали. На пороге в шутку перебросились парой-тройкой лёгких ударов, отчего у обоих, у Данилы уж точно, поднялось настроение.

Не раздеваясь и не расправляя постель, Данила лёг на диван и проспал до обеда. Сон выдался беспокойным. Проснувшись после такого, можно обнаружить себя насекомым*.

* Совершенно нечестная реминисценция. Зачем?

Покурить на балконе не удалось — пепельницы нигде не было, а стряхивать пепел на улицу мешала москитная сетка, с кофеваркой разобраться не получилось, так ещё и закрылся в туалете — встроенный в ручку замок не то заклинило, не то открывался он как-то иначе, словом, пришлось отвинтить его маникюрными ножницами, благо они нашлись тут же. Собрался и вышел, разобранный механизм оставил в коридоре на полу.

Лицензионные диски стали обходиться слишком дорого, откровенные пиратки, по пять фильмов на диске, брали неохотно. Одно время удавалось и в Кемерове раздобыть товар нужного качества, но каналы быстро закрылись: двух знакомых почти посадили.

На площади у спуска в метро стоял цветочный магазин, под кондиционером которого образовалась лужа. Из лужи торчала тушка голубя, так причудливо утоляющего жажду. Минувя турникеты, Данила достал из бумажника сложенный вчетверо листок, взглянул ещё раз на адреса. Теперь эти таинственные названия обретали смысл,

а скоро и вовсе обрастут каменной плотью — одна точка на Лиговском, другая на Удельной — четвёртая и вторая линии.

Вагон сильно болтало, у Данилы с непривычки заложило уши. Оглянулся на пассажиров: действительно ничего не чувствуют или не подают вида? Переход к поездам четвёртой линии. Люди, много людей... У всех одинаково равнодушные и сухие лица, почти у всех в руках книги или газеты.

Собирая сумку в Петербург, Данила представлял, как в первый же день случайно повстречает какую-нибудь знаменитость — кого-нибудь из «Улиц разбитых фонарей» или, например, Боярского, и эти фантазии разыгрывались на фоне открыточных пейзажей: ну, Зимнего дворца там, ну, Казанского собора, ну, какого-то другого, однако непременно типично питерского пейзажа под открытым небом, поэтому, когда в подземном переходе, месте, не соответствующем ожиданиям, появилась знакомая фигура, он оказался вдвойне не готов признать в приближающемся человеке популярного музыканта. Сначала Данила подумал, что видит перед собой старого давно забытого соседа, и только разулыбавшись и едва не раскинув для объятий руки, сообразил, что надвигается на Бориса Гребенщикова. Ещё бы! Видеть этого человека, пускай только на экране, Данила привык с самого детства. Тот на улыбку узнавания ответил ровно такой же улыбкой узнавания, почтенно поклонился, но, разумеется, не обронил ни слова.

Пройти на Боровую, там во дворы. Извините, не подскажете?.. Город встретил не каким-нибудь боярским-тысяча-чертей, а кумиром юности, случается ведь такое... Так, тут в арку. А если бы не приехал? Но не приехать не мог: переплачивать за транспортировку, подставлять людей, да и не соглашается теперь никто.

О, «Аудио-Видео» — то что нужно.

Данила потоптался у парадной, плюнул в лужу, расстегнул куртку и толкнул деревянную дверь. Упор. Эх, написано же — «на себя»...

В ближайшем ко входу углу, между окном и первой полкой с дисками, спала бабка, вся в чёрном с головы до пят, подмышкой навалившись на невысокую спинку венского стула. За прилавком стоял, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, неопрятный мужчина среднего возраста. Он поднял на Данилу глаза и кивком поприветствовал. Небольшая дырка у растянутого ворота светлой майки přátельски подмигивала при каждом телодвижении.

— Что интересует?

— Я много возьму. У вас будет сумка?

— Вы от кого-то конкретного?

— Да, как бы, да... — Данила попытался вспомнить обстоятельства, при которых он узнал об этом месте, и имя человека, про это место рассказавшего, но от внезапности вопроса всё выскочило из головы. Затянувшееся молчание, подозрение на лице собеседника. Сказал первое, что пришло на ум: — Борис Борисыч.

— Ага, хорошо. На склад пройдемте.

Складом оказалась тесная комната без окон — металлические полки с дисками в цветастых упаковках, таинственные коробки внушительных размеров вдоль дальней стены.

— Первая цифра — цена за штуку, вторая — количество экземпляров на складе, — сообщил продавец, указывая на бумажные вкладыши под плёнкой упаковки.

Фильмы были рассортированы по жанрам, годам выпуска и, видимо, по популярности. Во всяком случае, проступала какая-то третья логика.

С собой у Данилы было семь тысяч, в квартире Андрея осталось ещё пять, вопрос был только в том, закупаться ли тут на все деньги или располовинить и заглянуть на Удельную сегодня же.

Продавец поставил у ног Данилы старый кожаный чемодан, нутро которого почему-то источало резкий запах мочи и разложения.

«Отечественную комедию про пьяные безумства — для тех, кто уже не в состоянии пить и безумствовать, “Последнего Адама” спрашивали, ужастики всегда в спросе...» — бормотал вполголоса, а вернее — мог бы бормотать Данила, если бы имел такую привычку*. Он ощущал себя не то Дедом Морозом, не то отцом из сказки «Аленький цветочек»; чемодан аккуратно заполнялся пластиковыми боксами. Продавец стоял поодаль, делая пометки в тетради сточенным карандашом.

— Шесть восемьсот восемьдесят, минус скидон от Борисборисыча... итого: шесть с половиной, — с важным видом сообщил продавец и почесал блестящий нос кончиком карандаша, на носу осталось весьма заметное серое пятно. — Мишура нужна за две сотни?

— Это что?

— Ну, книжки, газеты, тряпье — выложить сверху. Вдруг остановят.

— Нет, спасибо, — сказал Данила, отсчитывая нужную сумму.

Данила всегда с удовольствием расставался с деньгами, если расходовались они на книги, кино или музыку; пускай и половину этих фильмов он бы не стал смотреть даже под страхом смерти, но ведь кому-то и такое кино приносит радость, значит, оно имеет место... впрочем, причинно-следственная связь...

Не дали Даниле додумать** эту сладкую, интересную мысль, уводящую куда-то в глубины — оглушили пронзительным свистом в самое ухо. Данила шарахнулся в сторону, потерял равновесие, и тут же чьи-то руки умело, почти ласково, сложили его лицом в пол.

— Леж-ж-жать! — раздался над ним строгий беззлобный голос: с такой интонацией прихлопывают таракана, не первого и не последнего за сезон — очередного. С полминуты Данила держался на локтях как одеревеневший и смотрел перед собой на чёрную от пыли жвачку, прилипшую к кафельной плитке, затем как-то внезапно в нём проснулась несвоевременная брезгливость, и он двинулся от жвачки подальше.

— Куд-да пополз?! — рядом с головой Данилы топнула нога в лакированной туфле. Вдоль серой брючины тянулась красная змейка лампаса. «Попал». Боковым зрением Данила увидел продавца, который, как оказалось, тоже прилёг неподалеку без какого-либо воздействия со стороны стража порядка.

Милиционер беззастенчиво залез в каждый Данилин карман, как в свои, нашёл паспорт и, судя по сосредоточенному пыхтению и шороху страниц, принялся внимательно его изучать. Обычно опытному человеку хватает полминуты, чтобы извлечь из этой красной книжечки всю необходимую информацию, но этот отчего-то медлил.

— Ошибки нет. Значится, Данила, ты у нас из Кемер-гова? — милиционер озадаченно картавил. — Давно в Питеге?

— Первый день.

— Пегвый день... Вот вы все сюда пгётесь, пгеступность гастёт, уговень жизни падает, погода погтится, а отвечать кто будет?

— Погода-то тут при чём?

— Ну, смотги. Ты в Питеге только с утга, да? А углекислого газа выделить успел литгов шесть. Тем же поездом пгибыло ещё человек шестьсот — это уже тги с половиной тысячи литгов. Пгодолжать?

**В мишуре мишура Данилы.

— Не надо.

— А отвечать, спгашиваю, кто будет?

— Кто?

— Ты. Вставай, чего газлётся.

— А мне вставать? — с насмешкой в голосе вмешался продавец.

— Ты вообще, как я посмотрю, сам себе режиссёр: и следовательно, и задержанный! — милиционер произнёс это с превосходной артикуляцией, будто на одну реплику избавился от дефекта речи. Данила насторожился.

— Вот видите, Данила, вы в нашей компании всего ничего, а уже газдог, путаница, погода опять же погтится на глазах. А что будет, когда вы надумаете здесь обосноваться? Вот и как нам не взяться за вилы?

— Вы меня арестовываете?

— А оно тебе надо? Давай так, я изымаю весь товаг, даже не заглядывая, а ты иди куда шёл.

— Как изымаете? Я ведь заплатил...

— Хогошо, давай составлять пготовокл задегжания, — милиционер глупо улыбнулся, придвинул ногой кожаный чемодан, для виду потянулся к замку, но остановил движение. — Только я заганее знаю, что обнагужу там: экстгемистские фильмы, гелигиозные пгоповеди какой-нибудь людоедской секты, детскую погногафию, угадал?

— Нет!

— А я не тебя спгашиваю. Всё верно? — милиционер обратился к торговцу, и снова Данила услышал его звонкую ясную «р».

— Ве-е-ерно! Хе-хе.

Милиционер подошёл вплотную, словно намеревался своим выдающимся пузом вжать живот Данилы в позвоночник.

— Думаешь, твои чистые зенки собьют с толку опытного следака?

По всему выходило, что эти двое — милиционер и торговец — разыгрывают сценку с задержанием не в первый раз, а возможно, такое количество раз, что милиционер уже стал в шутку картавить ради разнообразия. Данила разомкнул губы, не зная, что вырвется в пространство: оскорбление, воззвание к справедливости, обличительная тирада, жалобный стон или совершеннейшая тарабарщина непредсказуемой интонации, но милиционер его опередил.

— Даже не думайте здесь кгичать! — процедил он, оборачиваясь на спящую бабку.

— Да, — подхватил продавец, — ещё не время её будить!

Данила не просто растерялся, а опешил. Почему сон какой-то старухи должен заботить его больше собственных сбережений? Почему в этой бессмыслице, судя по изменившимся лицам собеседников, стоит видеть смертельную угрозу? А в лицах действительно произошли пугающие перемены. Глаза милиционера, впериившиеся в Данилу, хоть и выражали свирепое отупение, но намокли, глаза продавца — бессмысленно блуждающие туда-сюда — остановились и тоже, Данила готов был поклясться, увлажнились, да и нижние веки самого Данилы не то от страха, не то от усталости, но больше, конечно, от обиды налились предательской жидкостью. Он попытался кивнуть, мол, сейчас специально и разбужу, но кадык от изумления так выступил вперёд, что кивок не получился.

— Устроили не пойми что, — переборол оцепенение Данила и с усилием вытеснил страх отвращением и брезгливостью. Он оглядел собеседников и побрёл к выходу. Открыв наружную дверь, взглянул на чемодан, как на родного друга,

Ах, как он использует злчность!!

14 * ~~Ах, какой актер оригинал!~~ Владислав Городецкий. Человек из Кемерова

с которым навсегда расстанется, и робко вышел во двор. За время, что Данила провёл в прокате, тучи наглухо заволокли небо, Данила уразумел в этом нескрываемый укор.

Шёл мелкий дождь. Данила глазел по сторонам и ничего не узнавал, словно и не был тут час назад.

Противный мелкий дождь стучал так: тук-тук-тук, то по макушке, то по плечам, но никак не так, как мог. Как бы испытывая терпение. Тук-тук да цок-цок, порой и кап-кап, но это когда как *.

Мелкий и, как и всё мелкое, противный дождь, даже не дождь, а дождик, всё шёл, и не думать о нём, не вслушиваться, как он покрывает, не чувствовать, как щемится под одежду, было невозможно.

Цок-цок. Лицо Данилы исказилось от злости: какой подлый наглый дождь! В Кемерове, например, дождь капает, бывает что и тарабанит, но чтобы цокать! Смутные подозрения не успели оформиться, как факт обнаружил сам себя: дождь нарочно звучал так странно, чтобы Данила не услышал, как сзади на него мчится лошадь. В последний миг он успел отпрыгнуть, но, неудачно наскочив на поребрик, оказался в луже. Данила корчился от боли и сквозь прищур пытался разглядеть удаляющееся животное с лихим наездником в костюме Петра Первого: в зелёном камзоле с чёрной треуголкой.

— Эх вы, осторожнее надо быть! — сказал худошавый высокий мужчина в прохуdivшемся коверкотовом пальто, поднимая Данилу из лужи.

— Нам с вами надобно поговорить, — продолжил он, — но, как я понимаю, сейчас говорить со мной вы не станете, верно?

— О чём нам разговаривать? — возмутился Данила и осмотрел свои потемневшие от влаги штаны.

— Так я и думал. Что же, встретимся через час на Сенной. У табачной лавки, договорились?

— Нет, — сказал Данила.

Мужчина в пальто простодушно улыбнулся, потом нахмурился, достал из кармана курительную трубку и зашагал прочь не попрощавшись. Так и сказал: «Не прощаюсь!» Всё оставшееся время Данила чувствовал на себе чей-то взгляд и, наученный шпионскими фильмами, увеличивал скорость ходьбы, резко останавливался, оборачивался, внезапно менял направление, пока окончательно не потерялся.

Неожиданно для себя Данила снова оказался на Лиговском проспекте. Манящая «М» метрополитена. На эскалаторе он не сразу заметил, что вставать принято у правого поручня, уступая левую сторону тем, кто торопится. Люди, возмущённо фыркая, с трудом протискивались между Данилой и его неподвижным попутчиком. «Как в игольное ушко!» — сказал лысый мужчина с жировыми складками на шее и разве что не плюнул от раздражения.

На перроне женщина с лицом алкоголической наружности ходила от колонны к колонне, что-то приговаривая. В руках она держала табличку с рукописным текстом «Помогите на операцию ребёночку», но, приблизившись к Даниле, сказала:

— У вас чистые глаза, не хочу вас обманывать. Дайте на опохмел.

Данила пожертвовал червонец за честность.

В вагон постоянно врывались то фокусники, то музыканты, но пассажиры никак не реагировали на происходящее. Казалось, если на одной из станций влетит розовый

Выскальзываю всё существо...

слон и присядет на скамью, никто и не подумает оторваться от чтения. «Видимо, ко всему можно привыкнуть...»

Вопреки намеченному, Данила действительно оказался на Сенной площади. «Станция “Садовая”, переход к поездам второй линии», — раздалось в вагоне из динамиков. «Ты прозевал “Достоевскую” и переход к поездам первой линии», — раздалось у Данилы в голове. Казалось бы, пересеки платформу и сядь в поезд обратного направления, но Данила рассудил так: раз дел на сегодня всё равно не осталось, а возвращаться домой раньше Андрея нет смысла, почему бы не подыграть мужчине в пальто ради того хотя бы, чтобы убедиться, что он бредит?

Делать было нечего, а есть хотелось. Пельменную не пришлось долго искать, а вот самих пельменей там не оказалось, Данила согласился на тушёные овощи с картофельным пюре. Сырые брюки липли к телу, это сильно отвлекало от вкуса пищи, мешало его различать.

Как приятно выкурить сигарету сразу после еды! Эта радость доступна далеко не каждому, а вот Данила, не успев ещё разделаться с обедом, обыкновенно уже предвкушал эти сладостные минуты и бессознательно потирал средний палец об указательный. Каково же было его огорчение, когда, выйдя на улицу, в кармане брюк он нащупал насквозь мокрый коробок спичек! Пачки сигарет и вовсе не оказалось — выпала, значит.

«Сколько же я просидел в этой луже, пока меня не подняли? *Мужчина в пальто...*»

Стало понятно, что разговора с этим человеком не избежать. Табачная лавка нашлась сразу.

— Как жаль, что вы не курите трубку, — раздалось откуда-то сзади, когда Данила, согнувшийся у окна, искал свою марку. — Я бы угостил вас отменным табаком! Ей-богу жаль!

Мужчина в коверкотовом пальто хитро улыбался, выпуская дым ноздрями. Данила рассчитался за сигареты и новую зажигалку, непригодный спичечный коробок отправил в урну. На пальцах остались ощутимые, но еле заметные коричневые следы размокшей фосфорной намазки.

— Вы хотели поговорить, и вот я здесь, — сказал без улыбки Данила, распечатывая пачку. — То есть вы это как-то предвидели или даже...

— Я всего-навсего отмечаю вполне очевидные связи, — вальяжно жестикулируя, произнёс человек. Взгляд его медленно переменялся и соскочил с Данилы куда-то в сторону. — На Сенной пахнет шавермой и безумием, не находите?

Краем глаза Данила увидел мужчину со сковородой на голове. Кажется, что-то ещё в его облике было не в порядке, но разглядывать было неловко. Данила по привычке перевернул первую сигарету фильтром вниз — на удачу, достал вторую и поместил меж губ.

— Пожалуйста, не курите при мне эту дрянь, — произнёс незнакомец и, не дав опомниться и возразить, снова заговорил. — Сегодня вас преследует невезение, но это вполне нормально для первого дня в новом городе. Уже завтра вы вернёте своё и прихватите сверху, обещаю. А вам Петербург не нравится?

— Как вы сказали? — замялся Данила, уперев взгляд в здание торгового комплекса, и повторил вопрос, смягчив его. — Нравится ли мне Петербург?

— Всем приезжим тут нравится, а вам, значит, нет? Но могу вас понять. Меня тоже удручает lawn mullet Петербурга, и вместе с тем — такая стилистическая несообразность. Одно вырастает поверх другого, сбивает масштаб, дезориентирует. И всё ветхое, шаткое, в любую секунду на голову может упасть кирпич. Вы ведь

заметили минуту назад мужчину со сковородой на голове? Вероятно, то был человек глубокого посвящения. Но нужно привыкнуть, фигурально говоря, переродиться... Вы ведь сюда насовсем?

— Да как-то не думал...

— А чего думать? Все прелести жизни в столице без столичной суеты. А в Кемерове только химия, уголь да пыль. Я сам оттуда, знаю, о чём говорю.

Данила смутился. Не иначе как двое из проката и этот — третий — были сообщниками. Но зачем же он так старательно изображает из себя духовидца?

— Погодите! Не спору, понять, что я приезжий и даже угадать, что в городе я первый день, — возможно, но откуда вы знаете, что я из Кемерова? Разве это написано у меня на лбу?

— Написано, да не на лбу, — рассмеялся мужчина. — Единственное, мой друг, о чём я вас прошу, — не заблуждайтесь о природе моей персоны. Повторяю, считываю я лишь вполне поверхностные детали, доступные любому внимательному взору. И вы, находясь здесь ещё какое-то время, начнёте кое-что понимать. Qui habet aures audiendi, так сказать, да слышит. На сегодня всё.

Человек в коверкотовом пальто сделал жест невидимой шляпой и торопливо удалился, оставив неподъёмное количество вопросов и самых невероятных предположений.

В метро перед эскалатором была безумная толкотня, в вагоне — подавно. Люди разбредались из центра по домам — в спальные районы. «Тесно, как в утробе. Поди разберись: зачат или проглочен». Не заметил Данила ни одной симпатичной девицы, на которой мог отдохнуть взглядом, ни одного прекрасного изгиба. В расстроенных чувствах он вышел на Ленинский проспект.

Худосочный субъект с неприятным запахом изо рта, оказалось, прижимался к Даниле усерднее остальных неспроста. После всех неприятностей и передрыг на свежем воздухе хотелось наконец-таки закурить, но рука не обнаружила заветную пачку в кармане. «Спёр целую, непочатую...» Но нет, эта мнительность до добра не доведёт. Выпала, как и множество раз прежде. Однако, конечно, никогда ещё не случалось такое дважды за день.

Андрей, вероятно, задерживался. В квартире было душно, темно и тихо. Энергосберегающая лампа в прихожей разгоралась так медленно, что Данила разулся, не дождавшись пока станет хоть сколько-нибудь светло, и снова стукнул по выключателю. Видимо, в этом и заключается особый метод сбережения энергии. Весьма иронично иметь такую лампу в прихожей, ведь как раз таки прихожая...

Не удалось додумать эту приятную мысль, которая, не сложившись до конца, уже норовила быть высказанной с лёгкой усмешкой, когда на пороге покажется друг, — боль, всегда такая острая в неожиданности, пронзила Данилу от пяток до зубов. В глухой темноте он наступил на развинченную дверную ручку, которую сам же и оставил на полу несколькими часами ранее. Наступил так неудачно, что порвал носок, но сил на вопль или хотя бы досадливый матерок просто не осталось. «Как грустно быть идиотом!»

Ещё одна дурная новость не преминула обозначиться неприятным запахом с кухни. В голове киноштапом зазвучали слова: «Не забудь поставить плов в холодильник», но зазвучали они не собственным внутренним голосом и даже не голосом Андрея, а насмешливо-серьёзным голосом сумасшедшего с трубкой.

Данила огляделся. В квартире по-прежнему было темно и тихо, казан с пловом, стоявший на плите, напоминал шляпу-котелок с опарышами, а тухлый запах только усиливал это сближение. Как в бреду Данила схватился за загнутые поля шляпы и переместил её со всем содержимым в холодильник.

На мгновение показалось, что если прямо сейчас заснуть, усилием воли можно проснуться шестью часами раньше или же вообще проснуться в поезде. Да, в поезде даже лучше! Переиграть день по-новому, не встретить никогда этих странных людей...

За дверью слышались шаги, потом поворот ключа. Вскоре лампа в прихожей снова начала свой многострадальный разбег. Когда Андрей разулся и в комнате стало почти светло (прошло не меньше минуты), Данила увидел на лице друга гримасу глубочайшего страдания, приправленного не то обидой, не то стыдом с простиупающим недоумением.

— Пропал? — без приветствий заговорил Андрей, проходя в комнату.

— Ну, запах какой-то странный, да. Я достал его сейчас, хотел поесть, но... передумал... — Даниле было совестно обманывать в первый же день, но не съедать же было... да и не выбрасывать. А вдруг действительно показалось? После такого-то дня всё что угодно может почудиться. — Ты достань, а? Может, другое что испортилось?

— За день пропал, что ли? Да что же за пакость такая?! — выдавил Андрей, разглядывая казанок и вытягивая вперёд нос. Смотреть на него было больно. — Никогда такого... впервые такое...

Данила хотел признаться, но не набрался смелости. Андрей распахнул окно, устало уронил тело на стул, понюхал блюдо ещё раз и так и остался сидеть некоторое время. Потом он рассеянно перевёл взгляд в коридор, вспомнив, по всей видимости, что заметил там — на полу — разобранный механизм дверной ручки.

— Блин! Я днём закрылся зачем-то, а твой замок... Сейчас, секунду, — дёрнулся с места Данила.

— Да хрен с ним.

— Нет, я сейчас всё...

— Оставь, говорю тебе, — спокойно, но твёрдо оборвал Андрей.

В квартире снова стало тихо. Мучительно тихо. Данила не решался заговорить, Андрей же и не думал об этом*. Его полностью поглотила загадка пропавшего плова. Когда Андрей добрался до таких глубин, что обдумывал возможность участия домового в этом злодействе, за стеной раздался визг соседской дрели. «Полвосьмого, самое время». Напряжение спало и оба облегчённо вздохнули.

— Да хрен с этим пловом! — торжественно воскликнул Андрей. — Будем жрать макароны!

** По логике повествования читателю не должно сообщаться, о чём подумал Андрей. Вы избрали внутреннюю фокализацию с позиции Данилы, читатель смотрит его глазами, слышит его мысли. Ничьи другие*

За ужином Данила жаловался на тяжёлый несчастливый день, пересказывал всё приключившееся с ним, только о незнакомце в пальто решил умолчать: уж слишком неправдоподобной была его фигура, даже на фоне всего остального. Тем более, услышав о нём, Андрей мог заподозрить Данилу в сочинительстве, и не в праздном, а с каким-нибудь корыстным умыслом. Дружба дружбой, но надо понимать, что оба они изменились с университетской поры. Хоть заново знакомься.

На первом курсе Данила и Андрей как будто не замечали друг друга. Мальчишек на факультете и без того было не слишком много, так ещё добрая их половина не проявляла способностей к учёбе и заинтересованности ею. Данила и Андрей относились к другой половине, но сходиться не спешили.

Осенью девяносто восьмого отец Данилы пропал без вести. Поползли слухи. Через неделю каждый на факультете знал, что у мальчика со второго курса, странноватого, но даже вроде как жизнерадостного, отец исчез после конфликта с бандитами, мать тяжело больна, родственники все сплошь с придурыю, а друзей нет. Данила знал, что разговоры шли в первую очередь от педагогов, но ему сложно было что-то предпринять. Ещё сложнее было привыкнуть к пытливым взглядам.

Данила курил на межэтажной площадке пожарной лестницы, когда Андрей впервые к нему обратился. Сначала он нерешительно остановился рядом, похлопал себя по пустым карманам, изобразил удивление. Затем попросил сигарету, взял её как-то неправильно, по-женски, своей зажигалки у него тоже не нашлось. Потом, прикурив, задал какой-то общий вопрос, за которым последовал второй и третий. Так и разговорились. Только спустя несколько месяцев Данила сообщил новому другу, что тот неправильно курит — не в затяг, и научил как правильно.

За Андреем в жизнь Данилы пришла большая компания. Его мать не могла и подумать, сколько людей придёт провожать её в последний путь.

— Ты всё один да один? — спросил Андрей, оторвавшись от телевизора. Он положил вилку на край тарелки, взял в руки пульт и уменьшил громкость.

— Свадьба — дело такое... — сказал Данила, пережёвывая пищу. — Не хочу развестись через год, как некоторые.

— Да я ведь не о свадьбе.

— Я знаю.

По телевизору шли новости.

«В Санкт-Петербурге и области действует штормовое предупреждение. В настоящее время в регионе порывы ветра достигают...»

Андрей прибавил звук.

«Уже к полуночи пятницы ожидается, что уровень воды в Неве превысит нулевую отметку на сто шестьдесят — сто восемьдесят сантиметров. К пятнадцати часам вода в Неве может подняться до двухсот десяти — двухсот сорока сантиметров. При этом критический уровень...»

— Ой, не нравится мне это, — сказал Андрей.

От чая Данила отказался. Он спросил, почему бы не выпить старым друзьям чего-нибудь покрепче, отметить встречу хотя бы символически. «В среду?» — удивился Андрей*.

**Как-нибудь определиться, что с оформлением прямой речи, приведите к божему виду.*

— Ты не расстраивайся, что сегодня так. Помнишь ведь, всё должно идти медленно и неправильно.

— Что-то знакомое. Откуда?

— Эх ты, двоечник.

— Вы здесь все культурные, читающие, в метро все с книжками, городские сумасшедшие по латыни ботают. Чёрт-те что.

— Ты в книжки эти заглядывал? Читиво. Лучше ничего не читать, чем такое, — Андрей рассмеялся, — вот как я!

После того, как стол был прибран, посуда вымыта, а постель разложена, Андрей, выпадая из задумчивости, произнёс:

— Я тут что подумал. Относительно мента. Существует такое местное поверье, что внутренний голос начинает картавить, если человек сознательно идёт на смертный грех, — он нахмурился, приложил указательный палец к подбородку, как бы разглядывая собственную мысль, которая, не будучи высказанной, казалась куда разумней. —

Ну, это внутренний, а у него, так сказать, внешний, так что не знаю, насколько это уместно.

Когда Андрей отлучился в уборную, Данила снова с болью на сердце вспомнил, что привёл в негодность дверную ручку. Он вышел в коридор, чтобы поднять её, показать готовность всё исправить, починить, как только товарищ освободит комнату. Но ничего на полу не оказалось, а из уборной раздался слабый звон. Данила догадался, что механизм был отправлен в урну. Это казалось чудачеством, совсем не вязалось с тем укладом, который, по мнению Данилы, существовал в квартире.

— Я же забыл сказать самое интересное, — уже засыпая, спохватился Данила. — Я же Гребенщикова видел сегодня, представляешь?! Даже за бороду мог подёргать!

— Надо же, какое совпадение, — Андрей поднялся на локте. — А я ведь тоже его встретил, когда переехал сюда. А он-то, случаем, не картавил?

— Да нет, молча прошёл.

— Эх, Борис Борисович...

Борисборисыч...

В голове уже шумели первые обитатели сна: «...вы должны знать своё место!..» — пронёсся над головой незнакомый голос; «...девочку не желаете?..» — ещё чей-то голос; «...и мама была права...» — дрожащий мужской голос нараспев. Появилась картинка, яркая и агрессивная, завертелась... Какие-то туманные мысли порывались выбиться на поверхность сознания, но их заволакивало снами, что мелькали наперебой, врезаясь друг в друга, дезориентируя, сбивая масштаб, пока Данила окончательно в них не потерялся.

Рецензия :

Судя по всему, автор молод и в своей прозе производит различные эксперименты, которые в совокупности можно считать не особенно удачными ввиду того, что жизни он не знает, а уровень фантазийных спекуляций или интеллектуального жонглирования, которым он предается, и того не весьма высок. При этом в способностях ему не откажешь. Это человек довольно энциклопедичный и кое-что понимающий в том, какой может быть современная проза.

Он далеко не безнадёжен. При возможности встретиться и обсудить, как реорганизовать текст. За отдельную плату.

День второй

Забавную игру вы заметили. Что, впрочем, не позволяет вам игнорировать законы построения художественного текста.

Сон выдался беспокойным. Проснувшись лицом в подушке, Данила ещё какое-то время не решался от неё отлипнуть — было странное ощущение, что ночью во время сна он потерял какой-то орган: не то нос, не то ухо; вероятно, это было последствие неудобного положения. На всякий случай ощупав лицо, Данила начал свой день.

Время близилось к обеду. Данила твёрдо решил вторым этим днём исправить все давешние неудачи, подружиться с городом, попытаться понять его. Возможно, даже удастся вернуть свои деньги, отчего же нет?

Начать положил он с кофеварки — примитивная машина, созданная, чтобы постигаться интуитивно. Хотя напиток и получился в конечном итоге несъедобным (не сменил спитый кофе на свежий), Данила счёл задачу выполненной, добавил в мутный кипяток ложку растворимого, который хранился у Андрея про запас, и вышел с горячей кружкой на балкон.

Странно всё-таки переехать в Петербург, а жить в таком районе, который не имеет ничего общего с городом. Наверное, первое время выбираешься в центр — прогуляться вдоль каналов, заглянуть в парк, выкурить сигаретку, сидя на лавочке под могучим деревом... Выкурить сигаретку. Табачок. Вкусный табачок. Запах на пальцах. Жёлтые от никотина пальцы. Выкурить сигаретку стоя с кружкой кофе на балконе. Под балконом дети собирают бычки. Выкурить жёлтые пальцы детей сидя на корточках под могучим балконом. «Срочно покурить, дурею совсем».

Вкусно отобедав вчерашними макаронами, которые Андрей заботливо выложил на тарелку, припорошил тёртым сыром и украсил веточкой петрушки, Данила достал из внутреннего кармана сумки оставшиеся деньги, пересчитал их и поместил в бумажник. «Шесть тысяч, главное, сегодня не дать маху».

В продовольственном магазине кассирша с недоверием посмотрела на Данилу, когда он положил на ленту пачку сигарет и, уже пробив чек, попросила паспорт.

— Паспорт? Зачем вам паспорт? — засуетился Данила, ощупывая карманы.

— Вдруг вам нет восемнадцати...

— Ох, день начинается с комплиментов! — попытался отшутиться Данила.

— Паспорт, — продавщица была непреклонна.

— Сейчас, — с удвоенным усердием ощупывал карманы Данила, — «Был в этих же брюках, в этой ветровке», — секунду...

— Паспорт, молодой человек, или на выход!

— Да повремените, чёрт, не видите, потерял, — по третьему кругу Данила залезал в каждый карман.

— Тогда гуляйте, — сказала продавщица и опустила пачку под прилавок.

На улице Данила продолжал бубнить: да куда же он делся... Не дай бог выпал. А мент? Отдал мне его вчера или нет? Сука, мент картавый. Отдал или нет?

«Вернёте своё и прихватите сверху», — раздался в голове голос сумасшедшего с трубкой. Теперь уже точно придётся ехать на Боровую. Наверняка мент там постоянно ошивается. Кормушку нашёл!

Спускаясь к платформе по эскалатору, Данила ощутил неприятный тёплый ветер, пахнувший машинным маслом: «Только что ушёл поезд, можно не торопиться», —

подумал Данила и обрадовался этому замечанию — неплохо для второго дня в городе. Он прижался к правому поручню, слева спешно проносились люди.

В метро попутчики сосредоточенно и угрюмо вглядывались в серые листы книг, неторопливо и почти синхронно перелистывая страницу за страницей, как участники спиритического сеанса. «С покойничками разговаривают».

Медное гремяние колёс медленно и незаметно свернулось в ничто, зажёванное зловещим молчанием пассажиров. Вместе со звуком, казалось, сошли на нет и колебания — вагон скользил, едва покачиваясь, в отличие от двух соседних — через окна в торцах было видно, как их бросает в стороны. Изнутри самого себя Данила слышал первый приглушённый, но узнаваемый стук колёс. Тух. Следом второй, но уже громче. Ту-дух. Третий. Тух. И разом отовсюду. Тудух. Тух. Тудух. Тудух. Тудух — тудух — тудух — тудух...

С «Владимирской» на «Достоевскую», «Лиговский проспект», подземный переход. Бродяга что-то мычит, дёргает за рукав, достаёт измятую тетрадь в клетку. Беззубая пасть, невозможная вонь. «Подвойте потитать уам мои т-тихи». — «Нет, спасибо». Взгляд цепляется за коричневый обломок зуба, за желтоватую пену в уголках губ... «Моутим мы оба. И лиф на нами...» Коснулся! «Вейху, вытако ф-фаги оцца...» Убери руки! «Он медит ветеу и ноть тагами, И я не виду ео лица...» — «Замечательно, это вы сами? Я не знаю, чем могу помочь... Может...» — «Не тадаписест. Ест исо. Титяс. Дтугое вот: Я тутстую тядовой тей-то вгяд, И тутстую ео худые пайтсы, Они меня т бумаги соскобьят И выдтяхнут в бетмеуное пдоттантво» — «Понятно». Возьми червонец. Чего, нет? Ты что делаешь? «Вы соображаете? Фу, а ну-ка! А ну пошёл отсюда!» Ублюдочная рожа...

Разъезжая. Как эти здания вообще стоят? Это тени, грязь или кровоподтёки? Господи, что я тут потерял? Нет, спасибо. Ладно, в урну. Извините, я не хотел. Поэт, чёрт возьми. Поэт в России больше не поэт. Больше не поёт. Красный, повернём. Это что? К чёрту. Коломенская, ага. Мёртвый голубь,дохлый голубь, грудь нараспашку. Подождрал кто. Останки сладки. Вороны. Во-ро-ны. Кар-кар. Кар-тавят. А это? Ну дают! А задницы в комнатах остались? Андрею: на Коломенской из фасада вырастают две лошадиные головы. Сами лошади, получается, замурованы в стену? А может, они подглядывают через порталы-червоточины из иных пространств? Боровая, о! В какую? Сюда? Да, это мы проходили, это нам задавали. Что такое? За мной? Нету. А будто есть. Во-от, арка. Во-о-от... Так, всё нормально. Хотя бы паспорт*.

**Совершенное разложение на стилистическом уровне. Преувеличена вербальная сторона мысли. Возможно, стоит подыскать иной способ передачи мыслеобразов, но это требует другого уровня мастерства.*

Дверь провалилась вглубь помещения от легчайшего толчка**, будто только этого и ждала весь день; натёртый до блеска кафель, казалось, сам подставлялся под шаг.

Продавец в той же замызанной майке, с немойтой головой, увидев Данилу, приосанился, заметно встрепенулся, но сделал вид, будто не узнал его. Венский стул у окна был пуст.

Вслед за Данилой вошла молодая пара, запально и раздражённо перешёптываясь. Данила огляделся, прошёл вдоль стеллажей с прокатными дисками, остановился под

****Несколькими страницами ранее та же дверь, как я понимаю, открывалась наружу. Авторский чысыл или же ошибка? Повнимательнее.*

надписью «Зарубежные боевики», не глядя вытянул коробку, прикидывая, какую гадость можно выкинуть в случае чего, но диска внутри не оказалось. «...Я не говорю, что у тебя интеллект именно как у хлебушка, — услышал он голос парня, сорвавшийся с шёпота, — это была шутка». Заинтересованный таким поворотом подслушанного разговора, Данила уже приготовился подойти ближе к бранящимся, как у самого уха заговорил продавец.

— Могу чем-то помочь?

— А как вы сами думаете? — испуганно оборачиваясь, спросил Данила, но на последнем слове уже оправился и скомкал возмущённую мину.

— Я гадать должен? Понадоблюсь, позовёте, — произнёс продавец. Он бездумно улыбнулся, при этом один глаз его слегка скосился вбок, как бы наперёд просматривая маршрут.

— Нет уж, вы погодите! — Данила задержал его за штанину.

— Мне милицию вызвать? — отшатнулся продавец.

— Вызывайте! Дружка вашего вызывайте, он же, наверное, тут где-то и припрятался? А лучше дайте-ка мне телефон, я сам вызову! О, я вызову! Настоящую милицию! И всё им расскажу, что тут делается.

Из смежной комнатки, на двери которой висела табличка «Комната персонала», послышался вой оборотня в погонах: «Не пускай его ко мне, а то я за себя не гучаюсь!»*

— Вы здесь?! — Данила бросился к двери. — А ну, откройте! Ну-ка, быстро открывай, ментовская морда!

Торговец деловито отстранил рукой Данилу и, поковыряв ключом, открыл дверь, но тут же и скрылся в тёмной крохотной комнатухе, которая скорее походила на кладовую, чем на комнату персонала.

— Паспорт мой отдайте, вы! — Данила стукнул в дверь кулаком.

— Паспорт ваш больше не действителен, мы его изымаем!

— Как это недействителен?!

— Мы пририсовали вам усики! — с радостью в голосе ответил продавец из-за двери. — Теперь только замена!

Данила обошёл прилавок — возникла мысль забрать из кассы ровно ту сумму, которую оставил здесь вчера, но понимал, что вряд ли осмелится с ней уйти. По крайней мере, уйти тайком, прежде чем вернётся продавец, Данила никак бы не смог. Злобно потрясти деньгами, объявить, что забирает своё, да к тому же потребовать назад якобы испорченный паспорт — другое дело. Кассовый аппарат, стоявший на столе, сверкнул серебряной замочной скважиной. Ощупав его и удостоверившись, что до денег не добраться, Данила заглянул под стол и увидел кожаный чемодан, который вчера с такой любовью заполнял разного рода дисками. Толкнув его ногой и убедившись, что он не пуст, Данила дёрнул ручку и поволок добычу к входной двери. Молодые люди даже не взглянули на него, увлечённые друг другом.

— Да даже если и так, что здесь плохого? Говорят же, хлеб всему голова...

Чемодан был очень тяжёлым, ручка нещадно впивалась в ладонь, подминая кожу, оставляя на ней обескровленные белые пятна. Улицы путались, Данила ничего не узнавал, даже вернуться к исходной точке той же дорогой у него не выходило, и он всё кружил, как муравей в осином гнезде.

Лица коснулась первая капля дождя, неожиданно обильная, жирная, как плевок. Среди прохожих или же откуда-то из-за угла, из окна булочной, а может, сверху — с балкона жилого этажа (разобрать никак не удалось) — показались чьи-то глаза,

* Означает ли вас стеленое желти, не-на-висти в своих персонажах (а в вашем случае — желтым людям)?

угрожающие и вместе с тем равнодушные чьи-то глаза. Данила сменил руку, ухватил чемодан покрепче и ускорил шаг. Дождь усилился, а вскоре просто набросился со всех сторон. У Андрея наверняка был запасной зонт. Нет, зонт тут не помог бы. *Но эти глаза.*

Чемодан выскальзывал из мокрых ладоней, наскоро вытирать их об одежду уже не получалось: не отыскать было на себе ни единого сухого места, даже к подмышкам как-то пробралась влага. Данила свернул с Щербакова переулка в какой-то узенький проход и встал под нависающую консоль здания; под ногами, казалось, остался последний во всём городе нетронутый дождём островок.

«То был не просто взгляд, — думал Данила, — не случайный взгляд случайного человека. Может ли беззубый со стихами и впрямь следить за мной?» Рядом с Данилой на островок примостился пожилой человек, мельком взглянул на чемодан и закурил. Ох, как хотелось одолжить сигаретку, но неловко — у старика... К тому же зажигалка снова где-то затерялась — обращаться дважды?.. Да и потом, принято ли тут благодарить за курево? ведь можно обидеть как молчанием, так и благодарностью*. Данила глубоко вдохнул дым чужой сигареты и ничего лучше не придумал, как скорее уйти.

— Простите, не подскажете, где метро?

— Так вы уже у метро. Обойдите здание, «Достоевская» это.

— Спасибо.

**Обидеть благодарностью?
Надопытливо, как это?*

И всё же, какая дурость этот дождь! Но почему ты, великий мудрый город, поддерживаешь эти глупые выдумки? Коллективная вера твёрже самой реальности. Неужели эти скучающие поэтессы натащили сюда столько осадков? Или это пар от их вечного кофе? Или это дым от их... Не стоит... Вот и прячь теперь шмыгающий нос в «шарфе тумана»!

У автомата выдачи жетонов стоял металлический стенд с полками. На верхней перекладине помещалась пластиковая карточка с трафаретной надписью «Книгообмен», но все немногочисленные книги были, судя по корешкам, одинаковыми. Плешистый мужчина подошёл к стенду, многозначительно оглядел чемодан, который под взглядом, казалось, шатнулся, и выложил из портфеля ещё один экземпляр на полку. Дождавшись, пока мужчина отвернётся, Данила взял книгу.

«Поезд прибыл на Московский вокзал ранним утром...» — успел прочитать Данила, прежде чем застрял с чемоданом меж планок турникета. Ни вперёд не пройти, ни назад: металлическая пасть сомкнулась крепко. К нему поспешил озадаченный работник в чёрном кителе.

— Да помогите выбраться! — попросил Данила, выпустив из рук тонкую книжицу, она полетела на пол.

— Передайте свой чемоданчик сюда, — вытянул руку работник. Подойдя ближе, он пригнулся и всем телом подался назад.

— Просто отожмите турникет! — вне себя от нетерпения потребовал Данила. Потом смягчился: — Пожалуйста, нажмите там какую-нибудь кнопку.

До него вдруг стал доходить весь ужас сложившегося положения. Контрафактные диски в огромном количестве заполняют его чемодан, а он как ни в чём не бывало разгуливает по городу, заходит в метро, застревает, чёрт подери, в самом видном месте.

«Вестибюль, пару человек, будьте добры, — поднеся к лицу рацию, заговорил работник. — У нас противодействие как бы». Рот Данилы открылся в изумлении, а брови сбежали чуть ли не на макушку. «Какого чёрта?!»

— Простите, — обратился к нему работник слегка виновато. — У нас чрезвычайное положение. Ничего страшного, не бойтесь. Чемоданчик просто осмотрят. Не переживайте, вы заплатите за багаж и всё — поедете дальше.

Ужас нарастал: мало того что диски уж наверняка пиратские, но ведь Даниле совсем не известно их содержание. Вдруг там окажутся фильмы малость запрещённые, малость подсудные, например. *Господи. Тяжёлый чей-то взгляд.* Голова закружилась, и спустя мгновение Данила пришёл в себя уже на полу, растёкшийся под жёрновом турникета. *Его худые пальцы!*

Работник сам жутко перепугался и не знал, что делать; вызволяя Данилу, он оторопело приговаривал: «Только осматрят и всего. Чемоданчик осматрят, только и всего. Чемоданчик-то...»

Опираясь на помощника, Данила медленно встал, но, увидев двух стражей порядка, надвигающихся как судный день, схватил чемодан обеими руками и пустился в бег. Началась погоня.

Ноги. Ноги. Сучий чемодан. Сзади? Сзади! Не-а, не отдам. Снова — мокну. В лужах пузыри. Сзади? Сзади! Стало целых три. Суки, суки. Как бы не упасть. Праздник? Будет! Только не у вас. Чемодан — правая. Чемодан — левая. Эй, мадам, в сторону! Здорово — бегаю. Заборы, за-бо-о-ры. Прямо, левой! Суши сухари мне, апостол Андрей. На Коломенской кони в стену замурованы. Кони замурованы, а Даня зашнурованный. Бегут толстопузы? Бегут атлеты. Бегут, догоняют! Ой как пло-ох-о-о-о! Су-у-ука! А-а-а! Схватит. Сейчас. Вот сейчас. Прямо сейча-ас. Вот-вот. Хоп-хоп. Хвать-хвать. Мне конец, где? Упал! Надо же! Упал, паразит, других тормозит. Влужу? Влужу! Хлопец дюжий. Ноги. Ноги. Мокрые пятна. Бросить? Глупо. Скроюсь? Вряд ли*... **No comments. Если вам нравится вылагать лично, оставляйте.*

На Загородном проспекте с тротуара в тёмную арку Данилу рывком втянули чьи-то сильные руки, чёрная металлическая решётка звякнула перед лицом, милицейские пронесли мимо, ничего не заметив. Данила покрутил головой, остановился, вглядываясь в лицо спасителя. *Вчерашний сумасшедший.*

— Сам ты сумасшедший! — притопнул человек в котелке и с комичной сердитостью оттопырил нижнюю челюсть. Затем расхохотался.

В недостаточном свете под кирпичной аркой лицо его показалось старше, чем было вчера. Еле различимая тень от округлых полей котелка провалилась в глубокие глазницы, отчего сами глаза показались плоскими. Усы жиденько рассеялись под носом, слегка поблёскивая в темноте. Неясно было, зачем такие усы остаются на лице, а не сбиваются сразу же, как только выступают на свет божий**. Одежда выдавала человека бедного, но утончённого, только чёрное пальто с меховым воротником — не то куница, не то козлик, не то другое какое животное — выбивалось вызывающей дороговизной и новизной, будто его минуту как сняли с манекена на Невском.

«Меня зовут Владислав. Всё правильно, с ударением на “и”. Отчества не надо». — «А я...» — «А вы Данила. Да-да, знаю. Вы удивляетесь? Вы ещё чему-то удивляетесь?! Сюда, Даня, — не бойтесь». — «Да-да. Простите...» — «Ничего страшного. Новое, между прочим. Ладно, ерунда». — «Прошу прощения, здесь ни черта не видно». — «Ерунда, не страшно. Побегали? Отдышитесь. Здесь не найдут. Сюда, пожалуйста, я придержу» — «Спасибо... Мы к вам?» — «Ко мне, совершенно верно. С чемоданом осторожнее* Тяжёлый, наверное? Ещё бы. Оставьте тут. *Après vous...*»

В квартире Данила удивлённо рассматривал каждый угол, тревожно и как бы нехотя созная, что каждый угол, в свою очередь, удивлённо рассматривает его самого.

По всему было видно, что эта небольшая квартирка в центре Петербурга не знала гостей, — на каждом предмете отпечаталось одиночество. Это роднило квартиры Андрея и Владислава, других общих черт не было. Старый советский паркет «ёлочкой» крыт-перекрыт лаком и краской, которые протёрлись под письменным столом, у кресла и перед окном до самой древесины, а в менее изноженных местах проступили слои сквозь слои. Но паркет — далеко не первое, на что визитёр обратит внимание, — сперва он заметит в прихожей жёлто-серые столбы* газет, которые возводились, судя по масштабам строительства, десятилетиями. Затем визитёр, привыкший к панельным комнатухам, удивится высоте потолков. Паутине он не удивится — странно, если бы её не было с такими-то потолками, и вездесущая пыль уже вряд ли удивит человека, сообразившего, наконец, где оказался. Антикварные, раритетные, старинные вещи или же рухлядь, мусор, старый хлам — без видимого порядка и иерархии раскинулись по всем горизонтальным поверхностям, не занятым книгами. Самодельных книжных стеллажей не было только в кухонной зоне. В таких случаях хочется взять что-нибудь с полки для того хотя бы, чтобы узнать цвет стен. «Вероятно, — подумал Данила, — так живёт питерская интеллигенция». В гостиной у кресла, в которое Владислав усадил гостя, стояла акустическая гитара с бантом на грифе.

— Я принесу сюда чемодан, вы не против? — подавшись вперёд, спросил Данила.

— Ни в коем случае! — ответил Владислав и выставил вперёд ладонь, как бы требуя остаться в кресле. Сам же он придвинул стул и сел напротив. — Пожалуйста, не у меня дома.

— Вы думаете, там...

— Ничего я не думаю, — Владислав достал из кармана портсигар, вытянул папироску, не предлагая Даниле, закурил и продолжил. — Тут я должен произнести фразу, смысл которой сам не вполне понимаю. Она звучит так: «Если бить труп по морде, синяков не останется, но если синяки появились, то ждите удара в ответ». Это всё. Прошу прощения, я должен был это сказать...

Данила поглядел в потолок, будто призывая невидимых свидетелей разделить идиотизм услышанного, встал и протянул собеседнику руку.

— Спасибо, что спасли. Мне, наверное, пора.

Владислав от рукопожатия уклонился, зажал папиросу в зубах покрепче и опустил обе руки, нежно, но настойчиво, на плечи Данилы — вернул его в кресло.

— Я должен извиниться за вчерашнее, — сказал Владислав, стряхивая пепел в ладонь.

— Господи! Делайте что хотите, говорите что хотите, мне какое дело?

— Данила, послушайте... Я извиняюсь, потому что ко всем вашим страданиям имею самое непосредственное отношение.

— Я так подозреваю, вы ко всему сущему имеете отношение? Это называется «синдром бога».

— Знаете, я могу переубедить вас в две секунды. Например, могу пересказать всё, что случилось с вами вчера, но, боюсь, вы подумаете, что я следил. Однако я могу рассказать и то, что случится с вами сегодня.

— И завтра, и жену мне нагадать... Всё ясно, Владислав. Пожалуйста, пустите меня.

— Решительно нет! Скажем так, вчера я знал о вас ровно то, чем вы были вчера. Сегодня мне открывается чуть больше. Вот, возьмите эту гитару. Возьмите-возьмите. Я знаю, вы сразу обратили на неё внимание. Сыграйте что-нибудь, вы ведь гитарист. Ну же. Во-о-от.

Данила взял гитару: питерская «Арфа», потрёпанная и покусанная, но крепкая и — он проверил звучание — замечательно отстроена. Всё равно по привычке покрутил колки взад-вперёд, еле касаясь медных струн, и потом аккуратно, даже вкрадчиво провёл по ним правой ладонью, не задумываясь, взял аккорд и уже пустился было в импровизацию, но звук получился таким неожиданным, что инструмент едва не выпал из рук. С удивлением Данила обнаружил верные пальцы — мизинец, безымянный и средний — смещёнными на одну позицию вверх. Это было немыслимо. Такого не случалось никогда. В подпитии или помутнении он мог несвоевременно взять аккорд, недостаточно крепко зажать струны, чёрт с ним — съехать мимо лада доводилось, но это... Приоткрыв рот, Данила глядел на гриф — ни уже, ни шире обычного. Никогда такого... впервые такое...

Он взял другой аккорд и снова промазал. Ещё один, и снова пальцы оказались не в том положении. Как будто все гитары на свете прежде играли с ним в дурную игру: сами подставляли нужные струны, а теперь — эта «Арфа», перевязанная идиотским бантом, почему-то взбесилась, отказалась сотрудничать.

Медленно, проверяя каждое движение, Данила прижал три медные нити окаменевшими подушечками пальцев в самом простом и знакомом с детства аккорде и вдумчиво проиграл его. Разве может обыкновенная нота «до» звучать так казённо?

Всё происходящее в этом городе Данила ещё мог принять — с сомнениями, но поверить в эту насмехающуюся сюрреальность; теперь же последние исправные шестерёнки, привезённые из прежней жизни, остановились, надломились, посыпались в бездну ужаса. Казалось, ещё мгновение — и предметы в комнате повиснут в невесомости; обрушатся стены, стряхнув с себя присосавшиеся книги; страницы книг, скреплённые закаменевшим клеем, вырвутся — освободятся от насильственного соседства; столбы газет, сцементированные пылью, взорвутся, и этот взрыв отделит чёрные буквы от серой бумаги. Буквы-буквы-буквы. И вся жизнь — не кошмарное сновидение, а буквы-буквы-буквы, которым дела нет до смыслов, довлеющих над ними. Останутся только буквы — последнее целое, неделимое — истинный атом.

Владислав почёсывал левое ухо, покусывал правый ус, иронически улыбался, следя, как по тексту, за сменой гримас на лице Данилы.

Такая казённая нота «до»... Не меняя позиции пальцев, Данила, наперекор собственному желанию и музыкальной логике, проскользил по грифу до третьего лада и опустил правую кисть на струны. «Да, — услышал он собственные мысли, — подходит». Подходит, соответствует новому порядку вещей, уставших безмолвствовать, затеявших тихий, но слишком осязаемый бунт. Образы, скромно, но неотступно следовавшие за ним, теперь развернулись вдоль струн, как будто найдя выход из свёрнутых измерений.

— Достаточно! — вставая со стула, сказал Владислав. Он смял в руке потухший хабарик, положил его в карман и протянул руку. — Теперь уже вам действительно пора.

— И что мне *теперь* делать? — спросил Данила, пожимая испачканную пеплом ладонь.

— Я бы отправил вас куда-нибудь в Лисий Нос с такой добычей, — подмигнул Владислав, — но до Финляндского вам с чемоданом не добраться.

— Зачем мне чей-то нос? — вскипел гость, но едва с уст слетело последнее слово, Даниле стало не по себе. Предутренний сон не вспомнился, но тревога, очевидно, была связана именно с ним. Данила ещё раз оглядел книжные полки и в углу под потолком увидел, наконец, жёлтые глаза, вдавленные в голову каменной совы.

— Совершенно босховская штучка, не находите? Я подумал, что если принесу её домой, в жизни прибавится хоть немного разврата.

Владислав подошёл к столу, вытряхнул на него пепел из трубки, смахнул на пол, принялся набивать её табаком, говоря:

— Этот совёнок — моя находка. Какой-нибудь мальчишка выточил его из газоблока, раскрасил гуашью и подарил родителям. Я редко подбираю что-то с помойки, но тут не удержался. Правда, у него скололось крыло... Вы, кстати, попросились бы к Гребенщикову. *Теперь-то* готовы.

— Вы думаете, мы ещё?..

— Конечно! Он, как известно, проездной теперь купил. Носится по городу, выпрыгивает из-за кустов, народ смущает.

Перед прощанием Владислав вручил Даниле ключ от кладовой в соседней парадной, где посоветовал припрятать чемодан до отъезда. Угостить на дорогу папироской отказался: «Курильщик — сам себе могильщик».

Без тяжёлого груза и дорога казалась прямее, и прохожие доброжелательнее, и погода поправилась за компанию, не стала упрямецкой. Один добродушный киргиз даже проводил к станции «Пушкинской» — к «Достоевской» Данила бы добрался и сам, но, по понятным причинам, это было исключено.

Подземный зал был практически пуст. В конце его на белом постаменте сидел гипсовый белый Пушкин. Несколько человек стояли перед ним, как перед мироточащей скульптурой Спасителя. Данила подошёл ближе.

Курчавый и с баками, казалось бы, ничего необычного, но, приглядевшись, Данила явственно увидел, что растительность на голове и лице поэта — это не растительность вовсе, а маскирующиеся под неё белые черви, которые, наевшись, пытаются покинуть светлую голову классика. *Черви разума.* Лицо Пушкина выражало скуку и презрение, словно его запечатлели как раз в тот момент, когда какая-нибудь неразумная старушечка, теребя свежий номер «Современника», завершала затянувшийся восторженный отзыв стихотворением собственного сочинения. Из его слабых рук, казалось, вот-вот выпадет букет сирени, и выпадет не на пол, а на голову рыжебородому бомжу, беспечно сидящему в ногах поэта. Подняв взгляд на Данилу, бомж радостно вскочил и протянул кепку с мелочью. «Смотри, сколько!» — сказал он и приподнял картонку с лаконичной надписью: «На водку». Возможно, он приглашал к трапезе.

Данила изрядно перепугался на станции «Технологический институт» — ехал по красной ветке, а оказался на синей, — но в скором времени сообразил, как найти нужную платформу. Далее до «Удельной» добрался без особых происшествий. Из

стены, замыкающей станцию, выступал барельеф: голова Ленина, чёрная, как меконий*. *Ажурные, молодой человек.*

Солнечный свет, прямой и беззлобный, был неожиданностью. Небо, однако, оставалось совершенно белым, как будто умаявшийся ретушёр вырезал облака, опустил до предела яркость и забыл замостить на пустое место голубую растяжку градиента. «Может быть так, — задумался Данила, — что люди с дальтонизмом, рождённые в Петербурге, и не подозревают о своём недуге?» «Наверняка таких немало», — ответил себе он.

На площади у здания станции были заботливо установлены уличные туалеты, торец ближайшего поливал нетрезвый человек. Когда Данила проходил мимо, человек сказал: «Простите, я тут прячусь», кивая куда-то за туалет. На пятак справа от входа

в метро три милиционера беседовали с остановленной компанией. «Вы не имеете права!», «Не портьте вечер!», «Мы ведь не террористы!» — доносилось оттуда. Чтобы не искушать судьбу, Данила решил не задерживаться, хотя и чувствовал, что продолжение обещает быть интересным. Базарные бабки, торгующие чем-то несусветным, повскакивали с раскладных стульчиков и по очереди следили за происходящим, выглядывая из-за угла. «Смотри! Надо смотреть! На минуту отвернётся, их уже поведут!» Зайдя за угол аптеки с великолепным названием «Ночь, Улица, Фонарь...», Данила почувствовал относительную безопасность и в последний раз взглянул на пьяненьких. Он увидел, как самая голосистая барышня утихла, невозмутимо повернулась (её личное время, вероятно, текло быстрее общечеловеческого) и попыталась куда-то утопать, взяв под руку случайного прохожего. Её вернули.

С внимательностью человека, задумавшего вести дневник, Данила разглядывал прохожих. Разные, очень разные люди. Как будто из разных эпох. И как многое написано на лицах! «Извините, у вас на лице написано».

В основном на Уделке торговали тем, что и выкинуть не жалко. Проходя вдоль полуимпровизированных палаток, Данила мысленно путешествовал по своему детству, по тем его уголкам, которые, казалось, навсегда завалены перестроечной и постперестроечной рухлядью. Пугач на пистонах вызвал к жизни одномоментно несколько воспоминаний, наслоившихся друг на друга, эти воспоминания были зелёно-жёлтыми, пахли гудроном и серой, ссыпались в папироску «беломорканала», целовали в щёку губами девочки, имя которой не разыскать в памяти без помощи гипнотизёра. Карманные магнитные шахматы, лежащие на полотенце перед улыбчивой женщиной с золотыми зубами, напомнили о затяжных партиях с отцом за право вести машину по просёлочной дороге; тут же вспомнились конкурсы на лучший рисунок за миску арахиса, соревнования по стрельбе в гнилые маслята из воздушки, главным конкурентом в которых был всё тот же отец. Модельки, значки, дальномерки, подстаканники, дисковые телефоны — все о чем-то напоминали, дёргали память, самовольно и беспорядочно переносили из детства в студенчество и обратно. Данила почти забыл, зачем забрёл на это кладбище ненужных вещей, пока снова не почувствовал на себе взгляд, всё такой же равнодушный и угрожающий, но, что странно, поторапливающий, подталкивающий скорее закончить начатое. И как только Данила разгадал это настроение неизвестного наблюдателя, произошло совсем уже немыслимое: кто-то пощекотал его со спины. *Я чувствую его худые пальцы.* Обернувшись, Данила никого не обнаружил.

Ряды петляли и прерывались. Казалось, расположение палаток, контейнеров и прилавков — беспорядочно и стихийно: пришедшие торговать первыми устроились в более насиженных и проходимых местах, к ним присоседились их привычные собутыльники, а где двое или трое торгуют редкими книгами, продавцу текстильных изделий нечего делать. Пришедшие налегке вклинивались между прилавков, уплотняя строй, и выкладывали товары на цветастые покрывала поверх сырой земли. Таким образом каждый день создавалась новая структура этого безумного лабиринта.

Дисками и кассетами торговали многие. Под стать прочему ассортименту рынка фильмы были устаревшими морально, диски, исцарапанные, в потрёпанных боксах — устаревшими физически. *Как найти того, кто мне нужен?* Данила достал из бумажника сложенный вчетверо листок; рядом с названием станции и рынка была приписка, сделанная не то на весу, не то ослабшей рукой, но тем же Данилиным, почерком: «Хан Бушлат». За давностью и, предположительно, нетрезвостью разговора невозможно было вспомнить, кто и при каких обстоятельствах рассказал Даниле о салоне

«Аудио-Видео» на Боровой и о Хане Бушлате, которого предстояло разыскать здесь — на Удельной.

Вероятнее* было бы вовсе не задаться вопросом, «обманут ли меня снова?», нежели задаться и ответить «нет, не обманут», однако Данила рассудил так: «Раз в первом месте были мошенники, во втором должны быть порядочные люди». Не нужно быть философом или программистом, чтобы понимать изъязы этой дискретной логики, но филологам, тем более бывшим, прощается и не такое.

Теперь Данила шагал вперёд, скользя невидящим взглядом по встречным, как по каменным ограждениям. Спустя десять минут блужданий он стал догадываться, что рынок имеет центральное ядро. На это указывала такая деталь: у его западной границы, со стороны Фермского шоссе, ряды, параллельные или перпендикулярные дороге, если и изгибались дугой, то исключительно с кривизной, предполагающей центр окружности в стороне железнодорожных путей, и наоборот — у железнодорожных путей дугообразные ряды указывали на северо-запад, в сторону Фермского шоссе. Если рынок действительно организован вокруг некоего центра**, кому как ни человеку с прозвищем Хан его занимать?

Существует такой способ прохождения лабиринта: всё время придерживаться одной стороны, левой или правой. Возможно, так бы Данила и поступил, если бы, во-первых, знал этот метод, во-вторых, всерьёз воспринимал окружающее как лабиринт. Двигаясь вдоль одной поверхности (преломляющейся, изгибающейся, не имеющей конца), пришлось бы проходить путями заведомо тупиковыми, посещать закутки бессмысленные и опасные и потратить на это уйму времени, а значит, обременить повесть излишними ответвлениями, коих и без того предостаточно, словом, хорошо, что Данила не знал этот метод и не воспринимал окружающее как лабиринт.

Я чувствую тяжёлый чей-то взгляд. Осознав своё мучительное положение, Данила поднял глаза, чтоб увидеть — видят ли его***. Небо по-прежнему оставалось пустым и бесцветным. Мысли принимали нежелательный оборот, размышлять о Боге в такую минуту, как, впрочем, и в любую другую минуту...

С платформы громко прозвенел звонок. Надо полагать, звенел он и раньше, но до сих пор Данила не замечал его. *Который теперь час?*

Некто выхватил Данилу из оцепенения вопросом: «Вы ищете книгу?»

— Фильмы, то есть диски с фильмами... — сказал Данила, приходя в себя.

— А зря... — мужчина предпенсионного возраста разочарованно щёлкнул языком.

Данила уже приготовился принять упрёки в адрес своего поколения, но упрёков не последовало. Мужчину отвлёк собутыльник, молодой и симпатичный, но с ленивым глазом: «Ну, давай уже, продай на двадцать рублей и пойдём!»

— Всё по двадцать! — сказал мужчина предпенсионного возраста и обвёл ладонью своё добро, помещающееся на табуретке: модельки, медальки и столовые ножи, никаких книг на табурете не было и в помине.

— А потом проводим, — добавил он, — нам по пути.

Данила вручил парню с ленивым глазом, которого про себя прозвал Полуповолочным, два червонца. Адекватная цена за работу двух провожатых. Выбрать что-нибудь из предложенного не смог.

— Какая яркая сегодня Венера, — переговаривались провожатые.

— Щиплет?

Данила был рад, что наконец-то стезя делалась прямой, цель приближалась, а попутчики, движимые желанием скорее приложиться к рюмочке, почти

*** Не жалею в духе «С» обременить повесть лишними ответвлениями, коих и без того предостаточно, словом, хорошо, что Данила не знал этот метод и не воспринимал окружающее как лабиринт.

** Общественный, но наш рынок с мелкими лавочками, не совсем рыночный с точки зрения масштаба. Имелся рынок с мелкими лавочками, но он не рыночный по масштабу.

не обращали на него внимания — вели беседы о небесных телах и погоде. Но уже начало темнеть и холодать, люди (Данила снова мог разглядывать их, не боясь отвлечься и заблудиться) неспешно собирали вещи.

Круглый шатёр, обтянутый полиэтиленом, нисколько не умалявшим его величия, возник внезапно, слишком внезапно даже для этого места. Вероятно, дело заключалось в неявных перепадах ландшафта, — наверное, шатёр стоял в низине, иначе совсем неясно, как до последнего ему удавалось скрываться от взгляда за палатками значительно меньших размеров. Когда Полуповолочный слабо улыбнулся и откинул прозрачную створку, пропуская во внутреннее пространство шатра, Данилу пронзило чувство узнавания, будто нечто подобное уже случалось совсем недавно и закончилось как-то трагически или даже зловеще. Миг спустя морок рассеялся.

Хан Бушлат сидел в центре помещения, окружённый немислимим количеством хлама, как то: картины в рамах, картины без рам, рамы без картин, кувшины, вазы, искусственные цветы, глиняная посуда, фарфоровая посуда, столовые приборы, портреты деятелей культуры и науки, книги, журналы, подшивки газет, бубны-барабаны-балалайки, медальоны, значки, детские игрушки, настольные игры, лыжи, лыжные палки (непарные), мячи всех видов и форм, велосипед (один-единственный), кое-какая мебель, фуфайки-шапки-шляпы, удочки, снасти и т.д., и т.п., и, конечно же, к великой радости, к величайшему облегчению, видеодиски.

— Чего здесь только нет, — как бы виновато подытожил увиденное Данила.

— Летом и грибы бывают, и рыба, и ягоды, если соседи по даче теряют бдительность, — ответил хозяин шатра, обаятельный светловолосый мужчина с намечающейся лысиной. — Ну а чего, три дочки на выданье — кручусь-верчусь.

— Ворьё — оно и есть ворьё, — сказал мужчина предпенсионного возраста, нащупывая, как вслепую, поручень лестницы, ведущей куда-то под землю. Полуповолочный, пропуская медлительного старшего товарища вперёд, водил пальцами по трубочкам и колокольчикам, подвешенным над прилавком с восточными безделушками.

— Идите куда шли! — Хан обиженно замахнулся на Полуповолочного трезубцем.

— Оккупировал единственный проход, теперь терпи!

— Это всё, что есть? — спросил Данила, стоя у прилавка с дисками, чтобы поскорее прервать притворную перебранку. Его слова задели Хана за живое.

— Разве мало?

— Но и не много. Нет, ну фильмы у вас — что надо, — искренне похвалил Данила, глядя в названия на боксах. Удивительно было обнаружить этот клад в таком месте.

Полуповолочный махнул рукой на прощанье и даже, кажется, попытался подмигнуть здоровым глазом. Он вслед за старшим товарищем скрылся в темноте лестницы.

Преодолённые трудности, как посчитал Данила, служили гарантом того, что сделка пройдёт без осложнений, на этот раз никто не станет его обманывать и уж тем более оглушать свистом и укладывать лицом в пол. Однако не мешало бы проверить товар, с чем он и обратился к Хану, который с пониманием и без лишних слов предоставил такую возможность: водрузил на стол перед Данилой портативный видеоплеер.

Диски были не то лицензионными, не то подделками высочайшего качества: голографические наклейки, оригинальные полупрозрачные упаковки с трёхлепестковыми держателями, яркая печать обложек и вкладышей. Наверное, где-нибудь украл. Причём недавно. Ну а чего хотеть? — три дочки на выданье.

В нагрузку к битком набитой китайской клетчатой сумке Хан Бушлат пытался сбагрить кубок из тибетского серебра, и Данила не без труда нашёл нужные слова, чтобы отказаться.

— Приятно было иметь с вами дело, — сказал Данила, расплачиваясь, потом добавил: — Простите, если не к месту, один вопрос... просто вы первый хороший человек, которого я тут встретил...

— Без проблем. В чём дело?

— Может, вы мне скажете, почему по Питеру ходят одни алкаши, бомжи и сумасшедшие? Один со стихами лезет, другой со сковородкой на голове, третий...

— Так вы днём гуляете?

— Ну.

— Ну так все нормальные днём на работе!

Хан Бушлат вызвал Даниле такси. Выяснилось, что лестница, уходящая под землю, которую, по выражению Полуповолочного, оккупировал Хан, ведёт в подземный переход, напрямую соединявший центральную площадь рынка с Фермским шоссе.

В подземном переходе показалась знакомая фигура. Из-за тусклого освещения трудно было разглядеть что-то кроме силуэта, но и одного этого было достаточно, чтобы узнать в приближающемся пешеходе Бориса Гребенщикова. Каких-то несколько минут сердце и разум находились в зыбком спокойствии и вот опять встревоженно забились, заклокотали.

Слова, откуда-нибудь должны прийти нужные правильные слова, и как можно скорее. Приветствие, простое приветствие, непринуждённое, но без нахрапа; я гитарист, здравствуйте, нужен ли вам гитарист? здравствуйте, слишком просто, без изыска, без загадки; желаю вам здравствовать? ну, это совсем... нет; а он всё ближе, идёт, как ни в чём не бывало; а может, мне застыть на месте? несколько дополнительных секунд; испугается, развернётся; постукивает тростью, ого, антикварная, резная, где-то здесь и приобрёл, где-то на Удельной; как ни в чём не бывало; он ведь видит, что я замедлил шаг? практически остановился, но нет, поглаживает бороду; и что я скажу, возьмите меня в группу? да с какой радости? да с какой стати? да с чего вообще Владислав решил, что я должен к нему подходить? но нет, нет времени, слово, какое-нибудь, как там здороваются люди, привет, ну привет, я пришёл к тебе с приветом, ну точно с приветом, нет-нет, вот-вот, хлоп-хлоп, хват-хват, а-а-а!

«Здравствуйте!» — услышал Данила собственный голос. «Моё почтение!» — услышал Данила голос Гребенщикова. «А правда, что вы купили проездной, чтобы смущать людей? Чёрт, не обращайтесь внимания, простите, у меня был трудный день, я несу что попало». — «Очевидно, что-то тяжёлое». — «Тяжёлое? Ах, это?! Да, ну, то есть нет, нормально. Простите, я так волнуюсь, потому что привык видеть вас с самого детства, ну, то есть не в буквальном смысле — по телевизору, и вот вы здесь, такой же, и я как будто знаю вас сто лет, а вы видите меня впервые и думаете, наверное, что за дурак, что ему нужно...» — «Почему же? У вас чистые глаза, я вижу. Вы?..» — «Ой! Данила, очень приятно». — «Знайте, что это взаимно, Данила. А вы откуда?» — «Я из Кемерова». — «Столица Кузбасса! Замечательное место, я бывал у вас не так давно». — «Простите, я не был на концерте». — «Не надо извиняться, бывает». — «Понимаете, ещё с общежития, ещё с университета, то есть я филолог, мы мечтали, что будем играть, мы с друзьями, что-нибудь авангардное, экспериментальное, что-нибудь из ряда вон, ну, как «Аквариум», но это я при вас говорю об «Аквариуме», вообще — «Поп-механика», «Звуки Му», помните, вот, хотелось что-нибудь... в общем, я гитарист, и мне сказали, вы можете послушать, может быть, что-то найдёте

в том, как...» — «Данила, это замечательно, музыка — это ведь особый способ познания бытия, и если в вас есть такая тяга, это замечательно. Могу только пожелать удачи». — «Нет! То есть, конечно, я не могу вас заставить и не хочу, да, по сути, это и не моя идея. Так что, конечно, я бы и не пристал к вам никогда в жизни, просто подумал, если бы вы послушали, как я играю, то есть как я *теперь* играю...» — «Ладно». — «Что ладно?» — «Убедили, показывайте». — «Сейчас?» — «А чего тянуть?» — «Но у меня нет с собой гитары». — «Дело ваше».

Борис Борисович, изобразив разочарование, качнулся в сторону, намереваясь обойти человека, перегородившего путь, и отправиться дальше — в шатёр Хана, а через него, вероятно, в какую-то другую часть рынка, где его ждут. Данила отпрыгнул назад, снова оказавшись перед Гребенщиковым, и выставил вперёд ладони. «Хорошо, я сыграю», — сказал он.

Данила переставил китайскую клетчатую сумку, чтобы расчистить воображаемую сцену, и пробросил через голову воображаемый ремень воображаемой гитары. Гребенщиков снисходительно улыбнулся. Установив левую руку так, словно она действительно держит гриф, и уже занеся правую руку для удара по струнам, Данила почувствовал себя глупее некуда. Если бы его визави воспринимал ситуацию иначе... но нет, это читалось во взгляде. Для обоих было очевидно, что намечается шутовство (кому позорное, кому забавное, но не слишком) и закончится оно неловким прощанием, не более. Совершенно измотанный этой короткой немой сценой Данила попытался опустить руки и вернуться к своим делам, но руки словно отпружинили от незримой опоясывающей сферы, разрастающейся из области живота, и вернулись к исходному положению. Борис Борисович тоже заметил этот противоестественный кульбит руками и выражение его лица резко переменялось. Данила снова попытался опустить руки, теперь уже приложив больше усилий, но всё повторилось. Откуда-то из сердцевины неспешно разрастающейся сферы доносились едва уловимые отзвуки далёкой древней мелодии. Ни на что не похожая, производимая неизвестным или навсегда утраченным инструментом, мелодия была как бы эхом самой себя. С каждой секундой она становилась отчётливее и громче. Медленно, поддаваясь архаичному ритму, Данила ощущал стенки сферы уже изнутри, они были эластичными, влажными и тёплыми. К этому моменту сфера поглотила всё его тело по шею. Вскоре выяснилось, что мелодия напрямую зависела от телодвижений Данилы. Перебирая пальцами, он создавал еле слышимое фоновое журчание высокого тона, покачивания туловищем давали подобный эффект, только звук получался глубже и интенсивнее. «Да, — услышал он собственные мысли, — подходит». Когда и голову Данилы поглотила сфера, музыка во всей полноте охватила сознание, вытеснив внутреннее «Я». Осталось только тело, скачущее на углях, извивающееся в ритуальном танце, растворившееся в непостижимой тёмной музыке. Музыке, которую сам танец и порождает. Вскоре сфера вобрала в себя и Бориса Борисовича. Мелодия сделалась мрачнее и агрессивнее, ещё многообразнее, ритмичнее и истеричнее. Казалось, одно мгновение — и стены перехода треснут от набирающей мощь музыки. Казалось кому?

Всё прекратилось так же внезапно, как и началось. Может, это и вовсе Даниле почудилось, однако сознание, вернувшись обратно в тело, нашло его удивительно лёгким и чистым, отдохнувшим и наполненным жизнью. Только горло горело, как после стакана водки с перцем.

— Вы знаете, что такое «мын»? — спросил ошарашенный Гребенщиков.

— Нет.

— Нет, вы знаете, что такое «мын»!

Борис Борисович протянул открытку с красивым готическим особняком и единственной надписью «Дом с Химерами»*.

- Вам знакомо это место? * Почему бы просто не написать адрес?
— Разберусь.
— Тогда ждём после обеда, думаю, найдём, чем вас занять.

Таксист, грузный кавказец лет тридцати, доставил Данилу на Ленинский проспект и отказался от денег. «У нас с Ханом свои счёты», — сказал он с неподражаемым акцентом и пожелал удачи.

Вечерний Юго-Запад Петербурга мало чем отличался от вечернего Кемерова — те же многополосные дороги, те же высокие фонари, те же клочки размытой земли вместо зелёного газона, такое же небо — без единой звезды. Пустынно и спокойно. Мокрый асфальт тротуара в золотом свете фонарей казался усыпанным камнями янтаря, а под неоновыми вывесками магазинов — раз уж взята высокая нота — усыпанным изумрудами, рубинами и сапфирами.

Тень собиралась под Данилой синим чётким пятном, вырастала и растягивалась по мере того, как он удалялся от источника света, расслаивалась и раздваивалась, когда он приближался к следующему фонарю, и снова собиралась под ним синим чётким пятном.

Тень проскользнула в каменный портал и сломалась, забираясь на керамогранитную стену дома.

Усталость вернулась в тело, неожиданно приятная, она перекатывалась из одной конечности в другую ртутными шариками. Сумка, из которой то и дело доносилось поскрипывание пластиковых боксов, была совсем лёгкой — отпусти, и она сама поплывёт рядом в воздухе.

Андрей, вероятно, задерживался. Данила перебрал диски, прибрался в квартире, сготовил овощное рагу, — друг всё не появлялся. Разглядывая библиотеку Андрея, которая более чем на половину состояла из книг, приобретённых ещё в Кемерове, Данила обнаружил множество своего рода закладок — засохших постельных клопов. Скорее всего, они поселились в книгах ещё в съёмной квартире молодых людей, а после их развода впали в анабиоз и умерли с голоду в этой ипотечной студии. Как Данила ни вчитывался в избранные насекомыми страницы, внятного предсказания не складывалось.

На местных телеканалах обсуждалась исключительно погода, специалисты прогнозировали частичное затопление города. Данила просидел перед телевизором не больше трёх минут — после встречи с клопами, пускай и мёртвыми, конечности зачесались, по животу и спине забегали созданные воображением кровопийцы, которых нужно было немедленно смыть.

Ванна набиралась медленно. Из крана шла слегка желтоватая мягкая вода. Мыло, пахнущее смолой и благовониями, как будто оставалось на теле невидимой плёнкой. Данила пристально и с большим интересом разглядывал своё обнажённое тело в непривычном свете: лампочка в ванной Данилы находилась под потолком, а в ванной Андрея сразу над дверью; разница незначительная, а тени ложатся иначе. Данила принялся размышлять о тенях, отбрасываемых статичными предметами комнаты, в которую не проникает солнечный свет, о тенях, которые, как приклеенные к полу, никогда не меняют своей конфигурации, но шум открывающейся входной двери не позволил додумать эту тревожную мысль.

Андрей раскладывал купленные продукты на столе: сыр, колбаса, газировка, пачка пельменей. Данила смущённо прошмыгнул к своей одежде, оставленной на полу у дивана, прикрываясь полотенцем. Только надев брюки, поздоровался с другом.

— Я овощей натушил, пельмени можно завтра...

— Знаю, знаю, — пожав плечами, ответил Андрей. — Я не ем такое.

— Какое — такое? Овощи?

— Голые овощи.

Каждый ел своё, думал о своём. После ужина Данила вкратце рассказал о намечающемся прослушивании и уселся перед раскрытой сумкой хвастаться приобретёнными дисками: извлекал боксы, показывал обложки, зачитывал аннотации. Для просмотра выбрали нашумевший блокбастер, но выключили его сразу же после претенциозного текстового пролога из «Откровения» про Книгу Жизни.

— Паразитирование на христианском мифе, — с досадой прокомментировал Андрей. — Как самим не надоело?

— Другое выберем?

Андрей отрицательно покачал головой. Он нажал кнопку открытия дисковод, подошёл к проигрывателю, извлек компакт-диск и, разглядывая его поверхность на свету, шёпотом произнес:

— Я планировал сегодня покончить с собой. Здесь, дома.

Данила молитвенно сложил руки и прижал их к губам, ничего не произнося. Взгляд его сделался пустым, но строгим, дыхание редким, но шумным.

— Весь день мерещилась эта кружка, — Андрей кивнул на стол и передал компакт-диск в руки Данилы, — с мерзко-зелёной кашицей, а рядом — гора пустых блистеров и конвалютов...

— Это что такое?

— Упаковки от таблеток. Пластиковые и бумажные.

— Слова-то какие.

Андрей смутился. Очевидно, он рассчитывал на другую реакцию.

— В любом случае уже по дороге я понял, что не получится. Твоими стараниями.

— Приехал, значит, тебе мешать, — сказал Данила, убирая компакт-диск в сумку.

— В ванной я бы не заперся — ты выломал ручку. А чтобы я сблевал таблетки, ты бы сунул мне под нос пропавший плов из мусорки. Это я по дороге только сообразил.

— Так надо было с балкона прыгать, — Данила постарался ответить предельно равнодушно и цинично, но мышцы лица задрожали, челюсть заходила ходуном, ноздри вздулись.

— Это кровь. Ты не знаешь, о чём говоришь, — Андрей отвернулся, делая вид, что ищет что-то в столовом ящике. — Пожалуйста, уезжай отсюда. Завтра же. Этот город тебя сожрёт.

— Я уже понял.

Больше в этот день никто не проронил ни слова. Расправляли постель молча, но слаженно.

Окна подрагивали от ветра, тени оживали, подхваченные светом молний, бились о потолок и стены и снова спутывались в мёртвое бесформенное месиво. Андрей лежал на спине, вытянув руки вдоль туловища, смотрел на люстру и шмыгал носом. Данила, отвернувшись, водил пальцем по бумажным обоям в тех местах, где они натягивались от комочков цементного раствора, его голова медленно растекалась по стене. Погружаясь в сон, Данила слушал шуршание своих волос.

День третий

Данила проснулся совсем рано после беспечного сна, который очень подкрепил его. Не сориентировавшись в кровати, он поспешил встать, но ткнулся в стену большим пальцем правой ноги, чем весьма себя развеселил.

Потягивание вызвало приятную боль в мышцах, а зевок — неприятную боль в горле. Голосовые связки были воспалены, голос пропал. В памяти разом вспыхнули два события минувшего дня: джем-сейшен в подземном переходе с Гребенщиковым и разговор с Андреем о самоубийстве; две противоположные эмоции — радость и тревога, наложившись, взаимонейтрализовались.

За окном сильно шумел ветер, снег и туман заполнили всё видимое пространство. Если бы местный пейзаж был лучше знаком Даниле, он, возможно, сумел бы ухватиться взглядом за еле заметный угол соседнего дома, за фонарный столб, прямую проспекта и достроить в воображении остальное, но сейчас создавалось ощущение, что квартира, в которой он находится, за ночь перенеслась в небытие.

В шкафу с посудой нашёл маленький ковш, вполне пригодный для варки молотого кофе. Вчерашнее рагу Данила залил яйцами с молоком, обжарил. Завтракал он с большим наслаждением, насвистывая под нос мелодию «Вальса цветов», которую так хорошо усвоил за время поездок в лифте.

Причесался, надушился, оделся в чистое. Посмотрелся в ростовое зеркало и впервые за долгое время понравился себе. В прихожей на полке для ключей его ждал жёлтый конверт с ярко-красным восклицательным знаком. Данила заглянул внутрь — несколько голубых купюр и письмо. «Лишь бы список продуктов», — пронеслось в голове.

Милый мой друг, мой Даня!

Это деньги на билет до Кемерова, я узнавал, должно хватить. Пожалуйста, поезжай на вокзал, нигде не задерживайся и ни с кем не разговаривай, садись на поезд, уезжай из этого проклятого города. Ты ведь нашёл то, что искал, тебе незачем здесь находиться, ведь так?

Жалкие деньги — всё, что я могу предложить, но я правда не знаю, как спасти тебя, как заместить собой тебя. Вчера после работы я впервые в жизни исповедовался. Огонь, знаменующий угодность жертвы, не сошёл. Видимо, я как тот школьник, что, складывая два и два, получает двадцать два, — не понял правил.

Всё, о чём я мечтаю, — не получить сегодня о тебе никаких вестей, остаться в полном неведении о том, что ты выбрал. Но решать, к сожалению, тебе.

Не пойми, но доверься.

Твой А.

Данила вернулся в комнату, оглядел свои сумки: китайскую клетчатую с дисками и дорожную с вещами. Выругался на себя, что набрал столько одежды и обуви, будто собирался на несколько месяцев. Оторвал сумки от пола, прикидывая, сможет ли ковылять с ними весь день, пока не найдёт себе угол.

— Беги! — сказал Даниле его внутренний голос.

— Куда же бежать? — спросил его Данила. — Без паспорта я даже билет не куплю.

— Беги! — повторил голос.

— Если Андрею настолько неприятны мои удачи, неприятна моя компания,

что он выпроваживает меня, притворяясь сумасшедшим, это не значит, что я должен уезжать из города. Достаточно съехать с его квартиры. Вчера он говорил о самоубийстве, сегодня об исповеди...

— Он любит тебя.

— Он сказал, что плов помешал ему покончить с собой!

— Хм, действительно...

Другие вопросы: оставаться ли в городе или немедленно уехать, сходить ли на прослушивание к Борису Борисовичу, оставлять ли вещи в доме Андрея или брать с собой, решились сами: оставаться, сходить, оставлять до вечера. Рядом с деньгами из конверта Данила положил записку: «Тебе ещё платить ипотеку».

В квартире сделалось неуютно. Вернулось чувство, будто за Данилой наблюдают — не то родственники Андрея с фотографий, не то индийские статуэтки с полок, не то соседи через отверстия в розетках и дверной глазок — наблюдают, поторапливают, гонят из дому. Как младенец делает первые шаги — не потому, что где-то его ждут дела, — так и Данила, накинув ветровку и положив открытку с «Домом с Химерами» в нагрудный карман, решил пуститься в дорогу.

В окне по-прежнему транслировали белый шум. Выходя из квартиры, Данила был готов не увидеть там ничего, кроме слепящей белой пустоты, но нет — взгляду предлагался морковного цвета коридор, по обе стороны утыканный металлическими дверьми, заканчивающийся лифтовым холлом. Духоподъёмная пьеса из «Щелкунчика» играла из динамиков в потолке лифта и действовала на нервы.

На улице творился настоящий кошмар. То небольшое, что удавалось разглядеть в тумане, вселяло ужас. Дорожные знаки вертелись как флюгеры, усы троллейбусов перекручивались, с треском и искрами обрывая провода, пластины рекламных щитов сыпались на проезжую часть. У площади станции вырванный ветром светофор перекрыл тротуар, но продолжал светить вхолостую. В подземном переходе, ведущем к метро, газеты и листовки кружились, как неведомые птицы.

Голос диспетчера объявил о закрытии станций «Василеостровской», «Приморской» и «Спортивной». Ожидające поезд на платформе только и говорили о последствиях шторма и угрозе наводнения.

Переполненный вагон возник внезапно, будто материализовавшись из царства теней. Представшая перед Данилой ожившая фреска в стекле, обрамлённая задубевшей чёрной резиной, вполне соответствовала его представлениям об аде. Пассажиры в неестественных позах вжимались в поручни, задыхались, беззвучно стонали. Возмутительней всего было видеть людей, умудряющихся в этих обстоятельствах читать газеты и книги. Человеческий поток поглотил Данилу и вложил в самую сердцевину вагона. Поезд тронулся.

— Контрабандист! Пират! — послышалось откуда-то сбоку. Сердце Данилы оборвалось. Приложив немало усилий, он обернулся на голос.

— Десять букв, пятая — «у», — продолжил выкрикивать в толпу безобразного вида мужичок, похожий на врубелевского сатира, с тем лишь отличием, что у него отсутствовали рога, а вместо флейты он держал в руке журнал сканвордов.

Данила облегчённо выдохнул.

— Флибустьер! — ответил кто-то сатиру, перекикивая скрежет колёс.

Вагон сильно болтало. Одной рукой Данила вцепился в поручень над головой, второй упёрся в окно. Слева от него стоял мальчик в зелёном дождевике с квадратным школьным рюкзаком на груди и совсем ни за что не держался: сноровки хватало

балансировать на широко расставленных ногах. Сидящий перед ним мужчина, тощий, как скелет, и пучеглазый то и дело передавал в свободные руки мальчика блокнот и ручку. Сперва Данила подумал, что кто-то один в их паре глухонемой, а второй не знает язык жестов, но едва эта мысль возникла, мужчина вопросительно произнес: «Ножками побежал?», возвращая блокнот, и мальчик безрадостно кивнул в ответ.

Сатир снова обратился к пассажирам.

— Демон в индуизме!

Ему не ответили.

— Ну же, господа петербуржцы!

В его голосе отчётливо угадывались напускной азарт и неприкрытая насмешка над окружающими. Сатир, с ногами забравшийся на сиденье и потому занимающий полтора места, очевидно наслаждался положением своего тела и внутренней свободой.

На станции «Кировский завод» в вагон утрамбовался целый класс подростков. Учительница громко возмущалась, пытаясь как-то скоординировать их перемещения, но дети разбрелись по всем углам, не слушая её и даже больше — всем видом давая понять, что её власть не распространяется на них вне школы. Девочка с двумя косами, бедно и неряшливо одетая, прижалась к правому плечу Данилы, достала плеер и как бы невзначай принялась крутить его в руках, включая то радио, то часы, то диктофон.

— Ты пытаешься отсрочить неизбежное! — сказал пучеглазый мужчина, передавая блокнот мальчику, и как-то безумно улыбнулся. Сама-то улыбка была обыкновенной, но глаза, выпученные, как при базедовой болезни, любой эмоции сообщали оттенок безумия. Мальчик пожал плечами и погрузился в записи.

Данилу подвинул чуть вперёд и вбок тучный мужик с хвостом и в кожаной куртке. Виноватое стыдливое выражение его лица никак не сочеталось с брутальной внешностью. Он навис над девочкой с плеером и, казалось, моментально заснул.

Невозможно стало ни повернуться, ни вздохнуть — толпа объяла, будто намереваясь выдавить из Данилы жизнь. В давке, духоте, рокоте и гомоне навязчиво и будто злонамеренно разворачивалось по пяти направлениям нечто драматическое, затекая отовсюду и полностью заполняя узкое поле внимания. Оттесненное сознание пульсировало где-то в конечностях, то вспыхивая, то угасая, и каждая новая вспышка была слабее предыдущей.

— Обрадую тебя ходом аш-пять! — сказал мужчина, делая отметку в блокноте.

«Играют в шахматы», — раздалась мысль Данилы уже откуда-то извне его самого. Мысль, даже не мысль, а догадка, но и никакая не догадка, а загадка: каким образом двум попутчикам, не имея доски и фигур, удаётся проводить партию, — загадка эта содержала в себе какую-то живительную силу и удерживала сознание Данилы неподалёку от тела. Рисунок доски? Вырезанные фигурки?

Взор заслонили взаимопересекающиеся чёрно-белые бумажные пластины с нарисованными детской рукой пешками, ладьями, конями. Куда бы ни поворачивался Данила, картинки тянулись за взглядом, как плавающие мушки, скользящие по поверхности глаза. Фигуры отлипали от плоскостей, поднимались, как в книжке-раскладушке; покинутые пластины плотно переплетались в косы девочки с плеером, их вдыхал, закатывая глаза, мужик в кожаной куртке. «Вечный шах! Вечный шах!» — говорил жёлтый скелет мальчику и двигал кривого серого ферзя по всему вагону. Мальчик неожиданно низким голосом отвечал: «Этот слон неактивен! Это мат в один ход!», но скелет сильнее прежнего пучил глаза и кричал: «Ну не пойдёшь же под шах?!» Этот шах душил. Он не был воплощён во что-то материальное, вроде промасленного шёлкового платка, окропленного водой из Невы, нет, но душил. Сил на то, чтобы

зататься вопросом: почему возник образ платка, уже не оставалось. Шах нависал над Данилой, как мужик с хвостом нависал над девочкой с плеером. Школьники сталкивались лбами, как разномастные обездвиженные пешки, рубящие только по диагонали. Данила переставил руку, которой упирался в стекло, и освободил именно тот фрагмент поверхности, в котором отражалось лицо девочки, одетой так бедно и так неряшливо. Лицо девочки больше не выражало детской хвастливости дорогой игрушкой, оно выражало то, что не должно выражать лицо ребёнка. Мужик с хвостом тёрся о её шерстяную юбочку, касался её бедер, дышал ей в ухо. «Это поле простреливается!» — «Твой слон прикрывающий! Он не может ничего простреливать!» Сатир поднялся обоими копытами на сиденье и, размахивая журналом, просил внимания: «Господа петербуржцы! Есть ли среди нас знаток киноискусства?» Мальчик швырнул в жёлтого скелета блокнот и, начав басом, моментально перемахнул в скрипящий фальцет: «Сожри моего короля, раз такой умный!» Поезд беззвучно сошёл с рельс и поплыл по стене тоннеля, света в вагоне становилось всё меньше, звуки стихали, пространство всех чувств заполнила густая темнота, и только вопрос сатира успел догнать сознание на излёте: «Последний фильм Тарковского?»

— Жерт-во-при-но... — просипел Данила, открывая глаза.

«"Площадь Восстания". Следующая станция — "Чернышевская"». Данила полулежал на сиденье, не помня, как проехал пять станций. Он огляделся — состав пассажиров сменился полностью, стало значительно просторнее. На его неразборчивое сипение никто не обратил внимания, видимо, приняли за пьяного.

В последнюю секунду перед закрытием дверей в вагон вскочила рыжая дамочка в очках и уселась перед Данилой. На дамочке был небесного цвета плащ и телесного цвета шарф, завязанный галстуком. Она покачивалась, зажав руки коленями, и восстанавливала дыхание после вынужденной пробежки на каблуках.

«Попала под дождь», — ещё отрешённо, но уже возвращаясь в себя, думал Данила, глядя как с её рыжих волос на плечи падают капли. Это зрелище было вознаграждением за перенесённые мытарства поездки. Глубокий сон подарил прекрасную невесту. Какая милая дамочка! И эти светлые карие глазки за чёрной оправой...

— Вы так смотрите, у меня шоколад на щеке?

Данила, застигнутый врасплох, инстинктивно замотал головой, мол, нет — ничего особенного — и шоколада нет, и я совсем не смотрю, а если и смотрю, то совсем не *так*. Но шоколад был и, разглядев, наконец, его, Данила сменил движение головы и радостно закивал. Получилось нечто совсем уже странное, поэтому дамочка потупилась. Несколько секунд нерешительность блуждала по её лицу, затем, не выдержав, дамочка пересела к Даниле.

— Так есть у меня что-то на щеке или нет?

— Есть, — просипел Данила и тут же схватился за горло.

— Ой, — сказала дамочка и сочувственно прижала ладонь к своей груди. Затем она наклонилась и подняла с пола блокнот, лежавший всё это время, как оказалось, у ног Данилы.

— Ваш?

Блокнот почти полностью был исписан шахматными нотациями. Последняя партия завершалась так: «Cc5:Kpg1 Фd5:Kpb5». Данила не мог увидеть мысленным взором доску, расположение фигур, но мог представить сложность и неоднозначность возникшего в игре положения по тому, с какой яростью, нажимом записаны эти ходы.

— Что там у вас? — спросила дамочка, заглядывая в блокнот и подавая шариковую ручку.

— Кажется, королей съели, — просипел Данила и от напряжения и боли на его лбу выступил пот. Потом догадался воспользоваться ручкой.

«Шоколад на правой щеке», — написал Данила.

Дамочка посплюнявила большой палец, вытерла шоколадный след.

— А хотите, доиграем? — спросила дамочка. — Без королей начинается самое интересное!

Данила рассмеялся сквозь боль, и дамочка рассмеялась с ним. После минутного молчания она поблагодарила за помощь и хотела уже было отсесть на прежнее место, но Данила задержал её. Он достал из кармана открытку и написал: «Где это?»

— Красивый дом, я такой не видела, но, наверное, где-то в центре, — дамочка замолчала, анализируя свои слова. — М-да уж, подсказочка так себе.

Даниле очень хотелось рассказать, в чём, собственно, дело, что в Доме с Химерами известная личность ждёт его сегодня на прослушивание, но писать длинное предложение, писать под взглядом, подбирать слова, избегая тех, в которых можно сделать ошибку, было неловко и боязно.

— Шахматы не глядя — высший пилотаж, это похвально. Наверное, вы очень умный?

Данила растерянно улыбнулся.

«Может, встретимся как-нибудь?» — написал он.

— Ну, сегодня пятница. Можно и выпить.

«Бар?» — от радостного волнения Данила не смог написать более развёрнутое предложение.

— Не люблю бары... А что если мы возьмём по пиву и прогуляемся в парке у меня на «Лесной»?

— Здорово!

— У вас есть мобильный?

Данила отрицательно покачал головой.

— А как же мы?.. Хорошо. Я буду ждать вас на выходе «Лесной» в шесть тридцать, договорились?

Вдруг Данила вспомнил, что в кладовой на Загородном проспекте его ждёт тяжёлый чемодан. Он вспомнил, как вчера с таким трудом волочил его по городу, как застрял меж планок турникета. Лёгкая паника охватила его. Данила ударил ладонью по лбу, поднял указательный палец — один момент — и принялся записывать: «У меня будет тяжёлый чемодан. Боюсь, он испортит нам прогулку».

— Никакой проблемы, — сказала дамочка. — Зайдём ко мне, оставим там. А если погода не поправится, так можно будет и самим остаться дома. Так даже лучше.

Данила просиял.

— Интеллектуально развитый, — она показала на нотацию, — молчаливый мужчина. Как же от такой компании можно отказаться?

Распрощались на станции «Лесная», дамочка, едва ли более чем на пять лет старше Данилы, пошла к эскалатору, Данила, проводив её взглядом почти до самого верха, зашагал к платформе в обратную сторону. Под громохание колёс он перечитывал свои реплики, припоминая ответные, не веря своему счастью.

Парень с кепкой поверх банданы и в мешковатой одежде, глядя на протянутую открытку, разулыбался, обнажив брекеты, и сказал: «Вам на “Пушкинскую”».

Ответ Данилу порадовал — в раннем выезде наметилась запоздалая логика: перед прослушиванием, которое, оказывается, будет проходить где-то неподалеку от дома Владислава, можно будет заглянуть в тайник, проверить, наконец-таки, содержимое чемодана и, в случае удачи, вернуться за ним до вечера. Многого ждать не нужно — возможно, диски и вовсе такие, что не стоит обременять себя ими, но нет — на Уделке люди умудряются торговать вещами ещё более никудышными; но эти соображения лучше оставить незавершёнными и вернуться к ним уже после прослушивания, ведь если оно пройдёт успешно, — и видеопрокат, и Кемерово останутся в прошлом; всё-таки желание лучшей, интеллектуально и культурно насыщенной жизни, пора бы уже себе в этом признаться, и подтолкнуло к поездке в северную столицу, остальное было лишь предлогом. Обдумывая, как вернуть ключи от кладовки владельцу, Данила внезапно осознал, что его экземпляр наверняка не единственный, а значит, Владислав, человек столь непредсказуемого поведения, способен похитить чемодан из одной только тяги к вредительству. Господи! И как можно быть таким легковерным?

Поднимаясь на эскалаторе, длинном, как час перед казнью, однако лучше употребить другое сравнение, — например, длинном, как лестница Иакова, имея в виду, конечно, ту её часть, которую не мог видеть святой праотец во сне, часть, соединяющую подземелье и землю, так вот, поднимаясь, на встречном эскалаторе увидел Данила приобнявшихся женщину и мужчину, которых видел прежде — в первый и второй день: на перроне «Лиговского» и в ногах классика соответственно, узнал их, и они, судя по широким беззубым их улыбкам, тоже узнали его. Они спускались на заработки, о чём свидетельствовали картонные таблички в руках: «На операцию...», «На водку». Мнительность проснулась в Даниле — разве бывают такие совпадения? — в городе-миллионнике встретить порознь двух человек, а затем встретить их вместе, — но вид этой счастливой четы, их неподдельная радость, успокоили. Опустившихся людей, обитателей социального дна, — размышлял Данила, — гораздо меньше, чем людей обыкновенных, они сбиваются в группы, образуют пары, вот и выходит, что не такое уж это и совпадение, и нечего столько об этом думать. Гораздо уместнее было бы поразмыслить о друге, о его положении и состоянии, о странностях, которые с ним происходят или которые он, так уж и быть, разыгрывает, но ведь не может делаться такое на ровном месте... И только нащупалась эта безусловно нужная правильная тема для обдумывания, как эскалатор, казавшийся бесконечным, иссяк, а значит, впереди — за турникетами, вестибюлем, тамбуром — поджидали уже другие, более насущные вопросы.

Ветер усилился, дождь перестал. Туман, если он и спускался в этот день на центр города, отступил, но только для того, казалось, чтобы не заслонять беспорядок, учинённый погодой. Распотрошённые рекламные тумбы, перевёрнутые мусорные урны, покосившиеся автобусные остановки удивляли, но не касались приподнятого милой дамочкой настроения. На пересечении Гороховой и Загородного проспекта было смято металлическое ограждение, возле него на асфальте рассыпалось голубыми кристаллами чьё-то лобовое стекло, более крупные обломки, видимо, были удалены.

Выгнанные из земли вибрацией дождевых капель черви заполнили весь тротуар — они, потерявшие розовость, выцветшие в воде, тянулись друг к другу, путались, завязывались в узлы, вяло шевелились в лужах. Многих перетоптали ещё до Данилы, некоторых раздавил он — ненароком, — обходя одних, случайно наступая на других.

На улице было немногочисленно, но, как бы в подтверждение того, что город принимает Данилу, он снова встретил знакомых: Полуповолочного и его старшего

товарища. Раскланялись. Вообще, прохожие, не все, но многие, глядели на Данилу в упор, глядели приветливо и одобрительно. Он связывал это с тем, что сам лучился радостью. Какова сила влюблённости! Даже самая пустячная и мимолётная влюблённость способна примирить и с непогодой, и с расстроившейся дружбой. Да и можно ли, в самом деле, считать дружбу с Андреем расстроившейся, ведь стоит Даниле съехать куда-нибудь — в гостиницу или коммунальную комнату, — Андрей перестанет валять дурака, и отношения наладятся? «Вероятно, — думал Данила, — друг, не имея возможности побыть с собой наедине, становится раздражительным, вероятно, именно это и стало причиной их развода с женой».

По дороге к дому Владислава, а дорога от метро заняла десять минут, Данила увидел следы ещё двух автомобильных аварий. Значит, сообразил он, туман всё же опускался в этот день на центр города, и был он таким же плотным, как и на Юго-Западе. Можно только вообразить, что творилось на междугородних трассах, если по упущению администрации области они оставались открытыми. И поезда, скорее всего, не ходили, и самолёты не вылетали. Вдвойне глупым и бессмысленным показалось Даниле предложение Андрея покинуть город.

Навесной замок был всё тот же, что обнадёживало; тыр-тыр-тыр — урча, погрузился ключ в скважину, будто сложился телескопической антенной, бряц-бряц — откинулась запорная дужка, и-и-и-у — со скрипом распахнулась дверь кладовки. За сутки небольшое помещение — квадрата три — насмерть пропахло мочой и разложением. Чемодан был на месте, и запах, уже слышимый в первый день, разумеется, исходил из него. Выставив чемодан из кладовки на свет, первым делом Данила собирался проверить содержимое, но, едва коснувшись защёлки, почувствовал на себе взгляд, и не один. Ещё бы — в тихом дворе-колодце на чужака, копошащегося внизу, открывается обзор из сотни окон по трём фасадам. Данила переводил взгляд с одного окна на другое, и всё казалось, что не поспевал на долю секунды: вон мелькнула чья-то тень, а вон зашевелилась штора, но прямого подтверждения своему ощущению он не обнаружил.

Под пускай только гипотетическим, но взглядом, рассматривать контрафактные диски Данила побоялся — уволок добычу в тёмную арку. Это место тоже оказалось непригодным: в скудном освещении невозможно было бы оценить качество дисков. Но диски ли там? Этот вопрос, наподобие вопросов «выключил ли я электрическую печку?» и «закрыв ли я дверь?», вызвал закономерную досаду: «Как можно было не проверить?» Но не удивительно: вчера Данила торопился расстаться с грузом, доставившим столько неудобств, он пережил предательство от верного инструмента, пережил обретение новой музыкальной гармонии, ему была обещана вторая встреча с кумиром юности, да и, в конце концов, Данила никогда не мог похвастать внимательностью и последовательностью. Ну, забыл и забыл. Но, опять же, вчера в чемодане могло находиться что угодно, и пускай сам чемодан, как и вонь, из него исходящая, были всё теми же, это отнюдь не гарантировало, что Владислав не подменил содержимое.

Данила сел перед чемоданом, откинул защёлки и вложил пальцы в разверзшуюся щель. За металлическим ограждением на Загородном проспекте проходили люди, и все без исключения заглядывали в арку. Это Даниле, находящемуся под каменным сводом, было тяжело разглядеть собственные ладони, прохожим же на просвет был прекрасно виден молодой человек, сидящий перед какой-то таинственной коробкой. Данила, как бы заглядывая в своё ближайшее будущее, отстоящее от настоящего на

несколько мгновений, увидел, как наугад опускает руки в непроглядную темноту открытого чемодана и не находит дна. Ну уж нет, — задвинув обратно защёлки, он поднялся, нащупал ручку чемодана и вышел на свет.

Вместе с Данилой на Загородный проспект вышел дождь, который пробыл дождём только несколько минут, после чего превратился в ливень. Нужно было скорее найти Дом с Химерами, и уж там в каком-нибудь светлом пустом, как загадывал Данила, помещении, отлучившись якобы в туалет, а может, действительно в туалете, проверить содержимое чемодана. И нет ничего подозрительного в том, чтобы появиться с ним на пороге студии, — мало ли что за инструмент таскает музыкант с собой в несуразном дурно пахнущем футляре. Ведь и вчера, Гребенщиков может припомнить, была с ним сумка, такая же по объёму. Может, в чемодане, как в сундуке Кощея, хранится Данилин музыкальный гений? Такая вот вырисовывается деталь образа: одним козлиная бородка и восточные перстеньки, другим горб и блестящие пиджаки, третьим — громоздкий потрёпанный кожаный чемодан. Всё будет в порядке, — уговаривал себя Данила и в обещание светлого недалёка воображал прекрасную дамочку с карими глазами за чёрной оправой. Выходило не слишком убедительно. Этот приём, срабатывающий каких-то двадцать минут назад, вдруг утратил силу.

Жестами Данила обратился к молоденькой некрасивой женщине, показал открытку, заслоняя её от дождя воротом ветровки.

Женщина фыркнула от возмущения, что к ней, а точнее — именно к ней, обратились, даже не взглянула на открытку, но сказала:

— До пяти углов, а там налево, — и махнула рукой не то указывая направление, не то посылая к чёрту.

Пять углов на то они и пять углов, что «налево» можно свернуть на две разные улицы. Не успел Данила озадачиться, как к нему, будто того только и дожидаясь, подскочила большая разношёрстная компания, и все, один больше другого картавя, принялись разъяснять дорогу. «Какая-то логопедическая группа», — думал Данила, вполуха слушая их перебранку.

— Чегез Ломоносовскую!

— Нет, это надо идти по Губинштейна!

— А я тебе говою, по Ломоносовской быстрее!

— Вот давай поспогим!

За шиворот затекали струи воды, Данила сутулился, прижимал голову, чтобы хоть сколько-нибудь затруднить попадание влаги под одежду, но без толку — дождю будто бы было мало замочить его всего опосредованно, через ткань, — он будто бы стремился напрямую к голой коже. Нечто подобное, видимо, испытывали некоторые на Рубинштейна, но они, в отличие от Данилы, не сопротивлялись стихии: обнажившись до нижнего белья, мужчины и женщины бегали по улице, кричали, хохотали и купались в лужах.

Половина логопедической группы пошла за Данилой, вторая половина, по-видимому, отправилась туда же — к Дому с Химерами — по Ломоносовской, кто быстрее. Сзади доносилось: «Ты вообще местный?», «Да я когенной! Когенней некуда!»

Чемодан тянул к земле, разделить радость окружающих не получалось, хотя Данила и предпринимал попытки: снова вспоминая прекрасную дамочку, далее — представлял фурор, который произведёт своим выступлением на прослушивании, если удастся повторить вчерашнее — впасть в то же мистическое состояние, и ещё

дальше — воображал лицо Андрея, спокойное, улыбающееся, одобрительное. Ведь разве может Данила оставить друга, выбившись в свет? Нет, его удачи — это удачи Андрея. И вот тут-то, на этой-то мысли и догнала его отступившая было тревога, не позволившая разделить радость окружающих. Вчера друг говорил о смерти — о страшной смерти, — о преднамеренном лишении себя жизни, а Данила, и это уже не оправдать рассеянностью и непоследовательностью, не повёл и бровью. Вместо того, чтобы обговорить всё как следует, разобраться, вмешаться, не пустить из дому друга — какая, к чёрту, работа в таком состоянии? — Данила уснул крепким безмятежным сном. И вот она, смерть, — понял Данила, взглянув, будто впервые, на чемодан. Та самая смерть, которую искал Андрей. И она всегда была здесь, — осознал Данила.

Дождь усилился. Казалось, куда уж сильнее — вода и так переливалась через поребрик с автомобильной дороги на тротуар, но нет — нашлись резервные силы. Чемодан тянул к земле, но Данила чувствовал, что и земля — не конечный пункт его устремлений: он утягивает глубже, в тоннели метрополитена, а оттуда — совсем пустяк — рукой подать до ада.

— Ну, это уже перебор! — обратился Данила к внутреннему голосу.

— Ты знаешь, что я прав.

— Всё ведь хорошо: меня ждёт женщина, ждёт новая жизнь. Я на пике. А с Андреем мы всё утрясём, не маленькие.

— Небольшие радости для того только и даны были, чтобы горче принял ты свою участь.

Помолчав, Данила согласился:

— Чувствую, что ты прав.

— Ну, вот и славно, — ответил внутренний голос и удовлетворённо смолк, будто признания только и добивался всю жизнь, а добившись, потерял интерес к собеседнику.

— Чего это ты?

— Мне пора собираться.

Прохожие, не все, но многие, глядели на Данилу прямо, ухмылялись, «Мне туда?» — «Туда, туда», похлопывали по плечу и ободрительно кивали. С лица Данилы давно уже пропала влюблённая улыбка, нечего им быть такими приветливыми... Девушку, которая прошла мимо, не обратив на Данилу внимания, он догнал, остановил и показал ей открытку, уже не пряча её от дождя. «Не припомню такого здания в Петербурге». Бумага размокла и по пальцам Данилы потекла грязно-коричневая краска. Раз он попытался оставить чемодан на крыльце перед рестораном, но его окликнули картавые: «Молодой человек, вы обгони!» Намереваясь оторваться от преследователей, Данила свернул в сторону Фонтанки и побежал — быстро, не жалея сил. Он задумал сбросить чемодан в реку, но на набережной — какая неожиданность — встретил вторую часть картавой группы. В их толпе Данила заметил пополнение, и снова — знакомые всё лица — милиционер и торговец из проката на Боровой.

Данила шагал в сторону Невского проспекта без единой мысли. Чайки, сидевшие вдоль реки на перилах и гранитных тумбах, по очереди взлетали, когда Данила проходил мимо, переносились чуть вперёд по ветру, присаживались обратно на перила и гранитные тумбы и снова взлетали, когда Данила проходил мимо — не то чурались, не то провожали на эшафот.

Он дошёл до Аничкова моста, встал под скульптурой — под поверженным юношей и вздыбленным неподкованным конём, горько бы усмехнулся от такого совпадения, но силы разом покинули его. Показалось, что если бы удалось прямо

сейчас заснуть, усилием воли можно было бы проснуться в поезде, подъезжающем к Московскому вокзалу три дня назад, а лучше — проснуться в своей кемеровской квартирке с прокатом в передней, никогда не совершать этой странной поездки, не знакомиться с этими странными людьми, не видеть этого странного города. Чемодан выпал из рук на мостовую навзничь — крышкой вверх, оставалось только открыть защёлки и откинуть её. Прежде чем сделать это, Данила осмотрелся по сторонам. Невообразимое количество людей сновало туда-сюда, и одному Богу было известно, что у каждого на уме: кто оказался здесь в эту минуту случайно, а кто намеренно — лицезреть публичную казнь, ритуальное жертвоприношение. Ведь и вина была при нём — равнодушие и гордыня в отношении друга, и невинность была — до двадцати семи лет Данила прожил в целомудрии — не специально — так получилось. И, конечно же, можно было обвинить его в краже, но этим следует пренебречь, ведь что получается — и объект, и возмездие в одном предмете? — это уже нечто из области притч.

Вот он — Невский проспект, воспетый Гоголем, вот она — сонная артерия Петербурга, самый что ни на есть центр города. Надежда, да что там, всё-таки нечто на границе надежды и уверенности — не убьют в самом центре среди бела дня — это вот самое нечто побудило скорее покончить с начатым. Данила открыл чемодан на глазах у сотни людей. В чемодане, сложенная вдвое, лежала старуха, вся с головы до пят облачённая в чёрное. Узнать её не составило труда, и речь не о том, что первого дня Данила видел её спящей на стуле у окна в видеопрокате — за дряхлым телом скрывалось существо иного порядка — пиковая дама, старуха-процентщица, старуха с часами без стрелок — вечная, как и всё сотворённое однажды, мёртвая, как и всё, сотворённое словами.

Данила вгляделся пристальнее, чтобы уверить себя в том, что опасность, какая есть теперь, носит исключительно уголовный характер. Закрытые веки старухи казались плоскими, будто за ними не было глазных яблок, сухой рот был перекошен, над ним темнели старческие чёрные усики, шёлковый платок с еле различимым растительным узором сбился набок, обнажив бесцветные залысины на лбу и темени, по бледной костистой руке ползла муха, не решаясь взлететь.

Вода вышла из берегов Фонтанки и истоплённо билась о подошвы, о стенки чемодана. Рядом со старухой в чемодане лежали два предмета: пачка сигарет и книга. Вот так поклажа в загробный мир! А может, старуха была ещё жива, когда я украл её? — спросил себя Данила, но ответа не последовало. Пачка сигарет Данилиной любимой марки подтолкнула к другому, более мрачному выводу: содержимое предназначалось одному ему, будто последнее желание уже было озвучено, приговор вынесен и орудие казни ожидало своей очереди. Данила подцепил оба предмета одним движением и отвернулся от ветра, чтобы прикурить, чемодан остался за спиной. Он пролистал книгу, нехотя замечая своё имя на каждой странице. Вперёд из толпы, наблюдающей за Данилой, выступили два узбека в флуоресцентных жёлтых жилетах, с носилками, будто уже совершилось то, что должно совершиться. «Данила, нет!» — откуда-то издалека донёсся крик, но Данила не нашёл кричащего взглядом — его, видно, сбили с ног.

Сигарету приходилось прикрывать от дождя ладонью. На страницы падали капли, они, страницы, вздувались и коробились. Данила пролистал книгу в конец, нашёл нужный абзац, нужную строку — эту самую — и с ужасом прочёл собственные мысли с листа: «Я — свободный человек, вольный поступать как угодно и когда угодно,

на каждой странице, в каждой отдельно взятой строчке мог свернуть с намеченного кем-то, не мной, пути — достаточно было задержаться у какого-нибудь прилавка минутой дольше, но нет — как деревянный болванчик, как заколдованный, я думал, говорил, поступал слово в слово с написанным, чтобы оказаться здесь — в этой точке, с этой книгой в руках, пожирая букву за буквой, приближая свою кончину».

Он потянулся, чтобы сделать ещё одну затяжку — вторую с тех самых пор, как закурил, но весь табак истлел. Пепел обвалился на пальцы. Данила почувствовал противный привкус жжёного фильтра и уронил бычок в лужу.

Под одеждой мокрой спиной Данила почувствовал и одновременно — прочёл, что почувствовал чьи-то тёплые ладони. *Его худые пальцы*. Сделалось, наконец, ясно, кому они принадлежат. Вглядевшись в страницу — через строки, поверх строк, этих самых — как сквозь мутное стекло увидел Данила равнодушный, но уже хорошо знакомый чей-то взгляд. И этот кто-то увидел Данилу.

За спиной, и не нужно было оборачиваться, чтобы это знать, начала шевелиться старуха. Первой из чемодана показалась голова, чёрный платок от движения сполз с лысеющего затылка на шею. Костлявая рука, показавшаяся во вторую очередь, стянула платок и швырнула в лужу перед чемоданом. Третьей показалась белая, как кость, нога и принялась ощупывать мокрую мостовую, ища опоры. Рука навалилась на стенку чемодана, и в совместном усилии обеих конечностей с плеском вывалилось наружу всё тело. Старуха подобрала колени, нашарила вымокший платок, подняла к небу и одной ладонью выжала его практически насухо, продемонстрировав силу, какую сложно было заподозрить в этом немощном теле.

Когда мёртвое начинает шевелиться, живое становится обездвиженным, — Данила хотел обернуться, но не мог, как не мог оторвать взгляда от книги. Ему оставалось безучастно наблюдать за происходящим через текст и всеми силами убеждать себя, что написанному верить нельзя. Однако хлюпанье шагов за спиной было действительным, и зловонное дыхание в затылок было не списать на самовнушение, что уж говорить о шёлковом платке, который удавкой обвил шею, Данила и не заметил как — настолько быстро это произошло.

Если бы у души были органы зрения и ей вздумалось бы оглянуться на покинутое тело, увиденное вряд ли понравилось бы ей. Отёкшее лицо покрылось пятнами, язык вывалился изо рта, глаза вышли из орбит, а на шее остался бордовый след от удавки в два пальца шириной. Бездыханное тело торжественно несли вдоль реки на строительных носилках в сторону Невы. Впереди процессии, не во главе, но в самом начале, по мостовой выстукивал тростью довольный Борис Борисович, из одной только порядочности сдерживая улыбку. Замыкал процессию Андрей — живой-живёхонький, но, кажется, оттого ещё более грустный. Возможно, он ронял слёзы, но сказать это с определённой степенью нельзя. А вот что сказать с этого постепенно нарастающего отдаления незрячей души можно и даже нужно: дождь прекратился, ветер стих, вода отступила и, ну это уже совершеннейшая фантастика, жителям и гостям северной столицы, всем одинаково, улыбалось солнце. Город принял очередную жертву, и нечего столько об этом думать. Гораздо уместнее было бы поразмыслить о дальнейшей судьбе Данилиной души — куда она теперь? — на небеса или вслед за телом — в пучину морскую, а может, в пасть какого-нибудь древнего божества, но повесть так несвоевременно иссякла, а значит, впереди — за последним словом, за последней точкой поджидают уже другие, более насущные вопросы.

Письмо Владиславу Городецкому

То было возвращение в отчий дом. Ни отца, ни матери, царствие им небесное, дома я не обнаружил и скоро понял почему: возвращение было пространственным, а не временным. Новые хозяева перестроили дом на свой лад, разнородные пристройки облепили его как пиявки. Я заблудился в бесконечных коридорах, так и не найдя свою комнату — прибил к какой-то стене, поместил сумку с пожитками между полупустых ящиков и лёг на пол, подложив под голову свои ботинки.

В следующий раз я обнаружил себя уже на улице, бродящим вокруг дома. Я был бос. Дом, оказалось, разросся по восточной границе на весь квартал, поглотил соседние участки и только перед пятиэтажной хрущобой застыл, будто соизмеряя силы.

Ветром меня снесло в какой-то закуток, больше похожий на шкаф, нежели на самостоятельную часть здания. Здесь хранились мои вещи: конверт с остриженными кудрями, первые книжки, шкатулка с письмами школьных возлюбленных. Выступили слёзы — почему в мою сокровищницу так просто попасть с улицы? Может, новые хозяева не знают об этой дыре в фасаде?

Я протянул руку к какой-то книге, которую не видел раньше, которой не должно было быть среди моих вещей, но тут же на ней — на руке, а не на книге — появилась красная точка, как от снайперского прицела. В страхе я рухнул на пол и следил за точкой, вскоре она ускользнула из моего поля зрения. Не поднимаясь, я попятился обратно на улицу и полз очень долго по пыльной траве, пока не увидел в двадцати метрах мальчишку с лазерной указкой, который светил в мою сторону. Снайперский прицел... Разозлившись из-за своего глупого положения, я вскочил и намеревался задать мальчишке трёпку, но этот гадёныш, заметив меня, торжествующе прокричал: «Вот он! Вот он! Держите его!»

Чей-то голос комментировал мои перемещения: *«Под топот и животные выкрики он бежал, удивляясь, как хорошо слушаются его конечности, что в подобных снах случается достаточно редко...»* Я не должен был слышать этот голос, это было каким-то непредвиденным прорывом из других, надмирных, пространств. Прорыв этот, похоже, обнаружился мгновенно и был устранён: голос забубнил, как через тряпку, и вскоре смолк.

Достаточно легко я оторвался от преследователей, свернул за угол к парадному входу и перешёл с бега на шаг. Только теперь заметил, что окон в доме нет — новые хозяева не слишком заботились о естественном освещении, а скорее — боялись чужих глаз.

У входа под настенным фонарём топтались двое неизвестных. «Должен появиться с минуты на минуту». Говорили обо мне. Удалось прокрасться незамеченным и проскользнуть в дверной проём за спинами заговорщиков. Действительно удивился, как запросто мне это далось. Продвинувшись вглубь дома, начал жалеть, что так скоро покинул неизвестных, — нужно было задержаться, подслушать ещё — появилось соображение, что чем больше удастся услышать и запомнить, тем проще будет разыскать эту книгу о себе, внутри которой мне выпало несчастье оказаться.

В доме переговаривались две женщины, я пошёл на звук. Одну звали Пелагея — к ней по имени обращалась вторая. Пелагея отвечала односложно, без обращений. Повезло: я набрёл на письменный стол. Схватил шариковую ручку, лист бумаги и собирался «стенографировать» их разговор, опершись на стену, но чернила не

вытекали в горизонтальном положении. Тогда я сложил листок вчетверо и убрал его в карман на всякий случай. Вытерев влажную ладонь о брюки, попробовал писать на ней — удача. Оправился, приготовился к письму, прислушался. Тишина.

— А вы у нас новенький? — голос из-за спины.

Я обернулся. Женщины изображали радушие, улыбались, но как только увидели у меня в руках инструмент письма, в глазах обеих вспыхнул огонь, и они без переглядываний и всяких знаков тут же бросились на меня.

Голос снова прорвался извне. Убегая, уклоняясь от летящих в меня предметов, падая и спотыкаясь на каждом углу, сложно было вслушиваться в речь. Гонительницы появлялись то с одной стороны, то с другой, я же всё время оказывался в тупиках у закрытых дверей — знание устройства дома было главным преимуществом женщин. Они рычали как одержимые, Пелагея бросалась вперёд головой и пыталась укусить меня за руку, полагая, видимо, что я успел записать что-то важное. Голос звучал то громче, то тише: в разных частях дома по-разному. «*Пыль наводнила тесный коридор*», — донеслось до моего уха, и я не знал, что должно меня беспокоить больше: что за мной гонятся две разъярённые женщины, или что автор книги обо мне — бесталанный писака, допускающий такие нелепые несообразности. «*Пыль наводнила!*» О, как это взбесило меня! Я сжал кулаки и резко развернулся, намереваясь дать отпор, избить, стереть в порошок гонительниц и в их лице, вероятно, проходимца, что стоит за этим балаганом, но коридор был пуст.

От чрезвычайного напряжения в погоне я так сжал ладонь, что пластиковый корпус ручки треснул. Я отдышался, замер на несколько секунд, опустил взгляд — мои голые ступни были в пыли и неглубоких порезах. Выложив из кармана лист бумаги на пол, я склонился над ним, но вместо желаемого: «Пелагея. Пыль наводнила. Под топот и животные выкрики», вопреки собственной воле, записал: «*1. Лиговский: Аудио-видео на Боровой. 2. Удельный рынок*». От треснутого корпуса ручки откололся носик, я извлёк стержень и добавил уже умышленно: «*Хан Бушлат*».

В конце длинного, как сам сон, коридора показался тёмный прямоугольник открытой двери. Первой открытой двери, которую я увидел в этом доме. Медленно, стараясь не скрипеть половицами, я подошёл к ней и прислушался. Из комнаты доносилось посапывание. Я догадался, кого там увижу, поэтому страх отступил. У стенки напротив входа рядом с дорожной сумкой я увидел себя, спящего на ботинках. Я потрепал себя за плечо, и мы проснулись.

Здравствуй, ув. коллега! Да, пересказывать сны — моветон, — мои слова, но здесь иначе нельзя, и ты поймёшь почему.

Можешь представить степень моего отчаяния, раз я обращаюсь за помощью к человеку, перед которым и без того испытываю чувство вины, пускай вины частичной и несоразмерной обиде, но тем не менее наличествующей.

Не спрашиваю о твоих делах, здоровье, творческих планах, даже не спрошу о сыновьях — не потому, что мне это неинтересно, а потому, что боюсь не дожидаться ответа. И это не фигура речи. Действительно боюсь.

Как ты заметил, к письму приложена рукопись в два а.л. и несколько газетных страниц. Последовательность ты восстановишь сам, я же расскажу, в чём состоит дело.

Три дня назад, то есть во вторник, к нам в редакцию пожаловал Борис Гребенщиков, гость неожиданный. Бородёнка его была заплетена в тонкую косу, в неё было вмонтировано несколько крупных бусин. Глаза его горели чёрным огнём за йодного оттенка линзами очков. Он попросил меня заняться одной

«очень интересной» рукописью за хорошую плату. Тебе известно, что живу я, как любой нормальный литератор, мягко говоря, небогато, и от работы никогда не отказываюсь. Я разыграл, как умею, тяжёлые раздумья, просмотрел рукопись — десять машинописных страниц, не густо, — оценил общий рисунок текста, количество диалогов и их атрибуцию, величину абзацев, прочёл несколько предложений и пришёл к выводу, что передо мной вполне пригодная к редактуре проза, но вслух сказал: «Работы тут немеряно — не возьмусь, если платят меньше пятисот рублей за "авторский"». Гребенщиков ответил, что получу я гораздо больше — за спешку и специфику «редактуры». Шутка в том, сказал он, что мне нужно будет обеспечить «первозданность» текста. Спрашивается, зачем вам тогда редактор? «Внимательно ознакомьтесь и приходите завтра на Боровую 26 в четыре часа». Аванс в полторы тысячи снял все мои вопросы.

Ты знаешь, как я отношусь ко всем этим примитивным попыткам сделать постмодернизм, тем не менее в первый же вечер я ударно поработал, сделал пометки (ты увидишь), составил небольшую рецензию и наметил «точки роста». Так, например, я хотел предложить автору ужать своего персонажа из филолога/видеопирата/гитариста до простого и понятного букиниста. Ведь это само напрашивается — книга про то, как кто-то ищет книгу, при чём здесь какие-то диски? Вот тебе пример того, как зрит в корень натренированный глаз. Я с первых страниц раскусил сюжетобразующий парадокс текста. К сожалению, это единственное, что я раскусил вовремя.

В положенный срок на Боровой я увидел молодого человека, упавшего в лужу, и догадался, о какой «первозданности» говорил Гребенщиков. Я по памяти отыграл свои реплики, на счастье их было всего три. Актёрская игра моего партнёра поражала. Я ещё подумал: дай такому телефонную книгу, он и её сыграет.

Оставался час до следующего «выхода на сцену», и я потратил его на заучивание своей партии. На то, чтобы вдуматься в происходящее, элементарно не хватило бы времени.

На Сенной я заметил (это важно для понимания всей картины) не одного, не двух, а четырёх (!) людей, играющих «рассеянного с улицы Бассейной» — в перчатках вместо обуви, сковороде вместо шапки, и всё в таком духе. Из этого я сделал вывод, что маршруты действующих лиц обозначены очень приблизительно.

Тогда же я догадался, что роль написана специально под меня: персонаж носил коверкотовое пальто, курил трубку и, если закрыть глаза на общую карикатурность, выражался в манере, действительно, близкой к моей. К тому же мой персонаж, как и Данила (партнёр), как и я сам, был родом из Кемерова. «Сакральный смысл» этого обстоятельства я не смог разгадать до сих пор, как не смог разгадать причин (ни мистических, ни практических, ни символических), по которым нужно было так изводить курящего человека. Всякого рода декодирования и дешифрования — по твоей части, в том числе и поэтому я пишу именно тебе.

В среду вечером курьер доставил мне письмо без обратного адреса. В конверте была вторая часть рукописи («День второй») и пять тысяч. Конечно, я обрадовался на мгновение, но потом перепугался: что же мне придётся сделать за такую сумму? Минут десять я даже заикался. Рукопись меня успокоила: всё те же «бродилки», немотивированные поступки, стуски речи вместо персонажей и так далее. Зато я не мог не обратить внимание на то, что мой герой носил во второй день новое пальто! Сам бы я ещё много лет проходил в старом: есть нужды более непреложные, но раз так распорядился даритель... Ох, слеп человек, дешёв, если знать, за что покупать...

Эту часть рукописи я уже практически не правил. Я понял ситуацию так: существует некая группа людей, я в том числе, корректирующих, точнее даже удерживающих в условных границах спектакль. Значит, моей задачей было следовать сценарию и способствовать тому, чтобы он развивался в соответствии с первоначальным замыслом.

Большая часть нашего с Данилой разговора должна была происходить у меня дома. Предполагаемый зритель мог видеть нас в окно, но вряд ли наш разговор мог быть услышанным кем-то посторонним: никаких датчиков, микрофонов курьер мне не выдал. Выходило, что играть нам с Данилой предстоит друг для друга.

Подробнее описание моей квартиры, конечно, меня насторожило, но уже не испугало: в своё время у меня в коммуналке устраивался самый настоящий литературный салон, и с тех пор интерьер не слишком менялся. Столько пишущих особ побывало здесь, что если каждый написал бы по странице о моем жилище, хватило бы на два тома. Это в последние годы я существую затворником и принимаю разве что молодых авторов в частном порядке, как когда мы редактировали твою повесть (прости, названия сейчас не припомню).

И, чтобы не возвращаться к этому дважды, должен прояснить один момент. Мне передали, что у себя в Интернете ты обвинил меня в том, что моя рецензия на твою повесть (должен заметить, меня так и не указали редактором) — заказная, но такие заявления свидетельствуют о твоём полном непонимании современного литпроцесса. Ну кто стал бы платить за разнос такой мелкой птицы, как ты? К сожалению, за рецензии вообще скоро перестанут платить. Да, кое-какие цели я преследовал, скрывать не буду, но то цели имиджевые, а никак не финансовые. Там же, как передали, ты обвинял меня в том, что я воспользовался знанием «внутренних механизмов» твоей повести, но, поверь мне, если бы рецензию писали другие наши коллеги, она была бы не менее разгромной. Так что, можно сказать, я просто принял твой гнев на себя.

Я мог этого не делать, но повинился перед тобой, чтобы подчеркнуть этим самым серьёзность ситуации. Других грехов за собой не помню, в этом единственном раскаялся. Ув. коллега, тёзка, сдаётся мне, ты единственный сможешь поверить в произошедшее. Знаю скорости нашего почтамта и не надеюсь, что у тебя будет возможность поучаствовать в деле спасения моей жизни, но прошу, посодействуй спасению моей репутации: в случае скоропостижной кончины или внезапного исчезновения продолжи моё расследование и опубликуй это письмо в каком-нибудь московском или региональном (*sapienti sat*) журнале. Меньшее, чего хотел бы, — чтобы меня, члена союза писателей, автора четырнадцати книг прозы, в некотором смысле заслуженного литератора запомнили как «сумасшедшего с трубкой», который способствовал убийству земляка.

Ну так вот, рукопись. Я заучил свои реплики, не слишком в них вдумываясь (ибо незачем вдумываться в лопотанье), сдвинул кресло в центр комнаты, развернул каменного совёнка так, чтобы он глядел на кресло, сдул пыль с гитары и настроил её — вот и все приготовления. Ну, и купил пальто, само собой разумеется. Ладно, признаюсь, это не всё. В желании услужить я переусердствовал: позвонил в милицию с таксофона и сказал, что на станции «Достоевская» заложена бомба...

На следующий день, в четверг, т.е. вчера, я полтора часа кряду простоял в арке, поджидая Данилу. Еле сдерживался, чтобы не выйти к какой-нибудь витрине на Загородном с целью полюбоваться на себя в новом пальто в отражении. Ох...

«Сам ты сумасшедший!» — предписано было мне воскликнуть в ответ на мысли Данилы. Не слишком сценичный ход — отвечать на мысли, впрочем, кто платит, тот и заказывает музыку... Я и воскликнул: «Сам ты сумасшедший!», переборов скепсис, но парень так отыграл реакцию, что я и впрямь стал сомневаться, играет ли он.

Я выдавал Даниле очередную фразу из сценария и наблюдал, как шевелится его мысль. Клянусь, содержимое чемодана для меня самого, как и для Данилы, было тайной. Все эти шуточки и экивоки я отвечивал исключительно в рамках сценария. Выпроводив Данилу, я испытал необъяснимое и неиспытываемое прежде чувство потери. Потери возможности отклониться от написанного с целью посмотреть, что будет — так мне казалось. Нет, желание брякнуть что-нибудь от себя присутствовало весь разговор, но я боялся испортить спектакль, боялся, что тот, кто «платит за музыку», как-то об этом узнает, разозлится и отстранит от дела и от своего кармана...

Третью часть рукописи я прождал до глубокой ночи, перечитывая «День первый» и «День второй». Чтение это вызвало во мне тревожность и болезненное возбуждение. Страшно подумать, но я стал прозревать систему лейтмотивов (если касательно этой поделки можно так говорить), извращённую логику автора и кое-какие (пользуясь твоим выражением) «внутренние механизмы». Например, уже при третьем прочтении я заметил, что в сцене на «Удельной» Гребенщиков не произносит слов с буквой «р». Разумеется, эта нелепая черта существует только в пространстве текста, иначе в первом уже разговоре со мной Гребенщиков должен был либо картавить, либо избегать этой буквы. Не могу сказать со всей уверенностью, что этого не было, но у меня, как у любого нормального литератора, обострено чувство слова, я бы заметил такую странность.

Что получается? По имеющимся в моём распоряжении первым двум частям ещё днём ранее вполне можно было догадаться, что замышляется злодейство, если бы я только разбирал повесть, что вообще-то является моим профессиональным умением, вместо того, чтобы заучивать её. Состояние моё настолько ухудшилось от этих мыслей, и разум помутился, что я всерьёз рассматривал такой вопрос: скажи я не «курильщик — себе могильщик», а, например, «брось чемодан и беги отсюда к чёртовой матери», что произошло бы скорее: Данила прекратил бы игру, или изменился бы текст, лежащий у меня в столе?

Но смерть персонажа — дело обыденное — персонажидохнут как мухи, направо и налево от банального нежелания (неумения) авторов бескровно (гуманно, гуманитарно) решать свои проблемы. Ну, догадался я за двадцать страниц до финала, что главного героя убьют, ну и что с того? Взглянул бы на оставшиеся деньги, сказал бы себе: «Молодец! Малыми стараниями заработал на хлеб с луком и на бутылку вина» и самоустранился, но нет... По своей воле я принял «игру» и, по крайней мере в этой «игре», я уже был соучастником, пускай непреднамеренным, но тем даже хуже. Однако игра ли это?..

Тут-то мне и вспомнилась прежняя мысль об «ужатии» персонажа. Именно такая художественная нестройность (филолог/видеопират/гитарист вместо букиниста) и указывала на то, что Данила и вовсе персонажем не являлся и «ужать» его нельзя было ровно потому, что автору пришлось бы не просто переписывать характеристики героя, но и, собственно, искать другую подходящую жертву.

Несколько слов о Даниле. Моментами он производил впечатление человека под гипнозом. Или даже так! — под воздействием паразитических организмов, которые зомбируют хозяина и ведут к смерти в особых, выгодных паразиту, обстоятельствах.

(Эта неожиданная ассоциация возникла у меня прямо сейчас, в процессе письма. Пожалуй, в ней есть зерно истины, обрати на неё особое внимание.) Но, если отбросить всякие домыслы и судить объективно, Данилу можно было бы назвать, да, чудаковатым, да, легковнушаемым, но определённо симпатичным молодым человеком без каких-либо видимых патологий, ненормальностей и прочих виктимных, так сказать, признаков. К тому же, сильно наслоилося первое впечатление о нём как о высококлассном актёре, и даже поставив под сомнение этот факт (игры, актёрства), от пережитого заблуждения осталось стойкое положительное впечатление. (Ув. коллега, да простишь ты мне эту и прочие уже бывшие прежде и будущие в будущем тавтологии, но я совершенно не в том состоянии, чтобы заботиться в эту минуту о стиле.)

Не осталось сомнений, что третьей частью рукописи мне не дожидаться. К двум часам ночи я достал все справочники, карты и путеводители по Петербургу, которые имеются в моей библиотеке, и принялся искать если не точные координаты, то хотя бы упоминание Дома с химерами. Здания с химерами есть, наверное, в каждом крупном европейском городе, в Киеве, например, точно есть, в Петербурге и подавно — так мне казалось. «Готический особняк», — сказано в тексте, сказано, нужно понимать, в авторской речи (то есть ошибку в данном случае не отнести к некомпетентности персонажа — если кто и некомпетентен, то сам автор). Уж тебе-то как архитектору наверняка понятно и без всяких справочников — готики в Петербурге нет и быть не может, но у меня на выяснение сей тонкости ушло без малого два часа. Нелёгко труд герменевтов! Как понять — банальная ошибка перед тобой, многозначительная неточность, замысловатое иносказание или откровенное введение в заблуждение? Я заснул за заваленным столом, уткнувшись в книги, так и не придя к ответу.

Ув. коллега, тёзка, в начале письма я рассказал тебе сон в таких подробностях, чтобы ты понимал, почему сегодня я не мог остаться дома и переждать завершение истории в стороне.

Было одиннадцать часов, когда я очнулся ото сна. Не из страха или глупости, а скорее ради спокойствия я оглядел свои ладони, ступни — они были чисты — и проверил рукопись «Человек из Кемерова» — новых страниц, повествующих о моей кончине, не прибавилось.

Нужно было соображать скорее. Дом с химерами — что это? Некое мифическое место мечт и грёз, не существующее в реальном мире, место вроде Шамбалы или Петушков, к которому Даниле не суждено добраться? Или же... Была ведь такая ленинградская рок-группа «Химера», вполне себе авангардная и экспериментальная, чем-то связанная, насколько мне известно, с «Аквариумом», а значит, и с самим Гребенщиковым... Попадание сразу по нескольким пунктам. Должна быть какая-то репетиционная база, на которой они собирались...

Ты будешь смеяться, но из дома я вышел, неся над собой эмалированный таз. *«В любую секунду на голову может упасть кирпич»*. В любую секунду, да не на каждую голову он станет падать. *«Вероятно, я стал человеком глубокого посвящения»*, — отсмеивался я, но таз держал крепко. Дождь колотил по дну, в ушах звенели микровзрывы, будто миниатюрные нацисты бомбардировали мой внутричерепной Ленинград.

Компьютерный клуб на Разъезжей был открыт, но Интернет-соединение отсутствовало: злосчастный шторм оборвал связь. Администратор клуба был похож на человека, причастного к рок-субкультуре — длинные волосы, чёрная выцветшая

футболка с полустёртым психоделическим рисунком. Да и не в одежде проявлялась эта причастность, а в особой помятости физиономии и озабоченном, но пустом взгляде. Цепляясь за малейшую утлую возможность, я спросил, не поклонник ли он группы «Химера» или, может, знает таковых. Я объяснил, что ищу некое ключевое для группы место.

— Так... Ну, могила Старкова в Выборге, а повесился он здесь — рядом, — на Бакунина пять.

— То что надо!

— Все репетировали, а он на чердаке — фить — того... — администратор закатил глаза и высунул язык.

«Оно!» Кажется, я приподпрыгнул от радости, и не исключено, что сделал дурацкий, совсем не свойственный мне жест: показал опешевшему администратору большой палец.

У выхода он окликнул меня.

— Это всё равно не то!

Я обернулся.

— Не то, что вы ищете, господин «вчерашний сумасшедший».

Сердце должно было забиться в глотке, дыхание остановиться, уши покраснеть, колени задрожать, но всего этого не произошло. Я лишь с удивлением отметил, насколько эта реплика и вся ситуация в целом была созвучна с моим сном. Значит, я недооценивал масштаб заговора...

Дождь усилился. Не знаю, как Данила умудрялся разглядывать лица прохожих при такой непогоде в это утро, различать в лицах какие-то эмоции и настроения. Догадываюсь, что и на меня таранились окружающие: сложно не обратить внимание на мужика с тазом на голове, бегущего по Невскому, расталкивая людей. Другая мысль ускоряла мой шаг: «Всем им прекрасно известно, кто ты, почему ты в таком виде и куда бежишь». Последнего же не знал я сам.

Ноги принесли меня на Площадь Восстания. Только перед светофором на Гончарной, ожидая зелёного сигнала, я заметил, как ускорилось время. Готовясь пройти к Московскому вокзалу, я сказал сам в себе: «Здесь всё началось, здесь должно и закончиться». Как ты понимаешь, ув. коллега, я предположил в «Человеке из Кемерова» кольцевую композицию. И совершенно напрасно. В поисках чего-нибудь примечательного я обошёл вокзал вдоль и поперёк, внутри и снаружи. Примечательного было много, но всё не то: из-за перебоев в движении поездов там творился настоящий переполох, я не знал, на чём задержать внимание.

Пришла мысль разыскать Андрея. Компаний, производящих мясные изделия, достаточно крупных, чтобы держать штатного пиар-менеджера, не так уж много в Петербурге, но такие варианты — стрельба по воробьям из пушки. Однако как-то ведь узнал вчера Андрей о судьбе Данилы, узнал наверняка, при том что позавчера мог только догадываться. Где-то ведь он получил подтверждение своим опасениям: «...По дороге я понял, что не получится...» Ну конечно!

Сколько ненужных телодвижений я совершил, прежде чем догадался спуститься в метро... Я понимаю, на то и был расчёт: запутать меня, сбить с толку. Но, забегая вперёд — к тому заветному моменту, когда сегодняшняя глава оказалась у меня в руках, — я спрашиваю: к чему нужна была вся эта свистопляска с музицированиями, прослушиваниями, химерами? Ради того только, чтобы я унёсся подальше от своего дома, от кладовки, чтобы Данила благополучно забрал роковой чемодан? Так спросили бы моего совета, я бы устроил всё в тысячу раз изящнее...

В подземке ко мне подошёл мужчина, одетый в точности как я. Он спросил, вы Владислав с ударением на «и», а отчества не надо? Я сказал, готовясь к худшему, храбрясь и мужаясь, что да, я Владислав. Он сказал, я тоже. Потом смущённо кивнул на мой эмалированный таз и добавил, что выбранной роли лучше придерживаться всецело, не допуская примесей от других персонажей, ибо нельзя же быть сразу всеми — выйдет путаница. Из прибывшего поезда двинулась толпа, в которой я выделил ещё несколько Владиславов, как минимум четырёх хан-бушлатов, трёх милиционеров, — уверен, фигурировали и остальные, но их было значительно тяжелее различить в движущейся толпе. Что же вы пытаетесь мне внушить, спросил я собеседника, что вы — это я? Какая глупость... что мы — это Владислав? Мужчина извлёк из кармана пальто трубку и стал неумело с ней управляться. Было очевидно, что у собеседника отродясь не было привычки и навыка курить трубку. Дайте сюда, не выдержал я и взял её в руки. Она была новой, необкуренной, а лжея набил её до краёв, да ещё и неразмятым табаком. Собеседник тушевался и смущался, глядя на мои действия. У меня в голове звенела единственная мысль: «Какого чёрта я трачу время?» Получив трубку обратно, мужчина, нужно сказать, совершенно на меня не похожий, идиотически улыбнулся.

— Спасибо... Даже не знаю... Вам нужна программка? У меня лишняя... — сказал он и достал из-за пазухи газетные листы (эти самые, которые я приложил к письму).

«День третий»: «Данила проснулся совсем рано после беспечного сна...».

Я весь ушёл в текст и не заметил, как и куда исчез лже-я, впрочем, это было неважно. В третьей части повести не нашлось места моей персоне — это первое, что я отметил. «Что же, тем свободнее я буду чувствовать себя в этом противостоянии», — подумалось мне, но я осёкся, — с каких это пор моя свобода зависит от чьих-то на меня планов? И в ответ: и ныне, и присно, и вовеки...

«...Размышлять о Боге в такую минуту, как, впрочем, и в любую другую минуту...»

Данилу, как я верно, но слишком поздно догадался, действительно ждала смерть. Сейчас, прикинул я, подходя к эскалатору, он уже волочит чемодан со старухой где-нибудь по Рубинштейна — я ориентировался во времени по ливню, который застал Данилу выходящим из моей арки, а меня — выходящим из компьютерного клуба. Мне потребуется десять минут, чтобы добраться до Аничкова моста и перехватить парнишку у этой шайки-лейки душителее. Должен успеть.

Я встал у правого поручня, приводя мысли в порядок, снова развернул газету с третьей главой — убедиться, что ничего не упускаю. Я намеревался заглянуть сразу в конец, но задержался на описании метрополитена, а потом... Этим же эскалатором Данила поднимался сегодня утром, эскалатором длинным, как *час перед казнью*, длинным, как... *лестница Иакова*... (Нужно ли тебе объяснять, ув. тёзка? Наверное, нужно. Однажды Иаков боролся с Богом, отвоёвываая себе то, чего Бог не планировал ему предоставлять. То есть, по сути, он боролся с предопределением.) И этот образ, как бы походя оброненный автором, адресован был лично мне и являлся не иначе как издёвкой, плевром.

Вне себя, я побежал по высоким ступеням эскалатора, люди испуганно теснились к поручням, пропуская. Ноги забились на десятой же ступени, стали ватными, чужими. Примерно на двадцатой закружилась голова, а глаза перестали видеть, но я не сбавлял скорости. Как бы в отчуждении я пытался прислушиваться к своему дыханию, но вместо него слышал скрип пилы о дерево. На тридцатой ступени, поразительно, я не чувствовал уже ничего, кроме тяжести в плечах и покалываний онемения в ладонях. Куда же подевался мой эмалированный таз?

Я не остановился ни в вестибюле, ни на улице, словно боялся, что, остановившись, растворюсь за ненадобностью. Но нет, это соображение, едва появившись, было высмеяно мной. Насколько нужно быть легковнушаемым, чтобы поверить в иллюзорность собственного существования? Я, человек пишущий, конечно, понимаю, что всё — текст, последовательность символов, но ведь не в буквальном же толковании! Мои мышцы ноют взаправду, ноги взаправду заплетаются, в любую минуту я могу рухнуть на мокрый асфальт здесь, на Невском, и у меня взаправду хлынет всамделишная кровь из носа, — о какой иллюзорности может идти речь? И другое: на какую бы глубину памяти я ни опустил свой мысленный взор, всюду он встретит подтверждение моего бытия — вот я держу в руках сигнальный экземпляр своего дебютного романа, и если мне захочется пристальнее всмотреться в эту сторону, я увижу себя за пишущей машинкой в родительском доме на каникулах после первой сессии, настукивающим первые строки, да, это строки, слова, но вот я гляжу в другую сторону и вижу женщину из плоти и крови, бывшую со мной в зиму девяносто шестого, за ней другая женщина, и ещё одна, и ещё одна, а вот я, совсем ещё щенок, получаю снежком в лицо от матери — она бросила его, думая, что я увернусь, но я отвлёкся, засмотрелся на что-то, а когда она испуганно окликнула меня, я повернул голову снежку навстречу. Как меня может не быть? Да, я могу поверить, и вообще, я склонен верить, что являюсь плодом чьей-то фантазии, винтиком в механизме, переменной в уравнении, я согласен оказаться хоть грязью под ногтями, но того, и это главное, того, кто во всём, в каждой мелочи, в каждой характеристике многократно превосходит меня. И эта мысль, едва появившись, была мной высмеяна: ох уж эта дерзость на уровне метафизического и абстрактного! Почему же в миру ты окружён сплошь бездарностью, пошляками и болванами, зависишь от них, заискиваешь перед ними, служишь им? Вызванная этими мыслями ярость (я не преувеличиваю, пуская в ход это слово) вспыхнула, обжигая онемевшее было тело. Явись в эту секунду сам Господь Саваоф, я бы схватил его за шкирку и бросил бы под колёса проезжающего автомобиля с его насильственным, пусть даже самым идиллическим, предопределением. Злоба на автора «Человека из Кемерова» спроецировалась, как ты понимаешь, на Бога, к которому, в общем-то, раньше у меня не было никаких претензий. Я удивился своим мыслям, — как это вильнули они таким непривычным манером, что добрались до самого Бога? С большим успехом передо мной мог оказаться наш главред — редкостный идиот и бездарь, — тупее него только его редакционный план. Передо мной мог возникнуть президент с его наплевательским отношением к регионам, и это, пожалуй, одним движением подстелило бы под происходящее политическую метафору (жертва регионов ради столиц). Но нет — сам Бог пришёл мне на ум. И в этой ярости я впервые за жизнь посмотрел на Него незамутнённым, как бы очищенным от предубеждений взглядом и увидел Его, нет, не равным себе, увидел Его старикашкой, который по молодости нагородил банальность на нелепицу, несправедливость на жестокость, красоту на гротеск и теперь прикидывается мёртвым, чтобы не отвечать на вопросы своих детей, давно уже превзошедших его и в разумении, и в любви, и в гуманизме. Нынче он не столь словоохотлив, как в ветхозаветные времена, потому что боится показаться дураком. Справедливо боится.

Да, ув. коллега, увидев Данилу в окружении десятка людей, увидев его в точности так, как было описано в повести, — ссутулившимся над книгой и с сигаретой в руке, — меняхватило только на выкрик: «Данила, нет!», на выкрик, из-за которого (как же непредсказуемо ведёт себя обессиленное тело!) я потерял координацию, не успел выставить нужную ногу вперёд и рухнул на землю, не добрав каких-то двадцать

метров. И потерял сознание. Процессия проходила здание областного суда, когда в чувства меня привела девушка с нарисованными жидкими усами, одетая в точности как я.

В падении, как оказалось, я сильно ушиб бедро, но и без этого я вряд ли самостоятельно осилил бы дорогу домой: ноги были как пришитые от манекена. Девушка проводила меня до самой двери. Заглянув в квартиру, она спросила: «Вы, что ли, прототип?»

Я сел за это письмо вечером пятницы и писал его без остановки до настоящего момента. Минуту назад начался понедельник, и если я хоть что-то да смыслю в сюжетостроении, моей жизни больше ничто не угрожает (если вообще угрожало). В конце концов, с полной уверенностью я могу говорить только о достоверности тех сцен, в которых участвовал лично, а в них не было ничего, кроме игр и шуток. Может, актёр, так блистательно сыгравший Данилу, после нашего с ним разговора у меня дома сел в автомобиль (где-то под окном и припаркованный), выехал на Московский проспект, а оттуда направился в какой-нибудь спальный район к жене и ребенку, чтобы переждать ночь и на следующий день сыграть на Фонтанке короткую сцену без слов.

Сейчас я запечатаю конверт, наклею марку и опущу его в почтовый ящик здесь, на Загородном, мне нужно будет пройти буквально полквартиры. Если вдруг тебе интересно, никакого «равнодушного» и «поторапливающего» взгляда на себе я не чувствую: ни читательского, ни божественного. Но есть другое необычное ощущение, и, кажется, оно было всегда: тяжесть в пишущей ручке, чувство, будто к её кончику подвешена гирька. Как тебе такое нравится, уважаемый коллега, мне пытались внушить (если вообще пытались), что после слова «нет» меня нет?

Алина Гатина

Такая жизнь

Рассказы

Живая Людмила

1

Людмила умирала одна в большой пятикомнатной квартире, где годом ранее умер её кот, а до того умерла её мать, а до того — кот матери, а до того — Людмила бабка, пережившая уже своего кота на две зимы и два лета.

Круговорот котов в квартире Людмиле давался тяжело. Тяжелее, чем уход из жизни единокровных с нею женщин. Она никогда не призналась бы в этом даже себе, но, смахивая пыль с семейных фотографий с застывшими на них котами и женщинами, с горечью вспоминала первых; бесслёзно, поджав губы, бегло осматривала вторых: не потрескалась ли бумага... потому что фотографии стояли на солнечной стороне, и потому что даже после смерти запечатлённые мучили Людмилу беседами, как будто живя и старясь вместе с ней.

С жизнью Людмилу скрепляло два обстоятельства: она не знала, чем заболеть и кому оставить квартиру.

Ей было пятьдесят девять, у неё болели суставы и в последние годы раздались пальцы рук, так что беглые партии она исполняла грязно и теперь бралась только за тихие монотонные вещи, которые позволяли ей плакать не от артрита, а от тоски.

Людмила говорила зеркалу, как мечтает умереть со дня на день и, конечно, без собственной помощи: без глотаний таблеток, и без верёвок — их и крепить-то не к чему, — и, Боже упаси, без лезвий, потому что это будет некрасиво, хлопотно и неудобно перед соседями.

Алина Гатина родилась в Чимкенте в 1984 году. Окончила Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби и Литинститут им. А.М.Горького (2018; семинар Олега Павлова). Лауреат литературной премии «Алтын тобылгы» (Фонд Первого Президента РК) за роман «Саван. Второе дыхание», лауреат премии ФИКШН35. Живёт в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Саван. Второе дыхание» (2021, № 2).

И зеркало слушало, как трудно ей разгибать колени, как терпеливо выдерживает она высокую танкетку, маршируя негнувшимися ногами, будто бы стойкий оловянный солдатик; а кроме того — слушало зеркало — Людмила хорошо понимает: всякая тяжёлая болезнь принесёт ей такие физические муки, что вместо обретения покоя она, Людмила, превратит остаток жизни в яростную борьбу, отодвигая то искомое «ничто», в которое ей бы хотелось войти в одночасье, пусть инфантильно и пусть по волшебству, но именно с той беспрепятственной верой себе, с какой она писала в детском дневнике ещё в пору, когда добраться до этого зеркала можно было только взобравшись на кухонный табурет: «Когда тебе будет шестьдесят — ты умрёшь, потому что шестьдесят — это великая старость и некрасивость».

Три дня назад Людмила лежала в постели, не желая вставать и заниматься делами, продлевающими время даже того, кто на вопрос о смысле жизни берёт долгую паузу, якобы подбирая слова, а на деле попросту не зная, в чём он и где его искать.

Было ноябрьское туманное утро, деревья неделю как облетели и теперь скреблись о Людмилино окно, как мертвецы, напоминая ей о том, что она задержалась.

Людмила перевернулась на другой бок и подумала: «Хорошо бы сегодня». Накануне вечером она принимала овсяную ванну, долго вымачивала волосы в крапиве и долго их потом укладывала, долго — на этот раз совершенно без слов — гляделась в зеркало, долго выбирала в комоде выглаженное постельное бельё и теперь лежала на нём свежая и разочарованная, чувствуя себя живее, чем когда бы то ни было.

Туман начинал опадать, и серый цвет неба сменился голубым. Солнце поднялось выше и заблестело в окнах соседней этажки. Людмила вздохнула и вдруг нащупала мягкий бугорок на шее.

Она энергично встала с постели и подошла к зеркалу, забыв о собственной близорукости и ловко обойдя все преграды из громоздкой старинной мебели. В зеркале она расплылась и боязливо вернулась за очками к прикроватной тумбочке, защищаясь от возможных ударов руками. Бугорок не проявлялся зрительно, но хорошо ощущался под нажимом пальцев и двигался, когда Людмила вертела шейю.

Не спеша и торжественно она приготовила завтрак, потом вдумчиво сидела за ним, потом долго стояла перед распахнутым шкафом, отвергая один наряд за другим, и, наконец, через три с половиной часа, не обменявшись с отражением ни словом, ни кивком, вышла из дома и отправилась к врачу.

2

В работе Людмиле не нравились две вещи: во-первых, переступая порог музыкальной школы, она становилась Людмилой Георгиевной; во-вторых, неважно — становилась ли она Георгиевной или оставалась Людмилой, её окружение состояло из женщин, которых она презирала.

Людмила считала, что когда-то им всем не хватило ни крови, ни таланта, чтобы поступить в консерваторию и стать кем-то больше, чем школьные учителя. Она ненавидела их за безвкусные блузки, заправленные в безвкусные юбки, и за то, как они, возбужденно перешучиваясь, точно работяги с завода, подолгу обсуждают сценарии совместных праздников; в особенности то, что будет выпито и съедено на них.

И говорилось перед зеркалом, что, суетясь как беспокойные клушки, они тащат из дома салаты, напичканные майонезом, дешёвые вина и фальшивый коньяк, а чаще всего недопитую мужьями водку или водку, не выпитую с теми, кто мужьями не стал; сервируют длинный директорский стол одноразовой посудой и приторно улыбаются

друг другу, предвкушая грядущую вакханалию, где будут даже танцы, больше похожие на безудержные дёрганья чреслами под самую обыкновенную радииную пошлость, чтобы спустя полчаса с наслаждением развалиться на стульях, сдёрнуть ненавистную верхнюю пуговицу, оголив проступившие кольца Венеры и, не заботясь ни о стрелках, бегущих по чулкам, ни о съехавших швах на юбках, похабно обратиться к ней — Людка.

Она избегала обедать с ними, чтобы не видеть, как они извлекают из чиненных авосек пластмассовые судочки и как потом заглядывают друг другу в тарелки, делая вид, что смотрят не туда, а на самом деле — туда, и интересуются их содержимым так, словно бы это не очень их интересует, а потом выпрашивают ложечку и для себя, но при этом как бы отказываются и говорят: «Нет-нет, что вы! Я просто так спросила... больно красиво у вас это выглядит» или: «Ну, тогда и у меня возьмите! Вот я сейчас вам положу... Хотя, конечно, это так, на скорую руку, это не так вкусно, как у вас»; а после, придвинув тарелки поближе и даже не отрываясь от них, рассказывают скучные однообразные истории про детей и мужей: и какой у кого характер, и у кого какие проблемы в школе и на работе; и как они поженились; и кому делали кесарево, а кто рожал сам; и как сейчас далеко шагнула медицина, потому что разрешили рожать с мужем; и кто сколько раз расходился, сколько сходил; и сколько он выпил ей крови, и какой он был энергичный вначале и каким мешком теперь лежит перед телевизором, и как они живут в её квартире; и у кого теперь не муж, а любовник; и при слове «любовник» все поворачивались к Людмиле, чтобы она, наконец, раскрылась и стала нормальным человеком коллектива, чтобы все они разом убедились: вот перед ними настоящая, живая и самая обыкновенная женщина. Но так как Людмила продолжала молчать и тема с любовником не получала развития, ложки и вилки снова приходили в движение, и весь этот оркестр снова переключался на партию о еде.

Про себя Людмила звала их просто: Скрипка, Сольфеджио, Хористка, Виолончель, Контрабас, Пианистка, Гитара. Поскольку большинство учителей преподавали фортепиано, Людмила называла их Рыжая Пианистка, Белая Пианистка, Чёрная Пианистка и Пианистка Нинель — единственная, к кому она относилась с симпатией, потому что Нинель — милая деликатная девочка, ещё не успевшая ни выйти замуж, ни родить. Был среди них и мужчина по имени Кларнет, но он приходил на работу не часто, потому что в основном находился в запое, а в остальное время из него выходил, закрывшись от звуков музыки и женщин, их производящих, в своём кабинете.

Прошлой весной в классе Людмилы перед самым обедом прорвало трубы. Нинель принесла отрез целлофана, помогла ей накрыть пианино, рояль и стол и нерешительно сказала:

— Людмила Георгиевна, пойдёмте обедать.

— Спасибо, Нинель. Ты же знаешь, что есть я люблю одна. И потом, я ведь просила обращаться ко мне без отчества.

— Без отчества мне неловко, — улыбнулась Нинель.

— Я, слава Богу, не такая старая.

— Ну какая же вы старая, — Нинель обняла её за плечи. — Вы молодая и самая красивая!

— Да, да... — медленно произнесла Людмила.

— Вы самая красивая в нашей школе и в нашем городе, и в нашей стране, и в целом мире! — рассмеялась Нинель. — Только не заставляйте говорить вам «ты», этого я не вынесу! — она снова рассмеялась и поцеловала Людмилу в щёку.

— Да что с тобой такое, Нинель? — Людмила поправила волосы и тоже невольно улыбнулась. — Ты ведёшь себя глупо.

— Так весна же, Людмила Георгиевна! Простите... Людмила. Весна — это значит, любовь, тепло! Весна — это же такое счастье!

— Всё ясно, — вздохнула Людмила и посмотрела в зеркало, висевшее на стене. В овальной бронзовой оправе стояла Нинель и мечтательно смотрела в окно.

— Весна пройдёт, — сказала Людмила, — а глупость останется. Не совершай глупостей, Нинель. Влюбляться весной — опрометчиво и бестолково.

— За дверью бессмысленно всё, особенно — возглас счастья? Только в уборную — и сразу же возвращайся? — Нинель привстала на носочки, сложив ладони на край подоконника, и, продолжая смотреть в окно, сказала: — Людмила, какая же вы всё-таки строгая... но всё равно очень-очень хорошая!

В углу завозился рабочий, доставая из ящика промасленные инструменты.

— Шли бы вы, дамочки, из кабинета, тут и без вас не развернуться. Весна, мать её... — задумчиво добавил он. — Горы текут, реки текут, и у нас ещё куча заказов.

В классе со списанными инструментами и ящиками, набитыми экзаменационными программками, рисованными от руки, обед был в полном разгаре. Постаравшись напустить на себя безразличный вид, Людмила с досадой подумала, что ей не избежать оживлённой беседы. Она села с краю между Скрипкой и Чёрной Пианисткой, а Нинель как младшая по возрасту примостилась на стуле в углу под приоткрытой форточкой.

— Хорошо живёте, Людмила Георгиевна! А... дадите попробовать? — спросила Чёрная Пианистка, ненатурально округлив маленькие глаза.

— А можно и мне? — вмешалась Хористка, заглянув в тарелку Людмилы. — Я рыбу очень люблю. У вас красная и на пару, а у нас белая, и я её жарю. Муж только жареную ест, — Хористка повертела головой, желая убедиться, что они слушают.

— А с сазаном по-другому нельзя, его только кляр и спасает, — сказала Рыжая Пианистка.

И хором — Виолончель, Контрабас, Гитара:

— Помнишь, ты карпа приволокла, я тогда сказала смешно, что он умер сам по себе до того, как его поймали?

— Смешно было только тебе — все ели, всем нравилось. И не карпа, а как раз сазана.

— Разве карп и сазан не одна и та же рыба?

— Это лосось? — спросила Чёрная Пианистка.

Людмила подняла голову и, словно не управляя ею, отвернулась от голоса в сторону окна. Секундой позже едва заметно кивнула.

— Берите сёмгу, она тоже красная, — сухо сказала Сольфеджио, помешивая солянку.

Хористка замахала руками.

— Что вы! Сёмга, говорят, вредная. Она вроде как радиоактивная, из каких-то норвежских отстойников.

— К тому же цена, — кивнула Скрипка.

— Сёмга нормальная, — сказала Сольфеджио. — Вы бы поменьше телевизор смотрели, не всем же... — она осеклась, подняла голову и в упор посмотрела на Людмилу.

Не всем же...

Не всем же...

«Не всем же», — читала в её взгляде Людмила. «Не всем же что?» — проговорила она про себя, глядясь в залапанную столешницу.

— Не всем же кушать лососю, — произнесла Сольфеджио негромко, чтобы не делать из фразы вызова, но и не тихо, чтобы кому надо этот вызов услышали.

— Есть, — сказала Чёрная Пианистка.

— Что? — спросила Сольфеджио.

— Не кушать, а есть. Кушают только младенцы да барыни, — засмеялась Белая Пианистка.

Ба-а-а-рыня-барыня! Барыня-сударыня!
Пойду плясать, головой тряхну,
превесёлыми глазами завлекать начну!
О-о-ой-эх!!!

С нажимом на «о» заголосила Хористка, распуская длинные, с ранней проседью волосы, собранные до того в неаккуратный хвост.

У нас нонче субботея,
а на завтра — воскресенье!
Ба-а-а-рыня-барыня! Барыня-сударыня!

Мы не кушаем котлет, мы едим форелей!
Руки наши в золоте, шеи — в ожерельях!
О-о-ой-эх!!! —

подхватила Гитара.

Есть перестали. Весело-дружно глядели то на Людмилу, то на маленький, разбитый перед окнами цоколя садик, где обычно в тёплых сумерках тосковал на лавочке меланхоличный в подпитии Кларнет.

За окном верещали дрозды, хотя Кларнет утверждал, что иволги, и Сольфеджио как знаток трелей и мелизмов, поджигая старомодный мундштук, доказывала, почему не верит в местных иволг, даже не из географических соображений, а единственно по причине, что со времён музучилища в шутку отзывалась на Соломона, который, известно, говорил даже на языке муравьёв. Разновидности птиц, как и фамилии учеников, она узнавала по голосам в распевках.

Нинель убрала детские, в узеньких балетках ступни с перевёрнутого ящика и, подавшись вперёд, аккуратно поставила на него тарелку с овсяной кашей. Затем, глядя в пол, подошла к окну и дёрнула залеplенную бумажным скотчем раму. Раздался треск, посыпалась стружка пожелтевшей эмали.

Птиц оказалось больше — там, в садике, играли свирели и робкие дудочки, подрагивали флейты и гобой. Негромко стучал пищикато.

Нинель высунулась в окно, скрывая улыбку и пылающие щёки. Она зажмурилась от ударившего в глаза света и едва удержалась, чтобы не повернуться в класс и не прокричать в голос: что же вы ничего-ничего не поняли? — а потом, пожалуй, расцеловать их по очереди. Но секундой позже приложила руку к виску и сдвинула брови. Болезненно пульсировала вена, Хористка пела широко:

Со-о-ловей мой, со-о-ловей!
Го-ло-сис-тый со-ло-вей!
Ты куда, куда летишь?
Где всю ночь пропоешь?

Виолончель приняла удобную позу, чтобы грустить, подперев лицо жилистой кистью.

— А можешь эту? — спросила она:

...Я хочу позабыть тот обманчивый свет
и решил так дожить до конца своих лет.

— Ну уж только не эту! — повернулась Нинель, притопнув ножкой. — Уж только не про скорби и чётки. Это для печальников. Смотрите, вишня зацвела!

Людмила отставила пустую тарелку и промокнула губы салфеткой.

Сольфеджио многозначительно улыбнулась, но, открыв было рот, приподняла кисти и замерла.

Что же, в следующий раз — будет осётр?

Дорогая Людмила Георгиевна.

Потому и стройная

красивая

вечно молодая.

3

Людмила была единственной дочерью директора алюминиевого завода (отец) и почётного работника Минкультуры (мать). Это была сильная, жизнеспособная, живучая, как все простейшие формы в истории эволюции, и вместе с тем как сильнейшие хищнические формы, порода людей, которая перемалывала кипучей энергией и жадой жизни — жизни благоустроенной и сытой, могущей служить за образец, — любые времена и формы правления, любые политические системы и сопутствующие им идеологии, любые законы государства и мироздания, любую веру и полное её отсутствие.

Мать Людмилы укоренялась силой в своём роду, отец — в своём, и путь перед ней стелился лёгкий и ясный, потому как проходил не по шатким сваям смешанного происхождения людей лугов и людей кабинетов, а по проложенному железом и камнем родовому мосту безошибочных союзов между людьми одной взвеси. Но, вопреки родительским ожиданиям, жизнь Людмилы оказалась тусклой и зыбкой, как закатная звёздочка в сгустках речного тумана. И мучилась Людмила не оттого, что было потеряно много, а оттого, что ничего и не было приобретено.

Ей хватило и крови, и таланта, чтобы поступить в консерваторию и блестяще окончить два курса; перейти на третий, блестяще проучиться половину и, задержавшись на одной из репетиций перед отчётным концертом, нарушить гармонию родовой пьесы собственной импровизацией.

После той репетиции к ней подскочила сокурсница и торопливо шепнула:

— Люда, дождись меня, увидишь сюрприз!

— Какой?

— Дождись, тебе говорю!

Сокурсница вспорхнула на сцену, собрала в охапку ноты и помахала кому-то в зале. Людмила проследила её взгляд и посмотрела в темноту, напрягая зрение. В глубине шевелились нечёткие фигуры, пробираясь к выходу через раскрытые сидухи кресел.

В парке консерватории шелестели воскресшие после зимы деревья и воздух, пропитанный жизнью и переставшим дождём, менял выражение лиц и лишал покоя.

— Я глупею от такой красоты! — воскликнула сокурсница Людмила и, закрыв глаза, медленно втянула воздух.

— А я глупею от твоей, — сказал высокий шатен и взял её за руку.

— Люда, познакомься, это наши преданные слушатели с худграфа.

— Что-то я раньше их никогда не видела.

— А что ты вообще видишь за своими очками? Ты видишь, что творится вокруг? — она серьёзно посмотрела на Людмилу.

— Что? — с тревогой спросила та.

— Весна! Дурочка! — рассмеялась сокурсница. — Пока мы торчим в своих актовых залах, а они — в своих мастерских, — творится весна! — она играючи толкнула высокого шатена и сделала обиженное лицо. — И, между прочим, проходит!

— Ну, значит, нам повезло больше, — улыбнулся высокий шатен, скрестив руки на груди. — Ты знаешь, откуда пошло выражение «свободный художник»?

— Откуда?

— Встретились как-то весной художник и пианистка. Художник позвал пианистку гулять, а она сказала: «Мне надо работать». Художник ответил: «Мне тоже. Давай работать на воздухе?» «Давай», — захотела пианистка и попыталась выкатить рояль наружу, но застряла в дверях. А художник побросал свой рабочий скарб в сумку, сунул под мышку этюдник и преспокойно вышел на улицу.

— Очень смешно.

— Ещё не конец. На улице он встретил другую художницу, и они стали работать вместе, а пианистка перекатила рояль на прежнее место и осталась с носом. Вот теперь конец.

— Свинство! Они, значит, наслаждались пленэром под аккомпанемент несчастной пианистки?

— Точно так.

— А потом захлопнули мольберты и пошли, взявшись за руки, по дороге счастья?

Улыбнувшись по-детски, высокий шатен пожал плечами.

— А несчастная пианистка осталась с носом...

— Да, рядом с художником пианистка всегда остаётся с носом.

— Тогда слушайте моё продолжение! — сказала сокурсница и хитро улыбнулась. Людмила, высокий шатен и его друг обступили её.

— Поскольку жизнь несправедлива только в скорости реакции, а не во-о-бще, то справедливость в ней всё же торжествует. Пусть и не сразу, а годы спустя. Так что однажды наши распрекрасные художник с художницей, которые уже поженились и жили долго и временами счастливо, забыв о горе брошенной пианистки, поехали на природу рисовать свои натюрморты.

— Натюрморты на природу? — вновь улыбнулся высокий шатен.

— Не придирайся. У них были капризные дети и зелёные жигули, так что в целом жизнь удалась. Они оставили своих капризных детей родителям, набили зелёные жигули лё-ё-ё-гкими, — она выдержала секундную паузу, — мольбертами и покатали на природу предаваться искусству... Но тут! — вскрикнула сокурсница, хлопнув в ладоши, — прямо посреди пленэра... — пауза, — ливанул дождь, — пауза, — за ним град, потом снег, потом всё вместе! Налетел ветер, прошёл ураган, метель, буря! — Она подпрыгнула и заговорила громче: — Наши предатели-художники простудились, заболели и умерли! Умерли, умерли, умерли! Вот теперь конец!

Людмила расхохоталась.

— Что, прямо там?

— Что?

— Умерли, говорю, прямо там?

— Ну да! От воспаления лёгких! Или от горя, что всю их мазню смыло водой!

— Шекспир! — воскликнул высокий шатен. — А что пианистка? Радовалась отмщению?

— Ну да! Села за свой гига-а-антский рояль и отыграла арию Герцога из «Риголетто».

— Уж лучше «Лакримозу» или «Эгмонта», — засмеялась Людмила.

— Ну нет. Для праздника отмщения и торжества справедливости слишком траурный выбор.

— Тогда почему арию герцога?

— Ну, потому что, — сокурница взяла под руку высокого шатена и прислонила голову к его плечу, — сердце красавицы склонно к измене. Думаешь, пока художник изменял ей с художницей, она сидела и плакала в тряпочку? Нет, ну, может, вначале немного поплакала, а потом в консерваторию перевёлся молодой талантливый пианист, они влюбились и стали играть вместе. Так что осталась она не с носом, а с пианистом.

Ей захлопали, и она сделала реверанс.

— Мораль? — спросил высокий шатен.

— Выбирая музыкальные инструменты, выбирай скрипку, — негромко сказал его друг.

Они встретились с Людмилой глазами, и она подумала, что при такой худобе у него должен быть совершенно другой голос, — более тонкий, скрипучий... а может, более юный.

Но голос его был чистый и тягучий, без хрипов, перепадов и обертонов.

— Андрей, — улыбнулся он и протянул руку.

Людмила поискала глазами сокурницу и высокого шатена. Они удалялись не спеша, расходясь перед лужами на аллее и пропуская их под аркой сцепленных рук.

— А я в школе тоже немного рисовала, — сказала Людмила. — И, по-моему, у меня получалось.

4

Она с детства боялась крови и, решившись уйти в первый раз, выбрала таблетки. Но получила не свободу, а тяжёлое отравление и — как побочный эффект — ещё большую близорукость.

В конце третьего курса художник Андрей и пианистка Людмила сидели в гостиной пятикомнатной квартиры под пристальными взглядами бабушки, матери и отца, неодобрительно глядевшего с похоронной фотографии.

Когда художник Андрей ушёл, мать сказала:

— Людочка, да ты с ума сошла! Он же такой... такой... провинциальный цыплёнок, вы даже смотрите вместе смешно! И потом, что он видел, чтобы стать художником? Где он учился? В нашем училище недоискусств? Чтобы писать банальные и пошлые пасторальки про любовь комбайнёра к доярке? Нет, конечно, учителем ИЗО устроиться всегда можно, но Людочка, Людочка, Людочка... — она не окончила и серьёзно посмотрела на Людмилу, а потом так добродушно захохотала и раскинула руки, что

Людмила сделала шаг, потом другой, и так, словно бы это была не она, а кто-то чужой в её теле, позволила себя обнять.

Бабушка порывисто встала из-за стола и задвинула стул, на котором сидел Андрей.

— Людмила Георгиевна, не позорься. И нас не позорь. Этот Анджей... — по-военному отчеканила она, не справляясь с польским акцентом, — ...в конце концов, твоя мать права, вы ни гра-а-аммушки не смотрите вместе. Этот, с позволения сказать, художник не подходит ни тебе, ни нам. Пожалуйста, молчи. Ты не выкинешь нас из песни. В конце концов, куда ты вернёшься, когда он, ничего не добившись в искусстве и не смирившись с тем, что его высота — это плакаты да трафареты, начнёт выпивать и не дай бог поколачивать тебя? Прозревшие бездарности, а хуже того — бездарности, мнящие себя гениями, — самые жестокие, деспотичные и опасные люди!

Людмила отстранилась от матери и посмотрела на фотографию отца.

— Отряхнись от помутнения и немедленно садись заниматься! Чтобы там ни было с этим художником, — его краски засохнут, а твоя музыка будет звучать.

Экзамен Людмила провалила и стала нехотя готовиться к пересдаче. Андрей вскоре уехал домой на каникулы, но назад не вернулся. Через месяц — только короткое письмо от его матери: «Андрюша разбился. Людочка, живи».

И больше полугода ничего не было «после», потому что всё было «до».

Консерваторию Людмила оставила и по протекции матери устроилась в музыкальную школу с дипломом выпускницы музыкального училища. Ей было столько же, сколько сейчас Нинель, только, в отличие от Нинель, ищущей счастья за дверью, она предпочла заключение в своём музыкальном каземате и с упоением сливалась со стенгазетами, служившими в нём обоями, защищаясь от хроноса и эроса расхожими банальностями вроде «людей старшего поколения следует уважать, переводить через дорогу и уступать им место в общественном транспорте».

5

Людмила пыталась стать матерью дважды. Один раз своему и один раз чужому ребёнку. Первым был мёртвый мальчик, вторым — болезненная девочка. Людмила не выходила замуж, но ребёнка решила оставить, и когда мать трагически опустилась в кресло, устало произнесла:

— Мама, не будь смешной. Я давно перестала бояться.

— А бояться нужно! — возбуждённо сказала мать. — Всё слишком быстро меняется и слишком быстро дорожает.

— Я давно перестала бояться тебя.

Родив мёртвого, Людмила поняла, что до конца жизни будет ему завидовать, потому что у неё снова всё было «до», а он был свободен с самого начала.

После боли к Людмиле пришла скука, и ей показалось, что на этот раз всё получится. Она выпила то, что нашла в домашней аптечке, не читая названий и не считая количества, но через минуту, склонясь над раковиной, думала только о том, как бы не захлебнуться от собственной рвоты.

Когда не стало ни матери, ни бабушки, она начала преподавать на дому. Это приносило доход и уносило мысли, которые стерегли в свободные вечера. Людмила победила их просто, лишив себя вечеров, так что приходили они только во сне, и к утру почти забывались.

Девочку на занятия привозил водитель три раза в неделю к пяти тридцати; и Людмила, привыкшая ходить пешком, в эти дни садилась на автобус или брала такси, чтобы приехать домой заранее и приготовить чего-нибудь к чаю.

Девочка была худенькая, порывистая и очень говорливая. Она никогда не высиживала за роялем положенного времени и, хлопнув крышкой посреди репетиции, без стеснения вдруг вскрикивала: «Концерт окончен! И ни секунды больше!»

Людмила, не терпевшая хамства, не только не злилась капризам девочки, а неожиданно для себя самой с удовольствием ей подыгрывала.

«И правда, хватит! Есть вещи поважнее музыки!» — говорила она, затем резко разворачивалась на круглом подвижном стуле и уходила на кухню.

Девочка хлопала в ладоши и бежала следом, а когда Людмила несла горячий пирог, всё пыталась отщипнуть на ходу и глядела притом на Людмилу — разозлится ли или стерпит — и видела, что Людмила и не терпит, и не злится; а потом, едва дождавшись, когда пирог окажется на столе, обхватывала её за талию и долго-долго не отпускала.

После чая она спрашивала, можно ли отпирать ящики, шкафы и наряжаться в Людмилины вещи и, получая один и тот же ответ, носилась из комнаты в комнату, увлекая за собой платья, украшения, шкатулки и фотографии, и так до тех пор, пока в дверь не стучался водитель и Людмила, не сразу открывая, напускала на себя сосредоточенный вид и говорила, что они разучивали сложный этюд и в следующий раз управятся к сроку. Но в следующий раз всё повторялось снова, и не было конца этой лжи, терзающей Людмилу ночами.

И говорилось перед зеркалом, что ничего плохого девочке не делается, а делается, напротив, только хорошее, и, если та приезжает больная, Людмила укладывает её на диван, играет что-нибудь лёгкое и просит угадывать тональность, потом садится у изголовья, чтобы держать за руку всё время, пока она спит.

Проснувшись, девочка обнимает Людмилу и просит оставить на ночь, и Людмила говорит, что это нехорошо, что у неё родители и что денег сегодня платить не нужно; и что она кричит? — спрашивается у зеркала, она кричит, что из родителей у неё только папа, а вторая — никакой не родитель, и что она сама будет решать, платить Людмиле или нет. И Людмила, отдав её водителю, закрывает за ними дверь, поворачивается к зеркалу и долго-долго смотрит на себя, словно вот-вот в отражении что-то должно измениться, а потом снимает очки, опускает голову и, опираясь на тумбочку, бессильно плачет.

На пороге Людмилиной квартиры мачеха девочки появилась внезапно. Это была пышная, красивая, белокожая женщина с густыми чёрными волосами, которая выглядела так, будто её только что вынули из медово-молочной ванны, растёрли благовониями и искусно нарядили, спрятав всё ненужное и обнажив всё нужное, затем перенесли прямо по воздуху так, чтобы ни одна пылинка не коснулась этого дивного существа, опустили перед квартирой Людмилы и сами же позвонили в дверь. Людмила невольно отступила назад, жестом позволяя женщине не разуваться.

Она знала, кто сидит перед ней в гостиной на том самом месте, где когда-то сидел художник Андрей и где вчера рисовала пейзажи любимая ею болезненная девочка.

Женщина сидела с очень ровной спиной, внимательно смотрела на рисунки и ничего не говорила. С той же осанкой и с тем же молчанием сидела и Людмила.

Потом женщина сказала:

— Я пришла вас предупредить, что занятий больше не будет.

— Почему? — спросила Людмила, удивившись непринуждённости собственного голоса.

— Вас просили заниматься музыкой, а не играть в дочки-матери! Вам за это даже платят. И по моим подсчётам — более чем достаточно.

— Я просто хотела, чтобы девочка чувствовала себя как дома.

— У девочки уже есть дом! А вы морочите ей голову!

Людмила пыталась подобрать слова, но внутри у неё дрожало.

— Вы же всё рушите! Вы вредите! Вы знаете, чего мне стоило? — женщина поджала губы и отвернулась, сиюсь сдержаться, но через мгновение подняла воротник пальто и, спрятав в него лицо, зарыдала. — Я понимаю, вы одинокая, вы несчастная, вам тоже хочется, чтобы кроме этого, — она очертила комнату руками, — у вас было что-то ещё. Я понимаю.

Людмила налила стакан воды и положила рядом салфетки. Женщина кивнула, отпила немного, затем открыла сумочку, вынула носовой платок и сказала:

— Я понимаю. Но и вы поймите. Не можете не понять. У меня, — она промокнула глаза и окинула взглядом комнату, — не было даже этого. А теперь есть всё. Почти всё. И с этой девочкой связано моё будущее. Да, она трудный, упрямый, жестокий... не буду лицемерить — чужой для меня ребёнок, и вы не представляете, как с ней тяжело...

— Не представляю, — Людмила рывком поднялась со стула. — Потому что мне с ней легко.

Она вдруг почувствовала себя такой пустой, что слёзы женщины и голос женщины казались ей вычурным необязательным кадром плохого фильма.

Женщина прочитала что-то в лице Людмилы, укоризненно покачала головой и, сгорбившись, пошла к двери, прижав к себе незакрытую сумочку.

6

Вытянув руки вперёд, Людмила задержала дыхание. Доктор улыбнулся, сказал, что дышать разрешается, и какое-то время наблюдал, не дрожат ли пальцы. Пальцы дрожали, и он попросил следить за ручкой, которой двигал из стороны в сторону прямо перед её глазами. Потом уткнулся в снимок.

— Это серьёзно? — спросила Людмила.

— В моём кабинете серьёзно всё, — не отрываясь от бумаг, ответил он.

— Что вы пишете?

— Направление на анализы и рецепт на лекарства.

— Лекарства без анализов?

— Предварительная картина мне ясна.

— Лекарств я не пью.

— Хотите жить — придётся.

— А если не хочу?

— Тогда не пейте, — ответил доктор, перестав писать. — Моё дело — лечить, а ваше — не быть душой.

Он протянул рецепт, но Людмила с улыбкой попятилась назад и вышла из кабинета, не попрощавшись.

Вернувшись в квартиру, она побродила по комнатам и, не раздеваясь, села за рояль.

Она сыграла «Итальянскую польку» Рахманинова, «Венгерский танец № 5» Брамса и арию герцога из «Риголетто», потом раскрыла первые попавшиеся ноты и

играла по ним без перерыва до тех пор, пока соседи не застучали по батареям. Тогда, хлопнув крышкой, прошла к зеркалу, дозвонилась на работу и попросила отгул.

Через три проведённых в нерасправленной постели дня вышла на работу и объявила директору, что уходит в отпуск. Директор попросил её быть человеком и потерпеть до конца четверти.

Людмила ответила, что быть человеком ей осталось недолго, но обещала потерпеть.

В коридоре она встретила Нинель и, позволив себя обнять, сказала, что спешит и будет только в понедельник.

— В понедельник не будет меня, — грустно сказала Нинель. — Я скоро совсем уволюсь. Можно я приду к вам вечером?

— Приходи, — кивнула Людмила, — я сегодня очень стоворчивая.

Она запекла кролика и отправила в духовку вишнёвый пирог. Расстелила праздничную скатерть и переделась в платье из голубого шифона.

Нинель позвонила вечером и сказала, что не придёт.

— Тогда я приеду к тебе сама.

В трубке раздался плач, затем смех, торопливая фраза о плохом самочувствии, не приходите, не приходите, и снова фраза о плохом самочувствии.

Людмиле очень хотелось пройтись, но она боялась, что кролик окоченеет даже в полотенце, а пирог станет клёклым и распадётся на части, поэтому доехала на такси.

В общежитии было холодно и многолюдно. Она назвала номер комнаты, и вахтёрша пропустила без документов.

В комнате Нинель работал обогреватель, сжигая остатки несвежего воздуха. Людмила вспомнила, как завидовала однокурсникам из общаги, которые считались настоящими студентами только потому, что в ней жили, и теперь с удовольствием подумала о своей квартире.

Нинель протянула листок бумаги.

— Можете прочитать первые две строки. Только, пожалуйста, ничего не говорите. Я уже столько всего наговорила себе.

— Я и не думала, — сказала Людмила без выражения, вернув листок Нинель. — Увольняться только зачем?

— Он отказался. Не хочу здесь. И к маме не хочу, боюсь.

— И что?

— Буду рожать. Доработаю эту неделю и уеду к тёте в область.

Молчание.

— Да нет, вы не думайте, я не напрашивалась, — затараторила Нинель, испытующе глядя на Людмилу. — Она сама позвала. Своих детей у неё нет, живёт одна, сказала, что хочет нянчиться.

Они поговорили ещё немного. О мелочах, об осадках на выходные, о Кларнете, у которого не осталось учеников, зато обнаружилась опухоль, а он от этого почему-то не запил, а наоборот; о том, что на пустыре у школы, со стороны торца, появился высокий, обвешанный плакатами забор, куда с прошлой недели всё заезжала и заезжала гусеничная и другая разнообразная техника.

— Шумно будет. Сейчас-то ладно, а весной будет шумно, — отстранённо сказала Нинель.

— Может, мне с ним поговорить? — спросила Людмила.

— Зачем? — испугалась Нинель. — Зачем, — повторила она уже без вопроса.

Людмила постучала ногтем по сумочке, вынула кошелек и тут же убрала назад.

— Нет. Денег не дам, а то ещё наделаешь глупостей.

Нинель покачала головой.

— Я же сказала, поеду в область. Как есть.

Людмила поднялась, застегнула пальто и прикрыла нетронутый ужин расшитой вручную кухонной салфеткой. Подумала, что не будет возвращаться ни за ней, ни за посудой и подумала ещё, что с пустыми руками и по сухой дороге она прекрасно доберётся до дома пешком.

— Вчера вечером чинили щиток в коридоре, — окликнула её Нинель. — Я не знаю, зачем. Там что-то с тумблерами или с пробками. Их месяц как выбивает, когда все подключают плитки, это запрещено у нас, вплоть до выселения, но все подключают. И я, видите, тоже. А вчера вечером, когда внезапно стало темно после раскалённой лампочки, в окне так ярко-ярко вспыхнуло что-то, я даже подбежала к стеклу и стала вглядываться: мне показалось, что луна. Вы представьте: огромная! Повисла низко-низко в пол-окна. Я даже лбом прислонилась — хоть и ледяное оно. А потом — миг, какой-то миг — и рядом с луной лицо — старое, некрасивое. Я вскрикнула, обернулась — сзади меня комендант стоит, светильник держит — круглый, бумажный, а внутри — свеча, — Нинель закрыла лицо руками.

Людмила продолжала стоять у двери вполоборота.

— Ложись спать, дорогая Нинель. Мне пора.

— Да-да, — пролепетала Нинель, отнимая руки от лица. — И комендант сказал то же самое. Посмотрел на плитку, которую я не до конца задвинула под кровать, и сказал то же самое. Ложись спать, дорогая Нинель. А я всё глаз не отведу от его светильника. Гляжу то на светильник, то на стекло — на обманчивый свет.

Когда Людмила легла, было уже за полночь, но как бы она ни пыталась договориться с собой, чтобы сейчас уснуть, а думать обо всём уже завтра, в голове крутилась одна и та же фраза: «Своих детей нет, живёт одна, сказала, что хочет нянчиться».

Она нащупала очки, влезла в домашние туфли, прошла в коридор, достала из сумки бумаги и набрала номер.

— Доктор, это Людмила, которая была у вас недавно и которую вы назвали дурой. В трубке молчали, но она не сомневалась, что он вспомнит её.

— Да-да... я вас помню.

— Доктор, это может быть рак?

— Конечно, — послышался кашель, — конечно, не может, — сказал доктор осипшим голосом и снова откашлялся. — То есть теоретически, конечно, может... со временем... в будущем... — заспорил он сам с собой, окончательно проснувшись, — но конкретно у вас никакого рака нет, и давайте договоримся, что онкологию мы исключаем даже на будущее.

Людмила сняла очки и погасила тусклое бра.

— Что с вами такое? — спросил он после паузы. — Вы не видели, который час?

— Я просто хочу знать, через сколько умру.

— Послушайте... — Людмила услышала, как он улыбнулся, — а сколько вам, собственно, нужно? — И тут же, будто спохватившись от неуместной шутки, добавил ровным серьёзным голосом: — Не раньше, чем через двадцать-тридцать... да кто ж его знает, через сколько лет.

— Прекрасно, — сказала Людмила и улыбнулась тёмному отражению в зеркале. — Я думаю, мне хватит и десяти.

По кругу

Вспомни, когда у школьников не было телефонов.

Из разговора в очереди

Было уже поздно и совершенно тихо повсюду, когда мальчик, будто его кто-то кольнул в бок, открыл глаза. Удивляясь, как же его угораздило заснуть и проспять здесь неизвестно сколько, он испуганно озирался по сторонам. Всюду висели большие, прибитые к деревянным рейкам блестящие карты. На алюминиевых стеллажах по обе стороны подсобки в пыли и беспорядке лежали учебники, тетради, огромные транспортеры в трещинах и длинные деревянные указки. От страха и мыслей: «Что же теперь будет, что скажет учительница, и как загалдят в классе, когда я покажусь им», — он задержал дыхание и спрятал лицо в ладони.

В подсобке, наполовину закрытое стеллажом, виднелось оконце, а в нём — не тёмное ещё, но сумеречное небо. Решив, что сейчас гораздо позже, чем ему кажется, мальчик испугался ещё сильнее и, подскочив к двери, дёрнул её на себя. Дверь была лёгкая и поддалась сразу, так что он едва устоял на ногах.

«Вот и полы уже помыли, и всё равно меня не нашли», — глядя на поднятые стулья, подумал мальчик. И вспомнил, как в самые последние минуты травли успел заскочить в кабинет географии, где спиной к доске сидели трое старшеклассников, и юркнуть в незапертую подсобку. Оттуда, припав к дверной щели, он пытался разглядеть, нет ли за ним погони, но, кроме полоски от краешка класса, в ней не было ничего. Потом ясно расслышал: «Не пробегал ли здесь очкастый жирдяй?» и по голосам узнал травивших его, но больше звуков не было. Видимо, те, кого спрашивали, его не видели и вместо ответа покачали головами.

Он решил переждать ещё немного, но в эту минуту раздался звонок, и снаружи прокатился грохот. Это вставал класс, приветствуя старую учительницу географии, и мальчик, испугавшись, что она отведёт к директору — потому что старые добрыми быть не могут, — отступил вглубь подсобки и решил дожидаться конца урока.

В углу на флагштоке, прислонившись к стене, старилось алое знамя. Мальчик потрогал бархатную ткань и, развернув её, прочитал: «Смена смене идёт. Комсомольская организация школы».

«Ты кто?» — спросил голос сзади. Мальчик вздрогнул, уронил флагшток и повернулся к двери.

— Ты кто? — повторил старшеклассник.

— А ты? — опешил мальчик.

— Ты как здесь?

— А ты?

— Я первый спросил.

— А я второй.

Мальчик решил, что наговорил достаточно и торопливо отогнул дужки очков, полукольцами обнимавшие его оттопыренные красные уши. На случай, если будут бить.

— За атласом послали, — спокойно сказал старшеклассник и показал ему атлас. — Ты кто?

Мальчик вернул дужки на место и поправил очки.

— Новенький. Из 5-го «Б».

- И чего здесь забыл?
- Я прячусь.
- Зачем?
- Чтоб не поймали.
- За что? За то, что новенький?
- За это, — кивнул мальчик. — И за то, что жирдяй.

В подсобку заглянула девочка и удивлённо на них уставилась. Старшеклассник приложил палец к губам и округлил глаза. Девочка закивала и шёпотом сказала, что требуют атлас.

Старшеклассник снял с мальчика пиджак, расстелил его в углу между стеной и стеллажом и велел до звонка сидеть тихо. Мальчик протиснулся в угол, и старшеклассник накрыл его знаменем.

Сейчас он не мог разобраться, злиться ли на старшеклассника, который ушёл после урока, не проверив его, или на себя, потому что уснул так крепко, будто засыпал в удобстве и тепле. «А может, он так смеялся надо мной, а я поверил, как другу, а может, и правда забыл, потому что спешил проводить ту девочку, которая заглядывала в подсобку и ничего не рассказала о нас... Точно забыл, потому что он любит её за то, что она красивая и умеет хранить секреты, и потому что сейчас время ужина». И вспомнив об ужине, мальчик перестал думать и о старшекласснике, и о девочке, и о том, почему сейчас повторяет в уме: «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры — дети рабочих». Но, повторив эти строки ещё, стал мучиться над их продолжением, решив, что это они же и усыпили его, маяча перед ним в подсобке, а он, связанный своим заточением, читал и читал их десятки раз и злился на то, что после фразы «близится эра светлых годов» ничего нельзя было прочитать: там проходила перекладина стеллажа. И вспомнил, что раз даже произнёс: «Пенсионеры — дети рабочих», и это очень его насмешило, потому что пенсионеры слишком старые, чтобы иметь родителей.

Дверь класса была заперта. Мальчик подёргал ещё несколько раз, прежде чем смирился с новой неприятностью.

Он вспомнил, сколько всего ему нужно сделать — найти пальто и рюкзак, оставленные неизвестно где, и потом со всех ног бежать домой, чтобы не злить бабушку и не расстраивать маму, — и что есть мочи затарабанил в дверь.

Тут же в замке тяжело повернулся ключ, дверь распахнулась, и он увидел толстую женщину в растянутом синем трико и красном залатанном свитере. Голова женщины была коротко острижена, и лицом она походила на кита. В руках она держала незажжённую сигарету и огромную связку ключей.

- Ты чей, мальчик? — прохрипела женщина-кит.
- Ничей. Я новенький.
- То-то я вижу — лицо чужое, — она отодвинула его в сторону и протиснулась в класс. — Я в своей школе всех знаю. Сколько вас тут? Чего задумали? Опять поджигать?
- Ничего не задумали, не опять, я маму жду, — соврал мальчик.
- И где её носит? Мне уже школу запираТЬ.
- Наверное, на работе задерживается. Я скоро сам пойду.
- Без матери? Стой. У меня подождёшь.
- Вы кто?

— Вахтёрша я, Рая. Живу здесь. Вон там, в пристройке со двора, — она кивнула в сторону окон и, вытолкав его из класса, заперла дверь.

В вестибюле из-под стола дежурного извлекла пальто и рюкзак и спросила — его ли это добро? Он просиял, подумал, что теперь всё разворачивается как надо и, значит, будет везти до самого возвращения домой.

Оказавшись на улице, он повернул направо и хотел было сбежать с крыльца, но вахтёрша схватила за руку и поволокла за собой.

Пристройка состояла из двух комнат и пахла сырыми коврами и жареной едой, которую мальчику есть не разрешалось, потому что ему ставили диабет.

В первой комнате работал маленький телевизор и шипело радио, перебивая ведущего «Поля чудес». На диване, закинув голые ноги на его невысокую спинку, лежала длинноволосая девушка. Она была не толстой, а такой, которая вот-вот готовится растолстеть, но лицо её было красивым — не китовым — большеглазым и большеротым, как у дочки царя из мультфильма «Синее море»; и если бы она вдруг запела, то запела бы как раз ту самую песню дочки царя: «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём». Но она ничего не запела и даже не повернула головы на мальчика, а только поменяла положение ног и залюбовалась ими.

— Ну? — спросила вахтёрша Рая.

— Готово. Только тарелку не порть, — ответила девушка.

— Со сковородки вкусней, — согласилась вахтёрша, но, покосившись на мальчика, достала из ящика небольшую тарелку с отколотым краешком.

— Картошку любишь? — спросила она.

Девушка повернула голову и, не рассмотрев ничего, приподнялась на локтях.

— Новенький. Если б не я — куковал бы до понедельника, — объяснила вахтёрша.

Девушка спустила ноги и подобрала их.

Вахтёрша подняла крышку сковородки и, причмокнув, наполнила тарелку. Кивком подозвала мальчика.

— Мне жареное нельзя, — виновато сказал он.

— Как будто бы мне можно, — ответила Рая-кит.

— У меня диабет, — выдал из себя мальчик.

— И у меня диабет, — она пожала плечами. — Садись, что тебе сделается от одной ложки?

— Может, ему йогурта намешать? Кефира с вареньем? — спросила девушка.

— Не надо, я лучше пойду.

Вахтёрша выругалась сквозь зубы и с грохотом встала из-за стола.

— А мать твоя где?

— Забыла, наверно. Я правда, сам.

— Ладно, иди, — она с тоской посмотрела в тарелку, — но чтобы сразу домой.

Мальчик схватился за ручку двери.

— Стой! — окликнула его вахтёрша. — Близо хоть живёшь?

— Близо-близо, — закивал мальчик и, крикнув «спасибо», выскочил наружу.

На улице громко щебетали птицы, и хотя по виду неба была уже ночь, машин по-прежнему было много, и было много разных людей, спешивших домой поодиночке, парами и с детьми.

Мальчик подумал, что на троллейбусе будет быстрее, припоминая, что утром до школы они с матерью шли минут сорок, и уверенно зашагал к остановке.

Подошёл троллейбус. Он увидел на лобовом табличку с надписью «Хлебзавод», пропустил вперёд женщину с тяжёлой сумкой и поднялся внутрь. Боязливо пройдя мимо полусонной овчарки в наморднике, занял двойное сиденье, сев на одно и поставив рюкзак на другое.

Троллейбус шёл плавно, и только на одном большом перекрёстке потерял рога. Водитель, похожая на вахтёршу Раю, только в очках, вышла на дорогу, приладила их на место, и мальчик засобирился к выходу, решив, что теперь должно быть недолго.

Раздался голос кондуктора. Он сообщал в заученном порядке, чтобы оплату готовили заранее и заранее предъявляли проездные билеты. Мальчик опустил на свободное место, пытаясь разглядеть, какие здания проплывали за окнами, и вместе с тем нащупать проездной в кармашке рюкзака.

В рюкзаке его царил привычный беспорядок, но было там и нечто странное, и мальчик, бросив следить за зданиями, углубился внутрь обеими руками. Он вытащил на сиденье изрезанные учебники по истории и по естествознанию и обругал себя за то, что бросил рюкзак, когда побежал. Складывая учебники на место, ткнулся во что-то мягкое и как будто подвижное, а через секунду оно и вправду задвигалось под его пальцами и коротко пискнуло.

С силой отдернув руку, он соскочил с места, уронил рюкзак на пол и увидел, что люди, сидевшие рядом, внимательно смотрят на него. Смутившись и стараясь не подавать виду, он поднял рюкзак и быстро застегнул молнию, но тут же услышал истошный крик через несколько сидений от себя. Это кричала женщина с тяжёлой сумкой, с которой он сел на одной остановке. Женщина подсакивала на месте и молотила ногами. От этой картины в движение пришёл весь троллейбус, кроме нескольких сонных пассажиров, уткнувшихся в сверкающие несчастными огнями стёкла. Мальчик увидел, как заволновалась овчарка в наморднике, — теперь она стояла посреди троллейбуса и нервно повизгивала, глядя куда-то в сторону.

Он подошёл ближе, машинально поправил очки и под сиденьем для инвалидов заметил джунгарского хомяка по кличке Жорж из живого уголка кабинета биологии.

Кричавшая женщина пробилась к выходу и заявила кондуктору, что не будет платить за проезд, потому что в троллейбусе крыса, а может, и не одна. Овчарка скулила уже непрерывно, поглядывая на хозяина и злясь на намордник, который не давал ей разразиться долгим справедливым лаем.

Мальчик испуганно посмотрел в окно, решил, что со всей этой канителью наверняка пропустил свой выход и, не боясь уже ни внимательных пассажирских взглядов, ни проснувшейся овчарки, припустил к дверям и громко спросил у кондуктора, скоро ли остановка?

— Сейчас, — ответил кондуктор, — готовь за проезд.

— У меня проездной, — занервничал мальчик и снова углубился в рюкзак.

— Потерял, что ли? — спросил кондуктор.

— С утра вроде был, — сказал мальчик упавшим голосом.

— Ладно, иди. Завтра покажешь, — сказал кондуктор и, держась за поручни, отстранился от выхода.

Мальчик выпрыгнул на улицу и помахал кондуктору и Жоржу, подумав, что если ему, жирдяю в очках и с диабетом, везёт сегодня напропалую, то может повезти и хомяку. И загадал, чтобы кондуктор забрал его жить к себе или отнёс в зоомагазин и получил за это деньги. Или отдал кому-нибудь за так.

Троллейбус ещё был виден на дальнем перекрёстке, когда до мальчика дошло, что хлебзаводом тут и не пахнет. Пока он терзался двумя мыслями «то ли я слез

раньше», «то ли переехал», в нём снова разыгрался голод, и он вспомнил, что сколько-то лет назад даже знакомился с хлебзаводской продавщицей.

В окошко кассы умещались только её руки и грудь, и ему казалось, что за стенкой сидит гора сдобы. Он приподнимался на цыпочках к окошку в надежде узнать, есть ли у горы лицо, но мама всё время куда-то спешила и тянула его за руку. Он не сопротивлялся, потому что тогда она тянула ещё сильнее, и это было унижительно. Когда он понял, что хлебзавод торгует не только хлебом, но и разной выпечкой, то делал всё, чтобы попасть туда снова. И хоть диабет ему ещё не ставили и он ел всякое, включая жареное и сладкое, мама всё равно брала у продавщицы только хлеб.

Однажды он спросил, можно ли ему торта, и мама сказала, что нельзя, потому что у него и так лишний вес. Продавщицу это, видимо, задело, и она наклонилась к окошку. Мальчик увидел хитрый покрашенный глаз и краешек рта. «Хорош пельмень», — сказала продавщица и протянула ему булочку с маком.

Всплывшая в памяти булочка усилила тревогу, и он спросил у прохожей женщины, далеко ли хлебзавод и который теперь час?

— Девять, — сказала женщина. — Уже час как закрыт.

— А далеко ли? — не отставал мальчик.

— Да в этом районе вообще нет, — ответила женщина.

— А «двойка» же ходит?

— Троллейбус?

— Да.

— Ходит.

— Так разве она не туда?

— Туда, но до самой конечной.

— Это в какую сторону? Туда, куда я лицом?

— Нет, вот туда лицом.

Мальчик перешёл дорогу, сел на скамейку и стал смотреть, не затрясутся ли провода. Провода качались от ветра, и он понимал, что от ветра, но несколько раз вставал и подходил к дороге, высматривая троллейбус.

Приехала «двойка», но объявили, что по маршруту будет следующая, а эта — в парк.

Мальчик снова сел на скамейку и подложил под себя оковеневшие руки. Какое-то время он решил не следить за проводами — они ещё не успокоились после первой «двойки».

Когда руки немного отогрелись, спохватился, что проездной так и не был найден. Выпотрошил рюкзак на скамейку и вляпался в бытовые отходы Жоржа, намешанные с физиологическими. «Теперь на них ни сесть, ни спрятать в карманы», — подумал мальчик, разглядывая руки. Тем временем провода уже качались вовсю, а проездного всё не было.

Подошла «двойка». Мальчик вплотную приблизился к лобовому стеклу и удостоверился в надписи «Хлебзавод». Водитель махнула говорящим жестом: «Не стой на пути!» В передние и задние двери ещё грузился народ, и мальчик, не поднимаясь на ступеньки, спросил у кондуктора: «Если с утра у человека был проездной, а сейчас его нет, что тогда делать?» «Платить за проезд», — ответил кондуктор. «А если и денег нет?»

У задней двери происходила задержка из-за женщины с сумками и девочки с коляской. Женщина стояла на нижней ступеньке, поставив одну сумку рядом, а другую держа в руке; вторая её рука держала девочку с игрушечной коляской. Но так

как коляска была игрушечной только для взрослых, а для девочки была настоящей, в натуральный размер, втащить их вместе было непросто. Мальчик пошел ва-банк: «А если и денег нет, но ехать нужно?» Кондуктор слушал вполуха, потому что сам уже наполовину вывалился из дверей и смотрел, какие подвижки происходят у женщины с сумками и девочкой с коляской.

Девочка отчего-то артачилась, и кондуктор, махнув водителю, поспешил к ним. Мальчик последовал за кондуктором и снова повторил: «А если и денег нет?» Кондуктор остановился и осмотрел его с ног до головы. Мальчик стоял раскрасневшийся и неопрятный. «Бери на себя коляску и залезай». Кондуктор схватил сумку, стоявшую на ступеньке, и потянул девочку за руку, мальчик взял коляску. Двери закрылись, и троллейбус поехал.

Девочка увидела измазанную ручку коляски и со злости наступила мальчику на ногу. «Воняет», — сказала она матери. Мать попросила не выражаться, усадила их рядом, а сама села напротив. Девочка выпятила нижнюю губу, опустила подбородок, сдвинула брови и сказала, что не хочет сидеть рядом с вонючим мальчиком. «Может, ты и спасись не хочешь?» — спросила женщина. Девочка опустила подбородок ещё ниже и посмотрела на неё исподлобья. «На-ка вот, задумайся», — женщина достала из сумки две яркие тоненькие книжицы. Девочка вынула из коляски фломастер и начала закрашивать надписи «Сторожевая башня» и «На что можно надеяться людям?». «Опять?» — спросила женщина и забрала у девочки книжицу. Девочка раскрыла вторую, но, заметив, как дёрнулась рука матери, закрыла фломастер и бросила его в коляску. «Я буду жить вот так!» — сказала она и стукнула по картинке, на которой львы и тигры гуляли рядом с овцами и зебрами. «Правильно, — кивнула женщина, — и мальчику покажи». «Он грязный, — сказала девочка, — его не пустят». «А ты расскажи ему, как очиститься». «Не хочу». «Значит, и сама не хочешь». «Хочу», — девочка топнула ногой. «А ты хочешь?» — спросила у мальчика женщина. «Чего?» — не понял мальчик. «Спасись». «Я на хлебзавод хочу». «Он уже закрылся, — сказала женщина, — а вечное царство открыто всегда».

Мальчик отвернулся к окну. «Ты любишь петь?» — спросила его женщина. «Я не умею», — ответил он. «Какую песню ты знаешь?» Мальчик задумался и сказал: «Взвейтесь кострами синие ночи, пенсионеры — дети рабочих». «Это неправильная песня», — сказала женщина. «Мы пионеры — дети рабочих», — исправился мальчик. «Всё равно неправильная. Давно ты в очках?» «С детства». «А что ты знаешь про духовное зрение?» Мальчик поднял и уронил плечи: «Ничего».

— А где же синий вол, исполненный очей? — спросил голос сверху.

Женщина и девочка с мальчиком подняли головы и увидели длинноволосого худого парня, до того высокого, что верхняя часть его лица терялась в скудном освещении троллейбуса, и хорошо был виден только насмешливый рот и заострённый подбородок.

— И орла нет, — сказал парень.

— Вы кто? — спросила женщина.

— Студент. Немного музыкант.

— Вы верите в жизнь после смерти?

Он ухмыльнулся.

— Я верю в смерть во время жизни.

— Не всякая музыка — это благо. На чём вы играете?

— На этом, — студент повернулся к ней полубоком и показал гитару.

Девочка протянула руку к потёртому чехлу и схватила за собачку на молнии. «Не трожь», — сказала женщина.

Студент взялся обеими руками за поручень, согнулся в локтях и повис над ними, показав незлое лицо.

— А это сложно? — восторженно спросил его мальчик.

— Да нет, хочешь, научу?

— Хочу.

Женщина заёрзала на месте. «Возьмите-ка лучше это». Она открыла сумку и, перебрав несколько брошюр, достала крайнюю и протянула студенту.

— «Бейсбол был для меня всем?» — прочитал студент.

— Это очень поучительная история о нравственной слепоте, — сказала женщина.

— Гитара для меня не всё, — засмеялся парень, — почти всё.

Рот женщины задвигался, но она промолчала.

Мальчик встал и сказал, что ему нужно выходить. Женщина неохотно отодвинула сумки, освобождая дорогу. Она протянула брошюру с надписью «Пробудитесь» и сказала: «Прочитай это внимательно, и ты узнаешь, какие опасности таит в себе ложь».

Мальчик не хотел брать, но женщина настаивала: «Бери, уже многие люди знают об этом». Она выглядела молодой, но руки, державшие брошюру, были лет на двадцать старше её лица.

Троллейбус остановился возле большой светящейся вывески, и красно-синие огни легли на седую шевелюру. Это было странное зрелище. Почти такое же, как люди на рисунке, по которому стучала рука девочки, возвещая, что будет жить среди них. Львы, тигры и леопарды были одинаково равнодушны и к людям, и к овцам. «Так не бывает», — подумал мальчик и снова посмотрел на седые волосы, обрамляющие молодое лицо женщины.

Он взял брошюру, на ходу затолкал в рюкзак, отошёл подальше от них, сел на свободное место и вскоре уснул.

Через сорок минут кондуктор заорал: «Конечная», и всё, что осталось внутри, пришло в движение.

Когда подкатили к парку, кондуктор прошёл в конец троллейбуса, увидел спящего мальчика, съехавшего на сиденье, и поднял его на ноги за капюшон пальто. Мальчик захлопал глазами и, испуганно оглядевшись, побежал к дверям.

На улице он покрутился на месте и, не увидев никаких жилых зданий, а только множество колючих звёзд на небе и несколько чахлах строений на земле, заскулил, как скованная намордником овчарка, и побежал наугад. Добежав до перекрёстка, он повернул направо, потом ещё раз направо, потом вернулся к парку и проделал то же самое, сворачивая налево. Потом снова вернулся к парку, решив спросить у кондуктора, далеко ли хлебзавод? Но парк не подавал признаков жизни, и мальчик, испугавшись приближаться к нему, решил идти по троллейбусным проводам в обратном от парка направлении.

Он пожалел, что на руке его нет часов. Когда бабушка сказала писать Деду Морозу и просить о подарке, он написал «часы», но бабушка велела переписывать, потому что часы могут иметь только взрослые, понимающие, что время — деньги.

Провода были неподвижны, и мальчик понял, что на сегодня троллейбусы кончились, а значит, сейчас около одиннадцати. Замёрзшие руки он давно спрятал в карманы, наплевав на то, что они грязные. Но руки не отогревались. Тогда он обхватил себя, сунув руки под мышки, и колючая ткань пальто приятно заколола кожу, разгоняя кровь.

В одном из строений показалась наполовину уцелевшая витрина. Он посмотрелся в неё. Витрина вытягивала его по росту, возвращая ему не толстого, но потрёпанного

двойника. Съехавшие штаны собирались в гармошку и попадали в ботинки, рубашка торчала из щели неправильно застёгнутого пальто. Но всё это было настолько неважно в сравнении с тем, что у него не осталось никаких ориентиров, куда идти, что он не стал ничего поправлять и пошёл дальше.

Последней надеждой был человек, в которого он решил вцепиться как в поводья; но человека он искал особенного, а такого не было. Те, что встречались по пути, даже отдалённо не были похожи ни на вахтёршу-кита, ни на кондукторов из обоих троллейбусов, ни на водителей троллейбусов, ни на женщину с брошюрами, ни на студента с гитарой, и он прятался от них, прильнув к черноте стен или приседая у заколоченных киосков.

Он пытался представить, что творится дома, какой там стоит переполох. Как сидит за столом мама и оцепенеет смотрит перед собой, и как рассказывает по комнате бабушка, повторяя, что кому-то сильно не поздоровится, появившись он на пороге. Пахнет корвалолом и валерьянкой. И делается радостно коту. Забыв о весне, о друзьях и подружках, он радостно дышит этим эфиром, ничего не понимая о человеческой жизни, о нравственном зрении, о бейсболе, диабете и хлебзаводе.

«Может, я умру, — подумал мальчик, — тогда мои последние слова будут такими: «Хлебзавод был для меня всем». — Он улыбнулся. — Да нет, чего бы я умер? В крайнем случае дойду до жилых домов, постучусь к кому-нибудь и попрошу отвести домой... Да нет, стучаться, наверное, тоже не буду, буду просто идти, пока не дойду до чего-то знакомого... Или всё-таки постучусь...»

Подъехала машина. Две первые, что встретились ему, когда он пошёл от троллейбусного парка, были старые развалюхи — он даже подумал, не поднять ли руку, но долго решался и упустил. Эта развалюхой не была, а была похожа на новый катафалк. Мальчик обхватил лямки рюкзака и пошёл быстрее. Катафалк катил рядом. Стекло опустилось и низкий голос спросил: «Эй, мальчик, не знаешь, где Третий тупик?» «Не знаю», — ответил мальчик. Он прошёл ещё немного и полуобернулся к окну. «А где хлебзавод, не знаете?» «Знаем», — улыбнулась темнота. «А как пройти?» «Объяснить не объясним, но отвезти можем». Мальчик остановился. В лучах от фар танцевала влага, по стёклам катафалка струилась мокрая пыль, и весь он стоял в испарине, точно лошадь в мыле, загнанная жокеем.

Мальчик застыл на бордюре в шаге от него. Задняя дверь открылась. Он наклонил голову, но не смог рассмотреть, что внутри. Из двери показалась рука, развёрнутая ладонью вверх, с напряжёнными длинными пальцами и развитыми холмами Венеры и Марса. На указательном серебрилось кольцо. Мальчик протянул руку, и пальцы коснулись его. Рука была горячей и очень крепкой.

— Вот ты где! — послышалось сзади. — Разве можно так долго гулять?

Мальчик обернулся, рука разжала пальцы и исчезла в катафалке. Говоривший человек был невысокого роста, по тёмному плащу его стекали капли, словно он пришёл из той части города, откуда прибыл и катафалк, и где наверняка лил дождь. На голове его был капюшон.

— Пойдём, — сказал человек и взял мальчика под локоть.

Дверь катафалка закрылась, и он медленно покатиł прочь.

— Который час? — спросил мальчик.

— Скоро двенадцать.

— Мне конец.

Человек улыбнулся.

— Теперь наоборот. Где ты живёшь?

— Недалеко от хлебзавода.

— Хлебзавод мы прошли.

— От хлебзавода минут пятнадцать.

— Адрес знаешь?

— Солнечная двадцать пять.

Они повернули назад и пошли к троллейбусному парку. Человек свернул в узкий проход между одноэтажными бараками и скрылся в темноте. Мальчик остановился.

— Не бойся, по-другому в обход минут тридцать, — сказал человек.

За проходом показался двор, слабо освещённый фонарём, а сразу за ним — белое здание хлебзавода.

— Я думал, что никогда до него не дойду! — вскрикнул мальчик. — Я думал, что так и буду ходить по кругу, пока не кончится ночь!

Остановившись перед хлебзаводом, незнакомец снял капюшон, прикрыл глаза и с наслаждением вдохнул.

— Человек давно не живёт охотой, человек живёт магазинами, — сказал он и посмотрел на мальчика.

Мальчик зевнул.

— Но нюх у него такой же, как и тысячу лет назад.

«Кассиопея, — подумал мальчик и опустил голову, не желая зевать в лицо незнакомцу. — Завтра дождя не будет, если не накажут, буду кататься на велике».

— Человек создан с нюхом, а нюх наш здесь, — незнакомец хлопнул себя по груди.

— У меня его нет, я весь вечер искал хлебзавод.

— И, как видишь, нашёл!

«Может, отправят за хлебом. Тогда в обход через парк и сюда. Через парк и дорога лучше, но... тогда хорошо бы иметь сдачу».

Они прошли канаву со стоячей водой, и к свежести апрельской ночи прибилась запах тины и нечистот.

— Ты знаешь, чем взрослые отличаются от детей?

— Взрослые умные, — сказал мальчик.

— Умумум, ум у них лукавый.

— Взрослые не станут подкладывать в рюкзак школьного хомяка.

Человек засмеялся, и это придало ему возраста. По заострённым скулам до самого подбородка спустились две глубокие борозды.

— С тобой это сделали?

— Да.

— А ты?

— Испугался, — мальчик взялся за лямки и подтянул рюкзак. — Один мой враг подложил мне джунгарского хомяка, а это вылитая крыса, только белого цвета. Я очень их боюсь.

— Это хорошо, — улыбнулся человек. — Взрослые могут подкладывать только свиней. Но и это не сказать чтобы плохо. Ты когда-нибудь думал про это?

— Не знаю. Я думаю, что бы мне такое сказать маме? Мы почти пришли.

Калитка в их доме была открыта, в окнах горел свет, а со двора доносились голоса. Луна светила ярко, и пользы от неё было больше, чем от уличных фонарей.

Мальчик остановился и сказал, что заходить боится, потому что за такое ему много чего будет, но человек накинул капюшон и сказал, что ничего не будет. И ему правда за это ничего не было. И никто ничего не говорил всю ночь и половину следующего дня.

Олег Хлебников

Небесная пурга

* * *

Уступаю жизнь другим.
Так же уступал
славу, должности... Нагим
пред Тобой стоял.

Только — видишь ли меня,
не пойму пока.
Вот сейчас на склоне дня
застят тучи, облака —
небесная пурга.

* * *

Анне Саед-Шах

После смерти твоей и моей,
стало жить мне намного темней.

Потому что ночами не сплю —
твои восточки с неба ловлю.

А они повседневно просты —
обо мне так заботишься ты.

Хлебников Олег Никитьевич — поэт, журналист, кандидат физико-математических наук. Родился в Ижевске в 1956 году. Окончил Ижевский механический институт (1978) и Высшие литературные курсы (1985). Печатается как поэт с 1973 года. Автор 11 книг стихов. Лауреат Новой Пушкинской премии (2013), премии «Парабола» фонда Андрея Вознесенского (2019), премии СП Москвы «Венец» и др. Живёт в Перedelкино.

* * *

Старик, который плавает кролем
и наслаждается Чёрным морем,
кажется, он нелеп?
Может быть, даже детишкам страшен,
но всё равно в прибое отважен —
даром что полуслеп.

Кого-то мне он напоминает
и будто сам на себя пеняет,
что уж не тот, друзья.
Кто же он, угадайте, кто же?
Будь я немножечко помоложе,
был бы уж точно я.

* * *

Господибожемой! Стоят, соприкасаясь,
дышат одной волной, смотрят глаза в глаза,
господибожемой — мальчик почти красавец,
господибожемой, девочка-стрекоза.

Господибожемой, зависть в душе проснётся
и воплотится в вой: «Мне бы вот так с тобой!»
Господибожемой, сердце мое сожмётся —
длилось бы это всё, Господи, Боже мой!

* * *

Прорвавшись из-под купола Москвы,
стал видеть содержательные сны.
Они тревожны, весело-страшны,
зато до каждой чёточки точны.

Показывают вкратце жизнь мою
и как я оказался на краю,
и одного себя во всём корю,
когда проснусь и тут же закурю.

А что же экранирует Москва?
На прошлое моё мои права?
На тишину, раскаянье, тоску?
За это и люблю её, Москву.

Владимир Гандельсман

От фонаря

Фрагменты романа

Из первой части

Апрель

Девочка на лестнице. Меня не видит. На площадке замирает — и дальше спускается ритмичными прыжками со ступеньки на ступеньку, — её охватил безличный и изначальный ритм, совершенно положительный и счастливый. Ритм, рифма — в природе человека и рождается из неотъемлемой паузы.

Сидящий в автобусе человек наклоняется, отламывает от коричневого коржика и откуда-то от колена забрасывает куски в рот, методично, кусок за куском, ни на кого не обращая внимания, а закончив, вынимает книгу и пристально в неё впивается, всё без промедления, без малейшего приготовления к погружению в еду или чтение, в непрерывности ежедневного ритма.

Рядом сидит девушка в громких наушниках. «Почему вы всё время расширяете своё присутствие?..»

(В подобных случаях Эдуард говорит: «Делайте это тихо!»)

В этот момент резко меняется освещение, потому что автобус поворачивает, и я смотрю в окно и перестаю существовать.

Слева, появившись издалека, вода поднимается до щиколоток и заливает мостовую, затем тротуар, и, входя во двор, я вижу сплошное ледяное поле, по которому с трудом добираюсь до парадной, но ведь, когда я повернул на свою улицу, было лето... Сегодня приснилось.

Гандельсман Владимир Аркадьевич — поэт и переводчик. Родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил электротехнический институт. Работал кочегаром, сторожем, гидом, грузчиком, преподавателем русского языка и литературы. Автор более двадцати книг стихов и многочисленных публикаций в журналах. Живёт в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 12.

Мне часто снится город, в котором я раньше жил. Там живёт мой друг Леонид.

Я еду на работу. Путь долгий: от кольца до кольца. Я работаю фонарщиком. Звучит поэтично, но это нагруженная неуместным символизмом случайность, а работа самая прозаичная: обойти свой район и записать номера неисправных фонарей, а затем передать электрикам. Ещё среди моих подопечных — неоновая реклама. «Лучшие кальяны в городе», «Элитное постельное бельё»...

Еду и читаю в газете рецензию. Писатель хвалит работу другого: «Я не завидую, это воистину полёт...» Рядом интервью ещё одного: «Интеллектуальный гламур даже отвратительней обычного. Нет-нет, конечно, пусть зарабатывают. Не хочу называть имена, а то подумают, что завидую...»

Избыток чуткой зависти.

На автобусном вокзале женщина, как оказалось, нищенка (или в роли нищенки?), подошла и, прежде чем заговорить, рассмеялась, и так самозабвенно и тихонько рассмеялась, прихватив меня слегка за локоть, что я спросил: «Что вы смеётесь?» — «Нет, ничего», а затем немедленно попросила денег, — надо же! ведь я на мгновение стал её заинтересованным знакомым и отказать не мог, фокус был выверен на доли этой самой секунды и показался мне очень изящным.

Фонари зажгутся ещё не скоро. Зачастую я приезжаю в этот район много раньше положенного. Иногда дома тоскливо.

Сажусь на скамейку и снова берусь за газету. В передовице — изображение политического лидера соседней страны и, словно в продолжение неведомого стихотворения, влетает строка: *президент страны подёрнут плесенью...* Президент страны подёрнут плесенью...

Невозможно читать, когда в голове бьётся залетевший в неё ритм... В зале тоже всё мелькает, вечернее солнце выдвигает и задвигает ломанные плоскости света...

«В Москве приостановлена работа сети китайских ресторанов, в которых под видом баранины подавали мясо убитых бродячих собак, сообщила в понедельник пресс-офицер управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы Ирина Волк».

Время между собакой и волком.

«По окончании футбольного матча, тренер проигравшей по вине арбитра команды сказал: “Есть Божий суд, наперсники разврата”».

В криминальной хронике пишут, что в зале суда бегал солнечный зайчик. Подсудимого на выходе во двор убил снайпер, засевший на чердаке дома напротив, а один из свидетелей потом догадался, что зайчик был, скорее всего, отблеском оптического прицела.

Я думаю о таком непостижимом призвании солнечного зайчика...

Моя работа — праздная. Но с некоторых (и уже давнишних) пор ум мало что и занимает, потому что сосредоточиться на чём-то, что отвлекает от слегка ошеломительной заброшенности в жизнь, уже не могу. Сейчас я меньше верю в то, что жизнь — это лишь происходящее со мной и вокруг, что она — вот это видимое

и чувствительное расположение тел в пространстве и во времени, и только. Но я ещё очень привязан к этой варварской вере.

Много лет назад у меня была жена, оставшаяся в том городе, где остались все мои друзья. Два года мы прожили вместе, потом она ушла. Обычную земную привязанность можно определить переживанием страха смерти как страха расставания с ней, а не своего исчезновения. После ухода жены я сразу переехал в другой город. А потом сказал себе: я её, конечно, люблю, но не более того.

Иду по своему участку. Рядом молодая пара. Слышу упрямый голос девушки: «Кто она? Кто она?» Её друг чуть впереди, блуждающий взгляд, полуулыбка. Оба не совсем здесь.

Подлинность себя не знает, потому так неопровержима в своём молчании. Но человеческое знание неубедительно и легковесно, — рябит болтливо и тараторит вкось. «Кто она? Кто она?»

(В подобных случаях Эдуард говорит: «Сзади идёшь — сзади и найдёшь».)

В любви неуничтожимо лишь бесчувственное сопровождение: пейзаж или интерьер. Потому что они ничего дурного не замышляют. «Вы уверены?» Но я прохожу мимо не отвечая. Сейчас лучшее время дня, заходит солнце. Я сажусь на скамейку и смотрю на небо.

В этом районе, где я совершаю обход своих «подопечных», всё знакомо до мелочей: не только улицы и их обитатели, но и мизансцены, выверенные во времени и пространстве с такой точностью, что я могу предсказать выход того или иного «актёра». Их повторяемость в своём самоутверждении, как ни странно, не добавляет реальности, наоборот, внушает иллюзорность, и, если бы не случайные статисты, дилетанты, действующие на свой страх и риск, сновидению не было бы конца.

Сейчас выход бодряка из того кафе. Он ест бутерброд, вминаясь в свежую булку, начинённую зеленью и мясом, с таким жаром, что я ощущаю вкус поглощаемого. Тело в разгаре ещё не исчерпанного удовольствия.

А вот и статисты: на той стороне улицы целующаяся пара, при этом мужчина умудряется рукой почёсывать бок. Но ведь только так бодряк и может запомниться? «Да, уверен».

Есть ещё замечательные случайности, которые выламываются из скучной повседневности своей странной выразительностью. «Выразительной претенциозностью», как приговаривает «повседневность», подобно каждому из нас, подозревающему, что все, кроме него, слегка сумасшедшие.

Низкорослый мужчина облакачивается на шею девушки с отпиленной головой, — на ней обтягивающие джинсы и блузка, она стоит ровно и подчёркнуто неподвижно, притворяясь манекеном, который в следующее мгновение им и становится, — выставленный перед магазином одежды, он мелькнул, когда я ехал на работу, а вспомнился сию секунду, когда смотрю на сидящих на асфальте двух крошечных чёрных птиц — клюв в клюв, — застывших в поцелуе, и пока вглядываюсь в них,

они превращаются в кленовый лист, вырезанный и вертикально установленный в виде двойного силуэта, — он подрагивает на сером асфальте от щеколки заходящего солнца, освещающего его сзади, — оттого с моей стороны силуэт не сплошь чёрен, но слегка позолочен по контуру.

На обратном пути вижу в витрине офиса братьев-близнецов, сидящих за соседними столами с совершенно одинаковыми просителями, — до сегодняшнего дня там присутствовал лишь один из них, чиновник, что-то усердно подсчитывающий, — я удивлён удвоенной картиной, пока не озаряюсь бережной догадкой, что левую стену залили сплошным зеркалом.

Потом я бреду домой, время позднее, прохожих почти нет, только иногда полиэтиленовые мешки взлетают и пускаются вдогонку друг за другом, нестрашно пугая краткой вспышкой зависти к одушевлённому миру.

«Летают сны-мучители над грешными людьми...» Свидание Мандельштама с этими строками из лермонтовского «Свидания» и подсказало ему «Лермонтов, мучитель наш...»

Ночью мне приснилось, что вошла жена. Есть несколько человек, постоянно присутствующих в моей жизни, некоторые умерли, а кто-то остался в том городе. Я с ними разговариваю. Странно, что человек может спать. Ещё страннее, что он не сходит с ума. Ведь происходящее с ним не имеет и намёка на разумное объяснение. «Но, может быть, заложенная в нём упрямая способность справляться с этим и есть намёк?» «Может быть. Физиологический намёк на духовные обстоятельства».

Природа существует без нажима, даже гроза. А человек опьянён сознанием духовного роста с последующим переживанием всякий раз большего своего совершенства. То и дело он восклицает: «Я всё понял!» или «Что-то мне приоткрылось!» То и дело он хочет искриться талантом в торжествующей значительности. Я видел людей, воспаряющих в этой лихой намеренности так, что у них шипели волосы, точно загорались, — казалось, их сжигала похоть, прынувшая в голову.

Моя жена боялась памяти. Она избегала её усилием воли. Когда я видел, как тяжело она переживает воспоминания, я понимал, что детство, возможно, оттого легко и счастливо, что в нём их ещё нет, и что взрослая жизнь, возможно, становится просто воспоминанием о жизни. Здесь и таится неизбежность творчества как освобождения и установления точности.

Например, стихи. Точность состояния. Для мира, в который ты вкраплён, твоё искажённое изображение не может пройти безнаказанно, потому что ты и есть мир. И когда от стихов требуют рациональной ясности или общности, или вменяемости (в зависимости от современной критики лексики), как правило, упускают из виду ту сердцевину, из которой говорится и которая в счастливых случаях оказывается безупречной. Так было у Мандельштама. Он произнёс последние слова, доступные смыслу, и эта грань бесценна, потому что ещё чуть-чуть — и мы не разглядели бы «до чего ж он сердцевит», а цветущая стремительность формы оказалась бы энергетической растратой.

Май

Сегодня выходной, и я могу спокойно читать любимые книги или гулять.

Выброшенная кукла вызывает смешанные и нестрашные чувства безразличности и сострадания, вроде падшей женщины. Я обхожу её, возвращаясь с прогулки.

Две красивые девушки, одна другой говорит: «Мне сегодня всю ночь снились сумки...» Проходить мимо, не останавливаясь, не попадая в завихрения чужих снов, лепетов и безумий. «Счастье» и «сейчас», конечно, однокоренные слова. Ведь счастье бывает только сейчас. А затем? Но чуть «затем» — и сразу затемнение.

На лестничной клетке из соседней квартиры доносится привычное подпевание. Людмила Петровна даёт воображаемый урок музыки. Она в прошлом преподавала. Игорь Васильевич, наверное, дремлет. («Как Игорь Васильевич?» — «А-а, не спрашивайте...») Иногда я слышу его крики: «Милочка! Милочка!» — удостоверяется, здесь ли она. Изводит. Когда они выходят гулять, он держится за неё, двигаясь в ветхом наклоне, как слепой. Он явно умирает. Пока я открываю дверь, из квартиры стариков выпадает сын и быстро исчезает, выщёлкивая каблуками на клавишах ступенек свою победоносно-освободительную гамму. Сын торопливо «навещал». А я вернулся.

Случается, во время чтения я ничего не читаю и смотрю на соседний «экран». Причудливо выкладывается мысль. Точнее сказать, не мысль, а картины воображения, безоглядно обзаводящиеся наименованиями. Любимый ли в детстве калейдоскоп напорочил эти капризные рассыпчатые узоры?

В конце девяностых я три года преподавал физику в американском колледже. Рядом обретался Роберт, Робертино, приятель с кафедры славистики, работавший тоже по контракту.

В конце мая 1996 года он упорхнул в Нью-Йорк, где проходили чтения в честь умершего четыре месяца тому назад Иосифа — так он называл Бродского, великодушно позволяя себе простое дружеское «называние», поскольку иногда останавливался в Нью-Йорке в квартире близкого друга поэта, возглавлявшего кафедру славистики в нашем колледже. Заодно, когда требовалось, он выполнял роль сиделки кота Бродского, оставленного на попечение его бывших соседей по дому.

Съехались прозаики и поэты, в том числе из России, и Робертино восторженно порхал меж ними, оживлёнными скорбью и сердечными чувствами. «Какие люди! Представь, звонок в квартиру, стоит Сытин, сам Константин Сытин, представь! С ним кинооператор. Проходите, туда-сюда, я его узнал, они с Иосифом с юных лет. Нельзя ли соорудить краткую съёмку? Сытин садится в кресло, берёт на руки кота, оператор снимает. Ты бы слышал его речь — такое благородство, чуть не плачет, но сдержанно гасит слезу. И всё кота гладит и жмурится, как кот, солнце в окно майское, смотрит на мурзика, как если бы это Иосиф. Меня пробрало. Оператор интервьюирует, спрашивает, мол, чем отличается гений от таланта, и мне показалось, что он при слове “гений” посмотрел на кота, а потом на Сытина — при слове “талант”. Тот задумался. Мне стало его жалко. Он ведь тоже гений, но не такой прославленный, а людям дай только поживу — сразу в тайной зависти заподозрят, слухи запускают. Легко быть на стороне славы, а ты успокойся, не горячись. Есть и правота обделённого. Он отстаивает традиционные ценности. Зачем в стихи площадную лексику встраивать,

угождать подворотне? Будь сдержан, соблюдай пунктуацию, не эксплуатируй безысходность, есть "возвышающий обман", ласточка в небе, музыка над нами, — верно? Своя правда. Учивость. Вежливость».

Так порхал Робертино, за что и получил в моей записной книжке имя Stupid butterfly.

Иду на кухню заварить кофе...

Копящиеся сны человечества когда-то начинают кипятииться и переливаться через край в поисках гениальной головы. Ведь сон испокон веков подсказывал миру его нелинейность...

Заодно я варю яйцо, потому что люблю смотреть на белое сваренное яйцо на белой тарелке...

И вспоминаю стихи Осипа Мандельштама: «О, как же я хочу,/ не чуемый никем,/ лететь вослед лучу,/ где нет меня совсем...»

Альберт Эйнштейн с детских лет хотел отправиться в путь на луче света и записывать наблюдения.

Я вижу в окне дерево. Жена любила деревья и всегда просила в подручном пейзаже выбрать заветное, чтобы сравнить со своим. Ещё она просила научить её играть в шахматы. Потому что в них можно играть наедине с собой. Неожиданная идея. Но так она сказала.

Иногда близкий кажется совершенно чужим. Я бы сказал, что только абсолютно близкий может показаться абсолютно чужим. Смотришь в одну точку, и она начинает удаляться... Чувствам здесь делать нечего, и тогда думаешь: если бы жизнь была вечна, то любить человека было бы не за что. И невозможно. Смерть порождает жалость любви. И жалость эта настолько велика, что пробирает любого.

Смысл любви в том, что все самые последние соринки, живые и неживые, становятся связаны воедино. Быть может, только в этом смысл больших чувств вообще. Если спасение (от чего и куда? от страха «никуда» в никуда?) понимать как блаженное переживание связанности всего явленного, то чувство, самая демократичная, если не сказать низшая способность живого существа, — это возможность спасения. Даже для недарённого человека... «Верно, верно. Но не “даже”, а в первую очередь — для него».

Мои маршруты: комната-кухня-комната, квартира-сквер-магазин-квартира. Мои действия: чтение-отвлечённые мысли-чтение-еда-приборка. Пыль. Пока ходил за тряпкой, пыли стало больше. Мгновенно. Пыль накапливается не в виде себя, а в виде ощущения, что давно её не вытирал. А у этого ощущения другое время.

В окне дерево.

Природа установлена изнутри себя. Она не может быть другой. Но человек не только не установлен, он всегда другой. Не равный себе. Сопоставляющий... — «Ты опять за своё...» — Я могу сказать цельно. Когда-нибудь не увидеть это дерево — вот беда. Похожее ощущение бывает, когда слушаешь прекрасную музыку и думаешь: какой ужас, что ты не композитор.

(В подобных случаях Эдуард говорит: «Для людей нет исключений».)

Декабрь

Читать книги и размышлять о творчестве — любимые занятия. Часто я думаю о бормотании и бессмыслице, которым так много строк посвятили поэты. Особенно удивительно, что дикое и немислимое в рассказе весело вдохновляло Пушкина, и когда не было под рукой фантазёра-рассказчика, он «сам, при удивительной и, можно сказать, ненарушимой стройности своей умственной организации, принимался слагать в уме странные стихи — умышленную, но гениальную бессмыслицу...» Так пишет барон Е.Ф.Розен, не знаю, стоит ли ему верить. Но, может быть, «услышав» пушкинскую бессмыслицу, Лермонтов написал: «Есть речи — значенье/ Темно иль ничтожно,/ Но им без волненья/ Внимать невозможно...»? А уж потом, в другом веке, появились стихи со «жрицами божественной бессмыслицы», «блаженное, бессмысленное слово» и «язык бессмысленный, язык солёно-сладкий». «Я хотел бы ни о чём/ Ещё раз поговорить...» Человек входит в тёмную комнату и шарит рукой по стенам в поисках выключателя, нелепые слепые движения, и — раз! — находит: свет! — И что же? Непредвиденная планировка, мебель расставлена не так, как он предполагал. «Зима, и всё опять впервые...»

Выход из лопотания в чистую внятность, свет, прерывающий темноту, и явление яви похожи на сокращение дроби — на алгебраическую задачу, когда густоразросшаяся дремучая дробь внезапно обнадёживается правильным убыванием, и — вот он, выключатель, и всё проясняется и сводится к миниатюрному и красивому решению.

Я помню эту радость на контрольных, когда Василий Иванович, учитель математики с отъявленно выпуклым лбом, короткие брюки, очки на тонком изогнутом носу, даёт мне и ещё двум-трём задачки повышенной сложности: «Ну, сегодня я тебя, каналью, посажу в лужу!» — радость разгона в распутывании алгебраического клубка.

Но пора в аэропорт... Иду. Я не понимаю, что живу. Что я когда-то не иду. Что есть вот улица, по которой иду, без меня. Как это понять?

Страх смерти — высшая форма самовлюблённости. Мир без меня? Как это? Невозможно. И впрямь невозможно, поскольку там, где нет меня, нет и мира. Особенно изощрённые трусы (то есть те, которые опасаются разоблачения), основываясь на практике тихого и сладкого сна, придумывают, что покой, если он вечен, тем более хорош. Они предусмотрительно забывают, что сон сладок только в виду близкого пробуждения.

Все творчества — кульминация головокружительного ужаса смерти. Но они же, по третьему закону Ньютона, — отчаянная жажда самоутверждения и жизни. Взаимно уничтожаясь, эти две силы в большинстве случаев производят нечто равное нулю, иными словами — банальность. Остальное появляется так же редко, как гений.

(В подобных случаях Эдуард говорит либо: «Одна голова — хорошо!», либо: «Нет — заменителям!»)

Трамвай, автобус. Автобус, трамвай. Смотреть в окно на проезжающие картинки — разновидность освободительного движения. Это детская прививка, взгляд с верхней полки в поезде... Реклама: выставка-продажа «Шубы России».

Сегодня прилетает из Москвы в Питер мой школьный друг Саша, в командировку. Ему Василий Иванович давал задачки отдельно от всех, даже от нас, «повышенных». «Ну, каналья...»

У меня «фонарные» отгулы, потому я соскочил из своего Н. на несколько дней: встретиться с другом. Еду, смотрю в окно, мне интересно смотреть, просто смотреть. Вот уже сколько лет я просто смотрю. Сказать по правде, я отсутствую.

Я столько лет отсутствую, что, если встречу себя на улице, уже не узнаю.

Как это случилось? Я положил в портфель контрольные работы — дети, убегая, побросали их на стол, — заглянул в первую попавшуюся и подумал, что Эдик прав: не воображай, что можешь чему-то научить. Иначе сойдёшь с ума. От отчаяния. Мы работали тогда в одной школе, я учил физику, Эдик, он и сейчас там, — литературе-русскому.

На обратном пути в автобусе передо мной сидела понурая пара, муж и жена, оба какие-то заводские. Занюханые, некрасивые, хотя и молодые. Она в профиль, а у него затылок убитый. Что-то случилось, и он со своей бедой не справлялся всем затылком. Она ему говорит: «Юр, ты со мной поделишься, скажи, поделишься, не сейчас — дома? Ладно? Юр, ну ведь люди ленинградскую блокаду пережили, войну. Ничего ведь не было тогда. А сейчас ни блокады, ни войны. Юр...»

На этом месте я потерял сознание.

Месяц в больнице, работать больше не смог. С тех пор я вообще не в состоянии делать ничего, что меня отвлекает от рассеянности. К книгам это не относится. К наблюдениям тоже. Только к деятельной жизни. Я потерял волю к совершению общественно-полезного труда.

Позвонил своему бывшему ученику, который стал главным инженером в ЖЭКе, и попросил куда-нибудь пристроить. Сказал ему, что ничего не могу, только думать, но направление моих мыслей не оплачивается. Он рассмеялся и взял меня фонащиком. Обходить и сообщать о неисправностях.

Саша был отличник по всем предметам, кроме русского и литературы. Мы сидели за одной партой, первой, в средней колонке. Принимаясь за контрольную, он пощипывал кончик горбатого носа большим и указательным и громко втягивал воздух, вроде как рыжий паровоз на продувке цилиндров...

Сейчас, набредя на это сравнение, я вспомнил клубы белого пара и сладковатый запах угольного дыма и машинного масла. Самая огромная тоска — ощутить себя как живого в своём детстве. Или просто давно. Но чем давнее — тем тоскливее...

Он бросал победный взгляд на расставленные, но уже высмотренные ловушки и моментально всё решал. Мне казалось, что и остальное, «не-контрольное» время, он был занят какими-то каверзными задачками по физике, химии или математике, а слова, которые при этом произносились, могли быть любой чепухой, не имевшей никакого отношения к работе извилин. Он словно бы решал наперёд то, что ему потом предлагалось на уроке.

Странная история приключилась. С пятого курса его отчислили из Технологического института, — он неосторожно читал разную диссидентскую литературу, как многие в те годы. И, прежде чем его, блестящего студента и почти аспиранта, пристроили по крупному благу в родственный вуз в Москве, год пришлось помыкаться. Саша не унывал, подрабатывал чернорабочим в магазине у родителей и совершенствовал каратэ в нелегальной секции, которую аккуратно посещал с первого курса.

Дальнейшее — со слов Саши.

В этот трудный год тёмным зимним вечерком выпивал он с теперь уже бывшим сокурсником Лёшей Ключевым, — тот пришёл в институт после армии, был изрядно старше, здоровый, сильно пьющий, но по-крестьянски сметливый. Староста. Пили в пивном баре, потом по пути к метро купили бутылку и пошли в парадную, в парадной Ключев подобрал котёнка и засунул за пазуху. Он сентиментально любил животных. Пили, расположившись на низком и широком подоконнике, между вторым и третьим этажом. Саша пить больше не хотел, потому что не мог. Ключева разобрала злоба. Он начал издеваться, у него всегда были соображения по национальному вопросу, звучавшие обычно с добродушной иронией, но словно бы готовые зазвучать всерьёз, при случае, — и случай подоспел, — ну и попутно, под горячую руку, издевательски сообщил, что на Сашу донёс, конечно, он. Кто же ещё. Староста. И тут вмешались посторонние силы. Котёнок рванулся к форточке, Ключев — за ним, и со всего размаху ударился башкой о стену. После чего медленно осел на подоконник и замер. Саша ушёл, никто его не окликнул... Ключева нашли жильцы — мёртвого...

Может быть, котёнок был евреем и обиделся?

(В подобных случаях Эдуард говорит: «На сцене никого нет, но и это не мало».)

Сию в аэропорту.

Человек с зализанным лицом. Чиновник. Сметает с подноса всё, вплоть до пакетиков с сахаром и солью, не ест, а молотит безостановочно; под музыку в наушниках и ответное дрожание ноги открывает баночку с йогуртом, капля стреляет ему в щёку; закончив, начинает работать зубочисткой. Хочет использовать абсолютно всё, что есть под рукой, — использовать, истратить, поглотить. Прикрыв глаза, всё это продолжаю видеть и слышать...

Пытаюсь представить, как выглядел «зализанный» клерк, когда был ребёнком. Но как представить? Ребёнок не пациент Фрейда, у него нет сублимаций.

Провезли мальчика-калеку. Такая длинная шея, как будто только она и росла, а он в росте остановился. Служащий толкает тележку, а сестра (видимо, сестра) поддерживает его голову, потому что шея «гнётся и скрипит» и, кажется, сейчас сломается. Порция горя внезапного.

Когда-то я спросил жену, что главное, как ей кажется, в «Процессе», в двух словах. Она сказала: в двух словах — двойной поворот ножа в сердце К., на последней странице. Через много лет я нашёл объяснение самого Кафки — в одном из писем он говорит, что вот они, ключевые слова в повествовании о несчастной жизни и несчастной смерти К.: «Как будто этому позору суждено было пережить его». Может быть, это и есть двойной поворот. Для позора длиной в жизнь хватило бы одного.

Я смотрю на людей в зале ожидания. В каждом, как в космическом аппарате, своё пространство-время. Поэтому у Кафки обычная комната судебного заседания — из-за того, что набита людьми, стоящими даже на галерее и упирающимися головами в потолок, — начинает казаться огромной или безразмерной.

Помню, как я навестил Сашу, единственный раз, классе в девятом, наверное.

Его родители были продавцами, мать работала в овощном отделе. Помню её руки, тесно набивающие банку квашеной капустой провансаль или вылавливающие с хлопьями огурцы. Саша и в школе, и потом, став известным учёным-фармацевтом, образцово, как и всё, что он делал, опровергал теорию наследственности. Хотя, что я знаю о его родителях?

Переступив порог, я попал в чужой мир, тотчас захотелось уйти. Новое скорее отталкивает, чем притягивает. В комнаты я не прошёл, никто не пригласил, — в конце коридора показался отец с отёчным красным глазом и скошенной челюстью, изуродованной, вероятно, осколочным ранением на войне. Показался — и скрылся. Через открытую дверь в правую комнату я увидел Сашину мать, лежащую на кровати, большое тело в халате, которое стало поворачиваться на бок... Я отвернулся. Слева была коридорная стена, то есть не было ничего, кроме рисунка на обоях. Помню, что Саша что-то быстро прихватил в комнате и мы ушли. Наверное, он стыдился своих родителей и этой беспросветной нищеты, которой дохнуло из глубины квартиры.

Потом, когда через много лет я читал в «Процессе», как над кроватью художника, к которому пришёл К., отворяется маленькая дверца и за ней простирается коридор канцелярии, мне это несообразное искривление пространства-времени с уводом в другой мир не показалось неестественным, — наоборот, подтверждающим то, что я уже знал.

— Я привёз тебе свой препарат. Вот эти — раз в неделю по одной, в маленькой баночке. А эти — три штуки под язык. Каждый день.

— Омолаживающие?

— Не сразу. Надо принимать месяца три. Результаты, где применяем, хорошие. Для памяти. Если боли в суставах. Ну и прочее.

— Как ты? Давно не виделись. Лет пять? Как сестра?

Только что, по дороге из аэропорта, он заезжал к сестре. Завозил свои препараты. У него небольшая фабричка. Делает таблетки. Я не пошёл, ждал во дворе. Декабрь не холодный, мягкий. Едем дальше, он в гостиницу, я в Леонидову знакомую квартирку.

— Всё в порядке. Тесно там. Не могу. Лучше в гостинице. Четверо.

— Что?

— Четверо их. Дочь её с мужем и пацан лет семи.

— Понятно.

— Сестра готовит ёжиков. Ха. Ты знаешь, что такое ёжики?

— Ёжики?

— Ну. Пацан с папашей лежат, смотрят телевизор. Сестра тараторит: «Нельзя же лежать, он ведь маленький, будет неспортивный». Неспортивный. Представляешь?

— Да.

Он стал ещё более горбонос, рыжесть выцвела и поредела. Так же глубоко втягивает воздух, прикладываясь указательным и большим к ноздрям.

— Сестра им покоя не даёт. Говорит, попроси его вынести мусор, на помойку сходить попроси. Она хочет, чтобы он занимался делом... Этот муж странный.

Лежит — и всё. Такое впечатление, что в депрессии. У тебя бывает? Ты попринимай, если что.

— Конечно.

— И потом, сестра его не любит, этого мужика. Говорит, надо было такого в дом привести. Лучше, говорит, совсем никак. Дочь её прибирается, так она бросила ёжиков, стала ей мешать. Дочь кричит: «Твоей приборки сейчас здесь не будет. Не бу-дет!» А потом: «Вот здесь лежало колечко. Его нет. После того, как ты прибирала...»

— Колечко.

— Пока сестра стала помогать, колечко пропало. На палец которое надевают.

— Да.

— Тогда сестра кричит, мол, давай проверим в мусоре. И вывернула ведро с мусором на газеты. Дочь её тоже закричала, что не будем в мусоре, что не надо никакого колечка. Жалко сестру. С таким психозом она. Говорит дочери: «Лучше бы ты бросалась на того, на кого надо бросаться...» Ты представляешь?

— А что пацан?

— А что пацан? Всё время втягивает сопли и хнычет. Броуновское движение.

Мы едем дальше. Я не философствую. Броуновское движение. Вечер чудный. Ни о чём не поговорили, конечно. И только в конце я спросил про Ключева и кошку. Саша сказал, что не помнит никакой кошки, что он его просто ударил и попал в висок. А сейчас ему выходить.

— Я всё забыл. Из этой раз в неделю, по одной?

— Да, из этой.

Он выходит. Я еду дальше.

Из второй части

Июль

Иногда замираю у полок с книгами. С бессмысленной неподвижностью во взоре. Никакая не нужна сейчас. Стою рядом и хороню время. «Похоронный марш» Шопена, под звуки которого мимо окна пролетает Фридрих. Какой Фридрих? Младший брат последней русской императрицы, вот какой... Ужас.

Всё не так. За исключением Шопена. Только что звучал по радио его «Революционный этюд», и я отчётливо вспомнил уроки музыки в ДППШ (Дом пионеров и школьников) в Дзержинском садике (сейчас — Лопухинский), зажатом между Малой Невкой и улицей академика Павлова, и Витю, который этот этюд играл. Я восхищался его талантом, хотел играть так же, но не умел...

Это случилось, когда мы подросли и Витя работал фрезеровщиком — ему отрезало кончики двух пальцев, на чём его пианистическая карьера завершилась. Я вспомнил, что до сих пор переживаю это как трагедию и что позже, при наших редких встречах, он бывал неизменно весел и словно бы равнодушен к тому, что произошло. Вероятно, эта трагедия носила не личный характер.

В ранние годы Пушкин призывал спасти его поэтический труд «от взоров зависти косо́й». Позже, в записных книжках 30-х годов, он пишет: «Зависть — сестра соревнования,

следственно из хорошего роду». Неужели? Чтение «Моцарта и Сальери» (сохранилось черновое название «Зависть», относившееся вроде к трагедии) не подтверждает правоту этой сентенции... Живое непостоянство идей и настроений... Завидую тому ребёнку, который был мной.

Сначала написал, что Витя работал фрезеровщиком на заводе. Потом «на заводе» вычеркнул, — но ведь так можно вычеркнуть абсолютно всё.

Сказал: «Я вспомнил, что до сих пор переживаю...» Так бывает. Выпьешь стакан воды и вдруг вспоминаешь, что целый день мучился жаждой.

Собирался начать по-другому... Недавно прочитал у одного писателя: «Я был бы счастлив создать хорошую книгу. Так не случилось; но время, когда я мог бы её улучшить, ушло». Меня растрогало его высказывание. Взял бы эти слова эпиграфом к своему рассказу, но нельзя...

Так я хотел начать. Теперь поздно.

Потом рассказ заглох. От безысходности я послал несколько этих фраз своему другу Эдику. Он написал: «Начало сильное и многообещающее. Меня оно захватило сразу, поскольку, окончив станкостроительный техникум, я полтора года работал именно фрезеровщиком на одноимённом заводе, и запах механического цеха до сих пор стоит перед глазами. Начальником цеха был Сойбельман. Рядом со мной на внутренней шлифовке двадцать лет подряд работал полный поц Нолик. Двадцать лет только на внутренней шлифовке одних и тех же втулок... И чтобы закончить фрезерную тему... Моя бывшая соседка с первого этажа служила упаковщицей фрезерных станков на станкостроительном заводе им. Кирова и после работы горизонтально вышвыривала в окно своего крепкого мужа Василия. Он пролетал на моих глазах непосредственно под моим же балконом... Такое не бывает не к месту. Пока не чувствую, как будут развиваться события в повествовании, но знаю, в чьих руках находится болванка».

Друг.

«Запах стоит перед глазами!» У Эдика есть любимые истории. Подозреваю, он их записывает — уж слишком стройны. В пору студенчества он зашёл по делу к отцу своего приятеля. Пожилой человек всю жизнь вкалывал (именно!) мясником на городском рынке Одессы. В руках у Эдика был журнал «Иностранная литература». В конце разговора папаша взглянул на журнал, который видел впервые в жизни, и спросил: «Что это?» Эдик был правдив: «Иностранная литература». — «Иностранная литература? На русском языке?»

И вот что я решил, когда рассказ заглох: буду писать то, что пишется.

Иногда замираю у полок с книгами.

Уборщица кабинета Кафки говорила после его ухода на пенсию: «Доктор Кафка исчез тихо и незаметно, как мышка. Как все эти годы жил там, в этом страховом обществе, так и исчез. Не знаю даже, кто его стол убирал. В шкафу только висел поветшавший уже от времени старый запасной плащ доктора Кафки, который он

надевал, когда вдруг начинался дождь, — зонтика у него никогда не видела. Плащ забрал один из служителей».

Вот так — если и оставить, то запасной плащ, не больше. И то по недосмотру. Ещё жизнь щемяще процитировала литературу. Уборщица говорит о стаканчике, чайной чашке и тарелочке на столе: «А доктор-то Тремель, который смотрел, как я убирала, и говорит мне: “Уберите, — говорит, — отсюда эти черепки!” <...> Так вот, я и унесла эти, как доктор Тремель сказал, черепки домой».

Это, конечно, финал «Превращения».

Забыл главное: я вернулся в мой город... Только не продолжайте... С небольшой поправкой: уезжал из Ленинграда, вернулся — в Санкт-Петербург. Марии здесь больше нет, вот и вернулся.

Июль, жарко. Иду мимо Петропавловской крепости на Троицкий мост. Загорающие тела. Есть такое безделье — загорать. Лежит человек и загорает. Кругом столько горя, а он лежит. Загорает...

Ну и что? Разве ты способен увидеть, как его мозг бомбардируют все несчастья мира? В нём, неподвижном, под прикрытыми на солнце веками, может быть (кто знает?), мелькают чёрно-алые пятна как эхо сердечных взрывов.

Здесь живёт Леонид, лето он проводит в Комарово, где давно получил комариный домик от Союза писателей. Ездит по стране и за границам, выступает. Вчера написал в фэйсбуке: «Свобода политзаключённому П.З.!» — и уехал на литературный фестиваль в Пизу...

Ну и что? Разве ты видишь, *что* у него глубоко внутри? Разве ты знаешь, кто сейчас клонится Пизанской башней и упадёт замертво от несправедливости и сострадания?

Да, глубоко внутри. Глубоко и внутри.

На перилах похлопывают флажки, переговариваются картаво, ждут праздника. Вдалеке вижу на гранитном постаменте военного дирижёра — его правая рука со шпагой вскинута легко и уверенно. Быть военному параду.

Справа Мраморный дворец, в школьные мои шершавые годы — филиал музея Ленина, где нас принимали в пионеры.

Так это было — с тишиной, вбитой в красные ковровые дорожки. Так осторожно из нас, радостно-румяных, делали бледно-пугливых и передавали государству.

По той — в колонке парами — дороге в музей я запомнил стенд: «Дутьё с повышенной влажностью». Несу это в своей душе десятки лет и на поругание не отдам. Дутьё этого не любит.

Когда Леонид возвращается с «гастролей», он неизменно обдаёт коллег-гастролёров зорким презрением. Тем самым он хочет сказать и говорит (как и многие, не полагающиеся на прозорливость собеседника, знающего все эти нехитрые уловки по себе), что не имеет к дурной компании отношения. И точно так же, как

большинство, он не видит своей неизбежной принадлежности к среде обитания, в которой, если уж ты в ней оказался, надлежит чувствовать себя как рыба в воде.

Леонид самонадеянно полагает, что его отличают от прочих «рыб» подлинная одержимость и трудолюбие (которые уживаются с законным желанием официального признания), в то время как у многочисленных собратьев по перу это желание незаконно за отсутствием той самой подлинности.

Непостижимость, если она часто встречается, становится элементарной. То занудная, то пылкая нравственность моего друга, обладавшего скрипучим назидательным голосом и внешностью Сократа работы Лисиппа, но без бороды (определение Дмитрия, нашего с Леонидом друга), сочетается с неразборчивостью в выборе... Но какой там выбор?

«Сморящий вдаль, — Леонид копирует, — надутый, напыщенный этот журналист, как его, ты знаешь, на выходе из кафе в ожидании такси. Смесь величественно-туповатой вовлечённости в устройство мира — прищурившись, он смотрит в воздух, в воздух, туда! — и высокомерной непричастности к конкретному окружению. Вздёрнутый нос с собачьим подрагиваньем ноздрей. И всё это — при исключительной незаметности. Если он не из «органов», то наверняка был их мечтой... Мечта сначала страстно обволокнула его, затем поглотила и, в конце концов, выплюнула в журналистику...»

Я смеюсь. Зло, но красноречиво и убедительно.

Леонид распаляется: «А этот, с двумя перстнями на жирных пальцах... Как его... Ты знаешь...»

Я не знаю. Не моя среда обитания. Но мне любопытно.

«А девушки? Имелись?» — «Имелись, ещё как имелись. Та, к которой все подкатывают, Кошкарёва, ты знаешь, невозмутима, холодна, бела. За ней богатый муж... Она бы и не прочь, но побаивается доноса... Боязнь пьёт из неё соки и выедаёт краски. А? Выпитость и выцветшость — её будущее, которое ухватисто претендует на неотвратимое “сейчас”... Всё как обычно, мой дорогой... Это пьеса, пьеса... К ней — не к ней, к другой, ну какая разница?... — подкатывает подавший поэт в пенсне, вылитый из вторичного сырья Чехов, говорит: “Поехали со мной, Люба, в Петербург, сбежим навсегда!” — “Куда я поеду? У меня двое детей”, — заметь, отвечает серьёзно и грустно... А христианская поэтесса?! Боже милосердный, с таким дальнбойным запахом исповедального пота, что впечатление двоякое, весьма двоякое, мой дорогой...» Леонид делает паузу, начинает что-то лопотать, вытаскивая ручку и блокнот, и на несколько мгновений совершенно обо мне забывая. Затем возвращается: «И тут передо мной, буквально из-под земли, вырастает в дымину набравшийся критик, как его... забыл, и внятно шепчет: “Не гений. Ты не гений”, — и растаивает в ночи...»

Я слушаю и сочувственно улыбаюсь, понимая, что рассказчик и сам навеселе и что это не столько репортаж, сколько черновик прозы.

«Когда-то эти мусорные старики смеялись над “евтушенками”, над их тщеславным и распутным громыханием по городам и весям, а теперь сами шныряют и шастают...»

И — фьють! — Леонид, втягивая шасси, улетает на фестиваль «Культура — врата в будущее».

Флажки ждут праздника. Обхожу «кулёк» (институт культуры) и — дальше, вдоль Лебяжьей канавки и Летнего сада, к Мойке. Один из наших с Марией маршрутов.

Странно. Прошло больше сорока лет...

Там, в Михайловском саду, вскоре после расставания, мне показалось, что я увидел Марию с её возлюбленным. Я бросился вслед и, прячась за деревьями, пылался... Да, всё расплывалось, как набоковская собака в начале «Дара»...

Где они сейчас? Во мне? А потом, после меня, тот горестный соглядатай и счастливая парочка — куда они денутся? Никуда не денутся — мы были дублёрами, и нам найдутся, хотя кто же признает себя дублёром? Боль индивидуальна. И, к счастью, смертна.

(В подобных случаях Эдуард говорит: «Солнце сядет — весь вечер прохладит».)

Мы познакомились в школе, в той самой, которую я закончил, — я преподавал физику, она, придя позже, литературу.

Есть события, которые произошли раньше и были предвестниками события любви и о которых ты ничего не знал, потому что они высветились только сейчас, когда любовь проявила те сделанные судьбой мимолётные снимки. Повторения оригинала, случившиеся до него. В этой школе, в тех же коридорах я, восьмиклассник, волновался при встрече с девочкой, очень похожей на Марию. В июле, у кого-то на даче, мы, школьной компанией, сойдясь в кружок, играли в волейбол.

Незабвенная эта девочка подпрыгнула, пытаясь отбить мячик, неловко и незабвенно.

Воображение читателя, дублирующее моё, подскажет ему траекторию встречного движения поднятой руки и мяча, которые разминулись в воздухе, а также на мгновение чудесно изменившиеся очертания чуть дёрнувшейся футболки... Не полёт, а зримая песня... Девочка плачет: шарик улетел... А через два года была другая предвестница, и с ней мы настигли зримую песню в Учебном театре на Моховой.

Смотрю в сторону Нижне-Лебяжьего моста и улицы Пестеля, с лёгким солнечным изгибом уходящей к Моховой.

Другая, уже не вовсе недотрога (о, чувствовал я, но робел печально), дважды — с промежутком в год — посвятила меня в тайны поэтического и театрального искусства.

«Первооткрывателям, романтикам, людям с непоседливым характером мы посвящаем этот вечер!» — как с унылым пафосом (сказал бы я сегодня) было начертано на пригласительном билете. В зале стояла тишина нерушимая, как Советский Союз, присыпанная архивной, но всегда первозданной пылью в лучах юпитера. Уровень тишайшести её превзойти было немислимо, но, когда читал Евтушенко, уровень сей воспарил до тишины космической. В фирменном и продуманно запестрённом галстуке, стягивающем рвущееся из воротника певчее горло, поэт своим подвыванием и протянутой в боковую кулису рукой выводил на подмостки героев «Братской ГЭС»: учительницу Элькину, Изю Крамера, инженера-гидростроителя Карцева и бетонщицу Буртову Ньюшку, и они запечатлевались в моём ученическом мозгу с такой определёностью, что никакой пятновыводитель не вытравил их по сей день. «Когда поют “Интернационал”, со мною происходит очищение, а на губах такое ощущение, как будто знамя я поцеловал». На поругание не отдам. Как дутьё.

О, печальное робение, тишайшесть промокашки и фиолетовая вечность чернильных пятен!

А затем — «Зримая песня». Выпускной курс Товстоногова. Недавно, показывая своей соседке запись песни «До свидания, мальчики» в том студенческом исполнении, я был удивлён её реакцией: испортили песню. Как?! То, что так потрясло меня и всех, кто был в зале! Не может быть.

Тогда я полюбил этих юных артистов безоговорочно, до слёз, до благодарной дрожи, запомнив их внешне и поимённо, каждое движение: и как мальчики шли попарно на зрителя, правую руку держа у подмышки, большим пальцем как бы оттягивая ремень винтовки, чуть раскачиваясь и переступая с носка на каблук, имитируя тяжесть пути и замедляя ход, увязая в страшном болоте войны, и как девочки, стоя обок, смотрели им вслед и вдруг падали на колени, и их руки... Прекрасно было то, чем они занимались. Они воссоздавали трагедию расставания, и во мне, неискущённом, не возникало сомнения в подлинности происходящего, того сомнения, которое впоследствии отвращало от душещипательных сцен лагерной или военной жизни, от раздетой массовки, расстреливаемой или загоняемой в декорации газовых камер, отвращало и отвращает, когда я вижу наживчивое бесстыдство режиссёра.

Моя благотельница тоже впечатлилась, мы прошли пешком от Моховой весь тот путь, который я сейчас проделал до Нижне-Лебяжьего, но в обратном направлении, и расстались возле её парадной на серёнькой, графически серьёзной и архитектурно прочной улице Графтио.

Обе предшественницы Марии, благосклонно посматривая на романтического и почти восторженного меня-юношу, тождественному с их интуитивной и безошибочной точки зрения чему-то расплывчатому и трусливому, ждали другого — мужественного и грубоватого.

Зачем девушке худшее, когда есть лучшее, и оно не за горами?

До свидания, девочки.

В Михайловском стало темнее и прохладней, и сад, как и положено ему, предложил скамейку. Так ли уж была неправа моя соседка, холодно взглянувшая на запись стародавней зримой песни? Произведение искусства — возможно, просто впечатлительность человека и сиюминутная готовность полюбить. Что? То, что подвернулось и случайно вошло в резонанс с ритмом его жизни.

Где-то я читал, что нет счастья, равного переживанию, что в замысле Божьем тебе назначена своя роль. Но как играть роль, не зная текста, а о замысле зная наверняка только то, что тебе предстоит умереть?

Моё жильё на углу Колокольной и Владимирского стало притягательно для друзей и знакомых. Притягивали книги, которые я безотказно одалживал.

«На свете счастья нет, но есть покой и воля...» — о чём? Ведь всё наоборот: счастье есть, а покоя и воли нет. Так заведено в мельтешении материального мира. Однако речь у Пушкина идёт о духовном пространстве, не о материальном (которое нам изменяет, потому что изменчиво), но о незыблемом и — если ты не святой —

недостижимом. Счастья как неколебимого события нет, а значит, нет и вовсе, покой и воля — неколебимы, потому они есть, и — навсегда. И всё происходит не столько «на свете», сколько «на свету»...

Это вспомнилось давнее дружеское застолье у меня дома... Там, где Мария однажды осталась... Думаю, из чувства благодарности за мои молчаливые или кротким словом отмеченные участия (почти неучастия) в разговорах...

Я вышел из Михайловского на Садовую и пошёл в сторону площади Искусств, к Пушкину, раз уж так.

Для Марии разговор о Пушкине не был чем-то неожиданным. Она взяла с полки томик и прочитала удивительное его стихотворение, раннее, 1823 года, которого никто из нас не знал.

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, —
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна плывёт в небесной чистоте...

Назвать жизнь «уродливым кумиром»! Сбежать туда, где покой и воля, где «мысль одна плывёт в небесной чистоте». Но нет, нет ничего за гробом. А потому пусть длится жизнь и длит хотя бы образ желаемого. Удивительное по композиции стихотворение.

И его удивительным образом продолжил Дым (так мы называли Дмитрия). Он обладал многими талантами: кудрявой красотой, вкусом к странной и слегка женственной одежде (грудь всегда кипела какими-то рубашечными кружевами), остроумием, знанием всевозможных искусств и памятью, необыкновенной памятью. Евангелия знал наизусть.

Он молвил: «Не откажите мне в ликбезности, вот что писал Василий Андреевич, принимавший роды смерти Александра Сергеевича, это о той самой мысли, которая “плывёт в небесной чистоте”, — не поручусь, что Дым повторил текст слово в слово, но в таких случаях ошибался он редко. — “Это было не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нём развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовлетворённое знание”».

«Удовольствованное знание!» — Дым поднял указательный палец, повторив эти чудесные слова.

И от текста, и от великолепно декламирующего Дыма все, конечно, ошалели, хотя и знали его необыкновенные таланты, а во мне колко колыхнулись зависть и ревность. Он же, не посчитавшись с этим, добил строками из стихотворения Жуковского «Пушкин»:

Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?

Проскрежетал трамвай, я схватился за фонарь — уличный друг всегда под рукой — и усталился в сторону Михайловского, чтобы никто не увидел моего лица. Что-то, что требовало себя скрыть, его исказило. Дыма давно нет, никто из друзей после операции его не навестил: Леонид был на фестивале (который носил душераздирающее название: «Часовые любви»), я в отъезде... Но ведь мог вырваться. Не вырвался. И не трусость, а такое... Невидимой рукой души: «А-а-а-а...» И ещё, уткнувшись во что-то своё, уютное, маленькое: «А-а-а-а...» Заспать, забыть, помня. Помнить, забыв. Так жидется: помнить, забыв. Ещё одна гремучая человеческая смесь: пошлость и острословие, чуткость и бесчувствие, кружево и паутина... — исчезла. Была поздняя и единственная в его жизни и смерти жена, чьё присутствие отменяло многочисленных девушек, из тех, что ценили доброту и весёлость их неверного любовника. Несколько лет спустя я узнал от неё, что, умирая, он еле слышным шёпотом попросил о крещении, улыбнулся и добавил: «На всякий случай...»

И многое промелькнуло — скорость воображаемого! — многое, говорю, промелькнуло... Вот он сидит в нашей литературной компании, Леонид подсунил ему какой-то свой текст — Дым продолжает болтовню, у него лёгкая отдышка и лёгкая седина, и листает, артистично выгнув кисть и высоко откидывая страницу вбок, а затем укладывая её в конец стопки, — страницу за страницей, задерживаясь две-три секунды на каждой, вроде бы что-то читая, но не с такой же скоростью! — и вдруг кивает: «Это хорошо!» Не прерываясь, успевает страницу нам показать... — зачем?.. А затем, что Леонид болезненно ухватывает, какую именно, и впоследствии подтверждает, что Дым почти всегда точен, отмечая лучшее. О, эта удивительная чуткость к сочинению в сочетании с наплевательским отношением к сочинителю!

Он никогда ничего не писал, возможно, именно потому, что требования не соответствовали возможностям, и я всегда ценил самосознание и самостояние таких людей. «Как говорил мой любимый Анри, — небрежно замечал Дым, — я слишком люблю книги и поэтому чувствую себя неспособным написать какую-либо». Он только *живописал*, то есть был прирождённым искусствоведам. Его мнением в нашей компании дорожили.

Изъясняясь внятно и беспощадно о недостатках современных литераторов, он перечислял по пунктам: дряблость мышц, автоматизм движений, сентиментально-музыкальное безмыслие, живенькость, гуманистическое притворство, гордыня скромности, расплывчатое представление о мире, неимение голоса при постоянном его подавании... Каждому пункту соответствовало имя литератора. «Моя проблема, — добавлял Дым, — узость невозможного». Никто никогда не спрашивал, что это значит.

Второй трамвай не успел проскрежетать, хотя был бы уместен. Не успел, а у меня опять промелькнуло... Сказать по правде, промелькнуло раньше, ещё на мосту, но запись не идёт по пятам за реальностью, у неё своя голова на плечах, и она музыкальная шкатулка, а не голова. Помните, как у пианиста правая и левая руки иногда скрещиваются и вторгаются на чужую половину? Так и здесь — трам-пам-пам! — и правая перепорхнула налево: на мост и мой взгляд в сторону загорающих.

«Вот лежит и загорает, — Дым в одно из посещений моего иногороднего убежища, куда я переехал после ухода Марии. — И всё. Единственное, чего вожделяют её душа и тело».

Это он о своей давней подруге, в прошлом гимнастке, с которой крутился и вылетал иногда в трубу. Они встречались, расставались, она побывала замужем, у него менялись любовницы, но друг друга никогда из вида не теряли...

«Всё время клянчит деньги. Говорю: надо бы тебе завести богатого. Да, отвечает, нужен запасной аэродром. Запасной аэродром! Что это? Где подхватила?.. Стала содержанкой. Любовь? Как говорил мой любимый Анри, любовь истощается довольно быстро. Женщина не представляет собою материала для бесконечных ощущений... Ну и алкоголизм... Это ведь не слегка пьяненькая барышня, которую так приятно заваливать... Захожу всё реже. По старой памяти... Есть объекты для освоения помоложе... А вообще она обладает редким сочетанием красоты и уродства...»

Мы идём мимо моих знакомых фонарей. Кто стоит прямо, кто слегка покосившись. Тоже пьёт, не иначе.

«Ей делали аборт дома у Верки, её рыжей подружки, на обеденном столе, пока мать Верки была на работе. Помнишь ту историю? Пришёл доктор и, ещё не сняв пальто, в прихожей, попросил вызвать такси. Через пятнадцать минут уехал. Боже, как мы жили!..»

Он любил её, но обзаводиться... Нет. И всё-таки эта история его мучила, он знал, что в итоге заслужил потребительское отношение подруги к себе — её давно интересовали только деньги. Интерес был прямолинейным, она не знала смущения, а возвращение долга натурой казалось ей делом утомительным и нежеланным. Чувство смущения или вины ей никогда не было знакомо, а сейчас тем более. Как человек примитивный, она, если происходило что-то непотребное, быстро перекладывала свою вину на другого, и на другом вина эта расцветала всеми цветами вывернутой наизнанку радуги, вызывая в Лидуське, как называл её Дым, разнообразные чувства: от неприязни до отвращения и ненависти... Она жила безотносительно к чему-либо, и, когда жизнь переступала черту лёгкого касания и намекала на обязательства взаимности, когда возникала опасность сердечной отдачи и душевной работы, она исчезала.

Последнее время он сопровождал толстосумов по заграницам и показывал им живопись европейских музеев. Счастливое время! — увидеть воочию то, что знаешь наизусть по альбомам. Всё больше задыхаясь, но с неизменным воодушевлением он рассказывал по телефону или навещая меня в моём городке о своих поездках. Приветствуя его закордонные выгуливания самцов и самок, я по-учительски заметил, что без гуманитарного знания они одичают безвыходно и безысходно и что он занимается богоугодным делом. Им должно быть вменено в обязанность заглядывать раз в год в великую книгу или в музей изящного искусства, поскольку там всегда есть евангельское напоминание...

«Да, конечно, — отвечает. — Выходим из Прадо, где только что смотрели “Распятие Христа”. Веласкес. Картина умиротворяющая, чистота и покой... В группе парочка средних лет, молчащая такая парочка, но напряжённо молчащая, чувствую, что на пределе... Все слегка разбредаются... А эти рядом. Меня не видят... Слышу: “Не понимаю одного: почему ты не можешь себя преодолеть? — Я устала. Что я должна преодолевать? — Себя. Себя, понимаешь? — Чтобы что? — Чтобы угодить мне. Да хоть кому-то. — Не умею, не хочу и не буду. — Тебе не удалось родиться. Ты родилась смертью”. Такой, примерно, диалог... Дай бог им счастья и долгих лет жизни и смерти».

Я не поверил, но подумал: хорошо, пусть не Библия, но масштаб шекспировский, с размахом.

Двинувшись дальше по Садовой, я продолжал размышлять о друге. Сочетание красоты и уродства, отмеченное им в долговременной любовнице и свойственное чуть ли не любому, в людях, нам близких, проступает слишком уж отчётливо. Не потому ли, что в них мы узнаём себя, и оттого малодушно позволяем себе изобличать в этом не собственную персону (в отличие от А.С. и его «с отвращением читая жизнь свою»), а близкого человека. Дым бывал в своих рассказах жесток, опускаясь порой до сплетни, а я видел, как в нём самом это сочетание — красоты и уродства — переливается из непустого в порожнее и обратно. Он бывал и слащав, и пошл, вроде бы пародируя дешёвку и угождая компании, отвечающей участливым смехом, скажем, на анекдот, присыпанный матом, он и сам смеялся, показывая обаятельно неровные и безупречно белые зубы и вскидывая кудрявую голову. Между тем игра зачастую теряла контроль над собой, сплюсываясь в плоскость...

С возрастом, в разговорах с приятелями, поэтами и художниками, он освоил новую манеру: тянул слова, почти пародийно, и с доброжелательной улыбкой проговаривая иногда нелицеприятную правду, словно бы извиняясь. С вопросительной интонацией. То была мягкая клоунада.

Он понял, что дурными словами нельзя засорять пространство и что любую нелицеприятность, если лгать и хвалить какого-нибудь претенциозного писака совсем уж тошно, можно выразить словами безобидными.

Именно потому, что он не мешал их витийству, освоив роль благодушного старшего брата, уступчиво ироничного, умеющего задать вопрос и выслушать ответ, а в случае сомнения или возражения согласиться с неприемлемым так, что размягчённый оппонент понимал: неприемлемо, — дружескую распрю увенчивало дружеское расположение. Годам к сорока он, всегда нетерпимый к неопрятной, вычурной или просто слабой литературе, так усвоил нейтральную, а потом и одобрительную манеру отклика, играя роль мудрого в своей всеохватности критика (ни один не лучше другого, во всём есть своя прелесть — надо только её разглядеть, и в этом высшее назначение читателя, не говоря о критике), что начал раздавать похвалы своим знакомцам направо и налево. Эта тактика приносила ответные сладкие плоды — ему верили и его любили. Даже в тех случаях, когда некто был бездарен, он хвалил его без тени смущения, и только редкие прозорливцы пытались усомниться в глубине души: да любит ли он хоть кого-то, если любит решительно всех, притом ровно и обосновательно...

Он, ярко ироничный в молодости, не выжег в себе страсти противоречить любому художественному утверждению, но перенаправил её в себя (и достиг необходимой глубины), а вовне не осталось ни единого изобличающего змеино-выгнутого вопросительного знака, — знак распрямился и стал восклицательным, и даже чуть больше обычного, — да, именно так.

Самое же замечательное, что он был беспощаден к собственной персоне и уничтожал себя с преувеличенным тщанием. Я льщу, говорил он, не от страсти быть любимым, а от полного равнодушия к себе и людям и просто — из «политических» соображений: лучше быть в хороших отношениях, чем в плохих. Если же случаются плохие отношения, я не особенно расстраиваюсь, а со временем и радуюсь, поскольку — разрыв, и не надо ничего длить вообще. Конечно, проходит и эта маленькая радость, и тогда я возвращаюсь к своему подлинному, врожденно бездарному состоянию равнодушной мудрости: какое красивое дерево! Или: какое голубое небо!

Он был истинно великодушен, когда я остался один. Это теперь, в старости, я примирился с тем, что ничего из молодых мечтаний не сбылось, что я далеко не гений (а близко — тем более), а тогда всё обрушилось. Мария могла стать спасением — ведь меня полюбили, и это было невероятно... — но не стала. Тогда, в моём отчаянии, Дым был рядом, помогал мне с переездом, паковал книги, грузил их в машину... Сколько раз я перевозил книги с места на место...

Дым умел любить. Это касалось искусства и тех, кто его создаёт, и не касалось женщин, которым уделялось частое, но мимолётное внимание. Он любил Андрея (единственного поэта в нашей компании) и его с юности примечательные стихи. Дым знал их наизусть. В один из дней, когда нам было лет по тридцать, он заплакал, читая мне стихи Андрея и рассказывая, что (и как! как равнодушно!) ему в очередной раз отказали в журнальной публикации. То были не пьяные слёзы, совсем напротив: трезвые.

(В подобных случаях Эдуард говорит: «Что-то и существенно, и вещественно».)

И он запросто мог назвать любящую его подругу шлюхой. «Эта городская матёрая шлюха иногда шмыгает носом, как деревенская девчонка».

Я рад, что никогда не заговорил с Дымом о том, что мне было известно от нашего общего приятеля, посвящённого в мимолётное, но чрезмерно благосклонное внимание Дыма к Марии. Рассказав мне об этом, когда Мария уже скрылась за горизонтом, хотел ли он утешить меня, намекнув, что если порыв друга не остался безответным, то я ничего не потерял? Хотел ли причинить мне двойную боль двойным доносом? Мне стало стыдно, но, испытав сочувствие к нему, я был не в силах обрадовать его хотя бы малейшим огорчением и махнул рукой: «Ерунда», на что бедняга ответил: «Не ерунда».

Я вышел на площадь Искусств, к памятнику. Есть романтическая фантазия, что умирающий Пушкин сказал «прощайте» книгам. Уверен, что так и было. Людей ждёт та же участь, зачем прощаться? А книги — либо не умирающие, либо мертворождённые. Во всяком случае, мне говорили, что *там* их нет.

Август

Идею, что мы убиваем тех, кого любим, Марсель Пруст мог позаимствовать у Оскара Уайльда, который последние годы жил в Париже — там была написана и вышла в 1898 году «Баллада Редингской тюрьмы». Её седьмая строфа гласит: «Ведь каждый, кто на свете жил,/ Любимых убивал,/ Один — жестокостью, другой/ — Отравой похвал,/ Коварным поцелуем — трус,/ А смелый — наповал». Впрочем, для этой мысли большого ума не надо.

Не для того я затеял разговор о Прусте и Уайльде, чтобы о них продолжать. Но — ещё два слова.

Первое. В августе 1891 года Уайльд был гостем в доме родителей Пруста. Есть свидетельские показания, что Оскар и Марсель танцевали друг с другом. Очаровательная картина. В том же году, но раньше, Уайльд встретил свою любовь в

лице Бози, о котором, вероятно, и думал, танцуя с Марселем. По ходу дела он, по-видимому, прозрел, разозлился, нахамил хозяевам, сказав, что их дом уродлив, и ушёл.

Второе. В истории с Дрейфусом Пруст был на стороне невинного, тогда как Уайльд был в дружеских отношениях с истинным предателем Эстерхази.

Забавно, что «гейнии» могли видаться на улице Изящных искусств, где в конце XIX века Уайльд жил, а Пруст бывал. Но об этом ничего не известно. Хотя, учитывая вышесказанное, едва ли они этой встречи желали. Разве что побеседовать о Джоне Рёскине, которого единодушно любили...

Тем не менее встреча произошла, и это случилось на страницах «Содома и Гоморры», когда старшего давно не было на свете, а младший всё помнил, беспощадно воспроизвёл и победил. К счастью, Уайльду на это было глубоко (кладбище Пер-Лашез знает) плевать.

Я прожил одинокую жизнь. У меня была одна женщина, и странным образом ею ограничились мои интересы в этом облаке. Любовь перешла в боль, боль стала памятью, живая память заморозилась, но я могу её отогреть когда заблагорассудится и отдалённо почувствовать боль, то есть на какое-то время ожить. До любви в этом обратном движении дело не доходит. Я себя не жалею, но есть недоумение: почему Мария никогда не объявилась, не поинтересовалась, как я живу, да и живу ли... Где она?

У меня не было заметных, бросающихся в глаза талантов, которые создают поклонников. Ничего такого. Конечно, для поддержания ложного тонуса жизни я тайно считал... Но — тайно! А когда появилась Мария, всё совершилось само. Молодые, заурядные и мучительные борения улетучились, потому что оказалось, что она и есть мой гений. Чистой красоты.

Или это не было окончательной правдой, и она разглядела то, от чего, как мне почудилось, я освободился? То же неосвобождение произошло и после ухода Марии, когда я в литературном отчаянии сформулировал, что я её, конечно, люблю, но не более того. Неправда. Скорее уж осталось «более того», а не «люблю».

Я не боюсь проходить мимо дома на углу Владимирского и Колокольной, где мы жили. Наоборот, мне это место даровано. Я не упрекаю Марию в том, что она не объявилась, но именно недоумеваю: как можно пренебречь тем, что даровано — вот этим домом, памятью о том, как мы обитали в нём? Объяснение простое: она меня не любила. Значит ли это, что моё недоумение — глупость? Пусть это означает что угодно. Моя скорбь (слишком сильно, но так и есть) не эгоистична, она чиста, как небесная лазурь. Не себя мне жаль, а её, и не высокомерна и не презрительна моя жалость. Жалеть — значит любить.

Не знаю, почему я начал с цитаты из Уайльда. Моё чувство никого не убивало, а её чувства не было.

Под кухонным столом стояла огромная запылённая бутылка самогона. Она принадлежала хозяевам, жившим в деревне и давно сдавшим мне эту квартиру. Посудину мы иногда наклоняли, но долгое время самогона словно бы не убавлялось, пока — вмиг — его не стало заметно меньше. Вечерами заходящее солнце проникало под стол и прощально золотило пыльную бутылку. Счастье было очевидно. Моё счастье. А её?

В пору учительства, особенно интенсивно во время летних каникул, я готовил абитуриентов к экзаменам по физике. Работал в паре с филологом Олегом, худым, красивым блондином — тонкий нос, змеиный рот и лёгкая летящая аристократическая походка, — он давал уроки русского и литературы. Олег был начинающим переводчиком с английского и любителем сухого вина.

В непоздние августовские вечера, закончив уроки, мы сидели у него, на последнем этаже дома, выходявшего одной стороной на набережную Кутузова: он, я и Мария. Ровно через полтора стакана вина на его щеках загорался румянец, глаза вспыхивали, и речь, разогнавшись, неслась на всех парусах в Финский залив.

Его речь была столь же легка и безукоризненна, как походка, он знал это и бравировал умением мимоходом прикоснуться к пейзажу или человеку, не задерживаясь на описании и не углубляясь в него, словно бы не тяжёлые и въедливые, но некие акварельные пчёлы устроили свои соты в его устах.

Какая-нибудь веранда, ослепляющая с утра пораньше ребёнка, выходящего из затемнённой комнаты, — кубик Рубика, но с прозрачными гранями, которыми правит солнце, деревья и облака, то и дело переставляя световые пятна и на минуту-другую замирая и обдумывая следующую перестановку. Какой-нибудь сарай, пахнущий сеном и бензином, и ты, пройдя по сырой прохладной траве, выкатываешь из него недавний подарок — велосипед «Орлёнок», чтобы прокатиться по ещё не распылившейся дороге мимо дач к заливу. Неизбежный вид на Кронштадт с едва различимым золотящимся куполом Никольского собора на Якорной площади, вид, который вроде закладки в «Графе Монте-Кристо» будет перемещаться, но не по дням, а годами, меняясь только в зависимости от сезона, но неизменно напоминая о графе, освободившемся от мешка и привязанного к ногам ядра, — в этом месте вровень с ускоренным сердцебиением ты перескакиваешь абзац, чтобы убедиться: освободился! — и затем, уже со сдержанным триумфом просматривая пропущенное, видишь, как герой плывёт куда подальше от замка Иф (Кронштадта) к соседнему островку Тибулему (более всего с ним рифмовался форт Тотлебен).

Детские, а затем юношеские воспоминания наслаиваются и вызывают к тому, чтобы на них оглянуться и перекликнуться с сегодняшним днём, потому что побережье залива то и дело открывается взгляду в разные годы.

Время стягивается в одну точку, и ты видишь себя собирающим с классом жёлуди в том же Кронштадте, и это осень, и обязательно щемяще-щеничьья затаённая радость по поводу какой-нибудь девочки, уже умеющей блеснуть глазками, чтобы радость не утихла. В той же точке — поездка к девушке, снимавшей дачу в Комарово (именно эта поездка была в основе припомненного сейчас монолога Олега), а ответвления в прошлое и будущее ваших встреч — лирические завитки.

Олег умел синхронизировать разновременные события, что придавало рассказу объём, но центр тяжести исчезал. Возможно, девушка была subtilной. Во всяком случае, запоминались именно отступления, в одном из которых он сидел в кафешке со стороны писательских дач в ожидании подруги и обретал особую проницательность, когда «...мне мир прозрачен, как стекло».

Мы увлечённо слушали с Марией, но сейчас я понимаю, что при всём интересе мне хотелось домой, чтобы остаться с ней вдвоём, а ей... А ей?

(Взгляд Марии всегда был чуть поверх — только сейчас я это увидел, через тысячу лет, — словно бы знала она, что продолжится и осуществится где-то там, без меня и не здесь.)

Они были литературно образованны, и не только читали анемичные перепечатки неизданных стихов, но и знали их наизусть, и когда прозвучало «...мне мир прозрачен, как стекло», Мария мгновенно узнала автора, и разговор продолжился, но уже без моего участия, и Олег прочитал целиком длинное стихотворение «Обезьяна», а Мария на строки «Всю воду выпив, обезьяна блюдец/ Долой смахнула со скамьи, привстала/ И — этот миг забуду ли когда? —/ Мне чёрную мозолистую руку,/ Ещё прохладную от влаги, протянула...» — отозвалась цитатой из стихотворения в прозе Тургенева «Морское плавание», где есть это самое рукопожатие.

Было чудесно за окном, где начиналось морское плавание, и в комнате, где оно странным образом его опередило.

В унылом социуме тех лет человек легко прислонялся к умеренному и комфортному пьянству, из которого некоторые, несчастно избранные, упали в объятия алкоголизма. Но тогда трудно было представить себе Олега, садящимся мимо стула или... Нет, тогда до карикатуры было так же далеко, как и сейчас, когда Олега давно нет на белом свете.

Во времена так называемого застоя, начиная года с 1968, когда моим друзьям было по двадцать, когда трусливые вольнодумцы тюрьме или ссылке предпочитали бесчестие и вполне ладили с ним, подменяя открытый индивидуальный демарш энергичным и возвышенным застольем, даже если приходилось запивать ячменный хлеб «Солнцедаром», у тех самых «несчастно избранных» красивые молодые лица медленно, но верно становились неряшливыми, а Высоцкий, поминая поэтов, погибших в роковые тридцать семь, пел о современниках-шестидесятниках: «А нынешние как-то проскочили», — и о них же в связи с судьбой другого человека: «А в тридцать три распяли — но не сильно».

В отличие от довоенного поколения, которое успело высунуться и зацепиться, послевоенных к печати ещё очень долго не подпускали. Власть имущие для удержания власти с садистским наслаждением или с невозмутимо самоуверенным равнодушием затыкали глотки неудобным, а неудобные, презирая или не замечая власть имущих, с удовольствием пестовали свою правоту в домашних условиях, гордо вопрошая «А Иисуса Христа печатали?» и дыша «ворованным воздухом».

За исключением тех, кто воровать воздух не хотел и выходил подышать, зная, что сейчас его перекроют. И воздух, и лично его, обнаглевшего дышать не прячась. Они не ошибались.

Каким-то летом, только-только вернувшись в Петербург, я снимал дачу за Зеленогорском.

Рядом, в Комарово, обитал Леонид, заимевший когда-то писательский домик одного прозаика-мариниста, выпавшего, как он говорил, за борт во время упоительной качки. Леонид писал рассказы, в основном портреты людей, кропотливые, тонкие исследования характеров простых, но с крупинкой какой-нибудь необъяснимой странности. Он и сам был такой, и знал об этом — вдруг во время разговора взгляд его перемещался в пространство, он прекращал слушать и слышать и, последним усилием воли контролируя себя, отходил в сторону и что-то говорил, иногда размахивая руками и вскрикивая. В профиль видны были его внушительный толстый и по-сократовски

курносый нос, край оправы и линзы очков, поблёскивала набирающая наглость лысина, с которой, как с вертолётной площадки, словно взлетали к небу его заявившиеся без спросу перепалки с героями его же рассказов и пьес, бывших «в процессе»... Понятная и простительная странность, в конце концов.

Из Питера наезжал Дмитрий. С тяжёлой одышкой, но всегда в каком-то расфуфыренном морально-нравственно-эстетическом образе, он сиял всем лицом и словно бы выглядывал на белый свет из пенных кружев жабо, хотя давно поменял взволнованные рубашки на более спокойные, но — для пристального взгляда — по-прежнему дорогие.

Как Леонид, охладевший к выкрутасам и обручившийся с уравновешенной прозой, Дмитрий остыл к амурным похождениям, женился на простой и верной женщине (в соответствии с толстовским «порядком вещей») и всем больным сердцем привязался к своей дочери, родившейся пару лет назад. Невольная мысль, что наслаждаться ему долго не придётся, печалила всех, кто видел его задыхания. Есть такие жизнелюбы, чья смерть особенно непредставима.

Его вечная гимнастка всегда была на виду в свободном, но никчёмном доступе, и оставалась предметом циничных и хамских упоминаний Дмитрия, равно как и его пожизненной привязанностью, и хотя он говорил, что всё кончилось тогда, когда её облик стал путаться с другими, продолжение следовало...

Любовь, которая искрила в самом начале их романа, убилась по вине того, кто полагал, что любовь не узы, а свобода, и, конечно, в его цинизме проглядывала мстительная самозащита. Свобода предназначалась прежде всего ему, и по преимуществу это была свобода от всяческих обязательств по отношению к подруге, а малейшее проявление её свободы вызывало естественные, а чаще наигранные вспышки ревности, выгодные его душевному спокойствию. «Когда женщина в ответ на твои ревнивые подозрения глаголет: “Я тебе потом всё объясню...”», считай это признанием в измене», — говаривал Дмитрий. И ещё: «Великая самонадеянность думать, что любимая женщина тебе не может солгать. Не стоит переносить своё возвышенное чувство на её добродетели. Вообще чувство, как правило, затемняет суть дела».

Сейчас, когда он делился с ней самым сокровенным, это было не доверие к близкому человеку, но совершеннейшее равнодушие к тому, до кого ему не было никакого дела... Она отвечала взаимностью.

В Лидии давно не ночевали ни любовь, ни ревность, а теперь скоропалительно истаявала и красота, ещё цеплявшаяся за природное спортивное здоровье, но безуспешно. Она жила с матерью, попивала всё сильнее и протяжней, в лице появилась припухлая размазанность, и так же, как развязное красноречие Дмитрия являлось уже автоматическим следствием его аппетита к выразительно грубому слову и никак не характеризовало объект его издевательств, так природные уступчивость и доброта Лидии стали следствием её нынешнего равнодушия. И даже те удовольствия, которые были всегда под рукой — вкусная еда или телевизор, — были ей как бы в лень.

Дядя Ваня — Елене Андреевне: «Какая вам лень жить!»

Но в трезвые секунды, когда на кону стоял так называемый смысл жизни, ей казалось, что в том искрящем начале она воистину любила Дмитрия, что это было чем-то настоящим, оправдывающим... После третьей рюмки подлинность затмевалась.

«Она остановилась что-то отыскать в сумочке, я оглянулся и увидел чуть расставленные, тяжеловатые и покривившиеся ноги крестьянской бабы. Войдя в парк, стала шумно вдыхать, восклицая: “Какой воздух! Какой воздух!”».

«Негодяй», — отозвался Леонид на этот пассаж. Но Дмитрий продолжил своей любимой и пригодной ко многим случаям жизни цитатой из Ницше: «Узнаю сволочь по склонности к сентиментализму».

Восклицание «Какой воздух!» не имело никакого отношения к сентиментальности, и он это знал. Но... Ради красного словца...

Однако не приведи господь, если кто-то, желая подыграть Дмитрию, позволял себе молвить о ней дурное слово. «Убивать своих позволено только своим», — его слова, и он уничтожал статиста с особой тщательностью.

Обычно мы шли к заливу, спускаясь с косогора, на вершине которого располагалась дача, по крутой с выпирающими корнями тропинке, размытой дождями, цепляясь за попутные деревца, пересекали шоссе и через солнечно и неспешно поднимающийся сосновый бор выходили к открытому пространству — к песочному и пустынному пляжу с кустами можжевельника и шиповника и гранитными валунами вдали.

Так было и в этот раз. На пляже Дмитрий вспомнил свою недавнюю поездку в Нормандию «в поисках Марселя Пруста», в городок Кабур, один из прообразов прустовского Бальбека. Пустынное побережье, ранняя весна, вдалеке двуколка — словно бы выписанный тонкой кистью чёрный силуэт на жёлтом фоне песка... На протяжении многих лет Пруст был нашим с Дмитрием избранником. Когда Марсель наведася в эти края в зрелом возрасте, он не нашёл райского Бальбека, сотканного из детских воспоминаний.

«Ничего удивительного, — блеснул очками Леонид, считавший Пруста аморфным и скучным, а нас эстетствующими притворщиками. — Ничего удивительного. Смаковать и пестовать воспоминания — значит творить идола из собственной персоны. Последнее дело».

Дмитрий сообщил миролюбиво, но с ироническим и приглушённым пафосом: «"Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой..."» — Его черты обрели отчётливо пренебрежительное выражение. — Не мной замечено, но это и не важно, — в слове "воспоминание" есть "поминание", и тут не до смакования и пестования».

«Отчего же? Скорбь очень сладостна для извращенцев. А кто не извращенец? Ты? Он? Не смейся. Чужие воспоминания отвратительны. Хуже только свои», — Леонид плюнул междометием «тьфу» и пошёл в отрыв, ускорив прогулочный шаг.

«В Нормандское побережье он бы не вписался, — Дмитрий прищурился вслед удаляющейся лысине. — Не двуколка. Ты замечал, что логика всегда банальна?» — «Но он ведь прав. Художник творит идола, как в "Портрете Дориана..."» — «Назовём это идолизацией...» — «И паразитированием на религии...» — «Дело не в религии и христианском боге, которого нет... — Дмитрий театрально огляделся, проверяя, нет ли вокруг римских пап, и сообщил, что отсутствие бога ничего не говорит о его несуществовании. — Да, дело в неистовой вере в него, верно? Притом не самих творцов средневековой живописи и архитектуры, оформлявших веру, а монахов. Благородство веры, её мощь и бескорыстие породили благородство соседнего мышления. Но мышление художника выражается в красках, он поклоняется цветовой гармонии. Ты знаешь эту историю, когда Карл V спросил Тициана, молится ли тот, изображая Господа. Тициан вежливо отрезал: "Я, Ваше Величество, чтобы не перепутать ничего, когда пишу, тогда уж пишу"».

(В подобных случаях Эдуард говорит: «Вера и гору с места сдвинет, и место уничтожит».)

Мы шли вдоль воды, посматривая то влево, на валуны, так уместно «идолизирующие» пространство, то вправо — на сосны, с которых стекал свет солнца, на нижних ветвях превращаясь в тёмную зелень, а на земле — в глубокую чёрную тень. Когда мы нагнали Леонида, Дым снова заговорил.

«Мы решили, друг Леонид, что ты прав. Хотя и банален. Согласись, не только художнику, но и всякому человеку свойственно любить некий идеал, поводом для которого служит кто и что угодно. Мне сейчас пришло в голову... Дориан Грей влюблён без памяти в актрису, считая её красавицей и гением, тащит на спектакль лорда Генри и Бэзила, где выясняется, что она бездарна. Нечто похожее происходит у Пруста: маркиз Робер де Сен-Лу влюблён в актрису Рашель, в которой Марсель при встрече узнаёт девицу из борделя. А?»

«Оба персонажа, как и их создатели, гомосексуалисты, — Леонид походя проявил знание предмета, — и могут только убить влюблённых в них бедняжек, а затем предаться своей потаённой и подлинной страсти». — «И впрямь — девушка Дориана покончила с собой. А что стало с Рашелью?»

Леонид не помнил. Я тоже. Скорее всего, с ней покончил Пруст.

Они уехали, а я вспомнил строку Тютчева: «О, как убийственно мы любим!»

Сентябрь

В сентябре 1976 года Андрея забрали на военные сборы в Кронштадт.

Написал «загребли», потом «заграбастали», потом «забрали». Не хочу производить намеренно живую прозу. Слышу: «Не волнуйтесь, всё равно не получится — ни умышленно, ни нечаянно!» — но делаю вид, что не слышу, и продолжаю: пусть обходится своими скромными силами, без намерений.

— А что, если у автора *природная* талантливая живость? — Дым продолжает. — С очаровательными грамматическими нарушениями, сбивчивая, доверительная, проникновенная? А что, если в зыбкую пору ученической зависти автор начитался Пруста и захотел быть Сваном и утонченно разбираться в венецианской и флорентийской живописи, ну или на не такой уж худой конец стать светским Тютчевым и блистать в журнале «Сноб» или как он там называется?

Дым на минуту-другую замолкает.

— А ты заметил такое странное сходство? То, что у Свана и Одетты называлось в грубом переводе «орхидеиться», а в нежном — «творить орхидею», Тютчев называл «васильковыми дурачествами» — вот они «цветочки»! Есть и «ягодки», но тут уж ты сам, пожалуйста!

— Почему «васильковые»?

— Потому что на языке цветов василёк — это «не могу выразить своих чувств». Не знал, сведения из интернета. И оттуда же: яички по-гречески — ёсчейт, что, согласись, заостряет половую тему. Я уж не говорю о самом строении орхидеи. Знаешь, почему ты не хочешь писать «намеренную прозу»?

— Мне это не дано.

— Не потому, что не дано — тут Дым решил загладить резкость первой фразы, хотя чего там заглаживать, это его вовсе не оскорбительная манера, — а потому, что все мировые рекорды, которые устанавливали Пруст, Джойс и пр., устарели до того, как их начали устанавливать новобранцы... Замечу, мой друг, что рекордсмены особенно старательны в области кинокритики, где графомания процветает, и это не случайно — она процветает на почве самого графоманского из искусств. — Дым презирал кино.

Этот диалог, которого никогда не было, закончился на моих словах, имеющих в виду то, с чего я начал: «Обойдусь собой».

Осень наступает со скоростью разрубленного одним махом полена — холодная белизна воздуха. Пора топить.

Синева неба. Как описать её, чтобы в образе она прозвучала сильнее и чище, чем наяву? Почему у древних не было слова для определения синего цвета? Если нет слова, значит — неопишущаяся? Звучит романтично. А сухо и трезво? Пока нет слова, нет явления, точнее — видения явления. Так у Иоанна, но в более крупном масштабе: «В начале было Слово...», а там — посмотрим. И увидим.

«А небо, небо — твой Буонарроти...» Ссылка на краску. Не только в последней строке, но и в первой. «Я должен жить, хотя я дважды умер...» Дважды умер Лазарь. Лазарь — лазурит.

Если бы фарфоровая тарелка насквозь была пропитана синим кобальтом, то в осколке сверкнула бы острая синева сентябрьского неба.

Другой вариант: если бы в сентябре наступил апрель...

Прохожу мимо детской Филатовской больницы, что на улице Чапыгина, 13, — лежал там не раз, — и мгновенно вспоминаю: «...где воздух синь, как узелок с бельём у выписавшегося из больницы». Как я мог забыть об этой несравненной синеве? Не важно, действительно ли узелок с бельём синь... Выписавшемуся из больницы всё подано с удесятёрённой интенсивностью. И ещё: «Неистощима только синева небесная...»

Как обычно, едва начав, я застрял на этой прогулке в прозе, послал первую страничку Эдику и получил в ответ: «Пиши ещё, хотя бы для консенсуса!»

Друг.

Продолжаю движение по Уфимской к Лопухинскому садику. Рядом, на профессора Попова, стояли обе мои школы — начальная № 83, и с пятого по восьмой классы — № 67, существующая поныне.

С конца августа я начинаю слышать школьные позывные, они раздаются в самом сердце, сосёт под ложечкой, и «солнечное сплетение» становится точнейшим словосочетанием для сентябрьских календ. Вот здесь по правую руку был стадион «Медик», вокруг которого мы с Андреем давали большие и малые круги в пору его учёбы в Электротехническом институте, сюда их выводили на полысевшее, но по краям ещё зелёное футбольное поле, в этот прощально острый и сногшибательный запах травы, и физрук ко всеобщей застоявшейся подростковой радости называл их «мальчики-фальшивоминетчики».

(На военных сборах, рассказывал Андрей, был свой воспитатель, капитан второго ранга Иванов, с подчёркнуто невозмутимым лицом, вещавший мерно, чётко,

изредка, чтобы не приедалось, используя в виде вводных слов мат. «Корабли полста шестого проекта отличались от сорок первого, главным образом, блять, конструкцией корпуса».)

Были и у меня (как у всех) такие учителя, но главным, определившим мою первоначальную профессию, стал не упомянутый ранее математик Василий Иванович, а физик Давид Соломонович Гарфункель. Он ходил всегда в одном и том же сером заношенном пиджаке со свисающими нитками, в отчаянные минуты чьей-то тупости восклицал: «Боже сахарин, куда я попал!», Юру Лозинского, медлительного отличника, гладил по голове: «Ах ты, лоза моя виноградная!», а к Маше Брежневой, которой было не до физики, подкрадывался, чтобы разбудить: «Пшшшш, яичница!»

В недобрую минуту своей жизни Давид сидел перед классом, раскачивался и упал. Раздался грохот, потом гробовая тишина, ни одного смешка, потом появилась его рука на столе, следом — он сам. Давид произнёс только одну фразу: «Кто хочет, может смеяться, кто хочет, может плакать, я просто упал...»

Андрей, высокий, сутулый и нескладный, очень неспортивный (классе в пятом он прославился тем, что, выйдя на замену в баскетбольном матче, немедленно забросил мяч в свою корзину), то и дело по ходу жизни пресекался затишьями души и невидимыми миру внутренними слезами. Они душили его бесплодно, пока он не достучался до стихов, а уж потом душили во славу рифмы.

На беглый взгляд они проистекали от первых уроков физкультуры — от всех этих козлов, брусьев, коней, матов и шведских стенок, от предупредительно-тревожной атмосферы раздевалки — смеси резинового запаха тапочек из тряпичных мешков, затянутых на шнурки, и подмышечного пота, от торопливого переодевания сильных и спешащих в зал и неохотного преображения слабых, бредущих в лакированный холод опасно и обречённо.

Но нет. Всё началось ещё в дошкольную пору. Андрей не мог уловить, с чего именно. С дачной колонки, из которой лилась вода, когда он повисал на ручке? С песочницы и совочка, которым он докапывался до прохладного сырого слоя?

Он замирал, глядя на забивание свай на реке Карповке возле Петропавловского мостика, который переходил всякий раз по пути в институт и обратно. Ритмичное и бессмысленное движение копровой установки под морозящий дождик было сродни колыбельной, и оно завораживало так, что удары молота не мешали погружаться в блаженный и кратковременный сон. Фоном прислуживала больница Эрисмана с её проходным садиком, и больничная отдалённая аура — голые деревья за железной оградой, желтеющие стены зданий — действовала, как новокаиновый укол, промывающий сон до особенной яви.

Эти замирания и объекты, их порождающие, сближали нас, оттого мы и стали друзьями, оттого и прогулки наши не вызвали к обсуждению увиденного и не замусоривались разговорами. Андрей учился в Электротехническом, а я жил здесь с рождения и заканчивал школу как раз за садиком больницы, напротив Первого медицинского, там, где сидел на первой парте с будущим убийцей Сашей (когда-то Дым, узнав об этой истории, прозвал его Моше, имея в виду, что библейский Моисей убил египетского надсмотрщика). Мы выходили с Андреем на улицу Льва Толстого, где погромыхивали наивные, ещё живо брякающие, но с таящейся безысходностью во взгляде трамваи, и шли направо, к Кировскому.

На загляденье всегда был пончиковый (пышечный?) аппарат: из двух цилиндров на горячую ленту выпадали два тора сырого теста и медленно двигались в закипающем

масле, следом выпадало ещё два, и ещё, в то время как первая пара подкатывала к металлической с дырочками плоскости, которая делала переворот на сто восемьдесят градусов и укладывала пончики на лопатки, и они, доходя до золотистой горячей кондиции и припудриваясь, выдвигались с ленты на продажу.

Не джойсовские эпифании — те были слышимы и зримы, — скорее столбняки выпадения из реальности, безмолвные, без признаков жизни, хронически несущей угрозу, то есть — спасительные...

Наглядным пособием по увиливанию от лобовых столкновений бывали долгие обмороки на остановках автобусов или троллейбусов, не только набитых людьми в часы пик, но и уже полупустых. Андрей не мог двинуться с места и войти внутрь и пропускал их один за другим. Один за другим. Долгие получасовые столбняки.

Путешествие домой в сторону Новой Деревни, к матери, привыкшей к поздним возвращением сына, но любовно мучившей его неотступной тревогой, откладывалось и откладывалось, темнело, сырело, мёрзли руки и пальцы ног, и хорошо, если вся эта «мелкопоместная» эпопея расплачивалась одной-двумя строчками в конце пути... Но, кажется, Андрей не обращал внимания на улов.

Я провожал его до остановки у входа в метро «Петроградская» — одной из кардинальных точек отсчёта всего, что пишу. На той стороне стояла (и стоит) серая конструктивистская громадина «Промка» (Дом культуры промкооперации, он же — ДК им. Ленсовета), где будущий искусствовед Дмитрий занимался в кружке рисования — Дмитрий, оказавшийся, когда мы познакомились, моим соседом и соседом Леонида с улицы Академика Павлова, пограничной Лопухинскому садику.

Это было точкой отсчета ещё и потому, что прямолинейный в обе стороны Кировский множил парные фонари в череде воображаемых вертикальных негативов, в неотразимом блеске своём, заштрихованном моросью сентября, претендуя на конечное изображение и пророча, пророча, пророча в перспективе мою «фонарную» судьбу.

В ту пору мы только начинали подрагивать в литературных «шинелях» и не знали, насколько они изношены, но какая разница, если ты, пусть припозднившись, примериваешь их впервые, если ты, как Леонид, служивший когда-то на Псковской улице в архиве, переходишь Калинин мост, ещё не встречая никаких призраков Акакия ни днём, ни ночью, или «примериваешь» улицу Майорова, а она оказывается Вознесенским проспектом с цирюльней из гоголевского «Носа», с его «достоевской» зябкостью и всеми униженными и оскорблёнными и бесконечно мёртвыми их диалогами, даже если они живые, на фоне бесконечно живого пейзажа, даже если он мёртвый.

Катится себе спортивный снаряд «ядро» по траве «Медика», катится, и ты смотришь то на неяркое солнце осени, неподвижно летящее по небу, то на лениво замедляющееся вращение ядра, и в этой несопоставимости вечного и абсолютного с секундной случайностью разверзается бездна воздушной тишины.

Шевелятся под лёгким ветром маечки и трусики, полощется вдали флаг, выцветший и прячущий в складках эмблему какого-то застиранного спортивного общества, и, если не ошибаюсь, комок подступает к горлу.

Моменты замирания у Андрея всегда совпадали с уже случавшимися в детстве и утверждались в качестве звёзд на частном небосклоне, образуя истинный рисунок судьбы. Он даже полагал, что есть последний такой момент, и он установит окончательный узор его земной жизни, которая на этом прервётся.

В сентябре 1976 года Андрея забрали на военные сборы в Кронштадт. Приезды на выходные и возвращения в часть происходили в позднее зябкое время. Бессмысленные лейтенанты запаса ёжились в шинелях. Чёрная вода плюхала и блестела за бортом катера.

В ту пору Леонид сблизился с Яшей — у того водилась запрещённая литература, а поскольку всё в нём было наведено на резкость, он притягивал и просто в ранге редкого человеческого экземпляра. И хотя Леонид обладал своей отборной библиотекой (мать служила в привилегированном книжном магазине), он, иступлённо нацеленный на писательство, тянулся к свету, откуда бы он ни исходил, пусть даже из тьмы подполья. Кто знал, что это будет не только взгляд «из-под глыб», но и проза лучезарного Набокова?

И он тянулся. По окончании лекций в институте, где они учились вместе с Андреем, все отправлялись в пивной бар «Пушкарь». Леонид виновато бубнил: «Некогда. Призван работать», — и непреклонно отправлялся «работать» — писать прозу. Половых проблем он, счастливчик, как-то не ведал ни тогда, ни потом (его малопривлекательный голос, как будто не вышедший за пределы горлового клототания, нелицемерно вещал, что половые сношения негигиеничны), и единственный раз, когда его затащили в бар и затем понуждали продолжить вакханалию в общежитии, с менадами, отбивался и отбил, крикнув вслед удаляющейся компании: «И вообще не люблю этот ваш оргазм!» Фраза обрела статус крылатой.

Некоторые другие его выражения, помельче, в частности: «В силу сложившихся перипетий...» — также имели хождение.

В силу сложившихся перипетий его родительский дом пребывал в блаженстве и благоденствии: отец — военный, «обеспеченный», гостеприимный, щедрый, называвший жену «мать», и мать — добрейшая, потчующая разгульных и полупьяных гостей Леонида своими соленьями-вареньями, при этом оставаясь невидимкой. На разночинном советском фоне они смотрелись хлебосольными и зажиточными помещиками.

Однокомнатная квартира, купленная впрок для сына, либо пустовала, либо предоставлялась тем из нас, кому негде было преклонить голову, а то и две... Он и сам дважды там «преклонял голову», но обе его женитьбы длились по году, не больше, и незаметно, без свадеб и каких-либо видимых причин и скандалов, истаивали бесследно. В эти «бермудские» времена он исчезал, а затем появлялся как ни в чём не бывало, ни словом не упоминая о том, где пропадал.

(В подобных случаях Эдуард говорит: «Родных так много, что и пообедать не с кем».)

Тем вечером, как и любым другим, когда Леонидовы пальцы просились к перу, а перо к бумаге, что-то пыталось проклюнуться... Работа не клеилась, и это нервировало, потому что по возвышенному кодексу чести, установленному Леонидом, только каждодневным творческим трудом, скрупулёзным и честным, возможно оправдать своё пребывание на земле. У него имелось философское обоснование: освобождение человека от себя, от своего внешнего присутствия в мире, и погружение в работу угодны мирозданию, поскольку в этом погружении исчезает агрессивная пульсация жизни отдельно взятой личности, — личности, в итоге обретающей себя в неопознанной никем божественной иерархии этого самого мироздания. Ни социальные катаклизмы,

ни личные обстоятельства, ни всемирные катастрофы не вправе нарушить заведённый порядок.

Леонид готовил себя к великому поприщу.

Дмитрий не упускал случая поиздеваться: «Как говорил один художник Третьего рейха, главное — это живопись, которая врать не может, если она подлинная. Хоть лес малой, хоть Гитлера — всё хорошо, если нет фальши. Наш Отто Беккер живописал виды Освенцима, горящие печи, штабеля трупов. Его живопись не врёт. Не хочет же художник сказать, в самом деле, что он обыденный трус, что он готов жить в изуверской стране, подчиняясь изуверским законам, что его интересуют успех и слава, ради которых он готов молча и жадно впитывать красочность убийства, устранившись в медитацию. Но именно это он и говорит. “Наше вам с кисточкой! Прежде всего — мощь живописного языка, её актуальная неизбежность”, — и маэстро удаляется в мастерскую».

Леонид верил в свою миссию, был неумолим и, укладываясь в три буквы «б», незлобиво объявлял Дмитрия болтуном, бездельником и бабником.

Тем осенним вечером позвонил Яша и попросил приехать, не уточняя, в чём дело. Подробные телефонные разговоры по отчётливым причинам не практиковались. Но в минуту звонка Леонид успел зацепиться за свой рассказ и визит перенёс на завтра.

«Возвращение с дачи» он писал в спокойной и вразумительной манере, до того, как его ужалила змея модернизма и принудила пуститься на поиски экстравагантных форм.

«Возвращение с дачи». Это событие требовало досконального воспроизведения. Оно походило на ожидание спектакля в ярком и холодном, как ситро, фойе, где ты, нарядный, чистый и немного скованный из-за ещё не ношенных костюмчика и ботиночек, почти в обморочном напряжении и гордом сверкании предвкушаешь тёмный и тёплый зал и поднятие занавеса, когда внимание перенесётся на сцену и праздничное чрезмерное волнение уляжется и вовсе исчезнет в бархатном кресле.

Каким-то подобием фойе будут медкабинет и осмотр, предваряющий начало учебного года, мурашки на предплечьях, обновлённые, с запозданием на секунду узнаваемые лица девочек и мальчиков, загорелых, только что стриженных и, может быть, по-иному причёсанных, с чуть изменившимися голосами, выдача новых учебников с их свежим типографским ароматом, и неуголимое его вдыхание. В учебниках таится опасность, но такая дальняя, что только приятно щекочет из-под обложек.

Успокоение наступит, когда всё войдёт в свою колею, но сопоставление с театром начнёт хромать сразу после звонка, после грохотливого рассаживания по партам и премьерного захода в класс Зои Ивановны. Это не тот роскошный и отдохновенный покой в зрительном зале, но — установление ритма жизни, от тебя не зависящего и, стало быть, потихоньку убаюкивающего.

И всё-таки театр, не желая сдаваться, то и дело будет встречать: фуражкой с блестящим чёрным козырьком, ёрзающей на голове, препоясывающим ремнём на гимнастёрке, шершавящей голую спину, когда задирается рубашка, воротничком, намокающим и грязнеющим от пота, — всей этой костюмерной и бутафорской чепухой, которую отторгает твоё тело.

Да, проблема формы и содержания! Не зря так и называется: школьная *форма*, армейская *форма*... Плевать она хотела на твоё драгоценное содержание, а дитя

насквозь состоит из содержания, потому и не в силах оказать сопротивление, и только инстинкт тела подсказывает: что-то не так.

Забавно, как ребёнок попадает в паутину социума, как протягиваются нити от одного к другому и устанавливаются первые приязни, и настороженно маячат первые антипатии...

Затем у Леонида следовало отступление о пауках, ткущих вычурные паутины, чтобы заманить побольше насекомых в свои сети. О том, что немислимые украшения притягивают не только будущих жертв, но и варваров-разрушителей. И — самое поразительное — о том, что есть пауки-извращенцы, чьи роскошные ковры своими узорами и раскраской призваны отпугнуть тех, кто ими соблазнится.

(В подобных случаях Эдуард говорит: «А это зачем?»)

На следующий день он узнал, что Яша был вызван в ГБ и ночью покончил с собой, вскрыв вены.

Яша, как мне кажется, не только не мог представить себе унижения допросом, но и опасался своего поведения, зная, что оно может быть непредсказуемым, если тебя бьют и пытаются.

На военных сборах лейтенантов запаса возили на полигон. Учили стрелять по мишеням. Из автомата и пистолета. Один вид оружия вызывал у Андрея ужас, что уж говорить о прицельной пальбе. Утешения он искал в прогулках по вечернему Кронштадту, с каждым вечером холодеющему, простёганному морским ветром и прощёлканному падающими желудями. Остров — не материк, он, особенно если невелик, отзывается острым в животе чувством опасности и ненадёжности — кажется, вот-вот сорвётся с насеста и пустится в открытое море.

Но что до этого капитану Иванову? Он попадался Андрею навстречу, и в его нетвёрдом шаге упоительно поддавшего человека, в котором военно-морская выправка неумолимо и тайно от него изнашивалась, но не изнашивалась, как ни странно, выкаблучивалась неколебимая уверенность в том, что всё пребудет в лучшем виде, а его райское возвращение домой планирует (планирует!) быть вечным, как и сам дом в своём услужливом уюте. Вечным. И даже чуть дольшим, блять.

Субботним вечером на исходе того сентября — Андрей пребывал в увольнении в Питере — Андрей, Дмитрий и Леонид пришвартовались к ресторану «Приморский» возле Елагина моста. Дмитрий опоздал и сразу сделал комплимент Леониду.

— У тебя сегодня галстук аделаидина цвета. Тебе к лицу.

— Думал, ты будешь с Аграфеной, старался, — Леонид был мрачен и подыграл неохотно. Он смотрел в окно, в котором закат безуспешно пытался конкретизировать своё набоковское лицо.

Дым всегда поддразнивал. Даже в беседе с друзьями он не столько откровенничал, сколько провоцировал, и они это прекрасно знали. Особенно, когда речь заходила о политике. Тем не менее Андрей клевал наживку и откликался на провокации вроде бы всерьёз и с нервным воодушевлением.

Как вторила за «оттепельной» Ахматовой золотая молодёжь, перевалив за тридцать к началу девяностых (мои герои на десяток лет старше), брежневские времена были вегетарианские. (Так, вероятно, и думал замученный тюрьмами в эти

годы Анатолий Марченко.) Они отказывались от пафоса — любого: про- или антисоветского, — они хотели делать дело и предлагали свои интеллектуальные услуги нарождавшимся высоколобым изданиям. Буквально за углом их ждало ненавистное им сотрудничество с гламурными журналами и прельстительно увесистые гонорары от свободных и просвещённых олигархов, а к началу нулевых, за другим углом, — ясное понимание, что никаких независимых олигархов нет и, значит, понятно, кто твой работодатель. За третьим углом — честное отчаяние «на местах» или эмиграция из России одних, либо продажность и обыденно-повальное превращение золотой молодёжи в позолоченную, а затем и золотушную буржуазию — других.

Оставалось какое-то количество отчаянных храбрецов...

Есть они и поныне.

Андрей, в душе страстный максималист, а сейчас вдобавок разгорячённый водочкой, сказал Дыму:

— Ты человек страха, потому — страхолюдина. Тот, кто не был уничтожен до 53-го года, дрожал. Не на дрожжах всходило тесто будущих пирогов, на дрожжи. «Мы не пироги» — такой плакат вывешивали обэриуты, и они ими не были. А мы во втором-третьем поколении — пироги, и конца этой кулинарии не видно. Философия даже тех, кто задумывается об избавлении от издевательств государства, проста: если я заплачу за свободу так называемой родины своей жизнью, то как я эту свободу увижу? Нет никакого смысла платить... По слову Гоголя, ты существователь, не человек...

— А ты?

— Конечно, я говорю прежде всего о себе... Ты знаешь, чем отличается Гоголь от Достоевского?

— Фамилией.

— Тем, что Гоголь не виноват.

— А Достоевский?

— Виноват. Кстати, он говорил, что, если появится хоть один истинно русский либерал, он его первый поцелует.

— И что?

— А ничего. Ты хотел бы поцелуя Достоевского? То-то. Лучше не появляться.

— Это остроумно. Дорогой мой, твои муки совести — от лукавого. Ты ведь ничего не можешь изменить. Чего мучиться?

— Мученику совести не может прийти в голову мысль о лукавстве. Он забит до отказа муками. Но герою Достоевского, коим ты являешься, запросто.

— Я сам себе заранее безразличен, поэтому ты, пытаясь обидеть меня, всего лишь удваиваешь загубленность своей чистой души. Лёнечка, он рвётся меня обидеть. Он забыл, что я хочу ввести мир в заблуждение. Всего лишь...

Андрей скинул маску догматика, виновато улыбнулся и неловко погладил Дмитрия по плечу. Его жесты всегда были целомудренны.

Леонид молчал, глядя в окно, по-видимому, добиваясь от заката того, чем он является.

В том же сентябре 1976 года готовился обмен Владимира Буковского на чилийского коммуниста Корвалана.

Много позже я прочитал в книге Буковского «И возвращается ветер...», что причины, которые его загоняли в тюрьму «неизменны, как неизменна и сама

советская жизнь, как не меняешься и ты сам. Никогда не позволят тебе быть самым собой, а ты никогда не согласишься лгать и лицемерить. Третьего же пути не было».

Ещё позже я прочитал у Владимира Набокова о героической речи Буковского на суде и о том, что «пять лет мучений в отвратительной психиатрической тюрьме будут помниться ещё долго после того, как сгинут мучители, которым он бросил вызов».

Да будет синева сентябрьского неба благословенна, как благословен параллелепипед белого ослепительного неба, отражённого в зеркальном шкапу на третьей странице «Дара». Аминь.

Октябрь

Последний раз мы виделись с Андреем в октябре 2003 года, в феврале следующего он умер, в худшем для жизни месяце года.

Я приехал на неделю из Н. в тёплый и солнечный Петербург. В октябре? В октябре. Так здесь заповедано, в единственном городе, где я не турист, где улица — продолжение квартиры и где нет никаких достопримечательностей.

Какие музеи, если я родился во Владимирском соборе и меня, по слухам, крестил Пьетро Трезини? Тогда это была фабрика «Ленмашучёт». Мама шла мимо, начались преждевременные схватки, приехала «скорая», и роды приняли прямо там, в раздевалке.

Там же, на углу Колокольной и Владимирского, я жил с Марией.

Мы зацепились с Андреем около Кузнечного рынка, где в любую погоду сидят бабки с разным барахлом, цветами или зеленью, в зависимости от сезона, зацепились рассеянно и бесцельно, из привычного праздного любопытства, праздного настолько, что оно толком и не видит то, что видит.

Медленно пролетел диалог двух торговок:

— Они на свадьбу заказали цыган.

— Зачем?

— Что зачем?

— Цыган зачем?

— С тобой невозможно разговаривать. Ничего не соображаешь. Для веселья.

— Почему ничего не соображаю?

— Спрашиваешь, для чего цыган... Для веселья.

Андрей рассмеялся.

— Этим летом сижу у нотариуса в очереди. Секретарша спрашивает мужика: «Вы по какому вопросу?» — «Справка нужна. О нахождении в живых».

Около музея-квартиры Достоевского завернули на бывшую Ямскую. Мимо бани, где лет двадцать назад Андрей ишачил вечерами или по выходным — помогал закупать пиво приятелю-банщику, прятать его на чёрной лестнице, собирать пустые бутылки и рано-рано утром закидывать ящики в грузовик. В тот год пиво в бане продавать и распивать запрещалось, тем живее шло дело...

Поход с папой в баню в детстве... «Потри-ка мне спинку!» Его коричневый саквояж, лимонад, обжигающий холод улицы...

Я помнил, что отец Андрея умер, когда он был ещё маленьким, до возможных совместных походов в баню, и своим видением не только не поделился — я его прервал.

(В подобных случаях Эдуард говорит: «Долой вседозволенность!»)

Место прогулки обязывало, к тому же мой друг только что перечитал «Униженных и оскорблённых», «Неточку Незванову», что-то ещё... — и сейчас тихо и вопросительно бормотал, словно бы разговаривая с собой.

— Бешеная энергия недоношенности... Берущая бесконечно тараторящий реванш...

— Мерзкие диалоги и монологи... Но пока не добьёт, не успокоится. Садист... Всё эти девочки-нищенки шляются...

— Если кто-то любит, то с мучением...

— Если улыбка добрая, то преднамеренная...

— Какая-нибудь спивающаяся бездарность, воображающая себя гением... Но как! Она хочет пребывать в ничтожестве в оправдание провала...

— Две молоденькие идиотки, влюблённые в идиота и рвущиеся пожертвовать своей любовью ради другой... Одна из них кричит, всплеснув «своими руками»... Так и пишет: «своими руками»...

— Вот вам ангелоподобные характеры... Да ведь у ангелов вывернуты крылья...

— То милуются, то прощаются, то проклинают, то рыдают, то восклицают, то бросаются кому-нибудь в ноги, ни единого спокойного жеста или слова, и только главный опереточный злодей невозмутимо проговаривает правду: «Теперь мы все гримасничаем — такое время пришло»...

— Нет там живых униженных и оскорблённых. Никого, кроме автора...

Мы зашли в «Буше» на Разъезжей. На стене висел каламбур: «Бушевнобольные». Этот развесной — или развесистый? — юмор всюду украшал нынешний Петербург. Рюмочная «На бровях», цветочный магазин «Лютики-цветочки», кафе на Пяти Углах: «На пяти углях». Скучно перечислять... И ещё нежно-умилительная повадка obsługi... Спросил как-то официантку: «А что это плавает такое в водке?» Отвечает: «Лёдик». Грузчик звонит в домофон: «Доставочка!»

Сразу вспоминается: «Жить стало веселее. А когда весело живётся, работа спорится...»

Где-то неподалёку бродил Фёдор-младший (Разъезжая, 31), он же младший бес — Сологуб. Здесь они скакали, ряженные, с обезьяньими хвостами, по салонам, а те, предсказанные Фёдором-старшим Лёвонька с Боринькой, давно (с 1861 года, когда вышли «Униженные») набравшие силу и ждущие нынче — с минуты на минуту — захвата власти, уверяя блоковскую «интеллигенцию», что они народ... — стояли в подворотне, поплёвывая и покуривая. Всё было решено. «Левон и Боринька, отличные ребята!» — это грибоедовский Репетилов. Рептилии давно всё решили. Как только образовались.

— Ты читал Кутзее?

— Я читал Кутзее.

— Он пишет о Достоевском, что в какой-то момент стыд в нём утратил былую силу, сменившись пустым, безнравственным безволием, которого никакие крайности не страшат.

— Почему же в юности так впечатляет?

— Потому и впечатляет, — Андрей уставился в одну точку, куда-то за окно, автоматически воспроизводя Северянина. — «В студёный полдень октября —/ В такой обыденный, но вещей —/ У Сологуба на Разъезжей,/ От нетерпения горя...»

Не в тёплый, в студёный октябрь умирал наш друг — то была первая из череды потерь, потому так врезавшаяся в память, и не только мне, но и Дмитрию, и Андрею, и Леониду.

Гриша попал в автомобильную аварию, получил тяжёлые травмы, но, как выяснилось впоследствии, несмертельные. Его устроили по блату в лучшую больницу, где врач совершил ошибку...

Я его навещал, несколько раз ночевал в соседней комнате, палата была двухместной. В один из дней, когда ещё было неизвестно о вопиющей врачебной ошибке, тот самый врач привёл в палату своих студентов, чтобы продемонстрировать «случай». Я представил себе, что происходило с Гришей, ведь он не был в беспамятстве. Его взгляд не выражал ничего, но пульс бился, сознание работало... Я представил это, когда уверенность в Гришином выздоровлении не позволяла мне окончательно проникнуть в безвыходную жестокость зрителей того, что не было спектаклем. Я представляю это всегда. Есть переживания, которые не расстаются с нами пожизненно, и, как правило, это происходит, когда нет того, с кем они связаны, когда живое соседнее существование больше не служит оправданием нашего легкомыслия.

В последний раз утром на смену мне пришёл его отец. Гриша сел в кресло, глаза полузакрыты, то ли спит, то ли бодрствует, и вдруг стал захрапывать. Я пошёл в ординаторскую. Была суббота, дежурили двое молодых: парень и девушка. Они обстоятельно завтракали. Сказал, что больному плохо. «Сейчас, — парень потянулся с ленцой, — только допью кофе...» Я ногой ударил по столику снизу. Всё, что было на нём, разлетелось в разные стороны. Детки побледнели и боком вышли...

Гришу перевезли в реанимацию, ночью он умер.

Через сколько-то лет приснилось, что он входит в приоткрытое окно, за которым строительные леса. Сначала стучится, потом медленно входит. Стоит на подоконнике. И вот ощущение: он пропал, и все уверены, что погиб... Я говорю: «Но ведь ты...» — он молчит, чуть улыбаясь, словно бы хочет сказать, что да, я впрямь мёртв, но жив... Пятно над щекой, немного как тление...

Ещё я вспомнил, как в один из последних дней он подошёл в палате к окну — с двенадцатого этажа открывался унылый серый вид на новостройки, на точки людей — и тихо спросил ни у кого: «Почему они такие недобрые?»

Всё это промелькнуло у меня в голове между первой и второй северянинскими строками.

Отец Гриши — никогда не толстый, но всегда полнеющий, небольшого роста, безоговорочно кроткий, не умеющий громко разговаривать, — единственный из встреченных мной на земле людей стал родным в одно мгновение. Мы никогда не были друзьями, виделись редко, а после смерти Гриши — ещё реже, только на какую-нибудь годовщину...

Был однолюб, после развода (в Гришином детстве) не женился и никого не присоединил. Не оттого ли я и проникся и приникся к нему таким добрым чувством, что в крови моей жила та же, ещё неведомая мне, однолюбая судьба (и не оттого ли — смеюсь, вспоминая — мне была любезна «бесполая» часть философии Леонида с его «не люблю этот ваш оргазм!»), как будто я предвидел и одобрял свою будущую холостую жизнь.

Он жил в коммуналке, напичканной его тётушками, которых, вслед за родителями, смиренно хоронил и подхоранивал.

Есть люди, которым выпадает эта участь: заменить тех, кто убирает траурное ложе миртом и виноградом, плакальщиц, причитающих женщин, тех, кто рыдает и посыпает голову прахом, валяется по земле и бьётся о неё головой... «Презренной прозой говоря» — участь хоронить родных, все формальности выполнив четко и по-деловому. А разумно задержавшимся и принесшим свои соболезнования, когда всё кончено, — накрыть стол, чтобы они могли совершить очищение ополаскиванием горла.

Потом тётушки кончились, а дом расселили...

Ежедневно, начиная с рождения сына и своей инженерной работы, поднимался в пять тридцать утра, чтобы в семь выйти. Так длилось почти шестьдесят лет. Всё точно, размеренно, безропотно...

В молодости ходил в шахматный клуб имени Чигорина на Желябова, иногда в Дом офицеров на Литейном, если там выступали знаменитые шахматисты. Восхищался Талем, его игрой и остроумием, любовно и, как бы лакомясь, цитируя Мишу (так его называли поклонники) и посмеиваясь, словно мурлыча. С друзьями по клубу разбирали партии гроссмейстеров, и не было, возможно, большего удовольствия в его жизни. Укромного, мыслящего, головокружительного удовольствия...

Происходил из дворянской семьи, из тех, кто каким-то чудом выжил, затаившись и скрыв родословную. В отличие от дворян, перелицевавших себя и превратившихся в холуёв советской власти, иногда в своём холопстве превосходя холопов от рождения, сохранил свои статью и достоинство в том микромире, в котором это было возможно...

Притягивал человеческим устройством, уютом и соразмерностью движений души. Это притяжение походило на детскую тягу к улиткам и моллюскам — а что там внутри? — но, конечно, свободную от детской жестокости, или — на детский же интерес к таинственному содержимому часов или, скажем, фортепьяно.

Из коммуналки вывез старинный трофейный рояль, на котором играл ещё его отец. Этому чёрному озеру на трёх ножках, с гладкой поверхностью, скрывающей подозёрную жизнь: сокровенные струны и молоточки, — никто крышку не открывал, поскольку за рояль садились только любители. Её протирали тряпочкой, удаляя налёт недельной пыли.

Никогда не учился музыке, подбирал по слуху, и это всегда был праздник.

Лет через десять после Гришиной смерти мы собрались у него дома. Кто-то попросил поиграть. Он помолчал, пожал плечами и сказал, что за рояль с тех пор не садился. Просьба повисела и растворилась в воздухе.

Вернувшись с прогулки, я заглянул в «Униженных и оскорблённых», которых не помнил.

Стариков Ихменёвых бросает любимая дочь ради какого-то патологического придурка Алёши, и отец неистово страдает.

Андрей ни словом не обмолвился об этой линии, но я отчётливо понял его неприятие и гнев, тем более что имя «достоевской» изменщицы — Наташа, то же имя, что и его дочери, ушедшей из дома. Есть и параллельная линия, и тоже с проклятой дочерью несчастного отца...

Он толковал своё отвращение, говоря, что ситуация подстроена Достоевским, что она лжива, что ради того, чтобы швырнуть старика в отчаяние и заняться разглядыванием его судорог под микроскопом, он выдумывает ситуацию, и она фальшивый фундамент, и весь этот ужас затеян не для установления истины или хотя бы правды, а для того, чтобы усладить и насытить свой взгляд картиной разрушения.

Он вспомнил Дыма, который, сравнивая Достоевского с Прустом, утверждал, что Пруст подвергает своих героев эстетическому препарированию, а Достоевский — этическому. Поэтому у Пруста всё освещено светом (даже эпический грешник барон де Шарлю), а у Достоевского — тьмой (даже святой князь Мышкин). Где обитают сами имена? — королевское «де Шарлю» и подвальное «князь Мышкин»...

Андрей говорил, что Достоевский заманивает героев в волчью яму, которую Юлий Цезарь называл красивым словом «лилия», по сходству её замаскированной поверхности с цветком, а по сути — справедливо, поскольку цветок сей ядовит и дурно пахнет, что не в пример погибавшим в римских ямах варварам герои Достоевского, не все, не все, но многие, «вытащены» им наружу, они каются перед проклявшим или уничтожавшим их, а тот перед ними, каются неизвестно в чём, и примиряются, и вылечивают свои загубленные души. Слякотные качели охотника, остервенело убивающего и безутешно рыдающего над своей жертвой. На этой «качке» начинается «морская болезнь» читателя.

Он говорил, что Достоевский создавал этих своих персонажей по типу кукол вуду, наделяя образ фрагментами подлинных людей (в итоге — его читателей) и налаживая таким манером с ними магическую связь. В данном случае — случае истеричного разрыва отца с дочерью — оскорбляя истинные чувства карикатурным их изображением и нанося моральную травму читателю. Подобно первобытному колдуну, он избивал свою «куклу», протыкал её иглами, используя для этого литературные средства, и добивался немалых успехов, поскольку обладал сильной припадочной энергией — подопытный кролик откликался на истовость психической атаки и начинал верить в загробный мир психологии.

Андрей купиться на это не мог, а вот оскорбиться и испытать отвращение — несомненно.

Вспышки презрительности и безразличности сопутствовали ему в моментальном, но и моментально испарялись. Никакой агрессии в его характере не было, а гневные речи он произносил немного по-актёрски, но актёр он был плохой — точная и злая правда его речей совершенно не вязалась с его природной мягкостью и добротой, и это его роднило с Дмитрием, но отличало от Леонида, словно бы являвших в умопостижаемом масштабе творческие подходы Пруста и Достоевского.

Всё, что перемещалось в память Андрея, обретало черты великодушия, проявленного лично к нему, незыблемую ценность, и вызывало в нём любовь. И чем более отдалялось событие, тем оно становилось дороже. Он умел наслаждаться прошлым и не упускал этой возможности, поселяя его в своих стихах и облагораживая статусом настоящего.

Мать пролежала после инсульта несколько дней и открыла глаза за минуту до ухода. Он был рядом, держал её руку, и ясный прощальный взгляд матери неотвратно переместился в него с физиологической убедительностью и стал *его* взглядом. Он обрёл вторую натуру, и отныне всякое явление жизни становилось одновременно явлением смерти.

Переход от бытия к небытию поразил не столько тем, что на глазах живое дышащее стало бездыханным, сколько своей обезоруживающей простотой, никак не согласующейся с мыслью, что происходит нечто невероятное.

Он спокойно поправил белую кружевную скатёрку на тумбочке с будильником, продолжавшим невозмутимо тикать, посмотрел в окно — тот же тополь с раздвоенным стволом, земля с редкими островками снега — ничего в мире не изменилось... Если бы не изменился он сам.

Андрей не сразу сформулировал, но сразу увидел и понял, чем отличается та жизнь, которую он вёл, от смерти: смерть — это серьёзно. Определённо, безоговорочно, абсолютно. А раз так, надо ей соответствовать.

Впоследствии он хотел написать книгу стихотворений, в которой любой объект предстал бы непостижимыми встречами с ним и прощанием, соединёнными в одном мгновении. И если замысел не воплотился, то потому, что отвлечься от драгоценных пустяков жизни, которые легко соглашались на встречу, но прощаться не намеревались, Андрей был не в силах.

Его равнодушие к публичному литературному процессу являлось пониманием того, что слова — только символы пульсации жизни, только проявление человеческой слабости и трусости безвозвратно стать самому этой пульсацией, где нет счастливой и плачевной привязанности к любимому.

После смерти матери всё наружное стало автоматическим и поверхностным. Но сущностная связь с миром не прерывалась. Она углубилась. Так бывает, и даже проявляется очевидней, когда кто-то из близких смертельно заболевает, и с момента выдачи диагноза — немедленно — всё обретает другие смыслы и пропорции.

Как и вся жизнь, жена и дочь для него были всегда присутствующей и в то же время уходящей натурой, и расстаться с ними значило бы утратить надежду на приращение этого капитала в будущем.

Но и вне всяких надежд и накоплений: бегство дочери было для него тем, с чем он смириться не мог. Оно было убийственным, и оно его убило.

В протестных движениях Андрей не участвовал, утверждая, что полумеры — суть выступления на публику и что есть только индивидуальный путь, прямым ведущий к гибели.

Его мучило, что к такому пути он не готов, и считал себя ничтожеством. Обращаясь к себе, говорил: «Следует понимать, что история всё расставит по местам, но постыдным для тебя образом».

Он считал, что «история трусости» — самое точное определение истории человечества, что лучшие умы оттачивали свои мысли в социологических и философских попытках оправдать трусость, используя изворотливые псевдонимы вроде «терпимости», «толерантности», изыскивая пути к смирению и подставлению поочерёдно всех щёк

для пощёчин и к неумножению насилия любым путём и, из собственной же трусости, не подпуская это определение к своим трудам. Они прикрывались плащом-невидимкой фирмы «Благими намерениями вымощена дорога в ад», забыв, что это действительно лишь там, где больше одного человека, и исчезали в совокупном растлении страхом смерти. Они прекрасно знали, что чистосердечный индивидуальный шаг требует доблестного усилия, потому что мудрого рассудком (но не душой) человека от этого шага удерживает *следующая* мысль, всегда — следующая, перекрывающая и перемудряющая мысль *возникшую*, обладающую неопровержимой и пристыжающей труса правотой. Это шаг к переустройству мира, направленный внутрь себя. Все всё знали, но что с того?

«Да, — говорил Андрей, — они преуспели, а заодно и мы, подыгравшие им угодливым пониманием. В наших правилах — жить за чужой счёт, но умирать всё равно придётся своими силами».

Минуты очарования, когда вселенский гармонический Замысел ясно и вдохновенно просматривался несмотря ни на что, использовались в личных целях. От них оставался, в отличие от найденных вилок, не осадок, а любезный остаток, но он исчерпывался задолго до того, как появлялись новые минуты очарования. А что?

Вы считаете, что жизнь — есть то, к чему необходимо приноровиться, чтобы жить как все: хитро и незаметно? Не обращая внимания на клоунов во власти и на то, что они совсем не клоуны, а клоны предшественников? Вы не знаете, что если человек становится политиком, то он сознательно выбирает путь преступника? Что он в открытую издевается над здравым смыслом, а значит, над вами?

Но ведь вы твёрдо знаете, что творчество — наоборот: вечное обновление и никакого приноравливания к известным образцам.

Неужели? Как творец может длить жизнь, пребывая в этом затхлом нутряном конфликте? Ах да, ведь он творец с маленькой буквы. Он *прописной* творец.

Андрей объявил знаменитую песенку «Времена не выбирают, в них живут и умирают...» дешёвым гимном поп-культуры второй половины XX века.

Сократ, говорил он, выбирает безграничного воздуха ширь, облака и язык как священную троицу, опровергая власть Зевса. Он отстаивает не того бога, который выбрал его, а того, которого выбрал он, Сократ. Он выбирает *своё* время. Так было и в жизни. Над чем смеётся Аристофан?

Андрей не опубликовал ни одного стихотворения. Сначала не стоило и пытаться, потом, когда свобода слова затрепыхалась, цветы и ароматничая, он трепетал в одиночку.

Жена передала его стихи Дмитрию, Леониду и мне, чтобы мы составили и издали посмертную книжку. Мы составили и издали.

Елена Долгопят

Ночь

Рассказ

* * *

В ночь выходить нельзя, не вернёшься. Об этом все знали, и все по ночам сидели дома; в домах, по крайней мере.

Ночь поднималась от земли, из земли, подобно воде. Затапливала скамейки, ограды, деревья, заглядывала в окна (все закрытые), достигала крыш, достигала неба, смыкалась с космическим пространством, с бесконечностью.

Кто не успевал до темноты в дом, тот исчезал на веки вечные. Ночь, не смотри в мои глаза, — была такая песенка.

Сказку о ночи Саша услышал в раннем детстве. Родная тётка придумала, материна сестра, гостила у них три дня; мать говорила: весь чай выпила. Ела мало, а пила чёрный чай с сахаром.

Саше она не полюбилась, он её дичился. Тётка и конфетку ему подаст, а он не берёт.

— Глаза у тебя кошачьи, — говорила мать сестре, — вот он и боится.

Сестра смеялась:

— Мал он ещё меня бояться.

И вот как-то раз они коротали вдвоём вечер, а мать была на работе. Свет следовало зажечь, Саша уже не различал, что у него нарисовано на листке: где дом, а где дерево.

— Не включай, — велела тётка, — зачем тебе различать, пусть оно так, как хочет, посидим в темноте, а я тебе сказку про неё расскажу, про темноту.

И рассказала. А после чиркнула спичкой и поднесла к сигарете огонёк.

— Не кури в доме, не кури, — мать уже сто раз говорила.

И вновь сказала, когда вернулась. Форточку отворила.

Саша попросил закрыть. Оттого что ночь.

— Нюня он у тебя, — рассмеялась тётка и пошла курить в сад, в ночь.

Саша почти поверил, что она не вернётся.

Долгопят Елена Олеговна — прозаик, кинодраматург. Родилась в городе Муром Владимирской области в семье военнослужащего и учительницы. Окончила Московский институт инженеров транспорта (1986), сценарный факультет ВГИКа (1993). Автор книг прозы: «Тонкие стёкла» (Екатеринбург, 2001), «Гардеробщик» (М., 2005), «Родина» (М., 2016), «Русское» (М., 2018). Публикуется в журналах «Знамя», «Новый мир». Постоянный автор «ДН».

Вернулась притихшая, а Саша подумал, что это вернулась не она, какой-то другой человек в её обличье. И даже глаза были не светящиеся кошачьи, а заплаканные человечьи. Хотя ведь и кошки плачут.

* * *

Доктор сказал, что ночь эту Саша не переживёт. В голове гематомы. Кости переломаны. Едва дышит. Мать сидела возле него.

Ночь тёмная. Ноябрь. Санитарка тогда дежурила, мать ей по трёшке давала ежедневно, не жалела. Старенькая, чистенькая. Она чаю принесла.

— Выпей, Клава, сладкий чай, крепкий.

Мать попросила посидеть с ними, пока чай пьёт. Санитарка сказала:

— Посижу.

Водитель, который сбил Сашу, помирал на соседней койке, Клава смачивала ему водой губы, а жена его рожала в эту ночь.

И вот Клава ждала, пока чай остынет, а санитарка посмотрела в окно и сказала, что в ноябре Бог землю не видит.

— Листья опали, трава пожухла, до первого снега далеко. Тёмна земля, — так объяснила.

Ещё добавила:

— И дел никаких наших в ноябре Бог не видит, ни добрых, ни злых. И слёзы скрыты от Него, и вздохи, и радость тоже скрыта. Ноябрь, ноябрь, чёрная нора.

Мать не поверила.

— Да ведь Он же Бог. Что Ему Тьма, Он и есть Свет.

— Отпуск берёт, — придумала санитарка. — Отдыхает.

На это мать ничего не нашла возразить.

— Знаешь, у нас над рекой церковь? — спросила санитарка.

— Знаю, — отвечала мать.

Церковь звалась Николой на набережной. До пятидесят шестого держали в ней военный склад лётного училища, но училище перевели в Рязань, и склад переехал туда же, а церковь осталась ничьей. Ребятишки в ней лазали, мужики вино распивали и не боялись. А может, и боялись.

— Поди туда, — велела санитарка, — а я здесь покараулю.

— Да зачем же так?

— Ступай, ничего, авось уговоришь за сына своего.

— Что же ты мне раньше не сказала?

— Раньше надежда была.

И мать надела туфли, надела пальто, шапку самовязанную, поцеловала сына в горячий лоб и отправилась. А год был тысяча девятьсот восемьдесят третий, Саше минуло двенадцать лет.

Час поздний, город спал. Мать шла, тень её появлялась, исчезала, то с одной стороны, а то с другой. Иногда в каком-нибудь окне тлел свет, и мать думала, что вот и здесь люди не спят. А может, просто позабыли выключить и понапрасну жгут электричество.

Мать шагала по Жданова до парка Пятидесятилетия, затем через пути до рубероидного и по Московской до Парка культуры. Спустилась по лесенке в самый глубокий овраг, где родник, и поднялась на другую сторону.

Церковь возвышалась на взгорке. От реки дул студёный ветер.

Мать недолго думала и вступила в чёрное нутро.

В церкви ей показалось холоднее, чем снаружи. Она не решалась двинуться с места, даже пальцем пошевелинуть не решалась в полной беспросветной тьме.

Кружилась голова, и чудилось, вот-вот потеряешь равновесие, полетишь, и бог весть куда полетишь, не самый ли ад разверзнется под ногами.

Вспыхнул свет, ослепил. Мать зажмурилась и услышала голос сына.

— Мам.

Она открыла глаза и увидела себя в собственном доме, в узком их коридоре с рукомойником, с приставной лестницей на чердак. Сынок её стоял тут же. Тёплый, родной, живой.

Она бросилась его обнимать. Он, конечно, вывернулся.

— Ты чего так поздно?

— Я? Да вот. Ты ужинал?

— Не. Я тебя ждал.

— Ну, бегом тогда, ставь чайник, макароны разогревай.

— А с чем макароны?

— Тушёнку открывай.

— Ух ты! Ура!

Она слышала, как он возится в чулане (там у них стояла газовая плита, красный газовый баллон), чиркает спичкой, гремит посудой, чертыхается. Как бы не поранился открывалкой.

— Мам! Щас чайник закипит.

Она заторопилась, сняла пальто, повесила на крючок. Скинула туфли. Вымыла руки. Посмотрела на себя в зеркале.

— Подурнела ты, Клава, — сказала отражению.

— Мам! Дверь придержи! Я чайник несусь! И макароны!

В доме тепло, печь натоплена. Часы на буфете молчали. Клава попыталась завести. Штырёк застопорился.

— Сломались, — сказала мать. — Хорошие часы. Войну помнят.

Сказать сказала, но поняла про себя, что времени здесь нет.

По радио пел детский хор. Мать подумала, что, наверное, это ангелы. Сынок её сосредоточенно наворачивал макароны.

— Мне-то оставь, оглоед.

Ели они прямо со сковородки, как и всегда. Чёрная сковородка, чугунная, долго держит тепло. Сынок подобрал остатки хлебной корочкой. Он всё ел с хлебом, даже мороженое. Спросил буднично:

— Мам, ты умерла?

— Нет.

— А как ты сюда попала?

— Так. Пропустили.

— Почему?

— Потому что и ты не умер.

— Почти умер.

— Почти не считается.

Она провела ладонью по его коротко остриженной голове.

— Пойдём домой, Саша, чего мы здесь?

— Здесь тоже дом.

— Тоже, да не совсем. У нас веселее, милый. И часы стрекочут вместо сверчка.

Бабка моя старая говорила: часы стрекочут, время точут.

— Как это?

— Да вот так. Время, оно, твёрдое, каменное. И день у нас скоро наступит, на солнышко поглядим.

— И здесь наступит.

— Здесь не наступит. Здесь не жизнь, здесь ты навсегда такой будешь: и не ребёнок, и не взрослый.

— Я чай хочу.

— Наливай. И мне наливай, покрепче. Сахару много не клади. Вредно.

Он рассмеялся.

— Вредно. Здесь, мам, уже ничего не вредно.

И сахару положил пять ложек.

— А вкус чувствуешь?

— Чувствую. Хотя уже не так, как вначале. Всё как-то становится. Ну. Как будто издалека смотрю. Как будто это не совсем я чай пью.

— Сынок, Сашенька, вернёмся, пока не поздно. Скучно здесь.

— Везде скучно. А здесь я не навсегда, когда совсем умру, в рай попаду, потому что грехов у меня пока нет тяжёлых.

— Откуда ты знаешь, как будет?

— Ниоткуда. Знаю. Само собой как-то.

— Не будет рая после смерти. И ада не будет. Смерть это ничто. Я когда-то, до твоего рождения, три часа без малого лежала под наркозом, от желудка кусок отрезали. Пришла в себя и поняла, что меня не было в эти три часа. Нигде. Смерть, это когда тебя нет. Ни в аду, ни в раю, ни на грешной земле. Нигде.

— Я посуду помою, — решил сынок.

Налил в таз горячей воды, принялся перемывать чашки. Он любил хозяйничать, любил порядок в доме.

— Оставь ты посуду. Пойдём. Пойдём, пока не поздно.

— Наркоз — это не смерть.

Мать взяла полотенце и принялась вытирать вилки да чашки.

— Не смерть, но близко к ней. А ещё ближе не хочется. Успеется.

Он не отвечал. Тёр сковородку обрывком лыковой мочалки.

— Саша. Оставь. Посмотри на меня. Так.

Посмотрел. Глаза серые, как у отца были, в точности.

— Хочешь мопед?

Вот так она его и уговорила.

Они проверили, всё ли в порядке в доме: погашен ли свет, не горит ли газ, закрыты ли форточки. Оделись, обулись, ключи не нашли, отворили дверь. Шагнули за порог.

Санитарка трясла её за плечо.

— Клава, Клавдия, очнулся твой парень, пить просит.

Мопед она ему купила весной, когда сошёл снег. Львовского производства, подержанный. Саша гонял на нём до одури. Пропах бензином, горелым маслом, кузовом (пристрастился). Светился мальчишеским счастьем.

Этой весной Клава познакомилась с мужчиной. В кинотеатре. Пошла с Валентиной на последний сеанс, народу полно, фильм французский, страшный, с убийствами. И после фильма, когда медленной толпой вытекали из зала в прохладную ночь, этот мужчина к ней обратился.

— Как у них всё красиво, у французов, даже кровавое убийство. Эстеты.

Она удивилась слову «эстеты», подумала, что, наверное, интеллигентный человек. Сказала:

— Не могу судить. Я закрывала глаза, когда кровь.

Мужчина улыбнулся приятной, располагающей улыбкой.

— Позвольте мне вас проводить?

— Я не одна, — отвечала мать и взяла Валентину под руку.

— Прекрасно, я провожу вас обеих. Где вы живете? — спросил у Валентины.

Она растерялась, переспросила:

— Я? Я в красных домах. У Стрелочного.

Мужчина представился (Алексей), спросил имена подруг (Валентина, Клавдия). Сказал, что очень приятно. Вёл себя культурно (так говаривала когда-то мать Клавдии, царствие ей небесное), осторожно. Как будто спугнуть боится, — так подумалось Клавдии.

Пока провожали Валентину, говорили мало. Валентина стеснялась, чувствовала себя лишней, шагала быстро.

— Ну, — сказала с облегчением у подъезда, — я дома.

Взглянула на тёмное окно.

— Спасибо, что проводили. Ты это, Клав. Ну. До завтра.

— Да, — сказала Клавдия, — да.

Дверь за Валентиной закрылась, они всё стояли.

— Вы кто по профессии? — любопытствовал Алексей.

— Бухгалтер.

— Чудесно. А я инженер. Могу ли я взять вас под руку и увести от этого подъезда в любом указанном вами направлении?

Могу ли. Влюбом указанном. Как церемонно. Клавдия усмехнулась и сама взяла его под руку. И повела. Мирной рабочей окраиной.

Послышался дальний ход поезда.

— На Москву идёт, — сказал Алексей.

— Откуда вы знаете?

— Ездил.

— А я не бывала в Москве.

— Никогда? Ни разу? И Кремль, значит, не видели. И в ГУМе очередь не занимали. Ехать-то всего ничего, шесть часов.

— Может, ещё съезжу. С сыном.

— Сколько ему?

— Тринадцать минуло в апреле.

— Поторопитесь, ещё немного, и он с вами никуда не поедет, даже в Москву.

— Ну, значит, без меня. Было б желание.

— А муж, простите за любопытство, имеет место быть?

— Не имеет. А вы женаты?

— Да.

— Поругались?

— В командировку уехала. Я один, мне скучно.

— Вот моя улица. И дом виден. И свет в окне. Ждёт сынок.

— Яблони у вас.

— Апорт. Китайка. Антоновка. Спасибо, что проводили.

— Были бы мы с вами в том французском Париже, который нам в кино показывали, я бы пригласил вас в бар. Но у нас ни бара, ни кафе, и ресторан на станции уже закрыт. Могу лишь позвать вас к себе.

— Меня сын ждёт.

— Вы могли бы забежать домой и сказать сыну, что переночуете у подруги.

«Что же я, каменная?» — подумала Клавдия.

— А кем работает твоя жена? — спросила она потом, в постели, когда договорились они быть на ты.

— Инженер. Мы здесь познакомились. По распределению приехали, я из Москвы, она из Ленинграда.

— А дети?

— Дочь. Студентка. В МГУ на математика учится. Умная до невозможности. Я её иногда боюсь. Знаешь, бывает такой ум, слишком острый.

Электричество они не включали. Все окна смотрели на станцию, свет прожектора пробивался сквозь шторы. Казалось, что за окном день.

— Как вы тут спите?

— Привыкли.

Поздний вечер, лето, июнь.

Клавдия поливала сад. Отцветали пионы. Она бросила чёрный холодный шланг, перекрыла воду и замерла. Ей почудилось на миг, что сад (мир) забыл о ней, а она, Клавдия, расслышала тихий ход жизни, как тогда весной ход дальнего поезда. Алексей знал, что поезд идёт на Москву, а она не знала, и в её маленьком мире он мог бы идти куда угодно.

Они продолжали встречаться. Валентина уступала им квартиру на пару часов. Ей это нравилось — участие в чьей-то жизни (судьбе), своей у неё не было.

Что Валентина делала эти два часа? — впервые подумала Клавдия. Подумала и ничего не придумала. Лень было думать в такой тихий безмятежный вечер.

Сынок её был дома, смотрел телевизор, чёрно-белый (серо-голубой) «Рекорд». Телевизор стоял в углу на тумбочке, а Саша устроился в раскладном кресле. Свет он не включал. И Клаве было покойно оттого, что сын её здесь, рядом, в родном доме. Она стояла в саду, дышала прохладой. И вдруг услышала, даже не услышала, ощутила шорох, движение. Обернулась. Вскрикнула.

Саша смотрел фильм про разведчика, место действия — на немецкой подводной лодке. Наш разведчик был один из матросов, он готовился отправить лодку на дно со всеми её торпедами и людьми (и с собой в их числе). Он дружил с некоторыми ребятами, они выручали друг друга, смешили, они сроднились. «Срослись душами», — так выразился один из фрицев, сентиментальный Ганс. И вот Ганс вдруг понял, что его подводный дружок Дитрих, самый справедливый и самый весёлый человек на свете, советский разведчик.

Сынок увлёкся фильмом, позабыл себя, и вскрик матери не услышал. Но почувствовал вдруг тревогу. Вскочил, бросился к окну.

Незнакомая женщина со всей силы воткнула в горло матери нож. Вырвала. Из раны хлынула кровь.

Саша ринулся из дома; на ходу, в терраске, схватил топор.

Женщина с ножом в руке стояла над окровавленным трупом. Обернулась на шум — навстречу выскочившему из дома мальчишке. Лицо её было спокойно. Саша поднял топор обеими руками. Женщина и не думала защищаться, бежать. Саша рубанул со всего маху, он думал, что раскроит её. Но топор ушёл в пустоту, женщина исчезла.

Мать растерянно сидела на земле. Никакой раны на её шее не было. Она изумлённо смотрела на сына с топором в руке, на окровавленное своё платье.

— Что это? — спросила она. — Что?

— Не знаю, — тихо отвечал Саша, — я услышал шум и выскочил. Подумал, грабитель. А ты лежишь.

— Кровь на платье, смотри.

— Наверное, из носа кровь пошла и ты сознание потеряла.

Мать потрогала нос и испачкала его кровью.

— О господи. Помогите встать. Да уберите топор, смотреть страшно.

Она умывалась в саду под краном, с которого сняла шланг, и приговаривала:

— Сроду я не теряла сознание.

Очевидно, свою убийцу она не помнила, а сын не сказал.

Пока мать замачивала в холодной воде с мылом окровавленное платье, он отмывал топор. Саше мнилось на нём тёмный след чужой крови (чужой жизни, чужой смерти).

В эту ночь прошла над городом гроза. Мать не могла уснуть, трогала отчего-то заболевшую шею, при громовых раскатах крестилась. Наутро за завтраком говорила сыну:

— Ну и ночка. И для чего я поливала вчера? Такой ливень был страшный. Ты слышал?

Об этом, первом, случае Саша никому не рассказал. Рассказал о втором. Но всё в своё время.

Видимо, стоит пояснить, что Клава и Алексей после пропажи его жены свидания прекратили. Бог его знает почему. Возможно, им казалось, что она вот-вот появится, и даже чудилось, что она сейчас здесь и смотрит из угла. А может, они оказались не нужны друг другу по-настоящему. Случалось, они сталкивались где-нибудь в булочной или на улице, но даже не здоровались. Смотрели мимо.

Действие наше прерывается и возобновляется вновь через десять лет, в тысяча девятьсот девяносто третьем.

Саше минуло двадцать три. Жил он в Москве, работал после армии в милиции, заочно учился в юридическом. Как писал в характеристике его начальник: надёжный, спокойный, внимательный. В отпуск Саша приезжал в родной город, помогал матери по хозяйству (чинил крышу, поправлял забор, колол дрова, — да мало ли дел в доме, где всех удобств электричество да летний водопровод в огороде).

Саша встречался с друзьями, их осталось немного: кто-то погиб, кто-то разбогател, многие пили, многие сидели. Сашу любили все. Он не был весельчаком, разговаривал мало, но слушал внимательно, никогда и никого не осуждал, советами не донимал.

В девяносто третьем он приехал домой в начале осени. Привёз матери конфет, растворимого кофе, шерстяную кофту, копчёной колбасы. Всё это он купил в Москве (мать так и не побывала) на рынке. Кажется, на Черкизовском.

Поезд пришёл рано утром, до света. Саша шёл к дому знакомой раздолбанной дорогой вдоль заводских корпусов (стёкла выбиты в цехах, ворота в стене заржавели). Уличные псы бежали за ним. Но не тронули. Саша закурил на ходу.

Он шагал и думал о всякой всячине, о том, что дорога становится помаленьку чужой (но всё ещё помнит его) и что дом его теперь не только здесь. Он думал, что в настоящем всегда имеются щели, сквозь них прошлое и выходит наружу серой тенью забора, дымом сожжённой ботвы, гудком маневрового. Он был ещё очень молод, но чувствовал, что прошлое всегда больше настоящего, даже прошлое совсем маленького мальчика, который едва научился себя осознавать. А будущего не существует, будущее ничто.

За серым штакетником тянулся деревянный барак, в нём, в одной из комнат, доживал свой век сбивший Сашу водитель. Он выжил, но стал молчалив, — так люди говорили. Жена уехала от него куда-то на юг, к яркому солнцу, ребёнка увезла с собой. А он жил, разгружал вагоны, смотрел телевизор, курил едкие папиросы, женился на парикмахерше, и она говорила, что иногда он сидит перед выключенным телевизором и смотрит, смотрит в него.

— Я его окликаю: Петя. Не слышит.

В поезде Саша ехал ночь. Вагон был плацкартный. Саша выпил стакан тёплой водки с новоиспечённым лейтенантом. Спать не хотелось. Выкурил в тамбуре сигарету

и пошёл не спеша по составу, из вагона в вагон через лязгающие переходы. В плацкартных во всех было душно, а в узком коридоре купейного прохладно. У глядящего в ночь окна стоял поп в чёрной рясе.

Саша встал у соседнего окна.

Ростом поп был невелик, лицо заросло чёрным волосом, как у разбойника из учебника русской истории.

— Здравствуй, отец, — сказал Саша.

И получил ответ:

— Здравствуй.

— Ты давно в Бога веришь? Ну, то есть, вот в школе когда учился, верил?

— Нет.

— Нет, — повторил Саша. — Нет. А когда поверил? И почему?

— Я на подлодке служил, — отвечал поп.

И мгновенно Саша вспомнил Ганса и Дитриха, для которых подводная лодка стала подводным гробом. Вспомнил и сказал:

— Ага. — Как будто уже начал догадываться. — Там и поверил. А почему?

— Не знаю. Понял.

— А как? Что случилось?

— Да ничего.

Саша не уходил, поп не прогонял.

— Там, говорят, вам красное вино давали сколько влезет.

— Давали. Но не особо влезало.

— Тяжело было?

— Тяжело.

— И вот ты проснулся ночью в этом братском железном гробу на глубине в километр и поверил, и тебе легче стало?

Поп рассмеялся.

— Ну, почти. Почти угадал.

— Но чудес ты никаких не увидел?

— Увидел. Палец на моей руке — и то чудо.

— Палец. А человек?

— Несомненно.

— Любой?

— Любой.

— И даже убийца детей?

— И даже.

— Нет. Врёшь. Не чудо. Чюдо-юдо. Чудовище. Вот я тебе расскажу про убийцу.

Будешь слушать? Ну вот. Мы с Витькой поехали в лес. Грибы собирать. Витька мой друг. Недавно. В конце августа. Помнишь, какой был август тихий? Нежняк. Так моя девушка говорит. Нежняк. Рано-рано утром. Ну, вот ходим, молчим, разошлись в стороны, то видим друг друга, то нет, перекликаемся иногда. Я кричу: Вить! Он: Я! Грибов не так чтобы много, но есть. Подосиновики. Опята, конечно. Я думаю: насолю на зиму. Девушка моя не по этой части, я сам. Лес тихий, дышит. Я стою, не двигаюсь, думаю, так и раствориться можно. И вдруг грохот. Выстрел. Я аж присел: что, где? Кричу: Витька! Витька! Не откликается. Думаю: так, спокойно, с какой стороны грохнуло? Да бог его разберёт. В одну сторону бегу, в другую шарахаюсь, заплутал, кричу: Витька, Витька! Вышел в конце концов на просеку. Куда, думаю, идти? Налево посмотрел. Направо посмотрел. И увидел — стоит вдалеке человек с ружьём. В камуфляже. Патронташ на поясе. Охотник. Стоит и стоит. Не двигается. Я иду к нему со своей корзиной. Он смотрит на меня. Я думаю: выстрелит. Но иду. Витьку вижу.

Лежит неподвижно. И человек этот с ружьём над ним. Вроде как сторожит. И тихо, тихо в лесу. Листья под ногами шур-шур. Свет слабый. Нежненький. Я иду, а охотник на меня смотрит. Лицо бледное, мокрое. Ружьё в правой руке. Я не знаю, выстрелит или нет. Шагаю ровно, боюсь, что если рвану, то ахнет в меня. Подступил я совсем близко, ничего ему не сказал, не посмотрел, как будто и не знаю, что он здесь. Витька лежал на боку, лоб пробит, кровь натекла. Я опустился на колени, потрогал шею, вот здесь, — вдруг пульс? нет ничего, утнула жизнь. Я посмотрел на охотника. Взгляды наши встретились. Он уронил ружьё и заплакал. Плачет, лепечет: я не нарочно, я не нарочно, я в зайца. Поднял его ружьё. Патроны, говорю, давай. Он: что? Патроны. Он понял, заторопился, патронташ отстегнул и на землю уронил. Стоит, смотрит. Я взял два патрона, ружьё. Зарядил спокойно и выстрелил. В упор. И тут же охотник исчез. Пф. Как не было. А Витька мой приподнялся на локте и посмотрел ошалело. Саш, говорит, это чего? — Что? — Ружьё у тебя. — А чёрт его знает. Валялось тут рядом с тобой. — А чего оно тут валялось? А я чего тут? Он потрогал лоб (целый). Я ему говорю: у тебя руки в крови. Он удивился. Точно. Я что? Ранен? — Вставай, посмотрим. Кажется, нет. Но сознание точно потерял. Я спрашиваю: что ты последнее помнишь? Выстрел. — Ну вот оно, ружьё. — А кто же стрелял? — Не знаю. Кровь мы стёрли кое-как, я футболку снял из-под рубашки, ею и стёрли. И потопали к платформе. Ружьё, конечно, захватили. Ну, чтоб узнать насчет хозяина. Нам это несложно, мы же милиция. Вот так вот оно всё было, хочешь — верь, а хочешь — нет.

Поп молчал. Поезд замедлил ход и пошёл тише.

— И что, узнали, кто был охотник?

— Завьялов Михаил Алексеевич. Тысяча девятьсот шестьдесят третьего года рождения. Программист. Живёт с матерью. Не женат. Мать его родила поздно, ей уже за семьдесят, надеется, что он вернётся. Я к ней заезжаю иногда. Кран вот недавно сменил. Она говорит: спасибо, спасибо, сынок, добрая душа. Мне её жалко.

— Ты знал, когда стрелял, что друг твой воскреснет?

— Предполагал. Надеялся.

— И на чём же твоя надежда держалась?

— Был ещё случай. В детстве.

Проезжали переезд. За шлагбаумом стоял грузовик. Одна фара у него светила тёплым жёлтым светом, а другая холодным белым.

— И что же это всё значит? — спросил поп.

— Ну ты даёшь, отец. Это я тебя хотел спросить: что же это всё значит?

— Я не знаю.

— И что, никаких предположений?

— Нет.

— Никогда ни о чём подобном не слышал?

— Никогда прежде.

— Ну да. Понятно. Я-то думал.

Саша замолчал. Он обиделся на попу, который совершенно равнодушно (так чудилось Саше) воспринял его историю.

— Ты мне не поверил, — догадался Саша.

— Поверил.

— Но не удивился.

— Меня всё удивляет. Вот поезд наш идёт. Удивительно. Ночь. Мы с тобой. Удивительно.

— Ну, я-то поудивительнее тебя буду.

— Чем же?

— Ты если убийцу убьёшь, то он ведь никуда не исчезнет, так и останется лежать мертвым. Да?

— Наверняка.

— А те, кого этот убийца убивал, они ведь не воскреснут. Так?

— Несомненно.

— Ну вот. А я могу. Знаешь, почему? Потому что я был мёртвым. То есть не совсем мёртвым и не совсем живым. Между. Мать меня вымолила у Бога. Или кто там заправляет. Я между тем миром и этим. Мне дано.

— Это искушение, — помолчав, решил поп.

— Ну, так я и думал, — разочарованно сказал Саша.

— А что же ты хотел от меня услышать? На что надеялся? Думал, скажу: давай, сын мой, убивай?

— Давай, сын мой, воскрешай.

— Это не твоё дело — воскрешать.

— Моё. Раз такой дар.

— А ты не задумывался, что убийца тоже может быть спасён? А ты его спасения лишаешь, отправляешь в небытие, в ничто.

— Думаешь, он весь исчезает, не только тело с одежей, но и душа?

— Не знаю.

— А говоришь. Ни хрена не знаешь.

— Не знаю. Но понимаю, что дар твой от лукавого. И ты это тоже понимаешь. Иначе не стал бы мне рассказывать. Рассказать — поделиться, разделить ношу. А ноша твоя тяжела.

— Всё, отец, всё. Не твоего ума дела, сам разберусь. Будь здоров.

— Погоди, — остановил поп шагнувшего от окна Сашу. — Послушай меня. Искушение велико. Но ты ему не поддавайся. Молись.

— Лучше уж ты, отец, помолись.

— Погоди. Постой.

— Моя станция, — сказал Саша.

Проводница Галина слышала их разговор. В маленьком купе было душно, дверь приоткрыта, сменщица похрапывала на верхней полке. Станция приближалась.

Галина вышла в тамбур.

Стояла, смотрела в дверное оконце. Тусклое стекло, наверняка оно виновато в этой грусти. В этой нечёткости линий, размытости красок. Мир за оконцем расплывался, разваливался, а что за ним, что дальше? Поезд замедлял ход. Большой тяжёлый состав шёл едва не крадучись, давал разглядеть весь этот предутренний мир.

Покосившийся забор.

Огонёк тлеет в чьём-то окне.

Тепловоз.

Депо.

Багажное отделение.

Вокзал.

Никто за её спиной не томился, никто не ждал станции, не собирался выходить. Но Галина по всем железнодорожным правилам отворила дверь, подняла и откинула к двери тяжёлую крышку-люк над ступенями. Протёрла поручень и спустилась на низкую платформу.

Из одного только вагона вышли пассажиры. Двое. Один из них, молодой, закурил. Мужчину постарше встречала женщина. Поцеловала его в щёку. И он её поцеловал.

Галина последовала за молодым. Уже объявляли отправление. Ей было всё равно. Она шла за убийцей. За воскрешающим.

Галина. Галина Ивановна. По мужу Лацис.

Сергей Лакшин. «Возвращение» (газета «Заря» от 02.02.1994):

«Галина. Галина Ивановна. По мужу Лацис, не прожили вместе и полугода.

Фамилию Галина Ивановна менять не стала. Она поясняет:

— Ничего, пусть Лацис, мне нравится, был такой латышский стрелок. Да и неплохой человек был мой Лацис, сдержанный. Он к нам сюда по распределению приехал после института связи, а здесь у нас заскучал, мечтал вернуться домой, а мне не захотелось туда к нему, вот и разошлись. Любви особой между нами не случилось. А девичья моя фамилия Рожкова. Я сразу после школы в проводницы пошла. Мы с Лацисом в поезде познакомились. Ему понравилось, что у меня стаканы все чистые. Он когда уехал, а я одна осталась, я вдруг подумала: как хорошо, — одна. Хотя мы ведь ладили. В кино ходили вместе. И в театр. У нас есть драматический. Да всё у нас в порядке было, всё. Мне подружки завидовали. Дура, — говорили, — чего осталась в нашей дыре. А у меня тут могилы.

Галина Ивановна плачет.

— Знала бы, бегом бы за ним побежала, за Лацисом.

Я прошу рассказать про первое января.

— Я Новый год сейчас не люблю. В детстве слаще не было, чем Новый год. Ночь. Что-то таинственное происходит. В деда Мороза я и малышкой не верила. Но что-то происходит под Новый год. С Лацисом мы встречали чинно. Пару друзей он приглашал с жёнами. Серёгиных и Криворученко. Всё обычно. Ели, пили, телевизор смотрели. А после Лациса я их никогда не приглашала. Его друзья, не мои. А мои все как-то рассеялись. Ну и не до них стало потом. А последние три года я всегда одна. Никого не хотела видеть. Разговаривала то сама с собой, то с радиоприёмником. Ну вот, значит, пришёл этот новый год, девяносто четвёртый. Я телевизор посмотрела. Разносолов никаких. Картошку на рынке взяла. И банку тушёнки достала. Но даже не открыла, аппетита не было. Водки выпила стопку. Пожевала картошки и думаю, как же я устала. Легла на диван и уснула. Разбудил меня звонок в дверь. Такой короткий: дринь. Дринь и всё, без продолжения. Я глаза открыла, темно ещё. Часы показывают четыре. И так тихо во всём нашем большом доме, и во дворе, и во всём городе, наверное, тихо. Угломонились под утро. А мне так тревожно, тревожно и сладко в то же время. Я вскочила и бегом к двери, даже смотреть не стала в глазок, кто там. Дверь распахнула, а там на площадке Митенька, живой и невредимый. Сладкий мой мальчик. Одет не по погоде, одет по-летнему, в точности как в тот проклятый день. Заплакал и бросился ко мне. И я плачу. Я скорей ванну горячую. Купайся, сынок, согревайся. А я чаю, а я картошки, а я тушёнки. Вот так вот и вернулся ко мне мой сынок, мой Митенька, через три года после того, как его убили.

Галина рассказывает мне о чуде, её сын корпит над арифметикой, он пошёл в первый класс, его приятели уже заканчивают четвёртый, они-то не умирали на три года.

Да как же такое возможно? — спросите вы.

Я отвечу:

Не знаю.

Да правда ли это? — спросите вы.

Я отвечу:

Правда.

Я подсказываю упорному Мите: трижды семь двадцать один. И ответ сходится.

Митин нечаянный убийца Геннадий Софьин вышел на свободу осенью прошлого 1993 года.

Нечаянный, так как убивать не хотел. Говорил следователю: убил не я, тёща. Следователь удивлялся: да как же так? разве не ты сбросил фикус с балкона?

Геннадий объяснял, что фикус был не его, тёщин, тёща умерла, а фикус остался. Жена не хотела расставаться. Память о маме. Геннадий хотел снести на помойку, а жена не пускала. И слово с него взяла, что не снесёт. И Геннадий дал из жалости. Но фикус этот казался ему живым, как будто смотрел из угла тёщиными глазами и шевелил листьями. А у тёщи была привычка пальцами шевелить. И вот для него фикус стал тёщей.

Как-то вечером, в выходной день, пока жена готовила ужин, Геннадий выволок кадку с фикусом-тёщей на балкон и перевалил через перила. Не видел и не слышал, что мальца придавил, жена обнаружила, когда прибежала туда, к фикусу.

Геннадий отсидел три неполных года и вернулся домой. Жена его дождалась. Фикуса в доме не было, фикус она похоронила (закопала). И даже фотографию материну жена сняла со стены и спрятала в комод от греха подальше. Зажили обычной жизнью, а ранним утром первого января Геннадий исчез. Вышел на треклятый балкон покурить — и не вернулся. Окурки нашли. Четыре утра было, тихо.

Погибший мальчик вернулся, а убийца его исчез в то же самое время.

Такая арифметика».

Все читали эту статью, весь город, и все норовили подобраться к чудесно воскресшему ребёнку, коснуться если не руки, то хотя бы одежды. Считали, это снимает сглаз и порчу.

Несмотря на ударивший мороз, власти дали команду раскопать (раздолбить) могилу погибшего три года назад Мити. Ничего в ней не нашли, ни единой косточки.

Да ведь хоронили?

Хоронили.

В гробу лежал?

Лежал.

Священник над ним читал?

Читал.

Мать над ним рыдала?

Мать над ним молчала.

И нет его там, в земле, мёртвого, но есть он на земле живой.

Журналист Сергей Лакшин был человек молодой, дотошный. Он добыл свидетеля, старуху из соседнего с убийцей дома. Старухина панельная пятиэтажка стояла вдоль дороги, а панельная девятиэтажка, в которой жил Геннадий (с женой; а прежде — с женой, тёщей и фикусом), стояла от дороги подальше, так что старуха из своего окна всё видела. Видела, как вышел убийца на балкон, закурил и вдруг исчез. Балкон был не застеклён, в девяносто четвёртом такой моды не знали — стеклить балконы.

— А сигарета, — говорила старуха, — повисла в воздухе и упала. И я ещё подумала, как бы пожара не стряслось или взрыва, вдруг там на балконе какие петарды лежат. Все, как бешеные, на Новый год стреляют, палят, жгут. В честь чего салют, сами не знают.

Журналист Лакшин не поленился и обошёл весь старухин дом, все квартиры, глядевшие окнами на девятиэтажку. В иные ходил по несколько раз, чтобы застать хозяев, и только в одной никак не заставал, пока соседи не объяснили, что квартира пустая, что дети забрали родительницу к себе в Ленинград, а квартиру будут то ли продавать, то ли сдавать, то ли так оставят, — приезжать на лето, ходить не речку.

Упорный Лакшин дозвонился в Ленинград (телефон дала соседка, она и присматривала за пустой квартирой), спросил, кто мог быть в их квартире в новогоднюю ночь.

«Мы не знаем, — отвечали хозяева. — Никто не мог».

И чего он так прицепился в этой квартире, вы спросите?

Жена исчезнувшего убийцы обратила внимание, что в пятиэтажке было открыто в ту морозную ночь одно окно. Правда, она не помнила, на каком этаже. Журналисту чудилось: за этим открытым окном — разгадка. Он уговорил хозяев, и они отбили соседке телеграмму: ТЁТЯ ПАША ПУСТЬ ЖУРНАЛИСТ ПОСМОТРИТ КВАРТИРУ.

Тётя Паша ходила медленно, да он бы и сам не спешил; скоро ходишь, мало заметишь, ничего не поймёшь, это он знал. Многие журналисты, многие, почти все, гонят, бегут, летят, хватают, боятся упустить и упускают, но только не знают об этом, не горюют. Сергею Лакшину, чтобы узнать, надо было почувствовать, а чтобы почувствовать — надо было стать незаметным, стать никем, пустым, медленным, неподвижным. И тогда пространство само тебя заполнит, и ты услышишь его. Доморошенная медитация, что-то вроде.

К тёте Паше он не входил (она и не звала), ждал на площадке. И само это ожидание было ему нужно.

Кафельный пол. Тёмно-зелёные облупленные стены. Электрический свет. Жестянка с окурками (из-под растворимого индийского кофе, прикручена проволокой к перилам). Всё мирно. Обыденно.

Лакшин ждал, разглядывал дверь пустой квартиры, точно картину великого мастера, шедевр. Разглядывал подробно, до последней царапины.

Обычная старая дверь. Деревянная. Обита чёрным дерматином. Чёрным, потёртым, потрескавшимся.

Тётя Паша появилась. Прошаркала к заветной квартире. Вставила в замочную скважину ключ. Повернула. Простой английский замок, ключ подобрать плёвое дело.

Лакшин попросил не включать свет (а день был тёмный, оттепельный). Постоял в прихожей, вступил в комнату.

Едва слышно доносится откуда-то музыка, гитарный перебор. Часы стоят. Времени здесь нет. Сонно. Как в тихом провинциальном музее. Тётя Паша дышит. Ждёт.

Лакшин приблизился к окну. Щели заклеены пожелтелой бумагой. Никто его не открывал давным-давно. Балкон, с которого исчез убийца, виден прекрасно. Полотенце висит на верёвке, наволочка.

«Ходил я, ходил, — написал Лакшин в записной книжке, — да ничего не выходил.

Ну, мало ли кто и где отворил окно в новогоднюю ночь. Отворил да и затворил. И чего я заиклился на этом окне, что надеюсь отыскать, кого? Свидетеля исчезновения я нашёл, можно ещё статейку тиснуть.

Я бы хотел понять, что там взаправду произошло. Мать этого воскресшего Мити определённо знает правду. Я чувствую. Галина Лацис. Вот была бы у неё другая фамилия, была бы она помягче.

Может, чердак?

А что чердак, я и сам не знаю. Был бы труп с пулей в голове, тогда понятно. Тогда и милиция бы сподобилась отправить сотрудника на чердак, проверить, не оттуда ли стреляли. Нет ли каких следов. Но не было никакого стрелка, разве что волшебная пуля».

Близок был Сергей Лакшин к разгадке, в двух шагах. Да поди догадайся сделать эти два шага, да хотя бы посмотреть в нужную сторону.

На чердак добросовестный журналист забирался, выглядывал из слухового окна, дышал холодным воздухом, старался забыть себя, не отвлекаться на собственные мысли: «Вера меня не любит, кого-то другого во мне видит, а я пытаюсь соответствовать, Канта взялся читать, боже мой, зачем мне Кант? Нет! Нет никакой Веры, и Канта нет, и меня нет, а есть только этот чердак и холодный воздух из всех щелей. И я знаю что

кто-то смотрел из этого окна, смотрел на этот балкон. Утро нового года. Дом спит. Выходит на балкон мужчина. Закуривает».

Так оно, собственно, и было.

Дом спал. Вышел на балкон мужчина, закурил. Саша прицелился. Оптический прицел, винтовка «винторез» (поражение противника в бронежилетах 6Б2 на дальности 400 м, разбирается на три узла: ствол с глушителем, ствольная коробка с ударно-спусковым механизмом и приклад; упаковывается в чемоданчик типа «дипломат»).

Саша прицелился в голову, мужчина выдохнул сигаретный дым. Он стоял, облокотившись на перила. Смотрел рассеянно.

Саша нажал на спусковой крючок. Мужчина исчез.

Сигарета упала.

Саша испугался: а где же ребёнок? Высунулся из слухового окна и увидел мальчика. Он стоял внизу, под тем самым балконом, в той своей летней одежке.

А, — догадался Саша, — значит, они появляются ровно на том месте, где их убили. Это хорошо, что здесь дерево никакое не выросло за три года. А то как бы оно было тогда? Или ничего?

Так, примерно, он думал. И смотрел, смотрел вниз.

Мальчуган, пропечённый летним солнцем (для него оно светило миг назад), потерянно оглядывался. Замерзнуть он ещё не успел. Голые руки торчали из коротких рукавов футболки.

Мальчик потрогал заснеженную ветку и заплакал. Саша опомнился и бросился с чердака. Скорей туда, к нему, схватить, обогреть (своей курткой), утешить, доставить к маме, благо недалеко, улицу перебежать.

Но мальчика уже не было. Следы маленьких сандалий на недавно выпавшем снегу привели Сашу к дому на другой стороне улицы, к подъезду Галины Лацис, матери ребёнка.

«Он дома», — произнёс Саша. Вслух.

Стоял внизу и глядел на освещённое окно.

Я воскресил тебя, парень.

Саша рассмеялся. Какая ночь!

Он шагнул к станции.

Город большой, областной центр, три театра, четыре музея, парки, заводы, магазины. Нет, в их заштатном городишке тоже были парки и магазины, но меньше, беднее, скромнее.

Саша шёл через центр, разобранную на части винтовку нёс в обычной дорожной сумке (не в дипломате же, в самом деле), закинув её на плечо. Кто-то крикнул ему с балкона: с Новым годом!

Саша свернул на боковую улицу, она должна была привести его к станции. Саша словно глотнул какого-то особенно весёлого шампанского. Всё ему казалось прекрасным: морозный воздух, запах печного дыма.

На дальней от центра окраине стояли деревянные дома. В точности как у них, в махоньком их древнем городишке. И деревянный барак, вот он. И заводская бетонная стена. Привет! Да не вернулся ли я чудесным мигом в родное захолустье? Саша почти поверил.

Однако дорога повернула к большой, совсем не тихой станции со множеством платформ, с длинным мостом над железнодорожными путями.

В зале ожидания народу оказалось немного. Солдат спал, откинувшись на покатыю спинку кресла из гнутой фанеры. Тётка лузгала семечки. Саша направился в ресторан, тот, конечно, был уже закрыт.

Сергей Лакшин. «Надежда» (газета «Заря» от 02.04.1994):

«Галина Ивановна Лацис дождалась, Тамара Михайловна Сергиенко не теряет надежды. Тамара Михайловна говорит, что, когда муж сидел за непредумышленное убийство невинного ребёнка, ждать было легче.

— Хотя все нас тогда ненавидели. Я и на свидание к нему ездила, и письма мы друг другу писали.

С разрешения Тамары Михайловны мы приведём фрагмент одного её послания.

«...А я виню себя. Надо было тебя послушать и не жить нам с матерью вместе. Лучше бы уехали на Север, как ты хотел. И денег бы заработали. Хотя, что они сейчас стоят, все эти деньги, нет ничего, пыль.

Не хотела тебе писать, но раз уж ты знаешь (кто донёс? Костик доложил, гадёныш?). Пришлось мне уйти из воспитательниц, да. Мамаша жалобу накатали заведующей: не желаем, чтобы жена детоубийцы нашим ангелочкам задy подтирала. Я на мамаш не в обиде. В строительную бригаду взяли маляром. Нормально. Устаю, но ничего. Заработок есть, недавно попался дом одной из мамаш. Ничего, стерпела меня. А дочурка её так прямо на шею мне кинулась. Ручонками обвила, растрогала. Пока так...»

— Ночами было тяжело, — рассказывает Тамара Михайловна, — без радио уснуть не могла, непременно надо, чтоб оно бубнило. Вроде как человек живой рядом. А сейчас мне совсем пусто. И других никого особо ни видеть не могу, ни слышать. Издали ничего, а близко никого не хочу.

Я спрашиваю, надеется ли она дождаться мужа.

— Когда надеюсь, а когда нет. Иногда мне кажется, чего я дома торчу, в окошко гляжу? — нет его здесь нигде. Иду в город. Всё равно куда, лишь бы на люди. Лишь бы не дома, дома стены давят. То в магазин зайду и смотрю, чего там есть. То в парикмахерской очередь займу, разговоры послушаю и уйду. Как-то раз в церковь зашла, стоит заброшенная над рекой. Темно, сыро. Склеп, а не церковь. И вот я стою в этом склепе и вдруг забылась, и как будто я дома на кухне и мой Толик здесь, шелестит газетой. Я шагнула к нему и вдруг вижу, что стою на кухне одна, Толика нет, а радио бормочет про погоду».

Статей этих Саша не видел, не читал, хотя их перепечатывали в столичных «Аргументах и фактах». Так что нельзя сказать, что это они на него повлияли. Сам собой расхотел он стрелять в убийц и воскрешать убитых. В то самое утро расхотел, когда опьянел от своей волшебной силы. В поезде на Москву переменилось вдруг настроение, явилась вместо веселья печаль. И не отпустила.

Феликс Чечик

И затихает гул

* * *

Как неожиданно, что снова
я возвратился, будто слово,
и вложен времени в уста,
родные посетив места.
И, в пояс поклонившись полю,
я вновь кириллю и глаголю,
и в слове умираю вновь —
косноязычный, как любовь.

Почва и судьба

1

Вспоминаю Вадима
Валерьяновича:
он глядел нелюдимо,
как больной на врача
в отделении онко —
там, где смерти страда,
где безмолвно и тонко
и где рвётся всегда.
В 90-м на Пресне,
как отпущенный грех,
время словом из песни —
просто кинуло всех.
Время сплыло, растаяв,
наподобие льдин:
и на сцене Куняев,
и в могиле Бахтин.

Чечик Феликс — поэт. Родился в г. Пинск (Беларусь). Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Автор нескольких сборников стихов и многочисленных публикаций в литературных журналах. Лауреат «Русской премии» (2011) и международной премии им. И.Ф.Анненского (2020). С 1997 года живёт в г. Нетания (Израиль).

Четверть века я не был
и вернулся сюда:
Краснопресненским небом
голубеет вода.
Полегчала година,
оплыла, как свеча...
Вспоминаю Вадима
Валерьяновича
добрым словом, конечно,
несмотря ни на что.
И светло, и уютно,
как в Небесном Лито.

2

Среди подмосковных деревьев,
которые бездна и храм,
читает стихи Передреев
синицам дефис снегирам.
И, кроме бескрайнего леса,
в душе у него ничего.
А страх, не имеющий веса,
живёт, как любовь, кочево.

3

Когда я почвенником был,
паша на судоремзаводе,
я вдохновенье находил
в несуществующей природе.
Полей и заводов фанат,
закатов, что горят пунцово,
я был смертельно виноват
в скоропостижности Рубцова.
И не смолкала тишина,
как гормональные подростки,
когда не стало Шукшина, —
ушёл в заоблачные Сrostки.
И чистоты парад-алле,
как песню, — не убило время.
И не было на всей земле
антисемитнее еврея...
Непрекращающийся бег
и головокруженье плевел:
Сорокин, Лосев, Айзенберг,
Кибилов, Гуголев, Пелевин.
Но прахом став и став золой,
кружа по жизни в ритме вальса,
раздваиваясь под пилой,
с любимыми не расставайся.
Молчи, скрывайся и таи,
что из металла соловьи.

* * *

Вороны каркают. Коты
чернеют — тут и там.
Последняя надежда ты,
но я не Мандельштам.
Я — непонятно кто. Никто, —
я растворён в тебе,
накинувший полупальто,
в опальном декабре.
Я —мышь, не ставшая горой,
просроченность оплат:
мои Воронеж и «Дальстрой» —
Левант и ссылка lite.
Сердцебиения: «тик-так»,
как из небытия,
и обустроенный чердак
возненавидел я.
На ласточек и воробьёв
охотятся коты...
И бесконечная любовь
поёт из немоты.
И мне теперь сам чёрт не брат.
И затихает гул.
И вновь на птичьём говорят
Державин и Катулл.

Тра-та-та...

1

Детский смех с тишиной рифмовался,
рябь озёрная с криком ворон:
в ритме потустороннего вальса
возвращался домой с похорон.
Тра-та-та, — напевал, — тра-та-та-та,
и безумию вторила ночь.
Чтоб с ума не сойти, как Торквато, —
ТАСС, пожалуйста, уполномочь!
Потрясла, — почему? Не понятно —
смерть чужая — ещё не моя!
На луне бледно-тёмные пятна
и пресветлой печали моря.
Оттого ли — мне тяжело и горько,
что с покойником не был знаком
и ржавею в стогу, как иголка,
и звоню — неизвестно по ком?
Вдруг услышал простой и юдовый
(стало холодно и горячо!)
звёзд ночных перезвон колокольный
по себе. По кому же ещё?

2

Ю.Г.

Затянув: тра-та-та, тра-та-та,
надоев и себе, и соседям,
на балконе «Москва — Воркута»
мы однажды возьмём и уедем.
Мы уедем однажды с тобой,
мы покатаемся, будто с откоса;
нас вагон голубой-голубой
унесёт, как надежда матроса.
По волнам нашей памяти, по
бесконечному морю печали,
оставляя родное депо
и стареющих жён за плечами.
Мы накатим ещё по одной,
и ещё, и ещё, как бывало,
и пройдем по стране стороной
лёгкой рябью девятого вала.
А потом запоём: тра-та-та,
тра-та-та запоём напоследок,
как поёт в пустоте немота
соловьями обрубленных веток.
И откроется нам, как сезам,
как вороны полночные в кроне,
за окном воркутинский вокзал
и безмолвие жён на перроне.

* * *

Покойник, подросток, младенец,
зачатие — плод и вода.
Я выходец и возвращенец
из будущего в никуда.
И это — единственный выход,
и это — единственный вход,
не знающий горя и выгод,
а знающий лишь небосвод.
За ним — никого, наконец-то,
за ним — тишина и покой, —
он передвижения средство,
которое вечно: «на кой?»
Опала прибрежная липа,
опали и тополь, и вяз.
Я в прошлой — без крика и всхлипа —
любви, наконец-то, увяз.
Ты скажешь: — Такая эпоха!
Живу и не бедствую я,
как тысячелетняя кроха
в прозрачной тиши янтаря.

* * *

Пролетающий клин аистиный —
пуповину, как ножиком — вжик.
Мы чужие в своих палестинах
и свои в палестинах чужих.
Мы в пролёте с тобой? Нет, — в полёте!
Мы, обнявшись, летим над страной,
как жена растворённая в Лоте,
забывая про столп соляной.
Мы летим на все стороны света:
Третий Храм — навсегда — Третий Рим.
И любовь, и разлуку за это —
ненавидим и благодарим.

* * *

В. Д.

Человеку нового не надо,
человеку старое подай:
тишину предутреннего сада
и безмолвье перелётных стай.
Новой песни старая дорожке
и неповторимей, и родней.
Он не может без сердечной дрожи,
вспоминая, говорить о ней.
Человек с гитарой — так и этак, —
душу наизнанку, сердце в кровь.
Вороньём непониманье с веток
брызнуло и прилетело вновь.
Никуда от этого не деться, —
как ни бейся, что ни говори.
Человек с гитарой — это детство
с механизмом памяти внутри.
Ночь черней плаща Георга Отса.
Нужно жить, надеясь и любя,
и тогда поэзия вернётся
и утешит музыка тебя.
И по возвращению, как прежде,
запоёт осенний воробей
песню о любви и о надежде
на бескрайней Сретенке твоей.

Андрей Ладога

Графоманская проза жизни

Три сюжета

Таврия, Mr. Colt и капитан Атаманенко

Тимур Нурпеисов, его мастер по укладке напольной и «любой-прочей плитки», сантехник и столяр, в финальный день ремонта выставил его за дверь — буквально.

— Поезжай к маме, а лучше к своей девушке, надо дать цементу схватиться. Будешь завтра ходить по полу и своими, и гостевыми ногами, на твой выбор.

Тимур, заканчивая полы коридора, положил последние плитки у порога, и Капитаров, с какой-то обречённой тоской думая о том, что в сорок лет у него нет девушки, запер дверь, затем вспомнил Софию Андреевну. Капитаров чувствовал, за последний год в учительской настоялось мнение: он должен жениться на Софии. В своём имени «красным учительским карандашом» она подчёркивала именно «и», игнорируя мягкий знак. «Мягкий знак — это русское, а я хочу быть частью великой Европы, к тому же я не хочу быть похожа на Софью Андреевну Берс», — как-то раз после третьей рюмки водки объяснилась София Андреевна, дело было в учительской, ближе к вечеру, отмечали чей-то не запомненный Капитаровым день рождения.

София Андреевна носила в ушах тонкие, африканской крупности серёжки-кольца, которые при любом положении головы имели строгое вертикальное положение; предпочитая усиленное двойное отрицание, она не красила не улыбающиеся губы, имела укреплённую хной мальчишескую стрижку и носила костюмы одного стиля: юбка ниже колен, тесный жакет, облегающий талию и целеустремлённую грудь, и что-то всегда светлое под жакетом. Похоронные очки были параллельны трафаретным бровям.

София Андреевна была разведённым директором их школы, той «девушкой», которая «баба ягодка опять». Несмотря на крупность фигуры, широкий шаг во весь подольный мах и уставной майорский голос, состоявший из прописей, София Андреевна пробиралась сквозь жизнь кособогрой козьей тропинкой судьбы. «И в самом деле, — думал Капитаров о Софии и о себе, — дороги лёгкой ровности — это для удачников, не для нас».

Андрей Ладога — сценарист, режиссёр. Окончил архитектурно-художественную академию. Автор четырёх книг прозы. По трём из них был снят сериал «Оплачено смертью» (канал «Россия»). Публиковался в журналах «Волга», «Человек читающий» (Homo Legens) и «Новый Континент» (Чикаго, США). Член Союза журналистов России. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2017, № 2.

Говорили, что будто бы муж бросил её и ушёл к молодой женщине, что сын её якобы отбывал срок в ИТЛ на станции Иковка, что её дочь, ненавидя мать, кажется, ещё несовершеннолетней, стала жить с каким-то взрослым мужчиной. Для директора средней школы такие подробности личной жизни были перебором, поэтому все в школе делали вид, что всё не совсем так, что у Софии Андреевны просто трудная жизнь. А у кого она лёгкая?

Разговоры про них начались, когда «молодой учитель рисования» Иван Капитаров, мечтая о мизерной, но стабильной зарплате, только появился в школе, то есть три года назад. Он — одинокий, она — разведена, так в чём же дело? Затем среди полуинтеллигенции школы прошел слух о том, что якобы Капитаров уже написал портрет директрисы в жанре ню. Перепроверенные сплетни основывались на вроде бы подслушанном диалоге: «Я хочу написать ваш портрет!» — «Только если я буду позировать обнажённой». Эротическая детализовка реплик была как будто бы ироничной, но все понимали серьёзность основы. «Интриги, — думал Капитаров, — да и куда же без них? Без интриг нет жизни, так, одни сорные мелкие бриллианты».

София Андреевна при разговоре с ним чуть наклоняла голову, и линзы её очков закрывались непроницаемыми бликами. Казалось, Капитаров и не знал, какого цвета её глаза, зеленовато-голубые или голубовато-зелёные? «Хотите, я напишу ваш портрет?» — он начнет издалека. «Неужели во мне есть что-то такое?..» — «Есть, безусловно!»

Забавно было то, что он действительно хотел написать Софию Андреевну и именно что раздетой, но в беззащитных очках без бликов и в больших круглых серьгах. Капитаров тщательно обдумывал это действие: фон, музыкальное сопровождение, позы для набросков, темы их разговоров во время сеансов, что было важнее всего в процессе. Обнажённая женщина может говорить с одетым мужчиной только в определённой тональности и на определённые темы. Он хотел писать её в школе, по выходным дням, в этом была особая пикантность: голая директор в одном из классов своей школы.

«Отчего я так дробно разлагаю и додумываю то, на что никогда не решусь? Отчего я что-то придумываю, вместо того чтобы жить по-настоящему? Или мои мысли — это и есть реальная, настоящая жизнь? Что же тогда бытовая каждодневная текучесть?»

Представляя, он режиссировал и их совместное житиё, но все эти представления сводились к вспышкам фестивальных мгновений объятий, поцелуев, прикосновений и проникновений. Особенно удачными «стоп-кадрами» виртуальных сцен он жил неделями, думая о том, что всему этому придётся обучать Софию Андреевну. «Обучаем ли захолустный директор? Нужно ли ей это? А мне?» Лишь однажды Капитаров вообразил себе их уставной совместный быт: пробуждение, завтрак, поход в школу, занятия, возвращение домой, ужин, сон, — он ужаснулся, праздник Капитарова неминуемо столкнётся с майорской сущностью Софии Андреевны.

Спустя ещё время Капитаров, ловя на себе укоризненные взгляды, осознал, он уже обязан жениться на Софии Андреевне, потому что этого молча, но выразительно ожидало «всё общество», весь педагогический коллектив школы.

Отгоняя неприятные мысли, он поморщился.

Тимур и Капитаров спустились вниз, Нурпеисов погрузился в свой «всё видевший» Ford и уехал, а Капитаров вызвал такси. «Поеду в гостиницу “Москва”, — решил он, — шикану, проведу ночь там». В конце концов, деньги за ночь в гостинице на фоне общей стоимости ремонта, на который он копил пять лет, выглядели ничтожными. К тому же Капитаров вспомнил, как мать многожды рассказывала ему о том, что первый раз

в жизни он пошёл «в годик», и пошёл он именно в «Москве», когда в 1975 году их семья вернулась в Курган из Урая. В такси Капитаров думал о затухающих кругах смыслов, что расходились от слов, например, он думал о нелепости своей фамилии, ни Капитанов, ни Капиталов, а именно что среднее и бессмысленное: Капитаров; ещё он думал о том, что замысловатое слово «Урай» состоит из наложений «ура» и «рай». Потом комом подкатило невозвратное воспоминание — детство — всё, целиком: тёплое море, молодые родители, летний отпуск, Таврия и всё это — СССР. Когда Капитарову было особенно плохо, он на секунду закрывал глаза и повторял про себя навечное полынное: «Таврия».

— ...Да, только на одну ночь, — ещё раз терпеливо подтвердил он.

Капитаров оформлялся у стойки, когда за окнами пошёл дождь, навевая английские детективные мысли и добавляя домашнюю уютность тяжёлой медлительной блондинке со всепонимающим — в окрестностях её жизни — унылым взглядом серых глаз. Манекенно двигаясь, блондинка протянула ему ключ от номера, надев его кольцом на безымянный палец правой руки. В этом отработанном жесте было что-то «оговорочное зигмундфрейдовское». Деликатно касаясь, Капитаров принял ключ и спросил про ресторан.

— Ещё успеете, — завистливо вздохнула мягкой обширной грудью блондинка, — если поторопитесь. — Затем, отметив середину паузы точкой, добавила: — И помните. Номер на одного.

— Я не забыл, — он опять подумал о том, что никакой девушки у него нет, не считая Софии Андреевны. На груди блондинки горизонтально лежал пластиковый прямоугольник с надписью будто бы готическим шрифтом: «Сталианна». Прочитав и даже осознав, Капитаров всё же не смог выговорить это имя. Стальная Анна?

— Приятного аппетита, — скривившись, улыбнулась Сталианна своей самой приятной улыбкой.

Капитаров занёс в свой номер жалкий сиротский пакет с мятой, но чистой пижамой, девственной зубной щёткой и томиком Миши Лермонтова и спустился вниз.

В ресторане придорожно пахло пережаренной рыбой, пельменями из столовой и накрахмаленными бессчётное количество раз сыроватыми скатертями.

— Чем будем баловаться, — юная официантка, подавая меню, решила быть остроумной.

— Седлом серны, — мрачно сказал Капитаров.

Не зная, как реагировать на слова Капитарова, официантка на всякий случай поджала губы:

— У нас приличное заведение.

Тут же выяснилось, что в обширном меню были только две действующие позиции: жареная скумбрия и пельмени. Капитаров выбрал пельмени со сметаной и томатный сок.

— Есть ещё пирожные и кофе, — спасая образ «приличного заведения», обречённо присовокупила официантка.

— Нет, сок.

Ожидая заказ, он рассеянно осмотрелся вокруг и вдруг споткнулся взглядом об этот предмет. Не поверив себе, Капитаров с осторожным вниманием оглянулся по сторонам, убеждаясь в том, что с этого угла обзора предмет мог видеть только он. Да, собственно, в ресторации было считанное число посетителей. В углу сидел какой-то мужчина с нечитаемым, неразборчивым «докторским» взглядом бегающих глаз. Вероятно, из чувства протеста, мужчина одновременно осваивал жареную рыбу и пельмени с уксусом. Пожилая семейная пара — пельмени, сметана. Мама с дочерью — кофе, пирожные.

Никто его не видел, а между тем он вызывающе торчал из игривой, явно ему не подходящей тесной сумочки. Сумочка висела на спинке стула. На соседнем стуле, широко раздвинув стройные ноги в белых тонких брюках, сидела сосредоточенная девушка лет двадцати пяти. На девушке была белая блузка, сквозь которую флюорографично просвечивал бюстгальтер. Вероятно, слушая музыку — из её розового девичьего уха широким плавным жестом висел белый шнур наушника, — девушка в лёгкий такт постукивала алыми туфлями на высоких каблуках. Чёрные волосы её были схвачены в тугий хвост. Несмотря на ограниченные опции меню, энергично двигая розовыми ушами, девушка даже не ела, а поедала солянку. Время от времени девушка откидывалась на спинку стула и, как будто бы перед чем-то решительным, вскидывая попеременно лианные руки, упруго проверяла на прочность свой хвост.

Капитаров не мог ошибиться, одной из любимых его книг была «Десять лучших пистолетов мира». Мечтая о чём-то несбыточном, он обожал рассматривать чудеса инженерной мысли, произведения, поражающие на смерть проработанностью деталей, — машинки для убийства.

Из элегантной сумочки девушки торчала рубчатая рукоятка. Судя по рукояти, это был армейский Colt. Colt тускло отсвечивал, и Капитаров понял, пистолет настоящий, всё настоящее в жизни имеет тусклый отблеск. Настоящность никогда не бросается в глаза.

«Дура, — думал Капитаров, — засунь его глубже, ведь могут увидеть!» Затем Капитаров зачем-то вспомнил где-то читанное, нелепое: «Осознав себя, мальчики всю жизнь безотчётно боятся кастрации, а девочки, осознав себя, понимают, что они уже кастрированы». Потом подумал: «Многие женщины в штанах сидят рудиментарно похабно, будто бы по-мужски, широко расставляя ноги».

Пистолет никак не вязался с легкомысленным, утончённо прозрачным нарядом девушки.

«Где камуфляж, шлем, — думал Капитаров, — бронежилет, наколенники? Кто она? Что она здесь?»

Капитарову принесли пельмени. Девушка встала, взяла сумочку, вынула из неё кошелек. Только после этого, поняв свой пистолетный промах, закусив губу, она глубже сунула Colt в сумочку. Девушка положила под блюдце деньги и, ни на кого не глядя, неторопливо вышла вон. Не чувствуя вкуса пельменей, Капитаров проводил её взглядом, как на фронт, до последнего. Как крышка жуткого, «дикозападного» вертикального гроба, бесшумно закрылась дверь. В ресторане потемнело, дождь за окном пошёл уже с неприятным хлестким звуковым сопровождением.

«Что она? Кто она здесь?» Ему стало не по себе. Станный едок рыбы и пельменей улыбнулся про себя продолжительно растянутой улыбкой. Капитаров отчего-то твёрдо понял, — этот человек обречен.

После ужина Капитаров, вспоминая девушку с пистолетом, зарифмовав ливень тёплым душем, лёг в постель и взял томик Лермонтова. Но в неравной схватке девушка легко переборолла поэта, и Капитаров думал только о ней. «Кто она? Что она здесь? Зачем это мне?»

Штормовой шум где-то по соседству начался незаметно. Неразборчивые голоса, стук, что-то деликатно звякнуло, кто-то охнул, затем Капитарову показалось, что на пол падают большие куски мяса. Кто-то вопросительно промяукал: «Мать мою?!» Кто-то сдавленно ответил: «Чёрт драл!» — и вдруг раздался короткий, душераздирающий крик. Всё это, кажется, происходило на соседней стороне обширного коридора.

Из-под закрытой двери Капитарова пробивался пыльный равнодушный свет, создавая ощущение доступности и незащищённости. Капитаров встал с постели,

натянул джинсы, майку и, преисполненный «голливудским» кинемужеством, вышел из номера. Он думал о том, что девушка с пистолетом как-то связана с этими неуместными для гостиницы звуками. Где-то над сознанием витало неразборчивое: «Знаете, у меня однокомнатная... спасу в крайнем случае... но уютная квартира... её... после ремонта». Ещё он думал о том, что редко, но он всё же решается на поступок, например, сделал ремонт в квартире или вот сейчас вышел в коридор...

В коридоре было фальшиво светло, обманчиво тихо и подозрительно безлюдно. Капитаров двинулся на шум упавшего и, судя по звонкости, расколовшегося стула. Он успел проклясть себя, когда всё произошло. Дверь номера по соседству, зловеще причмокнув замком, стала открываться, и одновременно, торопливо оглядываясь, сжимая в правой руке пистолет, спиной к нему вплотную пододвинулась девушка с наушниками в ушах. Напрягая его интимное своим вёртким упругим задом, девушка плотно прижала Капитарова к стене. Вспоминая стан княжны Мери — «Я не знаю талии, более сладострастной и гибкой!», — он машинально обнял девушку. Перед его глазами возник её кулачок с алебастровыми костяшками пальцев и тяжёлый Colt. Левой рукой девушка загородила Капитарову дорогу, он понял, она закрыла его собой, стала небольшим, но щитом.

— Не двигаться. Не шевелиться. Не дышать, — троекратно отточила она не оборачиваясь.

Замерев, он увидел на её шее бисерную цепочку пота. Мизансцена, рассчитанная на два с половиной мгновения, медленно растягиваясь, делалась неестественно болезненной, как неживая улыбка того, захорошевшего при жизни мужчины из ресторана. Капитаров с острым наслаждением ощутил ладонями горячие бока девушки, он не знал, как тактичнее убрать руки.

— Заприте, — она читала его мысли, — всё потом.

Дверь номера наконец открылась. Синхронно с этим движением девушка вытянула руку с пистолетом в сторону темноты за дверью и неколебимо замерла. Касаясь подбородком хвоста девушки, спасаясь от паники, Капитаров отвлечённо думал: «Только бы до завтра высох пол и по нему можно было бы ходить и моими, и ногами гостей».

— Капитан, мы выходим, — Капитаров услышал уменьшенный до комариного писка голос в её наушниках.

— Осторожно, здесь приبلудный штатский, — хмуро сказала девушка.

В коридоре возникли головы, руки, плечи и прочие части тел компании серьёзных мужчин. Здесь с избытком было всё то, чего не доставало девушке: маски-балаклавы, кирзовый камуфляж, шлемы, бронежилеты, наколенники и налокотники, перчатки с обрезанными пальцами, амбразурные щиты и короткоствольные автоматы. Непроскочимым тесным кольцом мышиного цвета мужчины грузно грозно потопали по коридору. В центре кольца был тот самый ресторанный гурман, поедатель рыбы с одновременными пельменями. Его руки с бессмысленно шевелящимися пальцами были закованы в победно сияющие наручники. В бегающем взгляде сощуренных глаз мужчины ясно читалось: «Ишь ты! Ну что же это?! Как же?! Ведь это я. Я. Я!»

«Когда кто-то умирает или кого-то ведут в тюрьму, никто никому не сочувствует, все радуются тому, что «это не я», — думал Капитаров. — Кто он? Бухгалтер крёстной матери Кургана? Хитроумный торговец железнодорожными составами с героином? Может быть, многосерийный убийца?»

Когда компания хмурых мужчин скрылась за коридорным поворотом и стала мелко сыпаться по лестнице вниз, девушка опустила пистолет. С замедленным

облегчением, как после тяжёлого развода, она отлипла от Капитарова и резко развернулась на каблуках. Капитаров и девушка посмотрели друг другу в глаза.

— Капитан Атаманенко, — строго представилась она и каким-то женственным движением, включающим в себя приподнятое левое плечико, поставила Colt на предохранитель. — От имени полиции приношу вам извинения за невольные неудобства.

Капитаров, стеснительно потирая ладони, стараясь запомнить ощущения горячности её бедер, путая слова в предложении, сказал нечто невнятное:

— Что вы! Всякий рад... раз, — он хотел добавить ещё что-то несуразное, вроде «А вы любите живую музыку?» или «А как вы относитесь к Эль Греко?», но не добавил.

Продолжая анатомически рассматривать Капитарова раздевающим полицейским взглядом зелёных глаз, она не глядя стала небрежно, без всякого уважения запихивать Colt в сумочку. Капитаров улыбнулся про себя, — на этот раз наружу неприлично торчал ствол пистолета.

— Вам нужна сумочка побольше, — у него загорелись щёки, он лихорадочно пытался придумать нечто такое, что бы потрясло прочный и ясным мир капитана Атаманенко. Но проклятое воображение работало не в ту сторону, он увидел её в кителе и без всего, потом в фуражке и без всего, затем в офицерском ремне и без всего, картины маслом и наброски акварелью были яркие, наглядные, без слов. Болван, говори первое, что придёт в голову!

— Верно, — она нахмурилась, — это сумочка сестры, так получилось.

В голове возникло дурацкое: «Есть сестра! В крайнем случае познакомлюсь с ней». Привычно отступая, Капитаров трусливо отошёл на рубежи её сестры.

«А у меня закончился ремонт. Представляете, у моего мастера отчество Алмазович! Он обрусевший казах из Северного Казахстана, Тимур Нурпеисов, потомок Чингисхана».

— Почему вас накормили солянкой? Ведь в меню было только два блюда...

— Специальный заказ для отряда специального назначения, — она повесила сумочку на плечо и как будто бы вопросительно кашлянула.

«Говори! Сейчас она уйдёт! Говори!»

— Еще раз простите! — девушка повернулась на носках. — Всего вам доброго!

— И вам!

Он проводил её взглядом, как в ресторане, но это уже был путь с победного фронта. Привычно додумал нечто усреднённое, как всегда — про бессмысленность жизни и бесполезность желаний.

Капитан Атаманенко ушла, оставляя после себя жар бёдер, ударной стали и духов, а Капитаров вернулся в свой номер и бросился лицом вниз на госпитальную, для страданий и боли, кровать, так ему показалось...

И тут же к нему пришли все те слова, что он должен был спокойным и уверенным тоном сказать капитану Атаманенко. Это были верные, убедительные и короткие предложения, полные сдержанного достоинства. Он мужественно говорил капитану о её красоте и грации, о её силе духа, о её решимости. Он говорил о том, что единственно только небеса и могли позаботиться об этой их встрече. Что у них необыкновенное и совместное будущее. Что он, Капитаров, приложит все свои талантливые силы для того, чтобы...

Последние слова Капитаров стал мысленно редактировать, доводя формулировку до почти совершенства. «Да и мама будет рада...»

Во сне он видел чувственного... чувственную капитана Атаманенко в её полицейской форме. И в этот раз под кителем ничего не было, кроме белого тела капитана.

«Возможно, — подумал во сне Капитаров, — и даже наверное, у неё на теле есть шрамы от боевых операций. Я буду холить и лелеять эти шрамы».

Потом снилось что-то невнятное, что-то связанное с его работой, с его уроками рисования в младших классах средней школы № 29. Какие-то вялые женские голоса твердили что-то одинаковое про то, что он уже разменял пятый десяток, а всего лишь преподаватель рисования. Что художником он так и не стал. Что обречён существовать в провинции. Что пять лет скаредно копил на ремонт.

— И даже не смог толком познакомиться, хотя шанс был настоящей тусклости! — София Андреевна прицелилась в него незажжённой сигаретой. Странно, она никогда не курила, или он просто не видел её курящей?

Капитаров сообразил, София Андреевна эгоистично хотела, чтобы её неизбежный муж был успешен даже при знакомстве с чужими женщинами. Затем к его двери подкатились булжники, и он услышал каменный кулачный бой в дверь.

— Освободите номер, восемь утра! — не иначе, это была Сталианна, бдительная Анна Сталина.

— Да, разумеется, — Капитаров, как под обстрелом, по-пластунски сполз с кровати. Не умываясь, он нервно оделся и, ощущая отвратительный привкус во рту, прихватив свои нищесбродские пожитки, с облегчением вышел вон. Проходя коридором, он вспомнил, как «всё это было вчера» тут, на этом месте. Здесь он положил свои ладони на горячие бёдра капитана Атаманенко. И даже почти познакомился с капитаном. И даже почти влюбился... И вполне возможно, что он впервые пошёл именно в этом месте, сорок лет назад. Капитаров отчего-то знал, Вселенная любит такие совпадения. «Для чего я об этом думаю? Ведь должен быть ответ. Для чего я встретил капитана Атаманенко? Все ответы где-то есть! Где? Отчего мы не знаем хотя бы часть ответов?»

Не думая дальше, отвлекаясь тупиком обыденности, выходя на крыльцо гостиницы, он достал сотовый телефон и вызвал такси. Из влажного асфальта в действительность отражались собаки, автомобили и ноги прохожих, которые напомнили Капитарову о законченности ремонта.

Дома, заранее ожидая фарфоровой хрупкости, он осторожно ступил на полы как на непроверенный лёд, но плитка была выложена идеально. Всё было сделано по-египетски, просто и надёжно, на тысячелетия. Капитаров умылся, с наслаждением почистил зубы и на радостях позвонил матери, затем Тимуру Алмазовичу. И мать, и Тимур обещали «тут же приехать».

Капитаров достал пакет драгоценного колумбийского кофе, который он отложил на окончание ремонта, и поставил воду на огонь.

Благородно отказавшись от кофе, Тимур Алмазович, с почти рыцарским стуком припав на правое здоровое колено и чутко, по-репетиторски прислушиваясь, озабоченно обстучал талисманым карандашом несколько плиток, затем показал Капитарову два больших пальца и сказал: «Гут!» Уходя, Нурпеисов озабоченно изобразил что-то вроде инвалидной чечётки «имени артриты левой ноги».

— Будет малая или большая нужда в ремонте, звони!

— Непременно!

«А что, — подумал Капитаров, закрывая дверь за Тимуром, — и позвоню! Позвоню в полицию и выясню, на дежурстве ли капитан Атаманенко? Да вот прямо сегодня, как мать провожу. А затем напишу о моём спасении в газету...»

Перезвонила мать:

— Я приеду завтра, сейчас не могу, напряжённая личная жизнь, чего, кстати, и тебе желаю, чтобы как с ремонтом, — решился и сделал!

— Я всегда тебе рад, — настроение упало, он терпеть не мог, когда мать начинала

говорить банальности, к тому же он понял, отсрочки в виде визита матери не будет, стало быть, звонить в полицию надо сейчас же, немедленно.

— Я очень этому рада! — мать дала отбой.

«...В газету “Зауралье”». Нечего стесняться, когда речь идёт о моей единственной и личной жизни! Заметку можно будет назвать оригинально: «Подвиг капитана Атаманенко» А подпись будет такая: «Спасенный преподаватель рисования Иван Капитаров». И капитану дадут медаль. Или орден. И повысят до майора.

О Софии Андреевне он тоже думал, вспоминая «её командирский майорский голос». А рядом — майор Атаманенко. Он увидел их нелепым треугольником как будто бы на какой-то старинной, толстого картона, фотографии из позапрошлого века: Капитаров сидит на стуле, а по бокам — два замерших «майора» навывтяжку. «Я и две женщины, которые никогда не будут иметь ко мне никакого отношения». Откуда возник образ старинной фотографии, он не знал.

В блаженном одиночестве, стоя у открытого окна, Капитаров отпил крепчайший горький кофе. Во дворе раздался истеричный, полный отчаяния и ревности детский голосок:

— А Максим влюбился в Светку! А Максим втрескался в Светку! А Максим...

Теперь весь дом был в курсе этого любовного треугольника: Максим, Светка и неизвестная девица NN.

«Как же всё сложно среди людей, — думал Капитаров, — всегда неравная любовь, всегда иссушающая ревность, всегда лёгкий туман в голове. Для чего всё так запутано?»

Всю жизнь Капитаров интуитивно хотел быть один, и судьба дарила ему это. «А зачем? Для чего я так напряжённо думаю о том, чего никогда не сделаю? Чтобы думать хоть о чём-то? Зачем я такой? Вероятно, несказанные слова и непережитые отношения спасают меня от чего-то неприятного. Возможно, идут в какую-то копилку будущей моей или чьей-то чужой жизни».

— А Максим влюбился в Светку!

Он знал, он никогда не напишет голую Софию Андреевну, он никогда не позвонит в полицию и никогда не сочинит заметку в газету, и кофе делу не поможет, но с переживаниями прошедшей ночи надо было что-то делать, что-то изменилось этой ночью, возможно, было отменено его обязательное одиночество. И вдруг, с холодом на лбу он осознал, ему придётся сделать предложение Софии Андреевне. Мысль была как пощечина, оскорбительная своей мимоходной небрежностью, Капитаров даже поперхнулся кофе.

Лобовая испарина была вызвана не тем, что он без исхода женится на своём директоре, а тем, что он знал наверное — эта смерть была неизбежна. Но тут же возник спасительный план: он сделает предложение Атаманенко. Ему откажут, но тогда он познакомится с сестрой капитана. И она согласится. Только так можно будет избежать союза с Софией Андреевной.

«Интересно, — спросил он сам себя с истеричным облегчением, — согласился бы я туристом выйти в открытый космос?» И сам себе ответил: «Да!» И затем мысленно добавил, закрыв глаза: «Таврия».

Сувенир от Муссолини

После раскалённой августом Москвы Париж показался провинциальным прохладным пригородом. Мы миновали отель «Четыре сезона» и я, почувствовав разницу, вспомнил небольшой нефтеносный город на Русском Севере и гостиницу «Четыре зимы».

— В Париже слишком много французов, — прицельно сощурившись, режиссёр Немых смотрел в затылок нашего водителя-араба. — И совсем нет русских, странно это, странно.

Когда Немых переходил на свой английский, он становился таинственным, таксист ничего не понял.

— В Токио пил водку с режиссером Кшиштофом Занусси, — неожиданно сообщил Немых. — Вот дал же бог имя-фамилию: мало того что «шиш», ещё и «с-си»! И что возмутительнее всего, в Японии мало русских, ты заметил?

— Занусси не русский, — сказал я, — и нет, не заметил.

— Ты болван, все твои беды от твоей близорукости. Я вот внезапно, но зорко подметил, что рыбу японцы едят не по-русски, сырую, но с другой стороны, русские тоже едят сырую рыбу, чукчи, например. Или чукчи — это ненцы?

— Немцы-манси! Весь русский Север ест мороженую сырую рыбу.

— В Мехико мало русских, в Берлине вообще одни турки и ненцы... чёрт! Немцы! И мало того, они ещё и по-русски плохо говорят...

— Не говорящие по-русски немцы в Берлине — это как-то даже странно, тут ты прав.

— Я всегда прав! В Израиле встретил одного русского, и тот оказался Изей Кацманом.

— Ещё одна необъяснимая странность — еврей в Израиле, — согласился я.

— Вот именно! На Кубе было хорошо, там, по крайней мере, курят наши русские самокрутки, сигары по-гавански...

— Ну да, сигары — это же изобретение русских партизан. Чем тебе Москва-то родная не угодила?

— Тесновата! Всюду тесно русскому, широк русский человек, и вроде ничего лишнего в нём нет, чтобы обрезать!

— Лети на Марс и делай там коммунистическую революцию. Заодно встретишь свою Аэлилу! — предложил я и вспомнил, Немых был женат по шестому кругу. — Седьмую...

— Кажется, эти события уже кто-то описал, помню что-то гнусное, из детства. Да и морока, долго. Слетаю лучше в Курган, там в просторных зауральских палестинах русских поищу...

Мы ехали в *Cafe des Deux Moulins*, где Настя уже заняла нам столик. Мы ехали на встречу с внучкой Бенито Муссолини, Алессандрой. Внучка должна была участвовать в нашем документальном кино «Дуче, частные хроники». Полгода Немых готовил «этот геморрой» — встречу с прекрасной Алессандрой. По этому поводу Настя мучила меня:

— А я размер её груди узнаю, ты спросишь?

Прошлый вечер Настя, возмущённо вздыхая, провела в интернете, читая материалы про «Сашу Муссолини».

— А она ещё и в белье фотографировалась. Ты спросишь у неё про бельё?..

А она ещё симпатичная... Ты будешь с ней флиртовать?.. А ты бы мог с ней... А? А?! Я не слышу!

— Ты не слышишь, потому что я тебе ничего не сказал...

— ...Тпру, извозчик! — Немых вдруг хлопнул вздрогнувшего водителя по плечу.

Такси встало как вкопанное. Немых размашисто распахнул дверцу и неспешно потрусил к цветочному магазину. Водитель-араб, испуганно оглянувшись на меня, сказал что-то гортанное.

— Всё же бест, — успокоил я араба по-русски.

Думая о своём, я услышал обрывок разговора двух девушек в кафе по соседству:

— ...Все мужчины делятся на три категории. Мужчины из первой категории могут всё, таких в природе почти нет. Вторая категория не может ничего, их большинство, но есть третья категория — мой муж!

Я мгновенно прикинул: а я из какой?

— Брось его!

— Непременно, но сначала изменю!

Вот так и вершатся наши судьбы. Ангелами-Инквизиторами нашими вершатся...

Немых небрежно пристроил на заднем сиденье огромный букет роз.

— Всё потратил, — хмуро сообщил Немых. — Как вернёмся в Москву, дам объявление: «Телевизионная студия ищет умного творческого богатого финансового директора. Однако подойдёт и просто умный и богатый финансовый директор. Сгодится и богатый финансовый директор. Словом, очень нужны деньги». Как тебе?

— Богатая идея!

Такси притормозило у нашего кафе. Настя, улыбаясь, помахала рукой.

— Счастье — это не когда ты пьёшь водку, — сообщил Немых, с кряхтением вылезая из машины, — а когда ты её только хочешь! Букет не забудь!

— Тебе виднее, — сказал я, обнимая розы, представляя, как эти же розы скоро будет прижимать к своей прекрасной груди прекрасная Алессандра.

Немых скептически оглядел сервировку нашего столика...

— Водки нет, — подтвердила Настя.

— В Риме как-то раз пили водку с Федерико Феллини, — задумчиво вспомнил Немых.

— Феллини был, кроме прочего, и прекрасным графиком, — укладывая розы на соседний стул, я пытался сменить тему.

— Всё по Венедикту Ерофееву, — кивнула Настя. — «Он многогранен, как стакан».

— Стакан! — причмокивая губами, Немых мечтательно сощурился...

Настя посмотрела на часы. Я залюбовался Настей. Немых уставился на дверь.

— Опаздывает Саша, — сказал я, — ей можно, она внучка.

— Геморрой с этими бабами, — возмутился Немых, — они ничего не понимают.

— Перестань, — сказала Настя, — женщины лучше людей понимают что к чему!

И тут в дверях кафе появился этот толстый лысый, но хорошо одетый человек, по виду — гламурный бандит. Он явно кого-то высматривал, и он мне явно кого-то напоминал. Человек увидел нас, зверски улыбнувшись, оскалился и угрожающе помахал мне рукой. Я узнал его и понял, что узнан сам. Фотография на сайте, Марио — помощник Алессандры. Задевая столики, бандит двинулся к нам.

— Вы Андрей?

— Ба! Марио!

Он поклонился, шаркнул ножкой, с шумом пододвинул к нашему столику стул и, едва не промахнувшись, уселся, широко расставив ноги.

— Я с извинениями! — начал, заканчивая, Марио. — At the last moment!

Словом, не смогла она, внучка дедушки, птичка моя итальянская, прилететь. А у нас смета. Аванс. Просроченные уже давно сроки. Меня окатила финансово-правовая волна.

Вероятно, прикидывал я, придётся выплачивать неустойку и возвращать аванс. Изувеченные русские вопросы: кто будет виноватым? И что после этого делать?

— Перестань ругаться! — Настя дёрнула меня за руку.

— Русские немного очень чуть и чуть сильно похожи на итальянцев, — Марио заулыбался всем комплектом фарфоровых зубов. — Коррупция, эмоции руками, мафия! Однажды играл в казино с русским! — предостерегая, Марио поднял почему-то большой палец. — Никогда не играйте с русским. В особенности с пьяным русским. В особенности с пьяным русским князем. Пьяный русский князь обыгрывает чёрта!

— Мать его так!

— Отец, прекрати мотом разговаривать, — шёпотом закричала на меня Настя. Затем Настя повернулась к Марио. — Извините Андрея! Детство многих мужчин заканчивается к сорока годам. И начинается отрочество. Некоторые так и не доживают до юности!

— Да я сам таков, — подтвердил Марио, — таким. Таких. Такой... — он знал английский хуже Немых.

И вдруг Марио, подхватившись, осторожно и бережно передал мне небольшой пакет. Откуда-то из области своего сердца вынул и передал.

— От Алессандры. Сувенир! Она всё понимает, но, как писал Лев Николай. Вич. Толстов. Толстый. Толстой... Обстоятельства... выше... длиннее... сильнее нас.

Я развернул свёрток, в нём оказался футляр с потёртыми очками от солнца.

— Она мне сказала, — грустно сообщил Марио, — что вам будет приятно это иметь.

— Очки от старьёвщика?! — я начал свирепеть.

Марио кивнул с виноватой и, одновременно, наглой улыбкой:

— Федерико Феллини, «Восемь с половиной», режиссёр Гвидо!

— И что?

— Вы любите эту картину?

— Не то слово! Мировое кино, моё любимое, а какое это имеет отношение...

— Это очки, в которых снимался Марчелло, он играл роль режиссёра Гвидо. Прошу простить! Там, у Феллини. Я снова опаздываю!

Марио вдруг проворно вскочил, поклонился и, задев столики, протанцевал к выходу.

— Э, Марик, а водки-то выпить?! — успел крикнуть Немых в немую спину Марио. Но Марио, не повернувшись, сделал ручкой сложный «итальянский» жест. Более всего жест означал тщету всех усилий.

Я стал бездумно рассматривать очки. На одной из дужек с внутренней стороны было написано: Made in Ital... Буква «у» в Italy была почти стёрта. На другой дужке значилось: Design Studio Rome. А рядом крохотная корона-лилия, и тоже полустёртая, со щербинкой на левом лепестке лилии-короны. Я надел очки. Мне показалось, я услышал музыку Нино Роты. Затемняя и смягчая мир, очки примирили меня с действительностью.

— Странно, — сказала Настя, — но тебе идёт...

...В самолёте Немых, ёрзая в своём кресле, медленно наливался водкой.

— Смирненная рубашка, — всхрипывая, бормотал в полусне Немых, — слёзы свечей... Надо было писать стихи, а не поражать мир своей выдающейся режиссурой!

Утопая в розах Алессандры Муссолини, Настя открыла глаза. Сердце скатилось в желудок: мы стали снижаться. Уставившись в иллюминатор, Немых сообщил:

— Москва — великая собирательница с земель русских.

— Немых, а где мои очки Марчелло Мастроянни?

— А я знаю?!

Потянувшись, Настя сонно прошептала мне на ухо:

— Так и будешь писать в графе семейное положение: «Общегражданский муж»?

— Кто знает? Пути жён неисповедимы.

Проснувшись окончательно, мы стали судорожно искать очки. Привстав со своего места, Немых сказал с облегчением:

— Ба! А я-то весь полёт думал, что на подлёте к родине обострился мой геморрой!

В кресле Немых лежали раздавленные останки очков Мастроянни. Я онемел.

— Вот так, — напряжённо продолжил Немых, — именно так, под тяжестью русского искусства рушатся хрупкие мифы итальянского неореализма!

— Андрюша, — с тихой яростью сказала Настя, — я сама убью Немых! Сама!

Cafe des Deux Moulins, Paris — Шереметьево, Москва. 8 1/2 августа 2005 г.

На дальних поездах...

Чудесной Анджеле с пожеланием «счастливой остановки в пути»

В 1983 году Олег Вагнер окончил сразу две школы: художественную и общеобразовательную. В этом же году семья Вагнеров с большой доплатой поменяла небольшую однокомнатную квартиру в Кургане на двухкомнатную в Алма-Ате. И теперь у Олега была отдельная комната, где он мог спокойно рисовать. Два раза он поступал в Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт, но провалился — не сдал рисунок, на второй год не справился с живописью.

— Жаль, что у тебя плоскостопие, — сказал отец. — Армия помогла бы тебе. Ну что же, поезжай в Россию, пытай счастье там.

Семья с немецкими корнями поступила по-русски: уехала из Зауралья в Казахстан, чтобы через два года отправить сына на Урал. И Олег поехал «пытать счастье» в Свердловск, в Архитектурный институт. В течение двух лет случился дубль неудач: и опять рисунок, и снова живопись. Они поговорили с отцом ещё раз. Вернее, папа говорил, а Олег слушал.

— Ты четыре года не можешь поступить в институт. Хватит витать в облаках, встань на землю, тебе уже двадцать один, а ты идиот идиотом. В руках должно быть ремесло. Поступай в какой-нибудь техникум, портновский или строительный. Хоть в кулинарный. Нам с матерью всё равно, главное, чтобы у тебя было дело, которое бы прокормило и тебя, и нас в недалёком нашем пенсионном будущем. Творчеством надо заниматься вне жизни, там счастье выпадает один раз на миллион.

Олег так и сделал, поступил в Алма-Атинское кулинарное училище. После окончания курсов отец подключил все свои связи, поговорил с «братьями-казахами», дал кому-то денег, и Вагнера, пока временно, устроили поваром в вагон-ресторан поезда Алма-Ата — Свердловск. Именно это место отец счёл «престижным и перспективным».

Так Олег Вагнер и стал «железным дорожником». Он щепетильно выбирал

продукты перед поездкой. С удовольствием готовил, строго соблюдая ГОСТ. Ни с кем не ссорился. Не встречал в конфликты. Не обижая, ответственно расставался с «поездными» своими возлюбленными девушками. Вовремя и успешно проходил все аттестации и курсы повышения квалификации. Словом, усердно преодолевал трудности жизни на колёсах, которая нравилась ему всё больше и больше.

Старания Вагнера оценили, и через два года он стал директором вагона-ресторана. У него появилось собственное купе, узкое пенальное пространство.

«Временное», как это бывает, неприметно превратилось в «постоянное». Сменялись вагонные бригады, начальники поезда, официантки, повара. Уходили и приходили русские, немцы, казахи, украинцы; неизменным «на дороге» был он — Олег Вагнер.

Провожая взглядом убегающие в ночи огоньки забытых Богом, но не брошенных людьми полустанков, Вагнер безуспешно старался представить себе эту фантомную жизнь. По каким сусекам и с какими фонарями обитатели призрачных степных полустанков искали события для своей жизни? Что заставляло их цепляться за своё безвременье? «Какое счастье, — думал Вагнер, — что я еду мимо, что я — в движении, а не в мертвенной бесконечности степи».

В поезде соблюдался особый режим, рассчитанный по часам. Это были «временные» отношения, «временные» неудобства, «временные» проблемы, словом, — «временная» жизнь, репетиция, подготовка к жизни «постоянной». И была обманчивая, но прочная иллюзия: вернёмся из поездки — и всё будет по-настоящему, закончим этот рейс — и всё поменяется в лучшую сторону. И если не сейчас, то потом — непременно.

Неизъяснимо радовали внезапные ночные остановки в пути. Вагнер просыпался всякий раз, когда состав начинал тормозить. Это были вечные минуты ясного спокойствия. Вокруг была темнота и тишина, не было мыслей и желаний, он просто лежал на своей полке, ощущая «почти счастье». Юность, молодые родители, СССР — навсегда, навечно. Затем слышался далёкий гудок локомотива, состав незаметно трогался с места, плавно набирал ход, и Вагнер благодатно засыпал...

Постепенно два города, став почти родными, слились в его сознании: хмурый, холодный в любое время года, грубый мужской Свердловск и солнечная тёплая архаично-женственная Алма-Ата. Иногда, просыпаясь в поезде, он не сразу мог сообразить: откуда и куда он путешествует, — жизнь замкнулась вечным и прочным железным кольцом дороги.

Вагнер много гулял по Свердловску, со временем заучив город наизусть. Посещал спектакли, бывал на выставках и в кино. В Свердловске он любил, выбрав в книжном какой-нибудь новый сборник рассказов, сесть за столик в кафе. Рассеянно листая только что купленную книгу, он пил кофе, украдкой рассматривая собак, детей и женщин, думая о том, что красивых лиц очень мало. Свердловск мог бы стать «его городом», и отчасти это так и произошло. Но только отчасти... Алма-Ата тоже не стала «своим городом», — слишком подолгу он был в отъезде. В Свердловске он тосковал по Алма-Ате, в Алма-Ате — по Свердловску.

В поездке, теряясь между городами, он понимал — его «родиной» стала железная дорога, эта полка и этот столик в его индивидуально узком купе, эта ночь за окном и убегающие «огоньки забытых Богом, но не брошенных людьми полустанков». Он знал на память все станции своего маршрута, время прибытия и отбытия поезда. По стуку колёс мог с точностью до километра определить скорость состава. По запахам кухни он мог точно сказать, какое именно блюдо готовится, сколько минут осталось до подачи его клиенту.

На поездку туда и обратно уходило пять дней, включая время на переформирование состава, иногда — неделя. Затем был небольшой отпуск, потом всё повторялось.

Отдыхая дома, балуя родителей, Вагнер готовил что-то особенное, убирал квартиру, читал. В Алма-Ате он любил прошагать вверх всю свою улицу Шагабудинова, затем пересечь проспект Абая, пройти мимо галереи имени Абылхана Кастеева и выйти к фирменному магазину «Океан». За берегом «Океана» начиналась прихотливая степь, пролегла черта города, затем поднимались горы, над вершинами была чистая и прозрачная синева неба. Жизнь шла разогнавшимся железнодорожным составом, ровно и предсказуемо.

Отец вышел на пенсию и на следующий день пожаловался на ноги: «Стали плохо ходить». С этого момента последующие десять лет Олег каждый день узнавал об артериальном давлении отца, о том, удачно ли он «посетил сегодня сортир», как он поел, как он поспал, как он вышел погулять. Сначала отец, хромая, ходил с тростью, затем взял в руки костыли, потом пересел в кресло-каталку. В последний год отец перестал узнавать жену и сына, они по очереди кормили его с ложки, меняли памперсы и мыли в ванной. Особенно тяжело было в ванной — обезноженный отец весил под сто килограммов. Теперь Вагнер отдыхал только на работе, в поезде, но и здесь отец болезненно догонял Вагнера звонками матери, которая каждый день докладывала Олегу о состоянии здоровья папы.

Наконец, всё закончилось, отец умер. Но через несколько дней после похорон Олег осознал: без всякого антракта началось второе действие семейной драмы, и теперь мать стала жаловаться на здоровье. Они с ней несколько раз ездили в поликлинику на «сдачу анализов». Доктор вывел заиндеветшего от предчувствий Вагнера в коридор и низким подпольным голосом сообщил, что матери необходима операция, «однако в её возрасте...» Вагнер понял, ему предстоит пройти тот же предмогильный путь ещё раз, но уже одному, никто ему не поможет.

Мать отказалась от операции. Вагнер уезжал в поездки, «бросая» мать на одинокую тетю Пану, ещё молодую бойкую пенсионерку из соседней квартиры. Беспокоясь, звонил при первом удобном случае. Жизнь стала тягучей и нелепой, почти чужой. Так оно и было — Олег, десять лет доживавший жизнь отца, теперь доживал годы матери.

К тому времени Советский Союз, казавшийся вечным, перестал быть, треснув по границам «родных братских» республик. Алма-Ата стала Алматы, а Свердловск — Екатеринбург. Казахстан обрёл независимость. Они с матерью не думали, как и где им жить, — кроме старой двухкомнатной квартиры, небольшой пенсии матери и работы Олега у них ничего не было. Мать, опираясь на трость отца, уже с трудом передвигала ноги.

Он забросил книги, перестал гулять, всё свободное время проводил с матерью. Вспоминая прежнее, «советское», житьё, они смотрели старое кино и телевизионные спектакли «из позапрошлой жизни». Регулярно отвозили розы на могилу отца. Иногда Вагнер вывозил мать на отцовской каталке во двор «подышать летом». Или осенью...

Уезжая в рейс, он готовил матери еду на неделю, она ещё могла самостоятельно добраться до кухни. Они часто созванивались, и мать вроде бы не чувствовала себя одинокой, — уговаривая, он обманывал себя.

Незаметно Вагнеру исполнилось пятьдесят. В этот день он вспомнил, как много лет назад ему выдали трудовую книжку, казалось, что это было «в прошлую пятницу». И вот — пятьдесят, и почти половину этого срока он провёл в поезде, на маршруте Алма-Ата — Свердловск. Для него Алма-Ата так и осталась Алма-Атой, а Свердловск — Свердловском. Иногда в поездке он завидовал герою Венедикта Ерофеева,

который невозвратно уехал из Москвы в Петушки. Вагнер уже десятилетиями ездил, возвращаясь, по одному маршруту. И затем...

На службе его поздравили с юбилеем, вручили почётную грамоту и солидную премию. Но главный подарок приготовила для сына мать. Возвращаясь из очередного рейса, он, как всегда, позвонил на сотовый телефон — мать не ответила. Уже всё понимая, он перезвонил минут через десять. Оглушённый, слушал гудки в трубке... Не было истерики, не было даже волнения, он только ощутил странную, но спасительную заторможенность. На вокзале Алма-Ата-2 сел в такси. Начинался уютный июльский вечер, вдоль дороги зажглись фонари. Он отстранённо подумал о том, что не знает номер телефона тёти Паны. Они выехали на улицу Гоголя, шофёр такси о чём-то оживлённо говорил, но Вагнер, кивая, не слышал его. Таксист, пытаясь развлечь клиента, включил радио. Свернули к его дому, на улицу Шагабутдинова...

Он открыл дверь квартиры, вошёл, не сказав обычного: «Мама, я дома». Мать лежала в постели, глядя мёртвыми глазами в окно. Последнее, что она видела в своей жизни, было алма-атинское лето. Сотовый телефон, выскользнув из руки, лежал на свободе. Они разговаривали всего несколько часов назад, и во время разговора Олег ничего не почувствовал.

Вагнер бездумно сложил дорожные сумки в своей комнате, сунул в холодильник продукты, прихваченные для матери из вагона-ресторана, и только тогда вызвал врачей. До матери он не дотронулся. В голове мелькнуло нелепое: «Премия кстати — на похороны». Всё было так, как должно было быть. Даже твои родители стареют и умирают, — так заведено. Кем? Когда?

После всех формальных процедур похоронная бригада увезла мать, и он остался один. Он был один в квартире, один в огромной Алма-Ате, один в необъятном Казахстане.

Вагнер нарезал буженины, сыра, разломил хлеб. Во время ужина, почувствовав облегчение, он немного поплакал. За окном, во дворе, перекрывая отдалённые звуки трамваев, гомонили малыши — жизнь текла своим чередом. Сварив кофе, он составил план отпуска: помимо похорон, у него, казалось, не было никаких дел. Съездить на Медео, давно не был. Надеть коньки и подышать горным воздухом. Потом зайти в книжный, купить что-то свежее, нечитанное.

Вагнер грустно повеселел — дел оказалось невпроворот. После ужина он перестирал постельное бельё, избавился от всех лекарств матери, проветрил и убрался в комнате и вдруг осознал: его «отпустило», стало легче буквально — физически. Многолетний ежесуточный ужас болезней родителей мгновенно закончился.

Он поздно лёг в постель. Ночью, вопреки предчувствиям, ничего не приснилось. Он проснулся отдохнувшим, с ясной головой. Принял душ, позавтракал, затем занялся печальными, но необходимыми и в чем-то даже радостными «покойными» хлопотами...

На похоронах матери были две бессмысленные старухи, в прошлом — подруги матери — со своими уже пожилыми дочерьми, соседка тётя Пана и сам Вагнер. Он думал о том, чтобы всё закончилось как можно быстрее. И он догуляет свой отпуск, и опять уйдет в рейс. А затем начнёт новую, спокойную жизнь. «Буду больше читать, гулять. Возможно, познакомлюсь с женщиной, я же ещё не совсем старый». Он думал об этом, глядя как сыплется сухая лёгкая земля на крышку гроба матери...

Назавтра, пунктуально сверившись с планом, Вагнер посетил Медео. О матери не думалось. То есть он понимал, что матери больше нет и никогда не будет, но в этой мысли не было трагизма, — наверное, бесконечные тягучие годы родительских хворей, защищая, выхолостили ощущение драмы.

Скользя на коньках сквозь толпу, он ощутил восхитительное ледяное состояние одиночества. Сияющий лёд слепил глаза до пылающих алых кругов. Привыкая, Вагнер прикрывал на несколько секунд веки, и в эти вечные мгновения он чувствовал себя свободным. Стремительные, слаженные движения ещё не старого тела давали ощущение молодости и лёгкости. Хорошо, но неопределённо думалось о будущем.

После катания он зашёл в полупустое кафе «Ice Medeo» и вдруг по соседству, через столик, Вагнер увидел книгу любимого им Иоанна Секунда. «Поцелуй» Секунда трепетно держала в ухоженных изящных пальцах сосредоточенная серьёзная женщина лет тридцати пяти, одетая в обтягивающее чёрное платье, изысканное в своей кажущейся закрытой простоте. Пушистые опущенные ресницы. Чёрная тушь богатых пышных волос. Мертвенная белизна живого лица. Как будто после вишни, влажные губы её двигались — она читала стихи про себя.

Разглядывая, Вагнер не удержался и «раздел» женщину, и тут же ощутил себя не виноватым, но старым и развратным. Её «избыточная» грудь, вызывающе обращая на себя внимание, волновала, но Секунд волновал не меньше. Почувствовав, женщина подняла на него глаза. Взгляд её был чистый и твёрдый. Вагнер не мог не познакомиться с Анджелой...

Они долго разговаривали о книгах, о стихах Секунда, о сложностях перевода. Затем, приходя в себя, они пообедали, потом Вагнер отвёз её на такси домой. Анджела жила вместе с родителями в «Трёх богатырях», на проспекте Достык, в центральном доме. В такси Вагнер неуверенно думал о том, что Бог или Судьба, вероятно, существуют, и что знакомство с Анджелой — это, возможно, награда за его мытарства с родителями, за его вынужденное одиночество, за неполноценность его кочевой жизни...

Был поздний вечер, когда она позволила, и он поцеловал Анджелу в её влажные губы. Это было почти как в молодости, — поцелуй у подъезда любимой.

— Ш-ш-ш... — зашептала Анджела, почувствовав его напряжение. — Успокойся. Тише...

Но он вздрогнул по другой причине. Поцеловав её, он не ощутил и тени прежних волнений. Неужели в жизни на всё, включая любовь, лимит? И на поцелуй? И на постель?

— Всё хорошо, — он почувствовал, как она улыбнулась ему в ухо.

Закрывая глаза, он крепче обнял Анджелу. Жизнь, вероятно, меняется, меняя ощущения, это ещё не смерть, просто — иная жизнь. Неужели молодость всё же проходит? Сейчас, ощущая ладонями тело Анджелы, он не мог в это поверить...

— Мы увидимся ещё, — в темноте она заглянула ему в глаза. — Ты же так решил?

— Именно! — он сдержал улыбку. — Сразу после моей... командировки.

Всё так и вышло, и они встретились у него дома. Стараясь не представлять себе насыщенную личную жизнь Анджелы, её возможные разводы, вероятные аборт и натуралистичные романы, Вагнер весь день готовил утку по-пекински, римский салат с ветчиной и куриный бульон с пикантными специями.

Анджела была приятно удивлена, он с удовольствием отметил это. Она также оценила интерьер: купленный родителями ещё в советские времена монументальный гарнитур Milord производства Югославии, страны, которой уже нет на карте мира.

— Путь к сердцу тела женщины лежит через прекрасный ужин, — улыбаясь, она вольно раскинулась на диване. — Это знают даже взрослые.

На Анджеле было праздничное и, одновременно, строгое, почти траурное чёрное платье с красным струящимся отливом. Наряд королевы для казни. Платье было открытое, с глубоким декольте. Поблуднев, Вагнер мысленно соотнёс свои

размеры с размерами её груди. Чёрные чулки и алые туфли на высоких чёрных каблуках дополняли наряд Анджелы. Вагнеру казалось, что чулки светятся на её мастерски вылепленных коленях. Вскидывая обнажённые руки, Анджела как будто бы поправляла идеальную причёску. В этих лживых движениях рук он увидел что-то непристойное. Анджела была так притягательна, что Вагнер не мог представить её в постели.

После ужина они пили кофе, неторопливо вспоминали прежнюю Алма-Ату её детства и его юности. Он грустно шутил. Она звонко смеялась каким-то неестественным «сценическим» смехом, с преувеличенным волнением вздымая стеснённую декольте грудь. Оба понимали — Анджела останется до утра. Он невпопад подумал о том, что совсем недавно по квартире, оставив навечно призрачные тени, передвигались два полумёртвых старика — его родители, потом, спасаясь, он представил бельё Анджелы... Чёрное? Белое? Алое? Закрытое? Мини? Загадал, что если бельё алое, то всё будет хорошо. Он нахмурился, сосредоточиваясь...

— ...Я пытаюсь изобрести новую форму стихосложения, — Анджела говорила, делая крохотные паузы, проверяя кончиком языка помаду на губах. — Три-четыре слова. С огромным подтекстом. Вот, например, «Спина зрителя». Или. «Тучи над Вселенной». «Графоманская проза жизни». «Платье для казни». «Заменить фокус чудом». За сочетанием этих слов — огромные пласты смыслов, ты не находишь?

Анджела писала стихи. Точнее, это были не стихи, а... названия стихов. Не совсем понимая, он сдержанно восхищался, у него получалось почти искренне. Анджела редактировала сайт, посвящённый литераторам Казахстана, пишущим на русском языке, и «уже который год» собиралась в Москву. В этом месте Вагнер демонстративно смутился — фантомная, во многом инопланетная Москва никак не входила в его планы.

— Но пока это всё «в туманных ризах», — торопливо сказала Анджела, повернулась к нему спиной и хладнокровно добавила: — Поможешь снять платье?

Вагнер вдруг осознал, что в последний раз он видел раздетую женщину четыре года назад, это была его «поездная любовь», хорошенькая официантка из Караганды, «роман на два рейса».

— Конечно, — оглохнув, он осторожно обнял Анджелу.

Сминая платье и бельё, путаясь в пуговицах, молниях и крючках, чувствуя на губах приторный вкус помады и утки по-пекински, задыхаясь от аромата парфюма и запаха пота, он с трудом раздел Анджелу. Затем неуклюже, с излишней суетливостью разделся сам, истерично думая о том, что в мойке горбится горка грязной посуды.

— Какой же ты нежный... до стеснения, — от её улыбающегося дрожащего шёпота у него перехватывало дыхание. — Ты лучший! Переверни меня на живот, начнем с этого... Да смелее же!

Ему казалось, она говорит дежурные фразы, но её шепот... Неужели и это можно подделать, идеально сфальшивить, заменить фокус чудом?

В театральном свете луны он увидел её гибкую спину, плавные обводы бёдер, ровные выпуклости ягодиц. Анджела растрогала своей доверчивой незащищённостью.

— Дивный вид, — «лучший» Вагнер не удержался, понимая, что он, вероятно, не последний в бесконечной череде её любовников.

— Многие это отмечают, — она даже не старалась быть деликатной.

...Ночью, уже после, он долго не мог уснуть. Утешал себя: «Не знаю, как насчёт любви, но лимит на постель пока не исчерпан». Он обнимал чудесную женщину после напряжённого любовного сюжета с неподдельными стонами просветления в нескольких финалах, так что же не так? «Вероятно, дело в том, что я знаю — откуда? — что мы не будем вместе. Но откуда я это знаю? Зачем мне эти знания?»

Страшась потерять, утопая, он теснее обнял её, сонная Анджела обессиленно прижалась к нему...

Вагнер забылся неопределённым гнетущим сном. Во сне он увидел своё персональное купе, степной пейзаж за окном, его поезд, который был в пути между Алма-Атой и Свердловском. «Вот там я и усну, и умру во сне, и буду ехать в Свердловск, не ощутив перемен, уже вечным. Но, к счастью, это произойдёт незаметно и через много-много-много лет. Я умру, а мой поезд так и будет спешить из Алма-Аты в Свердловск и обратно — в Алма-Ату. И дорога эта будет навсегда».

Мысль была такой невыносимой, что он решил проснуться. Бесшумно встал, накинул халат, на цыпочках пробрался в кухню и сосредоточенно вымыл грязную посуду, думая о том, что хорошо высыпается он только в поездке, в своем персональном купе.

В сон смерти возвращаться не хотелось. Отодвигая неизбежное, он сварил кофе и вышел на балкон, в предраассветную беззвучную ночь. Подстёгивая себя обжигающим кофе, попытался увидеть или хотя бы представить себя женатым. Любовница — да. Подруга — да. Даже недорогая содержанка... Всё это временное, в дороге, это он многократно переживал, часто даже и переживая. Но жена? Постоянная? Не в пути? Возможно ли это? Неужели жизнь в какой-то момент становится колеей, с которой не свернуть? И ты привыкаешь к тому, что у тебя есть, и это делается твоей неизменной сутью, которую ты, уже охраняя, бережёшь. Смогу ли я, захочу ли всё поменять ради Анджелы? А ради себя? Стать поваром в каком-нибудь ресторане Алма-Аты, стать семьянином, может быть, завести ребёнка, осесть дома, быть вне дороги? Видимо, так надо. Для чего? Зачем? Идиот, тебе пятьдесят лет, а ты мальчишкой всё ещё валяешься на диване с голыми девушками Амедео Модильяни!

Вагнер, так ничего и не ощутив, допил остывший кофе. Надо в постель, к Анджеле — всё знающей, но ничего не понимающей глуповатой умнице, застенчивой развратнице, гламурной нимфоманке, шлюхе, так и не узнавшей мужчин. Надо к ней, надо заснуть.

...Утро было спокойным. С деликатными объятиями и кофе, с поцелуями и поджаренным хлебом. Не было главного — неуместных разговоров. После завтрака он вызвал такси и отвёз Анджелу домой. Она, если и не поняла, то почувствовала: ему надо побыть одному. «Что есть, то есть, — думал Вагнер в такси. — Странное сочетание чутья и неделикатности, — этого у неё не отнять».

Через несколько дней, так и не начавшись, всё закончилось. Она позвонила, и они встретились в Aurora Cafe, на улице Жамбыла. Анджела опаздывала. Зная наперёд, он зачем-то заказал чашку кофе. Рядом сидели две девушки, одна из них с деланным простодушием посмотрела на него, но Вагнер не успел улыбнуться в ответ: шелестя подолом пёстрого платья, в кафе впорхнула Анджела. Он вспомнил, как однажды ночью он называл ее: «Птичка моя» — «Кар!» — «Да не ворона, а птичка!» — «Поняла!»

Суетясь, Анджела подсела к нему, окружила своими ароматами, обняла за плечи и, чуть встряхивая, сказала дрожащим улыбающимся голосом: «Ты не мой мужчина. Извини. Но ничего. Ты яркий, долго один ты не будешь. И ты не выглядишь на свои годы, я вообще думала, что мы — ровесники...» Все её слова были хорошо отретпированными, видимо, много раз произносившимися. И Вагнер убедился, их расставание — это правда, это по-настоящему. Сдерживая смех, он закрыл глаза. Подумалось странное: «Смерть — здесь и сейчас; то, что ты пока жив, — отсрочка».

Он ничего не чувствовал, как тогда, когда впервые поцеловал Анджелу. А она опять поняла его неправильно, встала, прижала к своему животу его сморщенное лицо. Вероятно, этот номер тоже был в её программе «Расставание». Сквозь духоту

тонкого платья он ощутил её горячее мягкое тело, уже непроходимую пограничную линию трусиков... Наклонившись, она поцеловала в макушку, чмокнула, как малыша. Вагнер увидел их со стороны — это было глупо.

— Всё, я ушла. Меня нет!

Услышав стук её каблучков, Вагнер с облегчением выдохнул, затем осознал обрывок разговора девушек за соседним столиком...

— ...Открывать рот у стоматолога — это всё равно что раздвигать ноги.

— Мужчинам не понять...

Он посмотрел на девушек, одна из них с жалостью улыбнулась ему. Ещё не хватало! Торопливо рассчитываясь, он подумал: «Хорошо, что дом рядом, могу прогуляться. Чёрное её бельё сделало своё тёмное дело. Жаль, что я не писатель». Хотелось, все забыв, вернуть недавнее — до Анджелы — прошлое. Хотелось скорее вернуться в свою квартиру к родным теням мёртвых родителей.

Этим вечером, после расставания с Анджелой, ему всё же сделалось тошно, и он затеял в квартире большую уборку: занятые руки дают покой голове. Перебрав после стирки бельё, Вагнер так и не нашёл таинственно исчезнувший носок. И он убил, выкинув, уже не парного его собрата. Нелепо подумалось, возможно, именно так судья-судьба карает нас, одиноких?

Как рану, он намертво зажал в себе свою неудачу, зная по опыту: спасая, дорога освободит от несостоявшейся любви, от ожесточения, от ужаса одиночества и даст то, ценнее чего и нет на свете, — покой. В конце концов, для того, чтобы включить стиральную машину и постирать бельё, не обязательно жениться. «А готовлю я лучше любой женщины».

Собираясь в очередную поездку, Вагнер положил в дорожную сумку томик рассказов Хемингуэя, многожды пролистанных, но так вдумчиво и не читанных. «Попытаюсь ещё!» Застёгивая сумку, он испытал чувство облегчения...

Через полгода она позвонила ему, и Вагнер узнал болезненное, «его — не его» Анжела Алтынбекова «удачно вышла замуж за очень талантливого москвича», какого-то мрачного поэта белого стиха с двойной, наполовину «музыкальной» фамилией: Мусоргский-Болтromeюк. У Вагнера тоже была «музыкальная» фамилия, но Болтromeюк, верно, перевесил наличием тяжёлого «Болта» и, конечно, своей «московскостью».

Олегу Вагнеру шёл пятьдесят первый год, его уважали в поездной бригаде, он не знал, что будет дальше.

*Москва — Алма-Ата, Aurora Cafe — Свердловск — Курган — Москва,
1983, 2017*

Валерия Крутова

Время не учит

Рассказы

Скелеты

Стояли скелеты в шкафу рядком, изредка поглядывая друг на друга, — а ну, кто следующий пойдёт? Переглядывались иногда — кто следующий войдёт? Не понимали, зачем их держать здесь, взаперти, если всё равно однажды, скорее всего, в следующую пятницу, одного из них выпустят наружу.

Марина выпускала их по-разному. Иногда осторожно, тихонько приоткрывая дверцу шкафа. Иногда распахивала обе створки, неаккуратными движениями разбрасывая содержимое — содержимых, — чтобы вытянуть за лучевую кость счастливого и закрыть шкаф, пнув дверцу изо всех сил.

Высвободившийся скелет в тот день или вечер обрастал мясом, наделялся памятью, чувствами, эмоциями. Он становился настоящим. Не прошлым, наконец-то. Марина вздыхала, смущалась, иногда плакала и прощалась со скелетом навсегда.

Коллекционировать кости проступков она начала давным-давно. Её первым экспонатом стала кошка, которая родила вчера котят, которых не-на-что-было-кормить-человечьих-ртом-дошиша. Вместе с дедом они упаковали детей Мурёны, слепых, похожих на шерстяных слизней, в ведро. Потом дед ушёл в ванную, пошумел водой, скрипнул дверью во двор, а потом ею же хлопнул, возвращаясь и потирая руки.

— Котят слепыми топят, — прохрипел дед и ушёл в кухню. На утро он выльет мёртвую воду из ведра в отхожую яму на краю двора.

Так скрипнула и хлопнула дверца шкафа, принимая в себя первый скелет Марины. Скелеты слепыми хранят. И немыми.

Вторым скелетом стала подножка детсадовской подружке Лильке, с которой они даже спали на соседних кроватях и вообще — не разлей вода. Лилька пришла в платье цвета голубой мечты Марины. С оборками, вуалью поверх атласной юбочки и кружевами вокруг шеи. Лилька так радовалась и всё время омерзительно кружилась, громко хохоча. В другом платье Лилька не была такой громкой и счастливой.

Валерия Крутова (Макеева Валерия Валерьевна) родилась в 1988 году в Чимкенте (Казахстан). Участник Форумов молодых писателей «Липки». Живёт в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 11.

На прогулке Марина уговорила Лильку и ещё шестерых девчонок поиграть в догонялки и, когда все разыгрались до того, что уже не замечали ничего вокруг, выставила ногу перед пробегающей Лилькой. Та упала, уже на лету подключая рёв, словно предчувствовала скорую кончину платья.

Так в шкаф вошёл второй скелет, нелепо выраженный в голубые атласные лохмотья.

Оба первых скелета так и остались в шкафу навсегда, потому что не было в них ничего интересного, не приходились такие скелеты на разговоры по душам за бокалом вина, да и личный психотерапевт Марины этими скелетами не интересовался. Лохмотья на одном из скелетов уже давно истлели, а сам он, привалившись к первородному брату, дремал без надежды на пробуждение.

Первородный же, несмотря на то, что не интересен был никому, частенько громыхал костями и скрёб лучевой по душе Марины, выросшей и ставшей волонтером в приюте для бездомных животных.

Скелеты наполняли шкаф во имя выживания. Говорят же: умолчи, не навреди. Не навреди себе, а потом уже близким. Напичкай себя событиями и воспоминаниями — не дай им ходу. Правда, если напёшься и дашь нечаянно, ничего страшного. Со всеми бывает. Этой странной логике взаимоотношений между скелетами и их создателем Марина следовала неукоснительно.

Создавала, прятала, теряла ключ, чтобы вспомнить через какое-то время, что дверцы шкафа всё равно сломаны, а скелеты стоят себе рядком, ждут высвобождения. И можно было подумать, что процесс этот вечный — появление новых, расформирование старых, слёзы в процессе, муки совести и очередное надёжное плечо. Каждому скелету по плечу!

И можно было бы так подумать, да. Но однажды появится главный, последний скелет, который вышибет всех остальных, кроме первого, притаившегося в дальнем углу. Он будет главным — далёким от испорченного платья и разбитой маминной вазы. Он обязательно будет связан с предательством или обманом, он повлияет на чью-то жизнь, и совсем не в лучшую сторону. Он будет таким упрямым, что даже в самые пьяные пятницы не вырвется. Он даст начало новой жизни Марины: «в жизни не проговорюсь».

Главный заколотит двери изнутри, лишив Марину права подходить к шкафу со своими глупыми глупостями, со своими бедками и обидками, со своими штрафами и изменами. Он будет сильный, сильнее всех тайн на свете, и хитрый, хитрее всех психотерапевтов. Марине не по плечу будет справиться с ним. Она перестанет биться в дверцы шкафа и отодвинет его подальше, совсем забыв и про первый, притаившийся. Который, собственно, и положил начало мукам совести — показал, что всё тёмное и тёмненькое можно хранить-хоронить. Про тот, про который никто не узнает, ведь даже лучевой он не сумеет поскрести, сдерживаемый более новым братом.

Потом изменится коннотация поступков. Скелеты потеряют свою актуальность и так и будут стоять, подпёрши дверь изнутри — уже вместе. Чтобы никого не впустить. И за этим делом и Марину грызть забудут.

А пока что, не помышляя о будущем, стояли рядком скелеты в шкафу, переглядывались в ожидании следующего выхода.

Лапочка

Лапочка! Господи, какая же ты лапочка. Ты вся — словно в хрустящей подарочной упаковке. В матовой обёрточной бумаге, потому что глянец уже не в моде. Ты вся — пастельных оттенков, потому что смерть не терпит красок. Ты вся — словно полна воздуха. Того воздуха, что мы с момента твоей смерти никак не можем найти. Мне хочется наклониться к тебе — нос к носу, упереться взглядом в закрытые, желтеющие веки, похожие на пекарскую бумагу под готовым кокосовым печеньем. Дотронешься до бумаги, и она тут же в хлопья.

Я не знала, что смерть может быть такой красивой. Господи, какая же ты лапочка.

Ты всегда такой была. Ещё в детстве ты начала собирать комплименты от друзей и знакомых семьи, а то и вовсе от случайных прохожих. Ребёнок с голубыми, как мечта, глазами. Сейчас о таких детях грезят блогеры, потому что дети с миленькой внешностью хорошо продаются. Не сами, конечно. Они хорошо продают родительский блог.

Если бы ты была чуточку глупее, то могла бы и сама вести блог. Знаешь, лидеры мнений или инфлюенсеры, чёрт их побери, зарабатывают больше врачей. Больше тебя и меня вместе взятых. Но ты бы никогда не согласилась продавать воздух и выворачивать трусы наизнанку перед огромным количеством людей. Выворачивать их грязными, потому что именно это привлекает внимание.

Помнишь, мы повесили на люстру в комнате красные стринги? Они провисели три года перед первой стиркой. По каким-то и чьим-то обычаям, эти трусы должны были привлекать деньги. Мы ими ещё и любовь пытались привлечь. Наши кровати стояли рядом, между — тумбочка. Одна на двоих. Вторую было просто некуда воткнуть. В нашей комнате едва хватало места на двоих. А сейчас, приезжая в родительский дом, я замечаю, что места хватало всегда, просто мы были какими-то полными тогда: полными надежд, планов, идей, любви и очарования жизнью. А сейчас пустые, и места в комнате хватило бы на четверых.

Даже подумала сейчас, что тогда дышалось не так — порывисто, мелко. Некуда было вдыхать. А сейчас вдыхаю, и гул внутри. Могу вдыхать долго, лишь на чуть-чуть наполнив себя кислородом.

А ты — всё. Хотя воздуха и жизни в тебе побольше, чем в любом из нас.

Я не нравилась твоему первому мужу, он говорил, что я слишком дурно на тебя влияю. Ты не знала, но каждый раз он пытался повлиять дурно на меня. Задевая ребром ладони то зад, то грудь. Его ладони были везде. И я всё время ждала хлопка. Не знаю, почему не хлопала — не взрывалась, не лопалась. Я так тебе и не сказала ничего, а когда ты поймала его за потную ладонь на одной из твоих коллег, я выдохнула из гулкой себя часть воздуха и успокоилась.

У второго твоего мужа потели пальцы. Я никогда не знала, что *они* — умеют это делать. Он играл в какую-то сумасшедшую войну на смартфоне, а ты искала ему *напальчники*. «Шапочки» на рабочие пальцы, чтобы ничто не могло помешать войне. Ты рассказывала, как без шапочек этих ему приходится макать пальцы в тальк. В детскую присыпку.

А я снова почему-то не лопалась от того, что существование присыпки в твоём доме давно уже должно было оправдываться наличием детей.

Муж с потными пальцами обещал удалить игру. Обещал, что станет завоевателем (что бы это ни значило) и удалит. И эти шапочки, которые мало того что стоили,

как смартфон, так ещё и достать их было сложно, так вот эти шапочки ему бы ой как помогли. Так и говорил. А потом удалит. Честно-честно удалит. И работу найдёт.

А ты так устала по утрам убирать с дивана рассыпанную присыпку, что увлечённо искала эти шапочки в свободное от работы время. Вместо того чтобы спать. Или детей рожать. Или с племянниками играть. Или крестить их. Или. Или. Или. Ты искала эти шапочки на пальцы для игры на смартфоне.

Господи, какая же ты трогательная лапочка, пытавшаяся поймать немного любви. Немного равнодушия.

В поликлинике, где работала, ты дарила равнодушие всем, пытаясь доказать, что врачи не звери. Что врачи не бестолочи. Что врачи — отличные ребята и девушки по своей сути. И они очень хотят помочь. Они просто устают, ошибаются, иногда делают глупости. И не всегда находят время на повышение квалификации. Шапочки ищут.

Дарила равнодушие и искала его везде. Даже во мне. Но я молчала и не лопалась, наблюдала. И, получается, проходила мимо, думая, что помочь себе и другому в жизни может всё — даже красные трусы на люстре, — но не человек.

А ведь только он и может. Но иногда он это делает потом, когда уже перестает дышать, но не теряет жизни. Спасибо тебе, лапочка.

Трещины

Глаза цвета битой карамели, губы в трещинах — вся ломаная-переломанная, говорит зеркало. Не врёт. Говорит тихо сначала, постепенно увеличивая звук, пока внезапно не ударит набатом по ушам. Вся ломаная-переломанная, будто не жила-не прожила, а по сценам-годам мелькающим, еле коснувшись пальцами ног, пробежала. Проплыла, изламывая то руки, то ноги, пока однажды пополам не переломалась.

И остановилась.

Остановилась, чтобы вспоминать каждую прожитую, не пережитую сцену. Словно каждую незавершённой оставила. Там не досказала, там не доделала. Там не дописала. Там, там, там. Опять бьёт набат. Всё там осталось, ничего здесь нет.

Он предложил:

— Давай в парк?

— Ага, — ответила.

А потом целовались, пьяные, забыв, что руки и губы солёной рыбой пахнут. Рыба снислась потом обоим много лет, опуская в нижний мир. Туда, где оба оставили капсулу времени. Её оставляют затем, чтобы вернуться. А они зачем оставили?

Он предложил:

— Давай вместе жить?

— Ага, — ответила.

А потом уехала. Оставила и его, и рыбу, и капсулу времени. Однако рыба по-прежнему снится, вынуждая раскапывать капсулу времени руками, забивать ногти землёй нижнего мира. Раскапывать там, закапывая здесь. Глупая какая. Непрожитое — не пережить. Непрожитое так и останется там. Там, там. Набат снова. Никуда не деться от него.

Он предложил:

— Давай вспомним? Есть же, что?

— Ага, — ответила.

А потом телефон отключила. Поменять надо было. Совсем поменять — имя, возраст, губы эти в трещинах поменять.

И снова побежала, еле касаясь пальцами ног. Нигде так и не остановилась. Хорошо в памяти копаться, выуживая одну рыбку за другой, искать золотую. Чтобы желания сбылись, а самой ничего делать не нужно было бы.

Мама говорит: ишь, хитрая. А сама глаза отводит, правду глазами стесняется сказать. Хитрая следит за взглядом мамы и утыкается глазами в пышные цветы на обоях. Фиолетовые. Там, между бутонами, рыбки прыгают туда-сюда. Там, там. Набатом. Хотя нет, это мама вздыхает.

Он предложил:

— Давай увидимся. Столько лет прошло.

— Ага, — ответила.

А потом взяла и пришла. Платье надела, губы в трещинах накрасила. Кофе пила — один за одним. Ждала. Сердце уже стучало, как заполошное. Там-там. Не было никого там, в кафе. Она одна сидела.

Кажется, до сих пор сидит, кофе пьёт и сердце слушает. Сколько можно, мама? Но фиолетовые цветы пышные ни ей, ни маме так и не ответили.

Славная могла быть жизнь, если ею жить. Каждую сцену обдумывать, все дела доделывать, все слова, даже лишние, проговаривать, становясь крепче с каждым. Но разве так кто-нибудь живёт?

Он написал: «Ты снилась мне вчера ночью».

Через час снова написал: «Ты была в каком-то старом платье, и волосы у тебя были длинные. Ходила туда-сюда и что-то под нос себе говорила».

Ещё через час снова написал: «Жутковатый сон, если честно».

«Прости, что напугала», — ответила.

А потом снова — звонки, сообщения, грязь времени под ногтями. И парк в голове. Без аттракционов. Цветы растут пышные, бутоны раскрывают, лепестками пытаюсь ухватить взгляд, ответить хоть что-нибудь. Хоть что-то объяснить. Но сердце стучит набатом. Там. И не слышно больше ничего.

Ничего.

Он написал потом ещё раз через много лет: «Не понимаю, откуда у меня это в голове. Был такой момент, не помню, в каком классе. Сажу за первой партой среднего ряда и слушаю Римму. Она говорит, что сейчас мы должны прочитать что-то про себя, что-то длинное. И все уткнулись в книги. И в этот момент я посмотрел на тебя — слева от меня, левый ряд, первая парта. Напротив Риммы. Увидел, что ты читаешь про себя, не шевеля губами! Вот это да, подумал я, а потом присмотрелся. О боже, что же у неё с губами, — они такие сухие и все в трещинах. Это продолжалось несколько секунд, пока ты не повернулась ко мне. Я быстренько уткнулся в книгу, читая всё, что там написано, шевеля губами».

«Ага», — не ответила. Прочитала, не шевеля губами, и удалила переписку.

Вся ломанная-переломанная назад оглядывается, страшно вперёд посмотреть. Потому что позади — всё ясно. Всё уже свершилось или не совсем. А там, впереди, страшно. Там, там. И продолжает, еле касаясь пальцами ног, не шевеля губами, проживать, не переживать. Слушая то сердце, то набат, то как мама вздыхает.

Наверность

Он пришёл в больницу, принёс четыре пирожка с ливером, нарезной батон и две пачки сока. Он мялся, даже маялся в дверях палаты, пока я не увидела его.

Мы говорили последний раз четыре года назад, — меняли телефоны всё это время, даже номера, мы потерялись, и вот — мнётся в дверях. Держа пакет с едой двумя руками. У меня интоксикация, острый пиелонефрит, и всё, что я могу есть, — раствор внутривенно, но знать об этом ему необязательно.

— Я не удивился, когда узнал, что ты в палате номер шесть, — он улыбнулся.

— Юр... привет.

— Привет.

И замолчали. Он старался не шуршать пакетом, а я старалась подавить тошноту от запаха жареных пирожков. Мой взгляд ему помог, он посмотрел на свои руки, потом на меня и сделал несколько шагов вперёд.

— Я тут тебе принёс вот. Не знаю, что нужно и можно в больницу, но вот.

— Спасибо. Ты положи, а я потом поем.

Он положил пакет на тумбочку и огляделся в поисках места, чтобы присесть. Сел на край соседней кровати, которая пока ещё пустовала. Мне хотелось спросить, откуда он узнал, что я тут. А главное — зачем пришёл вообще. Но я подавила эти вопросы, как и тошноту, — зачем они, если он пришёл.

Мы вместе учились — в школе с углублённым изучением русского языка и литературы, и разговоры наши в школьные годы всегда сводились к обсуждению книг. На переменах мы встречались на первом этаже: там, напротив кабинета казахского языка, было углубление в стене, перед которым тянулись толстые отопительные трубы, на них мы и сидели когда пять, когда все двадцать минут, осознанно лишая себя перекуса в школьной столовой.

Над нами посмеивались и его, и мои одноклассники: «А и Б сидели на трубе». Я училась в «А», он — в «Б». И если лет в тринадцать нас эти шутки ещё смущали, то к шестнадцати — перестали реагировать. Мы дружили, а не то что там кто-то мог подумать или придумать. Иногда он провожал меня домой, редко, потому что жил совсем в другом районе и необходимости в этих проводах не было, разве что мы не успевали договорить что-то на переменах.

— Что читаешь? — он обозначил своё присутствие, вырывая меня из школьных воспоминаний.

— «Бойцовский клуб». Попытка номер пять, — я улыбнулась. Интересно получилось, эту книгу именно он советовал мне давным-давно, а я всё никак не могла осилить, оценить.

— Серьёзно?! — он широко улыбнулся. Так, словно я его затянула в те времена, в свои воспоминания, когда жареные пирожки не вызывали тошноту, а книги не были лишь поводом нарушить затянувшееся молчание.

— Ага, мне принесли первое, что попало под руку, — я запнулась на обезличенном «принесли», потому что личность, стоявшая за этим, была слишком гнетущей в контексте нашей встречи.

— Как ты себя чувствуешь?

— Ну, не очень, если честно. Одиноко — видишь, палата пустая. Да и в целом. Мне тут сны снятся — не сны даже, а целые фильмы. В них сюжет, все дела. И они... они доставляют... эм... дискомфорт.

— Они тебя пугают?

— Да.

— Сколько ты тут?

— Четыре дня.

— Три полноценных фильма... — начал он.

— Ужасов, — закончила я и привстала, уложив подушку повыше.

Он поёрзал, проваливаясь вглубь койки, и теперь чувствовал себя хотя бы удобнее.

— Я Олю встретил нечаянно, спросил, как ты. Она сказала.

— Я рада тебя видеть. Честно.

— Ты извини за... тогда, в общем. За ту ситуацию, не знаю, что на меня нашло.

— Да брось. Всё прошло давно.

Мне было стыдно продолжать разговор, потому что я позорно забыла причину конфликта. Какие-то обрывки, вспышки, разговор по телефону четыре года назад, слухи, сплетни, друзья-одноклассники — всё смешалось, и я не могла выудить из этого месива хоть что-то понятное. Что-то, что могло объяснить происшедшее тогда.

Юра убрал волосы со лба и сложил ладони, будто собрался молиться, уткнув безымянные пальцы в подбородок. Родинка на скуле, небольшой прыщик рядом, плотно сжатые губы, крупный нос, зелёные глаза, морщина на переносице — одна, вторая — высокий лоб. Я словно путешествовала по его лицу, складывая свои ощущения, накладывая их на воспоминания. Тишина затянулась, поэтому я сказала:

— Думала, ты уехал давно. Странно было не встречать тебя в городе.

— Я уезжал, потом вернулся. Мы встречались как-то, ты просто не заметила, мимо прошла. Не одна была, — он смотрел на моё лицо и руки, сложенные в молитвенной позе.

Не помню, в какой момент нас стало тревожить наличие партнёра — у меня или у него. Раньше мы могли спокойно обсуждать моего парня или его девушку, делиться переживаниями, жаловаться, советовать друг другу, как правильно поступить. Нас радовала дружба, благодаря которой было легче понять мысли и действия противоположного пола. С книг мы плавно переходили к делам сердечным и обратно, смешивая разговоры обсуждением уроков и планами на вечер. В старших классах посиделки на трубе могли продолжиться в кафе после уроков или на даче, куда мы ездили с одноклассниками. Точнее, той выборкой одноклассников, которая называлась «друзья». Друзья к восемнадцати годам разбились на «приятелей» и «любовников», а мы с Юрой настырно и преданно дружили.

Это случилось летом. Мы лежали на топчане, уютно спрятанном в густых кустах роз. Очередная дача, бессменные шашлыки, бочковое пиво, которое мы активно разливали не только по бокалам, но и друг по другу — для загара. Дачный бассейн — это что-то магическое. Любая ржавая бочка с зацветшей водой вдруг становилась элитным местом купания. Мы забывали о гигиене и безопасности, ныряя, разгорячённые, кто солдатиком, кто рыбкой. Мы бились друг о друга в тесном круглом пространстве обнажёнными частями тел, накапливая энергию, выплескивая её к вечеру друг на друга. Вот после бассейна мы и лежали на топчане в тени кустов, размокшие ароматом роз и пивом.

— На юриста учиться немодно, модно работать в рекламе. У нас на потоке все девчонки не в адвокатских конторах практику проходят, а в рекламном агентстве на акциях. Вот как это называется? — размышлял Юра.

— Да никак. При чём тут мода? Они же просто деньги зарабатывают. В конторе не платят, используют как рабсилу, а здесь живые деньги — за часы.

— В конторе — опыт.

— Да я не спорю же, я объясняю мотивы. Тем более, многие всё равно работать по специальности не будут.

— А ты? Будешь? — он лежал рядом, на боку, подперев щеку ладонью и смотрел на меня.

— Не знаю, мне кажется, я не туда попала, — я улыбнулась. Лежала с закрытыми глазами, пытаюсь представить себя в зале суда в качестве защитника чьих-то интересов.

— Я вообще не понял, зачем ты на юриста пошла. Хотела в журналистику же?

— Ой, ну я из-за Ваньки не пошла на журналиста, потому что в другой город надо было переезжать.

— Меня это и бесит. Из-за мужика не уехала, Сонь, ну тупо это.

— Тупо.

— Тем более из-за такого... — Юре Ванька не нравился. Так откровенно не нравился, что мы даже на время перестали общаться, потому что каждая совместная вечеринка заканчивалась яростной словесной перепалкой между ними. Хорошо, до драки не доходило.

Но с Ваней мы расстались, а Юра вернулся в мою жизнь, триумфально напомнив, что «я ведь говорил, он debil».

— Забудь. Я всегда могу переучиться. Сейчас возможностей масса: можно на психолога пойти, ещё на какого-нибудь «-олога».

— Аха, астролога, натуропата, коуча.

— Ну вот. Классно же, сам себе астролог, сам себе психолог — красота. — Я улыбнулась и посмотрела на него. Он глядел на меня, куда-то в район живота. Не мигая.

— На курсы массажа можно, вот и сама себе массажист.

— Ой, нет, для этого мне нужны чужие пальцы.

Он вдруг провел пальцами по моему животу и, немного запнувшись, сказал:

— Надо увеличить количество участников процесса, не ограничиваясь только ими. Пальцами.

— М?.. — не поняла я.

— На пальцах нет вкусовых рецепторов, — а потом неожиданно поцеловал в живот.

Меня бросило в дрожь. Больше от непонимания, как реагировать. Но тут к топчану подошли все. Вот абсолютно все, кто был с нами на даче. Шесть человек с пивом, закусками, сигаретами, пепельницами. Основательно собрались и надолго обосновались. В тот день и вечер мы ни разу больше не остались наедине. А потом разговоры как-то потеряли значение. Не просто в этот день и вечер. А вообще потом. Всегда. Навсегда.

Мы больше не могли говорить, потому что разговоры о партнёрах вызывали у обоих необъяснимую агрессию, а остальные темы становились настолько натужными, они настолько истончились, что напоминали белую шёлковую простыню, прикрывающую гору мусора.

Мы с Юрой не созванивались и не виделись несколько месяцев, а потом как-то закрутилось. «Кто-то что-то сказал», «кто-то добавил подробностей», «кто-то налил грязи», «кто-то сарказм», «кто-то дошутил оставшееся». Всё это наложилось на импульсивность, сопутствующую молодости, всё это превратилось в обиду: кто сказал,

что между нами что-то было? Зачем? Всё это превратилось в стыд — я не такая, мы не такие. Мы друзья. Мы были ими. Мы слишком долго ими были, чтобы воспринять происходящее спокойно. Мы поругались, мы выясняли отношения, говорили глупости, мы были жестоки. И это всё, что я помню.

Но я не помню, что стало причиной. Поцелуй в живот? Фантазии, возникшие в тени розовых кустов? Страх перечеркнуть крепкую дружбу? Не знаю. Не помню, потому что все конкретные слова исчезли из памяти, оставив только ощущения. Не слишком приятные. Вот и всё.

Сколько лет с того лета, и вот мы рядом, мы всё забыли-простили, а заговорить без напряжения так и не выходит.

— Куда уезжал? — я снова поправила подушку и тяжело повернулась на бок. Всё болело, изнуряющая слабость мешала соображать, запах жареных пирожков дурманил и бесил до ужаса.

— В Израиль.

— А почему вернулся?

— Не знаю, — как-то растерянно качнул он головой, и мне стало ещё хуже. От тошноты и отвращения к пирожкам. Наверное.

— Делать что будешь?

— Обратно уеду. Наверное. А ты что? — теперь он выглядел испуганным. Смотрел прямо в глаза. Не мигая, будто ждал чего-то.

— Что я? Я не уезжала, не собираюсь. Не хочу. Не знаю!

— Ты чего нервничаешь?

Я улыбнулась:

— На астролога пойду учиться.

— На массажистку не иди, — он тоже улыбнулся.

— Ненавижу массажистов.

— И я.

Через полчаса ушёл. Номерами телефонов мы не обменялись. Я выписалась из больницы через неделю, меня забрал муж, а Юра уехал в Израиль. Наверное.

Если ты (с)будешь

Лети-лети, лепесток. К чёртовой матери лети. Возвращайся, сделав круг. Убедись. Убедись, что полёт этот тебе и не нужен был вовсе. Что ты, весь потрёпанный, наученный опытом решений трудных, зря летал. Зря хотел. Зря надеялся. Наделённый чужими ожиданиями, чужими мыслями, чужими взглядами, а свои — только комплексы. Лети-лети, глупый лепесток.

На Эверест лети. Ты знаешь, лепесток, зачем люди на Эверест ходят? Они говорят, что покоряют природу. Глупые люди, — их величайшее заблуждение, что они способны покорить природу.

«Покорить себя» — это тоже самообман, ведь люди и есть природа. Стихия. Безжалостная к себе и беспощадная к себе подобным. Они возвращаются, только если стихия им это позволила. Так зачем они туда идут? Чтобы обжечь лицо морозом до горячего мяса, чтобы измучить тело до изнеможения, чтобы дышать — через раз, два, три, вдох, раз, два, три, вдох — и бояться, что через следующие три раза вдоха не случится. Глупые-глупые, они ведь и сейчас через раз дышат.

Лети-лети, лепесток. Твоё желание сбудется. Или, скорее всего, нет. Ты большой

уже, лепесток, ты смело можешь отправиться к своему Эвересту. А потом придумаешь ещё множество чудесных мест, куда смог бы уйти от самого себя. И самим же собой убить.

Время меня не учит. Меня не учит смерть. Право, они и не вызывались. Ни новая морщина на лбу, ни свежий мертвец в кругу общения не наделены теми свойствами, которыми их наделяют люди. Глупые лепестки.

Сегодня я просто встаю с постели, славлю угрюмое солнце, вдыхаю морозный смог, листаю новости и расстраиваюсь новой смерти, которая снова меня ничему не учит. Она настолько близко сегодня, что опалила нос похлеще того мороза. Она забралась под одежду, под кожу и гуляет, заставляет вспоминать минуты, проведённые с теперь уже несуществующим человеком. Господи, как же она близко...

Сбудется-не-сбудется. И запятую некуда поставить.

Я надеваю платье, лето же, убираю волосы под косынку и выхожу из дома. Косынка, маска и платье — спасительные клочки ткани человека двадцать-двадцать. Они прикрывают всё, что нужно. Тело, немного располневшее без регулярного спорта; волосы, неудачно отросшие без возможности посетить салон; рот и нос, ставшие максимально уязвимыми в этом году. Мне уютно в маске, там мой нос и рот остаются моими, они перестают быть открытыми миру и помогают сохранить иллюзию безопасности, изолированности.

Я настырно крашу губы, пачкаю маску изнутри, но крашу, потому что это помогает хоть немного смириться с косынкой и свободным платьем. Это помогает хоть немного предупреждать синеву губ, которая неустанно довлеет надо мной. Угрожает, что ли.

Лети-лети, лепесток. Ты единственный, кому можно и должно летать в этом странном современном мире. Единственный, кому не грозит синева губ. Единственный, кто, отрываясь от «дома», забывает о нём. Единственный, кто не требует от смерти и времени научения.

Сегодня я просыпаюсь и думаю, сбудется этот день у кого-то или снова не.

А мой сбывается скудной мечтой: лишь бы был, лишь бы было. И так хочется дешёво пошутить: «И ничего бы мне за это не было». Но будет. И за шутку, и за день.

Завтра я встану с постели и сразу же отправлюсь за компьютер. Там сбывается моя жизнь, там я узнаю, что у кого-то она перестала сбываться. Новости и чувства, облечённые в чёточки и знаки, улетают сквозь ничто в никуда. Попадают в чьи-то защищённые тканью лица и головы и ровно ничего не меняют. Не меняют и нас, идущих настырной вереницей на Эверест, подставляющих незащищённые лица под удар, надеющихся на удачный спуск.

Лети-лети, не оборачивайся. Лети и забудь то место, откуда ты оторвался. Забудь, чей ты. Просто лети и наслаждайся порывом воздуха, швыряющего тебя из стороны в сторону. На одной из сторон тебе будет хорошо. Тебе станет. Если ты останешься, если ты сбудешься, в конце концов, у самого себя. Если ты это сбудешь. И. Будешь.

Это — лайк

Когда шла, дорога виделась опасной и мрачной. Впереди — голые когтистые кроны, на которых удобно устроился туман, тихонько стекая к земле. Каждый шаг вперёд давался с трудом. Со скрипом суставов, потому что с каждым шагом — ещё год.

Когда оглядывалась, дорога оказывалась чистой, широкой и хорошенько подсвеченной солнцем. Засвеченной. И недоступной. Странное чувство: я ведь видела

то, что впереди. Тогда почему, оказавшись позади, оно стало другим? Оно уже не подёрнуто пеленой страха и влажности, оно уже не туман, вызывающий одышку, опускающий тебя под воду воздуха. Оно уже не... Существует?

Первая минута.

— *Как думаешь, какой прыжок с парашютом страшнее? Первый или второй?*

— *Первый, наверное...*

— *Второй. Потому что ты уже в курсе, что о тебя ждёт.*

Моя мечта — неопытность. Я хочу идти вперёд смело, не пытаюсь навязать будущему своё прошлое. Правда, после первых пяти лет жизни это невозможно. А навечно оставаться в возрасте размазанной по лицу каши и криво надетых трусишек с клубничками — не хочу. Хотя, трусишки в целом ничего плохого мне не сделали. Как и каша. Как и детство.

Кстати, о детстве. Сейчас популярно его ругать, вызывать из каких-то бездн сознания своего внутреннего ребёнка и совать ему кашу в рот до первого рвотного позыва. Словно этот ребёнок не набаловался. Не успел. Может, просто взрослый не помнит и пытается занять себя чем-то, пока уваливает от работы?

Вторая минута.

Мы сидим за столом, а говорить не о чем. Иногда думаю, что лучше бы было не о чем есть. Не на что, не на чем. Незачем. Ты ни при чём. Это всё я — мятежная, суетная, не способная приспосабливаться.

Однажды мы сидели в твоей «селёдке» и ели попкорн, оставшийся после первого совместного кинопросмотра. Попкорн был липкий — со вкусом карамели и машинного масла. Он поблёскивал, казалось, даже подмигивал. Хрустел залихватски, помогая избежать тишины. Тишина тогда была предвкушающей поцелуй. Если замолчали, через секунду будем целоваться. Сейчас тишина отупляющая. Если замолчали, — через секунду забудем, кто мы такие и зачем здесь собрались.

Соберись. Соберись. Нам надо найти точку опоры, чтобы сохраниться для игры под названием «следующее утро». Чтобы проснуться вместе.

Третья минута.

— *Мама, ты знаешь, кто такие Мадам и Ева?*

— *Адам.*

— *Нет, мадам — как Мадам Газель.*

Когда из зеркала на тебя смотрит мадам корова, ты можешь просто разбить зеркало. Не обязательно на это смотреть, но обязательно — оправдать. Я родила, имею право. У меня проблемы с гормонами. У меня широкая кость и вместительное брюхо. У меня, у меня, у меня не хватает силы. Воли. Но у меня хватает словарного запаса и фантазии на любую сказку по поводу веса, внешности и характера. Попробуй подступись.

Мадам Ева была грешницей ещё задолго до появления змея. После появления — она стала честной грешницей. И каждое утро, причёсывая и одевая змея в сад, она думает о яблоках и саде. Другом саде. Другом. Другом-одевайся-быстрее-кому-я-говорю.

Четвёртая минута.

— *Ты знаешь, что такое диджитальная этика?*

— *Это какое-то новое модное слово.*

— *Оно модно обзывает потребность обузывать выворачивание трусов наизнанку.*

В социальных сетях.

— *А зачем его обузывать?*

алкоголик, трезвеющий по осени только для того, чтобы проглотить очередную книгу Пелевина, а потом — обратно в сумрак своего хмельного мира. Мать — «маникюрщица» в салоне у дома. Там салон — одно название. Обшарпанная комнатуха, не знающая свежего дыхания вентиляции, на два маникюрных столика и одно кресло стилиста. «Стилист» — парикмахерша, выполненная по советскому ГОСТу, с крендельками на голове. Из её рук все барышни окрестного района, возможности которых позволяли только этот салон, выходили такими барашками разного возраста и цвета волос.

Мать Тении работала два дня через два, хотя мечтала, возможно, работать девять месяцев через три, чтобы возвращаться домой к сентябрю, к трезвому мужу и задушевному разговору по вечерам. Как в их молодости. Она всё равно ни черта не понимала, что говорил её образованный муж, но слушать умела мастерски — профессия обязывает.

Тения была поздним, неумелым и неудачным опытом родительства. Однако саму девочку это ничуть не волновало. Дожила до возраста, позволяющего обслуживать себя самостоятельно, и ладно.

Она выводила в тетрадках «Тения» и морщилась, додумывая отчество. «Андреевна» — ну что за пошлость? Прикидывала, где она может жить, не используя отчество и фамилию, совсем неподходящие под имя. Новая Зеландия, к примеру. А ещё можно взять фамилию на мусульманский манер — по имени отца. Tения Andrew — куда ни шло. А можно просто замуж выйти за иностранца какого-нибудь с фамилией Тейлор. Чтобы уж совсем под актрису, в честь которой её назвала недалёкая мать. И снова Тения морщилась: замуж ей не хотелось ни при каких обстоятельствах.

Тении было тринадцать, когда к её пьяному отцу пришёл трезвый профессор. Он невзначай сдал правую ягодицу Тении, повернувшись к нему спиной, чтобы налить чай. Она вскрикнула, обожглась, опрокинув кружку, а отец яростно и неразборчиво рывкнул:

— Убери блааать, чо орешь, за жопу не трогали никогда?!

Не трогали, хотелось ответить Тении.

И не будут, резюмировала она, с того момента заботливо культивируя неприязнь к мужчинам, словно мало ей было неприязни к родителям.

Однажды осенью, когда Тении было уже семнадцать, отец не протрезвел. Он лежал в комнате, окна которой были плотно завешаны тремя грязными пледами — чтобы не дуло; у изголовья кровати, на полу, вальяжно распласталась лужа блевотины, подсыхая уже сверху; голова отца была повернута к ней, будто готовая извергнуть из себя новую порцию вчерашнего ужина и трёх литров водки. Она лежала словно отдельно от тела. Тения зашла в комнату, сморщилась, ей стало физически больно находиться здесь, в этой комнате, в этом доме. Больно находиться было в родстве с этим мужчиной. Она резким движением откинула от себя круглый и немного липкий набалдашник дверной ручки и вытерла руку о карман свитера. Выключила свет и, не закрывая дверь, вышла.

Уже в своей комнате Тения огляделась: тюль белый, вручную ею же выстиранный, аккуратно заправленная кровать, тумбочка с нехитрым набором тетрадок и инструментов — училась на ювелира, — две старые игрушки: одна от крёстной — фиолетовый ёжик, и одна от одноклассницы — кукла вроде-как-барби китайского производства, и сумка в углу для спортивной формы.

Тень подрабатывала помощником ювелира после училища, а позже, на сэкономленные деньги, ходила в тренажёрный зал. За зал она не платила, после

закрытия мыла полы, иногда не понимая, зачем она «таскает железо», если уборка качает мышцы не хуже.

Ювелирное дело она выбрала не случайно: нелюдимая, тихая и застенчивая, она не умела и не хотела работать, как сейчас говорят, в команде. Ей нужны были угол, куда она спрячет свою пятую точку от чужих взглядов и рук, и стол, чтобы уже свои руки приспособить к делу и не думать о том, чтобы их на себя наложить. Сам ювелир, у которого работала Тения, не вызывал никаких опасений: невысокий плотный дядюшка из сказки, с белой лохматой бородой и добрыми голубыми глазами. Он носил коричневые вельветовые брюки и такой же фактуры пиджак, больше похожий на куртку с кучей карманов. Он знал Тению с детства, когда она вместе с матерью приходила оценивать небогатое добро: тонкие цепочки и серьги прабабки, крестик самой Тении, обручальные кольца. Когда золото кончилось, девочка приходила уже одна. Просто так. Смотрела, как ювелир работает. Он надевал на глаза какие-то инопланетные очки и низко склонялся над столом, мерно отбивая молоточком «золотой» ритм.

Тения тоже инстинктивно склонялась, упираясь лбом в стеклянную витрину перед ним. Ювелир её не прогонял, просил только встать сбоку, а она и довольна — сбоку ещё лучше.

Однажды спросил:

— Чего ходишь сюда?

— Интересно... Можно просто посижу?

Через пару месяцев снова спросил:

— Хочешь научиться?

— Хочу.

— Тогда в училище поступай, туда конкурс небольшой, можно на бюджет попасть. А после учёбы будешь ко мне ходить.

— Буду.

— Будешь, конечно. Ты и так ходишь. Я тебе стол сделаю.

— Мне? Стол? Такой же, как у вас? — стол Тении очень нравился. С тремя выдвигающимися — как их назвать? — «подстольниками».

— Верстак называется. Такой, как у меня, не сделаю, места мало. Маленький будет. Вон в том углу.

Тения проследила за взглядом ювелира. Угол ей понравился, сейчас там стояли коробки с проводами.

— Это от ремонтника телефонов осталось, забёрет, сказал. Три года назад сказал, — ювелир ухмыльнулся.

— Я тогда пойду? В училище схожу.

— Сходи.

Тения поступила в училище и теперь наблюдала за работой мастера не через витрину, а из-за спины. Коробки с проводами вынесли и поставили на их место небольшой столик. Тения любила этот столик, её собственный, для неё выточенный. И табурет любила. Ювелир и его сколотил специально для неё. Вместо двух стульев у входа они поставили небольшой диванчик, его отдали на сайте бывших в употреблении вещей. Иногда Тения оставалась в мастерской до утра, ложилась на диванчик, поджимала ноги и спала намного лучше, чем дома.

Той осенью, когда отец не протрезвел, Тения собрала вещи, без труда уместила их в спортивную сумку, выключила в квартире свет и ушла в мастерскую насовсем.

Когда хлопнула дверь, отец очнулся, втянул в себя смрадный воздух и взревел, не понимая, где находится:

— Где свет?! Тень, где свет?! Включи!

Но ни Тени, ни света в доме больше не было.

Гороховый суп

Люди группами ходили по пустырю недалеко от спального района. Искали шестилетнюю девочку. Пустырь, по размеру с небольшую деревню, не слишком хорошо просматривался. Трава разной высоты, проржавевшие баки, автомобильные шины, мусор горками то тут, то там. Всё это мешало поиску, приходилось осматривать буквально каждый сантиметр. Люди были напряжены. Так бывает, когда ты готов найти то, что очень ищешь, но не уверен в невредимости искомого.

Стояла тишина, спускались сумерки, дома спального района покрывались горящими окнами, словно сыпью. В такой момент было непонятно, как вообще можно возвращаться в квартиры, зажигать свет, включать чайник, ужинать, смотреть телевизор. Казалось, мало людей, мало собак, мало надежды и много только места, много страха. И темнота спускалась на пустырь, превращая баки, мусор и шины в злокачественные наросты на фоне неба оттенком чуть светлее.

Девочку звали Ириша, она ушла в сторону пустыря семь часов назад. Камеры видеонаблюдения близлежащих магазинов не вращались — Ириша ушла совершенно одна. В своей красной курточке шла, и долго не расплывалась в кадре. Было даже видно, как подрагивает на каждом шагу её длинный высокий хвост. Ириша шла уверенно, а потом растворилась, будто и не было её вовсе.

Но родители утверждали, что Ириша есть и обязательно найдётся. Отец обходил пустырь вместе с волонтерами, маму отправили домой, и она сидела, сложив руки на коленях, уставившись в потёртое полотно входной двери. Бабушка, которая сразу же приехала с другого конца города, ходила по квартирам их многоэтажки и в каждую стучалась. Многие соседи сразу после её визита накидывали куртки, брали телефоны и термосы и выходили. А другие не выходили. Они следили за поисками из окон, которые как раз смотрели на пустырь. Фотографии Ириши разлетелись по всем местным интернет-пабликам, пользователи делали репосты. Даже в других городах подхватили и разнесли мордашку Ириши по областным страницам. Люди хотели быть полезными, причастными. Даже если далеко, они — словно приняли на себя часть забот и немножечко родительского горя.

Все они, ну, кроме тех, кто прочёсывал пустырь и близлежащие районы, занимались параллельно делами, нет-нет да и поглядывая в окно или в Инстаграм. Детей в тот вечер гулять никто не отпустил.

Совсем стемнело. По пустырю прыгали длинные, словно дороги к чему-то хорошему, жёлтые лучи фонарей. Они перекрещивались, освещая то лица, то подмёрзшую землю, помогали разве что не споткнуться и не столкнуться друг с другом. Люди уставали, замерзали и шли всё медленнее. Они переглядывались с теми, кто находился в зоне видимости, встречались глазами и отводили их. Росло напряжение, которое предшествует опущенным рукам. Сложно признавать, что задуманное не выходит, что, возможно, впереди дурная весть, что красная курточка растворилась в воздухе навсегда. Сложно поверить, что твоя помощь оказалась напрасной, и долго

ещё придется сожалеть и думать о том, что не сделал чего-то важного. Не доделал. Не дошёл. И надо было посмотреть ещё во-о-он там...

Мать Ириши встала со стула, который был максимально приближен к входной двери. Она с некоторым усилием вытащила правой рукой мобильный телефон из левой. И положила на тумбочку. Встала. Придерживаясь за стены коридора, прошла на кухню и включила свет. Он ослепил её, и слёзы, которых вроде бы уже не оставалось, снова выступили на глазах. Мама достала из холодильника кастрюлю с супом, который готовила накануне — на всю неделю готовила, потому что в рабочие дни не удавалось состряпать свежий ужин. Кастрюля была белая, суп жёлтый. Гороховый с копчёностями, такой Ириша любила больше всего. Картошка мелкими аккуратными кубиками, разваренный до кашицы горох и копчёные свиные рёбра, предварительно прокипячённые и порванные вручную так, чтобы не куски были в супе, а практически волокна. Из-за этого у супа был потрёпанный вид, но на вкусе это никак не отражалось. Мама посмотрела на своё отражение в мутном стекле серванта. Не прерывая контакта с самой собой, выдвинула ящик и достала ложку.

Крышка оставила на столешнице круглый неровный след, светло-жёлтый с осколками тонкого жирного стекла, которым подёрнулся суп на холоде. Мама ела суп, загребая его прямо из кастрюли. Одна ложка, две, три. Седьмая. Она считала про себя, словно пыталась проверить, сколько ложек супа вместится в неё. Сколько в кастрюле всего ложек, сколько придётся так стоять, пока она не достигнет дна. Супа было по меньшей мере литров пять, и дно — совсем нескоро.

Волокна копчёного мяса застревали в зубах. В эти моменты мама откладывала ложку и ногтями их выковыривала, помогая себе отражением в мутном стекле серванта. Видно всё равно не было, но зеркало всегда придаёт уверенности, когда ты делаешь что-то со своим телом или лицом. Зеркало помогает смотреть в себя пристальнее, видеть больше, чем можешь. Оно помогает удостовериться, что ты точно существуешь и мясо между твоими зубами — настоящее.

Четырнадцать ложек спустя мама глубоко вдохнула и открыла кран, чтобы налить воды в бокал. Больше есть не хотелось, но закрыть кастрюлю и убрать суп в холодильник не поднималась рука. Время ужина. Обычно именно в девять Ириша просила суп. Каждый вечер. Суп — основное блюдо в её рационе. Она любила суп. Просила его каждый вечер. Ни один вечер не обходился без супа. Ни один. Каждый вечер Ириша просила суп. Каждый вечер... — вода перелилась через край высокого бокала, потекла по рукам, захлопотала по железной мойке, забрызгала живот мамы и кафельную стену. Мама бросила бокал в мойку, он лопнул и развалился на три крупные части, она прижала мокрую руку к животу, сдавила его ладонью и громко заплакала, согнувшись пополам.

Люди больше не сбивались группами, расходились с пустыря по одному, отворачивались от назойливого света милицейских мигалок, выключали фонарики. Многоэтажные дома ближайшего к пустырю района постепенно темнели, окна закрывались, гас свет. Гороховый суп с копчёными рёбрышками стоял на столешнице целых восемь дней.

Валентина Петрова

Формы насилия

Рассказы

Кислород

Я никогда бы не смогла мыть посуду в перчатках, и я не думаю, что со мной что-то не так. Чистая тарелка под пальцами скрипит, а в перчатках ты так и не поймёшь, сделал ли тарелку чистой. Говорят, что вода и мыло «портят ногти и руки», но я не понимаю, что это значит. В любом случае, утром в списке дел, который дала мама, посуды не оказалось. Хотя сегодняшний день всё равно будет сложным. На завтрак не омлет, а овсянка, а перед завтраком придётся помыться. Не слишком приятно. Мы так и не убрали зеркало из ванной, хотя никто из нас ему не рада.

Когда я вижу себя в зеркале — без одежды, — я убеждаюсь, что меня ничто не укрывает, кроме кожи. Вижу что-то несчастное. И неопределённое. Рёбра торчат, а задница большая и мягкая. Плечи костлявые, но очень широкие. Я никак не могу понять, какая я: толстая или худая, красивая или нет. Только голова кружится. Хотелось бы знать, что видят в зеркале другие женщины — увидеть их в зеркале, — но в раздевалках всегда так неудобно. И плавать я не умею. Вода тоже какая-то неопределённая, вода страшная. Я вспоминаю, что тоже смогу стать водой, если кто-нибудь не крикнет: «Да ты тонешь! Плыви!»

После мытья мы собрались в магазин. Его, правда, не было в списке дел. Я бы предпочла следовать списку, иначе вообще непонятно, зачем он нужен. Но мама заметила, что осталось всего девять яблок и нож уже тупой, поэтому магазин необходим. Прямо сегодня, сейчас.

— Может, сама сходишь? — предложила я. Мне не слишком нравится ходить с ней в магазин. Особенно зимой.

— А кто потащит пакеты?

— Я могу дать тебе свой рюкзак. Он удобный.

— «Орёл» — вместе, «решка» — нет, — предложила мама. Мы давно договорились, что никак не можем договориться. Поэтому решаем споры монеткой. Даже там, где спора нет. Например, мне всё равно, делать ремонт в этом году или в следующем. Мне просто здесь не нравится.

Валентина Петрова родилась и живёт в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Печаталась в журналах «Сибирские огни» и Homo Legens. По мотивам рассказа «Почитай отца своего» снят короткометражный фильм «Я остаюсь» (реж. Григорий Коломийцев).

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Кидай!

Мама подкинула монету, а я поймала. Правда, мы чуть не столкнулись. Она, а значит, и я — худые и неловкие, а это вот что значит: битые кружки, падающие книги, голени в синяках, как у алкоголиков. Только без капли алкоголя.

— «Орёл». А ты сможешь мне застегнуть пальто, мам?

— Ты его третий год носишь уже.

— Но я же знаю, что ты мне сможешь.

— Конечно, пока я жива, — мама вздохнула. Она всегда вздыхает, когда говорит о своей смерти. Будто все как-то отменили смерть, одна она не справилась и теперь вынуждена однажды умереть. Если судить по «Отче наш» и кладбищу, куда мама водит меня к бабушке, — бог хочет, чтобы мы умерли, вот и вся божья воля. Что мы делаем, пока живём, его не очень интересует.

Мы почти дошли до маленького магазина, когда мама решила пойти в большой. И мы поскандалили. Она говорит: в маленьком магазине нет ламп. Я говорю: лампы вообще не было в списке! К тому же в «Карусель» нужно идти не по той стороне улицы, где мы сейчас. У меня два аргумента, у неё один. Вроде бы я права, поэтому ною всю дорогу до большого магазина.

— Меня на этом светофоре чуть не переехали, хотя горел зелёный! — напоминаю я. — Это самое жуткое место в районе!

— Просто смотри по сторонам, — смеётся мама. Она легко относится к светофорам, спискам, инструкциям, она ездит на работу на метро и перебегает на красный. По-моему, она ничего не боится. Когда я перестала считать себя приёмной, мне стало ещё сложнее это понять. Почему у неё родилась я? Возможно, она работала на ртутных заводах? Дышала отравленным воздухом? Вызывала в детстве Пиковую даму и не сумела её прогнать?

Магазин, как всегда, белый и светлый. За каждым покупателем по пятам следует уборщица и стирает его следы. За нами с мамой идёт одна — я давно отказалась понимать, как здесь устроены отделы. Они вроде бы параллельны друг другу, но не совсем. Если бы только посмотреть сверху... На карте Флоренции, которую я видела в гостях, все улицы сходятся чуть-чуть под углом — во Флоренции, кажется, нет ни одного ровного прямоугольника. Такая прогулка должна путешественника с ума сводить: ты всегда выходишь немного не туда.

Примерно то же у нас в «Карусели». Сбитые с толку покупатели плачут в рис и даже по собственным следам вернуться не могут. Одна только мама (и, может, другие мамы тоже) способна пройти этот лабиринт. «Там, где шампунь, недалеко будут носки, понятно? В этом есть логика», — объясняет она. Нет, мама, в этом никакой логики нет.

Мы надолго застреваем в молочном отделе: нужно проверить все сроки годности, чтобы у нас дома было хоть что-то свежее. У молока из орехов (которое, по сути, абсурдно) стоит мужчина. С тёмными волосами в хвостик и нежным лицом. Я взвешиваю его глазами, измеряю, трогаю, но так и не могу понять: это хорошо или плохо? Мне нравится или нет?

— Мам, — спрашиваю шёпотом, — вот тот мужчина, он красивый?

Конечно, я ошиблась. Мама открыто поворачивается к нему, а он, почувствовав взгляд, — к ней. Они рассматривают друг друга, пока мужчина не решает, что молоко интереснее моей матери. А та смеётся и громко говорит:

— Милая, ему лет двадцать!

— То есть некрасивый?

— Ты в два раза его старше. Даже не смотри на таких. Ты для них мебель. Только не обижайся, кто тебе ещё скажет правду? Да он ещё не мужчина. Зато перед ним весь мир лежит.

Парень, кажется, не чувствует, что перед ним лежит весь мир. Он очень низко склонил голову, но не видит упаковку, которую держит в руках. Мама и вправду говорит громко. Его так жалко, будто на его месте я. Впрочем, я и так на его месте. Зато вместе с ним.

Мама наконец-то выбрала молоко и творог, и моя корзина становится тяжелее. В ней лежат:

1. Зубная паста
3. Лампочки (которых не было в списке)
4. Масло
5. Молоко
6. Творог
7. Хлеб
8. Яблоки.

Я жду возле кулинарии, когда мама принесёт «2. Капусту», и смотрю, как люди покупают кофе. Бариста совершает одни и те же действия, касса издаёт один и тот же звук. Очередная покупательница высыпает в кофе пол-пакетика сахара и берёт деревянную палочку. Я вдруг вытягиваю шею: она трижды размешала кофе по часовой стрелке и начинает мешать против часовой! Это очень правильно. Это по инструкции. Это обещает, что всё действительно будет хорошо.

Точно не знаю, когда её ум начал рассыпаться. Видишь ли, она внимательнее следила за мной, чем я за нею. И так, мне казалось, было правильно: родители следят за детьми. Был вечер, когда она не составила заранее мой список дел и сочинила его на ходу. А на следующий день она вдруг поставила на поднос кофе, молочник, печенье, мёд — и понесла к компьютеру.

— Что ты делаешь! — я, конечно, очень испугалась, да кто бы не испугался?

— А что?

— Мы не носим к компьютеру кофе!

— Почему?

— Потому что кофе нельзя носить к компьютеру! Только воду и сок!.. А, ты шутишь? — вдруг дошло до меня. Я и сама так шутила с ней: например, приносила вместо соли соду. Мама посмотрела на меня, склонив голову так, что под серыми глазами появились серые тени. Кажется, она не надеялась, что я оценю шутку, — такое у неё было горестное лицо. Но я всё равно засмеялась.

Был ещё день, когда она повела меня в магазин, но пошла не по той стороне улицы. Не мне назло, как тоже бывало, — она, кажется, совсем не думала, что делает что-то не так. На этой стороне первое весеннее солнце — и хорошо, пойду там. Красная куртка под светом отливала оранжевым, жёлтым и белым, будто мама горела. Я следила за нею глазами с правильной стороны улицы и думала, как так выходит: она всегда на солнце. Я всегда в тени.

Вернувшись, я первой села за компьютер и сразу открыла её дневник. Раньше он был нашим общим, но я перестала туда писать, а новый файл заводить поленилась. Мне хотелось — да и сейчас хочется — свободы. Есть же где-то другая жизнь. Когда смотришь «Орёл и решку» или читаешь какие-нибудь сплетни о звёздах в Интернете, можешь туда заглянуть. Там тоже подбрасывают монетку, но она значит что-то большее, чем «когда вызывать сантехника». Кричат, а потом расходятся навсегда, не примиряясь друг с другом.

За месяц мама не записала ничего. Ни единой записи. Никаких «Дорогая дочь, я чувствую, что мы отдаляемся друг от друга». Или — «Завещание». Вообще ничего. Теперь я даже не знаю, что неделю назад было на ужин. А она сидела себе в кресле, рассматривала мой портрет на спине и не казалась обеспокоенной. Что-то было в её лице от свечи: маленькое пламя и тающий воск.

Правда, потом она мне подмигнула.

Месяц мы прожили почти спокойно. Мама перестала ходить на работу, или её попросили туда не ходить. Она не рассказывала и не плакала, поэтому я не знаю. На жизнь оставалась её пенсия, моя пенсия и моя подработка — уборка в магазинчике косметики. Меня в этом месте любили, потому что мне действительно нравилось, помыть полы, расставить помады по номерам. Я любила это место: за цвета, запахи и какую-то ненастоящность. Мир, где женщины яркие, красивые и покупают ненужные вещи. Только непонятно было: у всех есть деньги «на жизнь», у меня тоже, но какая разная эта жизнь.

Мама продолжала по чуть-чуть нарушать правила. То не так завяжет пояс у моего пальто. То приготовит торт — в день, когда не планировалось никакого торта. Меня это просто с ума сводило: она старается делать всё по правилам, но иногда ошибается, или старается нарушать правила? Особенно неприятно было вечером. По расписанию у нас как раз свободное время. Мама качала на ноге «восточную» тапку с загнутым носом, я автоматически начинала качать свою, с резиновыми каблуками, а сама наблюдала за нею. Спина у мамы по-прежнему прямая, а губы накрашены (это её личные правила, не наши). Светлые волосы, и от них тёмные тени на лице. Моя мама, дочь «чуди северной» и татарина, бухгалтер без работы, любительница ИКЕА и акций «2+1» в магазине. Миндаль предпочитает арахису, сантехнику моет только средствами с кислотой. В юности любила походы. Где-то между спальных мешков и котелков отыскала моего отца. Он умер, она отремонтировала кухню. Я сейчас старше, чем когда-то был он. У неё духи с лилией. Это всё она, но огонёк, который мерцает в её лице, важнее всего остального — и никак с остальным не связан.

«Ты придумала, как нам жить, ты приучила меня так жить, а теперь пытаешься сбежать? — злилась я, а вслух сказать не могла. — Если я поеду в Израиль, я не возьму тебя с собой!»

Сначала я увидела тарелки — обычные чистые тарелки — и только потом маму. Она мыла посуду новой губкой, фиолетовой, которая из-за мыла казалась сиреневой. И в жёлтых перчатках. Ужасных перчатках. Перчатках, которыми я не умею пользоваться.

Я сейчас попробую рассказать, что сделала, хотя помню всё как сквозь пламя. Мне всё ещё жарко, когда я вспоминаю, что сорвала с неё перчатки, ударила по лицу, свалила в кресло и прикрутила к нему скотчем. Конечно, на мне остались синяки, но как-никак все тяжести в доме таскала я. Вот что меня разозлило: как она в перчатках поймёт, что посуда чистая? Как я пойму? Мы теперь будем есть с грязной посуды? Готовить когда попало? Бегать через дорогу туда-сюда, пока идём в магазин? Что ещё она придумает, чтобы разрушить мир?

— Тебе нужны новые правила, — сказала мама со своего места. Я не заткнула ей рот, просто не сумела.

— Мне нужно, чтобы соблюдались старые!

— Нужны новые правила. Потом другие. Ты должна научиться меняться. Всё меняется.

— Мы не менялись, — я села перед мамой на колени. Вдруг ещё можно объясниться и исправить? — Пока мы не менялись, не менялось ничто. Ты всё портишь.

— Конечно, менялось. Ты просто не видела. У меня был роман на работе — помнишь Александра Ивановича? Мы расстались. У меня случился нервный срыв, но я сходила к психотерапевту. Ты закончила школу. Я получила повышение. И состарилась.

— Тебе это кажется. Вот! — я содрала со стены её портрет и держала перед её лицом, пока она не опустила глаза. Я не врала: она по-прежнему выглядела как двадцать лет назад.

— Я чувствую, что состарилась. У меня в волосах седина. Трудно вставать с кровати.

— Купим кровать повыше.

— У меня Альцгеймер, — сказала мама. Она снова смотрела на меня, а в глазах трепетал тот огонёк, и что-то плавилось внутри.

— То есть ты и вправду забываешь, как нужно делать?

— Иногда забываю. Иногда специально делаю не так. В конце концов, это не мои правила, а твои.

— Мои?! Я ненавижу их, но я не могу по-другому! Ты их придумала! Ты заставила меня, помнишь? Когда я помылась часом раньше, чем по плану, ты возила мне по лицу землёй из цветочного горшка, а?

— Честно — уже не помню. Но в эту историю не верю. У нас никогда не было цветов в горшках, — грустно сказала мама. — Алечка, я понимаю, как тебе неприятно, но эти правила — твои. Они нужны были тебе. Но сейчас тебе нужнее новые.

— Пока ты жива.

— Пока я жива. Ты уже достаточно взрослая, чтобы понимать это.

— Не хочу!

— Аля, это не больно. Почти. Мы обе будем стараться. У тебя будет свой дневник. Своё личное время. Свои предпочтения.

— У меня их побольше, чем у тебя!

— Да? И чем ты любишь мыть сантехнику? Какие мужчины тебе нравятся? Ты любишь авокадо?

— Люблю.

— Не любишь. Ты всегда морщишься, когда ешь гуакомоле, и ни разу не просила добавки. Авокадо люблю я.

— Хорошо! Я узнаю, какие у меня правила! Но тебе не понравится! — закричала я. Мне хорошо видно было, как разгорается огонёк в глазах, как она прохладно улыбается, вырываясь из моей любви. — Вот вопрос: я люблю убивать мать?

— Мне кажется: нет.

— Я же не пробовала! Мне нужны новые правила! Орёл — «да», решка — «нет», нож для филе!

Наша монетка, как всегда, лежала на полке с тарелками, так что я подхватила её и подбросила. Если бы мы были в кино, она встала бы на ребро. Но мы оставались собой, несчастными и неловкими: я-то бросила монетку, но некому было поймать её, поэтому та вылетела в окно. Больше таких монеток в доме не было: этот Екатерининский пятак достался маме от её отца. Ни одной правильной монетки в доме не было. Жребий брошен, но не определён.

От растерянности я упала на колени и разрыдалась. Я же не знала, что делать, чтобы стать свободной. Какой список составить и какие правила соблюдать.

Наверное, я не стану втыкать нож для филе в свою маму.

Но развязывать её точно нельзя.

Формы насилия

Сначала Егор отрезал ей голову, а обезглавленную тушу повернул на бок и кончиком ножа сделал четыре косых надреза. Они легли параллельно под углом в тридцать градусов к телу. В каждый он втолкнул по ломтику апельсина, потом, раздвинув двумя пальцами выпотрошенное нутро, вложил внутрь веточки растений. Готовится скумбрия около двадцати минут, духовка выключится по таймеру. Когда Егор с Дамиром вернутся, рыба будет ещё горячей.

Берцы в прихожей стояли в лужице: в глубокие подошвы забивается снег, чтобы выпасть в тепле дождём. Дамир уже топтался рядом с дверью, иногда трогал её лапой: он очень боялся, что Егор оставит его дома.

Дог спокойно шёл на поводке, даже не смотрел на людей, но на светофоре, пока тот отсчитывал от одного до сорока, вдруг лёг в месиво у тротуара. Утром снегоуборочные машины сгребли с дорог грязь вчерашнего снега и швырнули под ноги прохожим. «Дряни, твари», — выругался Егор. Выходило, перед тем, как разуться и скинуть джинсы, перед тем, как найти домашние брюки, помыть руки, извлечь из духовки скумбрию, — выходит, перед жратвой придётся мыть Дамира. Он не захочет лезть в ванную. Засученные рукава непременно сползут и намокнут. Вымытый Дамир отряхнётся так, что всё вокруг покроется мелкими брызгами. Дрянь, тварство.

У футбольного поля он спустил дога с поводка и закурил. Дамир описывал круги по газонам слева и справа, еле касаясь земли, высунув язык, сужая траекторию, взлетал мокрый снег из-под лап. Он должен был бы закончить бег у ног хозяина и попросить одобрения, но вдруг пропал за спиной, а она слепая, она беззащитная. Егор закрутился на месте.

Оказалось, к ним приближается Марта, борзая сучка, и её хозяйка, девочка за тридцать — ненакрашенная, как девочка, и стеснительная, как девочка, а шею уже сжали морщины.

— Давай сегодня по-быстрому, — предложил Егор.

Таня кивнула, хотя она, может, хотела бы пройти длинной дорогой, где через реку перекинут горбатый мост и ещё один длинный — через овраг.

Третий, кто ходил с ними, сегодня не мог. Шли вчетвером. Егор и Таня молчали и шагали ровно, Дамир и Марта обгоняли, отставали, бросались наперерез, перетягивали палку и теряли её, чтобы подобрать вновь. У стойки для велосипедов собаки и вовсе устроили потасовку — пытались кусать друг друга за шеи, прыгали, лаяли и в конце концов с шумом скатились со склона под ноги какому-то ребёнку. Тот с визгом отпрыгнул и закрыл лицо руками, а его бабка крикнула:

— Озверели, звери?

— Простите, — растерялась Таня, а Егор крикнул:

— Иди ты!

Таня подняла на него глаза с короткими ресницами и тут же опустила голову — видно было, как провисла кожа под челюстью. Егору захотелось смеяться. Дога боялись, а значит, и хозяина тоже: с Дамиром опасным самцом становился и Егор. К догу подходили с почтением, следили за собой — голоса становились тише, движения осторожнее. Когда Дамир вскидывался, и клал передние лапы на грудь, и смотрел, прохожие переходили на шёпот: «Милый, милый пёс... Иди, милый». Это было уважение. Опасение. Почтение. Ими возвращался с лихвой его стыд, его желание.

Егор не признавался, что его приятно задевает трепет перед напряжённым и готовым сорваться зверем. Ему просто было хорошо. Он смотрел на Таню, которая

все ещё склоняла голову перед ним, и думал, что мог бы разозлённым догом загнать её к себе, а там, а там... Но они дважды в день гуляли вместе с собаками, и Таня была важнее лёгкой мысли, она нужна, чтобы не брести в одиночку.

Через пятнадцать минут они попрощались и разбежались, хотя жили в соседних домах: она всегда перебежала улицу, пока он ждал светофора. Как утром, он отсчитывал от одного до сорока и смотрел влево: туда, где Таня бежала через дорогу, а машины гнали с горизонта, надеясь её поймать, и не могли. Марта оглянулась на Дамира, а затем с неба повалили хлопья снега и спрятали ту сторону улицы.

В предбаннике возилась с ключом соседка. Они с Егором делили на двоих четыре метра между квартирами, то есть как делили: там стояли санки внука Натальи Ивановны и самокат её внука, её мешок картошки, коробки кафеля, который зять Натальи Ивановны забрал в прошлом году с работы, и его, этот кафель, ещё не перестали искать. Ещё ящик лука, уже сочащийся жидкостью и пахнувший мягким и сладким, вроде гноя. Наталья Иванна прочно захватила четыре метра. Не сегодня-завтра она постучит к Егору и попросит поставить у него пару своих шкафов, а тот не сможет отказать.

Дамир почувствовал напряжение и зарычал. Шерсть на спине встала дыбом. Соседка, обернувшись, попыталась проговорить:

— Собачинька... — когда дог залаял, рванул, натянув поводок. Егор чуть-чуть разжал кулак, так, что один виток поводка упал с руки, Дамир сделал ещё два шага к соседке, та вжалась в свою дверь. Пёс лаял и хрипел, пока Егор проворачивал ключ в замке, пёс неохотно протиснулся в прихожую за хозяином.

— Егор! — успела крикнуть старуха, но тяжёлая дверь уже замкнулась, оборвав её голос. А Егор ещё сердился, будто она и вправду стоит в его квартире, и требует, и молит поставить здесь свой шкаф.

Когда внутрь под давлением вгоняют воду с песком и примесями, в какой-то момент казавшееся плотным вещество разрывается, распахиваются тонкие щели. Эту воду называют жидкостью разрыва. Чтобы разодрать ткани, необходим очень мощный насос. Так из истощённых скважин силой вытягивают остатки нефти, что прячутся в горной породе. Статью о гидроразрыве нефтяного пласта Егор должен был сдать только через два дня, но сейчас она почему-то очень хорошо шла. Он уже перевёл комментарий инженера в человекоподобную речь, когда пришёл Морозов. Под первую рюмку они обсудили перспективы разработок нефти в Северной Дакоте, потом пили. Пока Морозова не понесло:

— Смотри. Полквартиры она мне не выплатит, не сможет. А я ей хату не оставлю.

— Володя, куда ей идти? На вокзал? А сыновья как же?

— Раньше надо было думать, куда идти, когда налево пошла. Пусть на вокзал идёт, если хочет. Я, веришь, за десять лет ни разу ей не изменил.

— Изменил бы сразу, а теперь у вас двое детей, Володя. Вы о них подумайте. Вы нормально живёте, Юля баба умная, ты такую больше не найдёшь, — уговаривал Егор и сам себе не верил: живут они тесно, сыновьям плевать, а Юля дура. Жена изменила Морозову два года назад, но тот пока не решил, как отреагировать. Развестись? Простить? Завести любовницу? Дураку изменила дура, он хочет изменить ей с душой. Такая скука от этого, будто поскользнулся, упал и копошишься. Егор старается говорить серьёзно, а чувствует, что глаза у него скучные, губы скучные, даже нос скучный, и пытается прикрыть лицо рукой, будто лоб чешет.

— А ты не три залысины, Силянский, не зарастёт, — сказал Морозов.

Дамир под столом положил голову на ногу хозяина и спал; когда Морозову

изменила жена, Егор завёл дога, как талисман, что ли. На верность. С тех пор он вроде как рос внутри себя и вот-вот должен был проклюнуться, а Морозов мешал.

Ночью дог встал на кровати и залаял в окно. Егор проснулся. У подъезда стояла машина, не приглушив мотор, возле неё разговаривали какие-то люди и злили Дамира. Окно мягко сияло, но не освещало спальню, виден был только чёрный остроухий силуэт собаки. Люди не уходили, Дамир лаял долго, ещё дольше не спал Егор. Он пытался вспомнить, откуда цитата — ухватил фразу: «И всё-таки она шла к нему!» — и знал, что она вроде была мужней женой, — но никак не мог. Это просто с ума сводило.

Если не там выберешь, устроишься неудобно, то и дальше нехорошо будет. Егор встал так, чтобы всех слышать, и приваливаться спиной к стене. Оказалось, если есть две двери буквой «Г», если их открывать по очереди, то дуть будет прямо на Егора. Он попробовал подставить сквозняку ухо, потом шею, лицо. Спрятаться за соседнего человека значило оторваться от стены. Да и сосед был ненадёжный — тонкий, рыжий.

— Что ребёнок! В тридцать второй вообще собака ночами лает! — вдруг сказал рыжий. Силянский про себя не согласился: Дамир лаял сегодня ночью, а не ночами.

— Да, Цербер там знатный, — согласилась старшая по подъезду. Тётка с красными волосами недавно собирала на похороны какой-то Галины с девятого этажа. Когда Егор смог утихомирить дога и запереть его в ванной, он дал двести рублей, пускай и не был уверен, есть ли в доме девятый этаж.

— Лаял... Огрызается!.. Он ребёнку в парке лицо откусил, малыш лицо руками держал! — оживились люди. Егор подумал, что они, наверное, тоже с девятого этажа.

— Он на меня свою собаку натравил! — крикнула Наталья Иванна, которая, разумеется, тоже пришла. Глаза глубоко в глазницах жаловались: обидел! Мучал старуху!

— А у вас лук сгнил! — огрызнулся Егор.

— Её лук вас не касается! А ваша собака — лает! — ответил рыжий. И вдруг добавил: — А мой ребёнок почти и не орёт!

— Следующая проблема с вашей собакой — и мы будем решать вопрос через полицию. — Красноволосая хлопнула в ладоши: — Теперь следующий пункт, — она вдруг понизила голос, будто выдавала тайну. — Вы хотите, чтобы по подъезду ходили наркоманы уторченные?

— Нет.

— Тогда сдаём по пятьсот рублей на консьержку, — старшая снова хлопнула в ладоши. Это был её способ ставить восклицательные знаки.

— Может, по двести?

— За двести могу нанять слепую. Вы вот чего хотите: чтобы по подъезду наркоманы ходили под кайфом, в хлам, удалбанные? — нежно прищёптывала она, а Егор уже шёл домой. Там он высыпал конфеты из вазы на стол и аккуратно разделил их по видам. Получилось пять кучек. Пересчитал. Из тех кучек, где было две, четыре, шесть, восемь или десять конфет, съел по одной. Дамир стоял рядом и трогал его лапой, Дамиру хотелось играть с хозяином уткой или тентаклем. Егор перекалывал конфеты в три горки: карамели, шоколадные, желейные. Ему не хотелось больше встречаться с полицией. Тогда они ворвались рано утром; тогда он стоял в трусах, а они открывали все дверцы и выдвигали ящики, но возразить было нельзя.

Спина под рубашкой покрылась горячим потом, ткань впитала его и остро запахла. Тогда у Егора не было дога, а сейчас он есть.

Еле терпишь: он стискивает бёдра, он давит на затылок, его соски твердеют под одеждой — мороз начался в ночь на воскресенье и ко вторнику набрал полную силу. Таня спрятала стареющую шею в шарф и выглядела девочкой. Хотя Егор никогда не ездил на охоту, охотничий костюм у него был — в таком можно лежать на снегу и не мёрзнуть. Его он и надел.

— Давай долго, — сказал Егор Тане. Слова вылетели паром изо рта и инеем легли на шарф. В этих белых линиях можно было бы прочесть: «Давай долго», но только на каком-то северном языке, на анбуре, может.

Они прошли горбатый мост над ледяной рекой и длинный мост над оврагом. Егор трижды раскаялся, что предложил длинный маршрут, но отказаться не мог. Возле футбольного поля они уже собирались разойтись: Тане перебежать дорогу, Егору ждать зелёного света, но Дамир вдруг рванул через газон за человеком в дублёнке. Человек не бежал, боясь поскользнуться, — дог рванул его за полу дублёнки, протащил по льду и уронил. Егора захлестнул восторг, такой сильный, что он едва не закричал: «Убей, убей!» От моего, моего зверя пытался скрыться! Он неспешно пошёл к Дамиру, который уже стоял на груди жертвы и лаял в лицо, а жертва сучила ногами, как в судороге, и не могла зацепиться за землю.

Егор сказал «фу!», дог тотчас спрыгнул с человека. На льду лежал рыжий из подъезда, тощий рыжий, у которого почти не орёт ребёнок. Он тоже узнал Егора, вскочил и отряхнулся, повторяя:

— Сегодня мы с этим кончим! Сегодня кончим! Я иду к участковому!

Рыжий еле ушёл, он всё не мог перестать говорить: «Сегодня мы окончательно решим вопрос!», а Таня уже перебежала дорогу, светофор отсчитывал от сорока к одному, Дамир ждал, когда его ответят домой, и поджимал лапы.

Дома Егор первым делом поставил в прихожей стул. Дамир тыкался в бедро мордой, а хозяин его гладил и гладил, не мог нагладиться впрок. Вместе с собакой он обошёл квартиру и опустил всюду шторы, выключил всюду свет. Только тогда он достал ружьё: пусть Егор не ездил на охоту, ружьё у него было, и патроны, и у него была сила, какую имеют земные собаки. У него был талисман на верность. Страх становился злостью и обращался в страх. Подумав, Егор открыл дверь квартиры, включил в предбаннике свет — он читал, но только читал, что нужно делать так. Запирать не стал. Затем взял ружьё и сел на стул, чтобы ждать. Дамир устроился под стулом и, кажется, спал. А восторг не уходил.

Когда в дверь квартиры позвонили, он со всей дури, как никогда не кричал прежде, через две двери проорал:

— Открыто!

И поднял оружие.

Бык есть бык

Пассажиром Макс ездить не умел. Только за рулём. На пассажирском сиденье он сразу превращался в пассажира: всё время хотелось курить, переключать песни, вертеться, покупать кофе на заправках и потом бежать в туалет, вообще бесконечно останавливаться. Не заботиться о времени. Жена, когда хотела обидеть, называла его своим пассажиром, но недавно он развёлся с ней и сам сел за руль.

Если Макс не вёл бы сегодня машину, он бесконечно смотрел бы в окно. Там поля октября и на них трава октября, которая подползает к деревьям и не смеет

пробираться дальше. Все шаги, которые он не сделал, потому что не притормозил. Если выйти сейчас из машины, можно добраться до горизонта, где лес из невинного и гладкого на вид становится настоящим и хватает за ноги. Там, в мокрых листьях, новая жизнь. Там рыжая Вика ждёт его с младенцем на руках. Макс прибавил скорости. Через пятнадцать минут — ферма. Макс будет снимать людей и животных, ходить вокруг, заглядывать им в глаза. «Отражаться» — право фотографа. Веласкес рисовал себя среди менин, а Макс отражался. Веласкеса заказчики прощали, простят и Макса.

Лес крался ближе и ближе и вдруг окружил машину, но она успела вырваться и пролететь насквозь. Макс оказался на ферме. В её офисе. Такие устраивают, когда самая главная работа делается где-нибудь ещё. Тогда на пол в офисе кладут линолеум, на окна цепляют простые белые жалюзи. Покупают оптом «стол офисный» и «стул офисный», в угол ставят вешалку, которую легко будет поднять и унести, непременно покупают чайник и банку растворимого кофе. Всё как настоящее.

Не подходил офису только его хозяин Георгий, лохматый и в серо-красном флисе. И не подходил накрытый стол. Всё на нем было домашним: сало, свежий хлеб, тарелки с сердцевинкой в цветах, сыр, неровно нарезанный чьей-то рукой. «Потом нескоро поедите», — пообещал Георгий.

Макс монотонно жевал, думал, как всё-таки по этикету правильно поступать со шкуркой от сала, и слушал Георгия. Георгию очень нравилась ферма. На работе Макс говорил, что тот развелся ради неё и теперь почти не ездит в Москву. Ему приятнее управлять фермой, звонить своим агрономам, отправлять своих трактористов с утра косить последнюю зелёную траву года. И беспокоиться о своих быках.

Всё здесь устроилось и двигалось ради быков. Чёрные абердин-ангусы поселились на этой земле, чтобы задышать, поесть вики с люцерной, обрасти плотью, поуправлять ею немного и умереть на бойне. Потом из Калужской области бык пассажиром ехал в тёмную Москву и ложился там на витрину.

— Только естественное осеменение, — рассказывал Георгий и по чуть-чуть запивал похвальбу несладким чаем. — Отбираем лучших производителей, лучшую генетику.

— А какая генетика у быка?

— Извини, не понял, что ты спрашиваешь.

— Что у лучшего производителя — лучшее?

— Хочет, прости, производить. Телята крепкие. До тонны вырастают. Быка же за вес ценят, — Георгий не сомневался, что Макс поймёт правильно, хоть и москвич. Он и на горожанина не похож: мощный, массивный, бычий. Вот как всё происходит: мясо делают из быков. Быка любят и плотно кормят, чтобы больше было мяса и оно было вкуснее.

— Поехали? — спросил Макс.

Оказалось, что фидлот, где откармливают быков, устроен в двадцати километрах от офиса. Двадцать километров в другую сторону — телята с матерями. Бездетные коровы — ещё двадцать на юг. Макс представлял себе ферму по-другому: забор от горизонта до горизонта и внутри три пастбища. Ходишь от одного к другому в резиновых сапогах и смотришь, как бык рождается, вот бродит возле матери, учится есть траву, оставляет мать, правильно питается, затем уезжает в путешествие. А настоящая ферма — площадка — далеко, ещё дальше. И между ними только рыжая раскисшая дорога.

Поехали в полноприводном джипе Георгия. Он вёл машину и снова рассказывал о своих сотрудниках: кто родил четверых детей, кто сократил падеж скота. Макс скучал. Лучше бы для съёмок узнать, у кого какие лица. От скуки он стал худшим

из пассажиров, каких и сам не любил: вроде человек задаёт вопросы, даже развернулся к водителю, но в глазах отражаются только поля. Он проходит сквозь слова к себе в голову и запирается там.

В голове у Макса была Вика. Беременная любовница. Почти не беременная, всего два месяца, и уже не любовница, раз жены больше нет. Вика потеряла определение. «Беременная любовница» — это простой рассказ: встреча, желание, тайна, победа-падение, дома сразу в душ, ещё, ещё. Презервативы кончились, а идти за ними лениво и неловко, словно надетые штаны оскорбили бы страсть. Макс поговорил с женой. В ванной. По выходным она всегда принимала ванну, а он садился на пол у стиральной машинки и смотрел. Так они всегда обсуждали самое важное. Беременную любовницу, например.

Жена сказала «что ты натворил?» и «Бог тебе судья», но про себя подумала, что бога нет. Макса всё ещё притягивали такие прозрения: знаешь человека так хорошо, что читаешь его мысли. Жена его, в общем-то, тоже по-прежнему притягивала. Она оставалась загадочной и непонятной, как чужой язык. Тем приятнее было изредка угадывать, о чем она думает. Но долго выкручиваться он не умел. Сел на пол, признался, что его любовница забеременела, встал, вышел. Загадочная, мокрая и голая жена даже не обернулась к двери.

Вика разрешила ему оставить пассажирское кресло. Веди сам, только реши — куда. Аборт легко сделать до двенадцати недель. Значит, ещё не поздно оставить младенца на дороге. Детей ведь можно планировать; смерть нельзя, а жизнь можно. Ему очень хотелось запланировать ребёнка, а не украсть между делом. Тем временем Вика ждала: вот-вот он скажет что-то, от чего её застрявшая жизнь наконец-то поедет. Даст ей новое определение. Назовёт каким-то особенным словом, которое действительно будет ею. А он совсем забылся и подпрыгнул на сиденье, когда Георгий объявил:

— Пункт первый — фидлот. Откормочная площадка.

Макс шел по весёлой рыжей грязи, которая напоминала его следы, и слушал рассказ:

— Сюда переводим быков старше семи месяцев и откармливаем. Распределили их по возрасту: слева двухлетки, им, простите, скоро на убой. Справа моложе, а дальше совсем пацаны. Середина каждого загона — курган, быки лежат на нём в дождь, а вода свободно стекает ниже. Пространство у кормушки — плац. Чистим его несколько раз в день, чтобы бык мог твёрдо встать и есть, откармливаться.

— А я здесь зачем?

— Егор ждёт, наш главный животновод. И телёнка принять может, и производителя успокоить. В полдень быкам пора давать корм, сфотографируем заодно.

Быки стояли за оградой там, где рыжая грязь становилась коричневой. Пахло, разумеется, навозом — не тошнотворно, а как-то однообразно, на одной ноте. Все быки оказались чёрными и черноглазыми, так что выглядели братьями. Только смотрели мимо друг друга и мимо Макса. Так он представлял себе взгляд аутиста, читая об аутизме: осмысленный, но отстранённый. Всегда скользкий мимо.

Фотоаппаратом он заглянул в глаза быка и отразился в них, но не появился. Бык отказался его видеть. Он ждал свой корм, ждал без жадности и нетерпения.

— Они всё понимают, если захотят, — объяснил Георгий. — Полудикие. Знаешь, какие у них драки бывают? Поддерживают иерархию. Каждый знает, кого можно задирать, кому лучше уступить. Помню, возили как-то одного, не помню куда, потом вернули на фидлот. А у быков память короткая, они его уже забыли. Он их как начнет гонять! Один туда, другой сюда, только быки летали. Мы даже не лезли. Иногда лучше не лезть.

— Злые?

— Нет, но вес-то какой. Мощь. У нас тракторист как-то возвращается в офис, говорит: вечером на пастбище больше не поеду! Коровам что-то померещилось в темноте, они как построились в клин, как попёрли! Страшно. Осторожно!

Они еле увернулись от трактора, который въехал в узкий коридор между загонами. По одному мешки перебирались из ковша на руки Егору и отправлялись к кормушкам. Затем тот возвращался в кабину, и трактор пробирался дальше вдоль быков. А они подходили ближе и ближе, хотя не смотрели ни на Егора, ни на корм. Просто плотная чёрная стена надвигалась на людей. Георгий отошёл на середину, снова увернулся от трактора, который возвращался в исходную точку, и начал куда-то звонить, увлечённо требуя: «Давай, уже почти готов, приезжай, как так не можешь?»

По срезанной траве в кормушке рассыпался корм, быки меланхолично жевали, а Макс снимал. Для кадров животноводу приходилось двигаться медленнее, чем он привык, и даже замирать. У него были мелкие косые зубки и такие же черты лица — никакого сходства с быком. Неправда, что каждый похож на какое-нибудь животное. Такое случается очень редко и всегда притягивает взгляд. Жена Макса точно была человеком. Егор и Георгий тоже. В них не проявилось ничего от животного: ни общего сложения, ни повадок, ни духа, который не осознаёт сам себя и всё-таки остаётся живым.

Снимая своё отражение в глазах быка, Макс пытался передать суть: глаза, которые не хотят тебя признавать. Дело быка — быть. Употреблять пищу. Прибавлять в весе. Корма хватало всем, но быки зачинали мелкие ссоры, толкали друг друга мордами и фыркали, потом снова приступали к еде. Егор уже закончил раздавать корм и встал рядом, скрестив руки на груди. Он стеснялся фотографироваться.

— А у вас есть любимцы в загоне? — спросил Макс. Тоже для кадра. Если спросить человека о чем-нибудь приятном, он начинает перебирать в уме все любимые вещи, и лицо сразу такое мечтательное, нежное.

— Вон тот, Мишка. Скоро в забой пойдёт.

— У меня тоже был, — вмешался Георгий. — И тоже Мишка. Их всех так зовут. Производитель, красавец — массивный, мощный. Сдуру поставили вчера близко к коровам в охоте, он почуял их и через изгородь махнул. Срезал себе копыто, пришлось сегодня с утра на бойню везти. Так жалко.

— Что теперь? Кто производителем будет?

— Ты.

Максу показалось, что он ослышался, он ещё раз переспросил:

— Кто будет?

— Ты будешь, — твёрдо сказал Георгий.

Он подался к Максу, а Егор встал за спиной: вдвоём они замкнули Макса в кольцо и медленно повели к трактору. Под курткой у Георгия пряталось неприятное плотное, как мешок с мукой, пузо. Теперь оно прижималось к Максу, когда Егор наступал слишком быстро.

За трактором, оказалось, стоял большой грузовик. Стоял довольно давно: у ног водителя валялись два окурка, а третьим он спешно затягивался. Егор и Георгий, сцепив руки, толкали Макса вперёд. Он пробовал отбиваться, протестовать: «Я фотограф из корпоративного журнала! Перестаньте!» — пытался даже ударить, но в тесноте не хватило замаха, а они не останавливались и всё приговаривали: «Хороший, Мишка, хороший». Фотоаппарат давно упал в грязь. Отражатель так и остался у кормушки, и в него заглядывал бык, а другой лизал ему бок.

Под напором Макс взошёл по пандусу в тёмный кузов. Только тогда эти двое разомкнули объятия и выскочили из грузовика. Ошарашенный, Макс не успел за ними, после такого танца очень кружилась голова. Дверь закрылась. Машина поехала. Он снова превратился в пассажира, и хотелось выглядывать в окно, курить, просить остановиться, только не было ни окна, ни сигареты, ни голоса.

Его везли куда-то на грузовике для скота, который качался на разбитой глиняной дороге и старался не сесть на мель. Однообразный запах навоза становился тише и тише, пока совсем не утонул. У Макса подогнулись ноги. Он обещал себе, когда грузовик остановится, напрячь все мускулы и прыгнуть в открывшуюся дверь. Но ехать, пожалуй, далеко, пока можно подумать.

Что ему угрожает? Ничего. Георгий сказал, что он будет производителем, значит, грузовик едет не на бойню, а к пастбищу. Там, где ждут взрослые коровы в охоте. Много взволнованных животных, простор, невысокий забор — выпустив, они не смогут больше его поймать.

Считает ли он, что фермеры сошли с ума? Нет. Он снимал как-то настоящих сумасшедших, они не умеют прикидываться; увлечённо притворяться нормальным может только нормальный человек. Такая у нас норма.

Тогда считает ли он себя быком? Нет, не считает. Наощупь под рукой суточная щетина, а не шерсть, лицо плоское, не вытянутое. Уши небольшие. А других различий между человеком и быком в темноте нет.

О чём он думает, когда касается своего лица? О жене и о любовнице. Обе по-прежнему ходили в голове парой и, видимо, не скоро расстанутся. И раньше так было: жена вскармливает любовницу, любовница тянет к жене. Вика обидится, если узнает, что он видит их только рядом. Жена идёт быстро, встряхивает жёсткими светлыми волосами, острые локти бьются обо все поверхности. Рядом плывёт Вика — того же цвета волосы, но мягкие, и округлые тёплые плечи. Она из тех, кто и вправду напоминает животное. Корову. Если только корове можно сделать аборт.

Макс вспомнил быка, на место которого его столь упрямо пытались нанять. Подумать только: бык так хотел корову, что не стал даже ждать, а прыгнул через забор и загубил свою жизнь. Стейк из такого быка он бы с радостью купил. Бренд «Кровь-любовь» и морда быка на упаковке. Мясо сочилось бы гранатовым соком и пахло мёдом, он ел бы и смотрел в глаза быка.

Бык взглянет мимо него и скажет: «Я прыгнул и ты прыгнул, только не сломал себе ногу и на бойню не попал».

Сравнивать себя с быком Макс не хотелось, но выходило очень похоже. С женой он производителем не стал — она всё-таки человек, а не корова и не критская царица. Он прыгнул. С Викторией всё получилось. Но он уже втайне знает, что готов прыгнуть ещё раз и ещё, пока забор не окажется выше его усталого бычьего тела. Вика положила на него клеймо производителя — там, где его увидит только хороший фермер.

Когда грузовик остановился, он не рванул из кузова, как думал сначала, хотя Егор и Георгий сами открыли для него двери. Наверное, они ехали в джипе следом, провожая своего быка, и теперь снизу вверх выжидающе смотрели на него. За их плечами раскрывалось широкое поле, и через сотню шагов, которые он не сделал, лес: красный, рыжий, жёлтый. Как открытый огонь. А перед ним семена последней октябрьской травы втапывали в землю чёрные абердин-ангусы. Очень красивые коровы.

Такие красивые, что Макс почти сразу не выдержал и, коротко выдохнув от страсти, поспешил им навстречу.

Ксения Крушинская

Два рассказа

Статус кво

Я зашла в почту, чтобы перечитать то письмо ещё раз. Ещё раз перечитать письмо, которое пять дней назад ему написала. Второпях утром, за чашкой кофе со сливками «Домик в деревне» (без яичницы и без бородинского с маслом). Написала одним большим пальцем на экране айфона. За какие-то несчастные четыре с половиной минуты, в которые я, кажется, не дышала, а просто неслась куда-то, а в ушах гудел ветер.

А потом надо было нажать кнопку Send. И тут я с разбегу ударилась о бетонную стену. А может, кирпичную. Шершавую. Send — Stand. Stand — стены — стена. Бестелесность вдруг исчезла. Стало больно.

Мне бы хотелось, чтобы этой кнопки не было. Чтобы буквы, которые я до этого производила без остановки четыре с половиной минуты, поступали к нему прямо в голову.

Я сидела несколько минут, отдирая себя от стены. Потом развернулась и медленно побрела от неё восвояси. Назад. «Сохранить письмо в папке “Черновики”»? Сохранить письмо в папке «Черновики».

Я знаю, почему спустя пять дней я вдруг решила перечитать письмо. Собакам нужно, чтобы с ними гуляли; кошкам — чтобы их гладили; растениям — чтобы их поливали, а письмам — чтобы их читали.

Я уже знала, что точно его не отправлю. Что из «Черновиков» никогда не удалю — тоже знала.

В моих «Черновиках» было людно. Заготовки сопроводительных для каких-то вакансий. Обрывки рабочих писем. Недописанное поздравление кому-то с днём рождения. «*Прошу прощения, но...*»; «*...желаю всегда оставаться...*», «*...рассмотреть мою кандидатуру на...*». Помойная куча оборвышей. Но то самое письмо я увидела сразу: оно лежало как бы поверх этой кучи, поэтому сразу привлекало внимание. Без адресата: я не стала писать адрес, чтобы случайно не отправить. Первая строка видна сразу, как заходишь в папку, словно высовывается пятка из-под одеяла: «*Привет!* Долго собиралась с мыслями, чтобы тебе это написа...»

Внезапно показалось, что мне за шиворот кто-то запустил две сотни муравьёв. Я поняла, что перечитать письмо не в состоянии. Это было бы всё равно что посмотреть видеозапись того, как кто-то неизвестный разрезает меня на куски и расфасовывает по пакетам для мусора. Отвращение к самой себе, смешанное с чувством трагической непоправимости. Не могу не перечитать. Не могу удалить. Не могу не удалить. Не могу. Не.

Расул, 27 лет

— Я к Катьке на работу пришёл выпивши, конечно. Ну, пол-литра, может. Да она привыкшая. И вообще, выпьешь когда, о любви как-то легче. А пока я к ней в салон её — она ж парикмахерша у меня, — я во дворе ПТУ бывшего пошарашился. Топчусь, топчусь, вижу там хренатура такая здоровая: «Я люблю Стерлитамак». Но вместо «люблю» такое офигенское сердце красное, железное. Я подумал, во, Катьке его принесу, чтоб шары у неё выпали — типа, вот тебе, гадина, сердце моё, видишь, гадина, бери, давься.

Корячился я с ним, наверно, часа полтора. Разок ещё за добавкой в палатку сбегал. Догнался, и как-то оно легче пошло. Отвертел эту хреновину, взял, понёс сердце Катьке. Иду, оно такое большое у меня в руках, красное. И так мне было хорошо, когда шёл с сердцем, красным, а прохожие на меня пялились. Даже стихи вспомнил, ещё из школы. Есенина.

Пришёл к Катьке в салон. Сюю ей его, она меня матами кроет. Начальница её пришла, орёт, что я клиентов распугиваю. Какой-то мальчик-побегайчик начал на телефон снимать. Катька, вижу, типа злая, а сама ржёт, смехом давится. Я ей пою: «Ка-а-а-а, Катери-и-на».

Потом — финита ля комедия — приехали менты. Скрутили. Теперь хулиганство шьют и кражу. Сердце забрали, увезли — вещдок, говорят. Короче, я шас под подпиской. Катьке каждый день звоню. Она трубку то не берёт, а то берёт. Чаше берёт.

Чтобы не открывать то самое письмо, я стала скроллить содержимое папки «Черновики»: вверх-вниз-вверх-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Я обнаружила ещё больше старых неотправленных писем. Вот, например, письмо маме, в котором я пыталась объяснить ей, почему не приеду очередное воскресенье: «Мам, там будет дядя Лёша, ты же знаешь, мне тяжело даётся общение с ним... Человек других взглядов... Устаревшая система ценностей». Письмо я не отправила, на обед приехала.

Потом — наткнулась ещё на одно. Павлику, который жил в Питере. Я жила в Москве. Я и сейчас в ней живу. С Павликом мы переписывались и иногда ездили друг к другу. Но переписывались — больше. Однажды он написал мне, что понимает любовь как влюблённость, которая не промазала мимо цели. «Ну, то есть, — писал он мне, — мы влюбляемся всегда в образ, в несуществующую химеру. И вот если так повезёт (или, наоборот, не повезёт — тут как посмотреть), что реальный человек будет похож — ну, хотя бы процентов на 80 — на ту химеру, к которой мы испытываем чувства, можно считать, что наша влюблённость попала в цель. Всё совпало. Тогда эта попавшая в цель влюблённость может начать перерождаться в любовь. Как сперматозоид и яйцеклетка. Если у них получилось соединиться, из клетки постепенно вырастет человек».

Мне понравилась фраза про человека, который вырастает из клетки. В ней есть много разных смыслов. Хотя не знаю, вкладывал ли их туда Павлик намеренно. В «Черновиках» лежало моё последнее — неотправленное — письмо Павлику. «Прости. Я не уверена, что мне стоит приезжать в июне. Моя жизнь как будто балансирует на острие лезвия. И если я опять приеду, я потеряю равновесие. А равновесие

для меня всегда было очень важно. Даже когда я шагаю по острию. Лучше быть разрезанной надвое, чем упасть. Думаю, ты меня поймёшь. Ты ведь тоже любишь рассуждать об опасных вещах, вроде стрельбы по мишеням».

Артём, 33 года

— Я был влюблён в свою коллегу Зою долгое время. В какой-то момент я решил, что пора действовать и начать каким-то образом проявлять свою любовь. Я считаю, что, если вы любите человека, он обязательно должен об этом знать. Иначе любовь пропадает зря и может прокиснуть как суп, который никто не ест, и в нём из-за этого заводятся бактерии.

Первого пупса я купил в переходе по дороге на работу. Это был пупс-девочка. В белом платьице и с медно-рыжими короткими волосами. Я пришёл на работу раньше всех и положил пупса на Зоин стол. Потом я стал делать это каждый день. Я покупал пупса — продавщица уже запомнила меня и каждый будний день ждала с новым пупсом наготове (там были и девочки, и мальчики, и пупсы непонятного пола), — приходил первым в офис, клал пупса Зое, прямо возле клавиатуры её компьютера.

Сперва Зоя не понимала происхождения пупсов на своём столе. Но как-то раз меня заметила за дарением пупса уборщица и рассказала Зое. Зоя подошла ко мне на кухне, когда я готовил себе кофе в капсульной кофемашине и спросила, зачем я каждое утро кладу ей на стол пупса. Я ответил: «Не знаю. Наверное, потому что люблю тебя». Она смотрела на меня очень долго и очень странно, а потом развернулась и ушла. На следующий день меня вызвали в отдел кадров и попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию.

С Зоей мы больше никогда не виделись. Когда я иду по переходу, стараюсь как можно быстрее пройти мимо киоска с пупсами. Мне кажется, продавщица каждый раз пытается поймать мой взгляд.

Я закрыла ноутбук и решила выйти во двор подышать свежим воздухом. Пока я ходила кругами вокруг детской площадки (на ней было пусто и сумеречно, как на выцветшей фотографии, если не считать двух оставленных кем-то банок из-под пива Lowenbrau), в голове крутились строки из того неотправленного письма ему. На самом деле, мне не нужно было видеть это письмо, чтобы постоянно его перечитывать. Мой внутренний голос постоянно на репите читал мне его, как аудиокнигу. «Привет! Долго собиралась с мыслями, чтобы тебе это написать. Мне кажется, я чувствую к тебе что-то. И это что-то с каждым днём всё больше — растёт и наполняет меня изнутри, как вода губку. От этого я тяжелею, поэтому не могу больше держать всё в себе. И я подумала, может, ты чувствуешь что-то похожее. Хотя бы очень отдалённо. Если да, то тогда мы могли бы...»

Я села на скамейку. Теперь вместо воображаемых муравьёв за шиворот мне заползал колючий сумеречный холод. Я принялась раскачиваться из стороны в сторону, как делаю с детства, когда какая-то мысль не даёт покоя. Я раскачивалась и думала о том, что любовь — такое же проявление жизни, как, например, смерть — ваша или близких. Или рождение. Или болезнь. Или выигрыш в лотерею. И ты либо что-то делаешь в ответ на эту зародившуюся в тебе любовь — прыгаешь с моста, крадёшь металлическое сердце из парка, женишься, выходишь замуж, обжигаешь себе руку зажигалкой, даришь купленных в переходе пупсов или хотя бы просто говоришь о ней, о своей любви, — либо закрываешься от неё, сохраняешь статус кво, отказываешься взаимодействовать с жизнью.

Наверное, я отказывалась.

Ника, 16 лет

— Мы стояли с Арсением у меня на лестничной площадке, когда он предложил нам расстаться. Он сказал: «На время». Но я знала, что он имел в виду «навсегда». Тогда я попросила у него зажигалку — типа, хочу закурить. А сама зажгла огонь и молча поднесла к нему ладонь. Мне показалось, все звуки разом куда-то пропали. Осталось только изображение. И я видела чётко — как будто крупным планом, — как у Арсения расширяются зрачки. Выбежали соседи. Мне потом сказали, я дико орала, но я этого не помню. В моей голове в тот момент было очень-очень тихо.

У меня теперь ожог третьей степени. Говорят, шрам останется на всю жизнь. Вчера Арсений принёс мне в больницу цветы и мармелад «червячки» Haribo.

По пути домой я зашла в магазин за мармеладом «Червячки Haribo». Дома за ноутбуком я открыла упаковку, стала жевать мармелад. Снова зашла в почту, открыла папку «Черновики», нажала кнопку «Выбрать все». Возле каждого неотправленного письма появилось по синей галочке. Затем я нажала «Удалить».

Суббота из жизни Павлика Б.

Бабушка Нила умерла в понедельник утром. В четверг её похоронили. Сегодня была суббота, и Павлик ехал на её осиротевшую квартиру на Третьей Парковой, чтобы начать разбирать вещи. Времени было в обрез: мать торопилась жильё сдать — уже на следующей неделе квартира должна была обрести новых, временных хозяев.

Утро было хмурым, пасмурным, промозглым и совершенно октябрьским. Павлика это абсолютно устраивало, несмотря на то, что на дворе был апрель. В меру заполненный 97 троллейбус полз от метро Измайловская. Где-то слева мужик в прокуренной кожаной куртке разговаривал по мобильному: «Вася, бл...! Ну я же, бл..., тебе говорю! Ну давай уже, на х..., решим...» Что именно незнакомец собирался решить с Васей, Павлик не дослушал: отвлёкся на мелодию, которая донеслась откуда-то справа, чуть спереди. Павлик отвернулся от прокуренной кожанки, увидел стоящую к нему спиной девушку: затянутый резинкой пучок рыжих волос, серое приталенное пальто, ярко-зелёный шарф в белую полоску, из ушей торчат провода маленьких наушников. Из них, приглушённо, словно сквозь туман и с другого берега, слышно протяжное: «Ивушка, ивушка, зелёная моя. Что же ты, ивушка, не зелена стоишь...» Павлик подумал, что это сон, — такая молодая, современная, и вдруг в наушниках — «Ивушка». Разве такое бывает?

«Ивушку...» Павлику часто пела в детстве бабушка Нила. Вернее, не совсем ему, а будто кому-то другому — в пустоту. Она при этом всегда сосредоточенно глядела перед собой сквозь очки с толстыми стёклами в коричневой оправе — словно тут же, в маленькой комнате своей двушки на Третьей Парковой, сдавала экзамен невидимой приёмной комиссии: «Что же ты, и-и-ивушка, не зелена стоишь? Или те и-ивушку солнышком печёт...» Павлика в такие минуты завораживали не столько слова песни или даже бабушкин голос — который, кстати, был очень приятный, мягкий и тёплый, как нагретый на майском солнце бархат, — сколько само зрелище: бабушка, «Ивушка» и маленький зал невидимых внимательных зрителей. Всякий раз он сперва впадал

от этого в цепенящий транс, а потом словно соскальзывал, как по хорошо раскатанной снежной горке, в сон и крепко спал до самого утра.

В то время он часто ночевал у бабушки Нилы. Несколько раз в неделю она забирала его из школы, и ближе к концу пятого или шестого урока он уже начинал ждать. Представлял, как после звонка выбежит из класса в общей детской толчее, как стремглав слетит по широкой, выкрашенной серым, лестнице. Вломится в гардероб, пробираясь вдоль вешалок, отыщет там свою импортную коричневую курточку с большими накладными карманами (мать привезла из одной из своих многочисленных командировок в Турцию — «за барахлом»), переобует сменку, выйдет, наконец, чуть запыхавшийся на школьное крыльцо. Бабушка Нила всегда ждала его там, у крыльца, на улице — никогда не заходила внутрь. Павлик до сих пор — предельно отчётливо, словно кто-то постоянно держал перед его внутренним взором фотографию, — помнил, как она неподвижно стояла под летящим снегом. Маленькая, чуть сутулая, в чёрном, как монашеская ряса, пальто и в платке с большими разноцветными цветами. Иногда в руке она держала потрёпанную хозяйственную сумку. Он спускался с крыльца, подходил к ней неторопливо, будто нехотя, хотя хотелось подбежать. Говорил: «Привет, ба!» И видел, как за толстыми стёклами очков её глаза медленно теплеют.

Потом, рука в руке, они неспеша шли домой. В такие минуты они всегда разговаривали — сейчас Павлику казалось, что это был один долгий разговор, который они бесконечно вели, иногда прерываясь.

— Ба, а что у тебя в сумке? — спрашивал он, предвкушая обед.

— В сумке-то? В сумке, Павлушенька, тебе хлебушек, крупа манная, курочки чуток и яйца, яйц вот тоже зашла купила.

Какое-то время они шли в тишине, потом он продолжал:

— Ба-а? А правда, что яйца — это дети кур?

— Правда, Павлушенька. Яйки — то куриные детки.

Павлик несколько минут обдумывал услышанное. Затем спрашивал о том, что так давно терзало:

— То есть получается, они — умерли? Умерли, а мы их съедим?

— Получается, Павлушенька, так. Умярили они. Умярили.

— Но, то есть... Значит... Курица скучает по детям? — Павлик отчаянно пытался найти ответ на давно мучивший его вопрос, и дело тут, конечно, было не в курице и не в яйцах, а в гораздо большем, что лежало тяжёлой бетонной плитой на дне его десятилетней души.

Бабушка Нила какое-то время молчала, сосредоточенно глядя сквозь толстые линзы куда-то перед собой, где в хаотичном танце бесконечно сталкивались и навсегда расставались юркие снежинки. Павлику даже казалось, что она не слышала вопрос. Но — как всегда бывало после нескольких минут такой задумчивой тишины — её тёплый бархатный голос начинал звучать снова. Слова казались приглушёнными, потому что долетали до Павликовых ушей сквозь тёплую шерстяную шапку:

— А чего, Павлушенька, скучать? — Павлик видел, как под чёрным пальто бабушка слегка поводит худыми плечами. — Раз умерли, значит, так оно было надо.

Несколько минут он переваривал услышанное. Их с бабушкой тишину нарушал только скрип свежевывающего снега под подошвами её валенок и его импортных зимних ботинок да долетавшие издали, из-за арок, шум и сигналы машин — домой из школы они шли дворами. Потом разговор обычно возобновлялся, но уже как бы из другой точки координат. Однажды Павлик спросил:

— Ба? Дашь очки померить? Пацаны в классе сказали, прикольные.

Прежде, чем ответить в тот раз, бабушка Нила отчего-то крепко, почти до боли, сжала его руку. А потом быстро забормотала:

— Тс-с-с, Павлушенька! Нельзя, нельзя, нельзя! Очки мои даже не тронь, слышишь?

«Значит, так оно было надо. Так было надо...» — пробираясь к выходу из троллейбуса, Павлик бормотал себе под нос бабушкину фразу про куриных детей. Девушка с «Ивушкой» в наушниках встала перед ним у двери. Только тут он понял, что играет у неё вовсе не бабушкина песня, а что-то совсем другое: кажется, Полина Гагарина. Троллейбус затормозил, Павлик соскочил со ступенек, втянул ноздрями мёрзлый, ещё не отогревшийся от зимы воздух. Моросил мелкий дождь, Павлик спрятался под капюшон и пошёл, съездившись, вдоль линии с детства знакомых домов: пятый, седьмой, магазин «Магнолия», десятый... По пути он думал о том, что, кроме бабушки Нилы, никто никогда толком не говорил с ним ни о смерти, ни об утрате — том чувстве, когда часть тебя вдруг начинает жить будто вхолостую, продолжая любить, тосковать, вести беседы, заботиться, ругать, ждать. А того, кому всё это предназначено — и твоя любовь, и тоска, и забота, и ожидание, — уже нет. И всё это становится как бы лишним. Как кусок ткани, который портной потратил на рукав, забыв, что руку его клиенту давным-давно ампутировали. «Значит, так было надо», — это была самая неожиданная и вместе с тем самая простая и самая совершенная фраза, которую ему кто-нибудь говорил о смерти.

Павлик подошёл к подъезду тринадцатого дома, открыл своим ключом дверь, стал подниматься по лестнице на бабушкин пятый этаж. Пахло мокрыми тряпками, уксусом, с которым уборщица Наиля всегда мыла полы, и совсем чуть-чуть кошачьей мочой. На площадке четвёртого этажа Павлик замедлил шаг, сощурившись, стал сосредоточенно разглядывать надписи на бело-зелёной стене лестничного пролёта. Найдя то, что искал, улыбнулся: у последней перед площадкой ступеньки было выведено жирным маркером мелким, ещё совсем детским, старательным почерком простое: «Марина». Рядом был пририсован такой же чёрный цветок с пятью лепестками. «Не покрасили», — поразился про себя Павлик.

Марина... О ней он первой рассказал бабушке Ниле. Был по-летнему тёплый сентябрь, бабушка пришла за ним в лёгком плаще серо-синего цвета, в тонкой косынке в мелкий цветочек, всё в тех же очках и с коричневой хозяйственной сумкой.

— Ба! А я теперь с девочкой сию, — он старался придать своему голосу как можно более беспечную интонацию, боясь показать, как внезапно и непоправимо перевернулся сегодня его мир. Но бабушка, конечно, почувствовала — считала по последней запятой то, что было у него на душе.

— Де-е-свочка, — непривычно тихо и протяжно произнесла она, чуть сжав его руку в своей шершавой ладони.

Павлик не видел лица бабушки Нилы, но точно знал, что она улыбается. Но не ему, а кому-то невидимому — тому же, кому, наверное, каждый раз поёт свою «Ивушку».

С Мариной Павлик подружился удивительно быстро. Она была новенькой: они с родителями недавно переехали в Москву из другого города: кажется, Новосибирска. Марина была молчаливая, сероглазая, с тоненькими, как прутики, ручками. Павлику нравилось украдкой наблюдать за тем, как двигается по бумаге её худое запястье, когда

она, сжимая в маленьком кулаке ручку, сосредоточенно пишет в тетради. У неё были русые волосы — длинные, тонкие, чуть волнистые, как у русалки. Их она всегда носила собранными в высокий хвост, схваченный на макушке пушистой резинкой цвета радуги. Тогда такая была почти у каждой девочки, но Павлику казалось, что Маринкина особенная. Что вообще вся она — «другая». Как будто не из этого мира, а откуда-то «оттуда», где растёт волшебная ивушка и живут бабушкины незримые собеседники.

Иногда на прогулке в школьном дворе он подбегал к Маринке, одним стремительным движением срывал резинку с волос и убегал, победно вопя. Он знал, что любая другая девчонка обязательно кинулась бы за ним: «Бронников, придурик, отда-а-ай!» Что они завертелись бы, закрутились в шумном вихре, а закончилось бы всё яростной и радостной потасовкой и выговором от классной руководительницы Евгении Анатольевны. Но Марина никогда за ним не бежала. Нарезав несколько восторженных и шумных кругов по школьному двору, он неизменно к ней возвращался, а она всегда ждала. Стояла всё на том же месте — с рассыпанными по плечам волосами — и почему-то улыбалась. Он подбегал, она молча протягивала руку и получала назад свою резинку. Тут же задирала худенькие руки и принималась заново заплетать хвост. Он набирался смелости и пытался командовать: «Не надо! Оставь распущенные». Она не слушалась, ещё крепче затягивала резинку, вертела головой, наконец, улыбалась — уже широко, по-настоящему, — говорила: «Дурак ты, Паш!» Он отчего-то смеялся. И чувствовал себя счастливее всех на свете.

Иногда после уроков, когда все расходились по домам, они с Маринкой оставались вдвоём в опустевшем дворе и качались на хлипких качелях. Это бывало в те дни, когда Павлика должна была забрать из школы мать — она, в отличие от бабушки Нилы, всегда задерживалась. Зато приходила, бывало, не одна, а с Ричардом — большим чёрным догом, которого не успела выгулять. Маринка спрашивала:

— А ты почему собаку захотел?

— Я вообще хотел богомола, — Павлик, насупившись, ковырял носком ботинка землю, прикрытую бурыми размокшими листьями.

— Кого? — ей казалось, она не расслышала.

— Богомола, — Павлик поворачивался к Маринке. — Жук такой. Похож на священника в мантии. Его можно дома вырастить до гигантских размеров — я читал. Главное — правильно кормить. Я даже летом поймал одного, на даче. Назвал Федей. Вроде кормил как надо: укроп давал, «Сникерс». А он почему-то всё равно умер.

— Ого, — задумчиво шептала Маринка. — Жалко.

— Ещё как, — Павлик сопел и снова начинал смотреть на мысок ботинка.

— А ты представь, что он теперь на небе, — она говорила, а он снова смотрел на неё и видел, как выбившиеся из-под резинки прядки колышет ветер. — Вырос там до гигантских размеров и за тебя богу молится. Он же богомол.

«Теперь-то ты точно знаешь», — поворачивая тяжёлый ключ в замке бабушкиной входной двери, Павлик мысленно обратился к Марине. Вообще-то он так делал очень редко. В последний раз, наверное, лет десять назад — когда рассказывал ей про выпускной, на котором её уже не было. Зачем-то описывал неказистый кораблик, на котором всех катали по Москве-реке; как его пыталась соблазнить большегрудая Динка из параллельного, и как отличник Тёмочка Ильин напился и пропал, а нашли его крепко спящим в рубке капитана в пиджаке, перепачканном блевотиной. Тогда Павлик чувствовал себя чудовищно одиноким, и ему была нужна она — невидимая,

бесплотная уже собеседница. А сейчас? Сейчас он одинок вдвойне. А может, и втройне: дог Ричард умер четыре года назад.

В прихожей бабушкиной квартиры был полумрак. Павлик втянул ноздрями спёртый воздух: пахло пылью, каким-то лекарством и залежалыми тряпками. Он нащупал на стене выключатель, и коридор озарился тусклым, болезненно-жёлтым светом. Павлик удивился, насколько в квартире всё по-прежнему: старые фотографии на стенах, под ними — неказистый громоздкий комод. Дальше, в комнате, корпулентный, высотой до потолка, платяной шкаф, а напротив — круглый стол, за которым обычно обедали, вокруг — стулья из тёмного дерева с гнутыми спинками. Один стул чуть выдвинут — на нём сидел фельдшер «скорой», замерявший бабушке давление перед тем, как навсегда увезти её из этой квартиры. Павлик присел на стул рядом. Подумал: а почему, собственно, что-то должно было измениться? Сюда ведь несколько дней никто не приходил: даже новые жильцы согласились снять квартиру по знакомству, без предварительного визита. Просто ему всегда казалось, что смерть — нечто настолько глобальное, что не может не повлиять на окружающее пространство. Он видел, как изменила она лицо бабушки Нилы — оно всё будто расслабилось, растеклось, «помягчело». Помнил, какой выглядела в гробу Маринка, — мать не хотела отпускать его на похороны, в итоге бабушка её уговорила и сама пошла с ним. Маринку смерть, наоборот, сделала ещё меньше, а черты острее, чётче. Хотя, может, это ещё до смерти постаралась болезнь: в тринадцать лет у неё обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Как бы там ни было, Павлику теперь казалось странным, что тела смерть меняет, а квартиры — нет.

Он медленно встал со стула: пора было приступать к работе. Расчистить квартиру, сделать неузнаваемой — в общем, сотворить с ней то, что не захотела или поленилась смерть. Вдруг сбоку от стола что-то блеснуло. Павлик повернул голову. Через окно, сквозь зазор в занавесках просочились лучи внезапно вылезшего из-за облаков солнца. И в них блеснули они — бабушкины очки с толстыми стёклами в коричневой оправе. Забытые в предсмертной суматохе, они лежали на прикроватной тумбочке.

Павлик вдруг вспомнил душный июньский вечер восемь лет назад. Его отчислили из первого института после того, как он подчистую завалил очередную сессию. Подписав с равнодушием сомнамбулы документы в учебной части, выбросив там же в урну ненужный уже студенческий, он отправился туда, куда только и имело смысл отправиться: пить. С однокурсниками — теперь уже бывшими — Козловым и Ларионовым они долго сидели в пивной «У чёрной собаки» через дорогу от института. Павлик, который до этого и не пил-то почти, быстро провалился из реальности в вязкий полусон. Кажется, потом к ним присоединился кто-то ещё: он слышал гул голосов, женских, мужских. Козлов куда-то делся. Из пивной они перешли в другое место, потом в третье, в четвёртое. Наконец, он оказался бредущим куда-то по погружённой в вечернюю тьму, но всё равно людной Большой Никитской. Ларионов обнимал его за плечи и кричал в ухо: «Дру-уг, ты пойми! Надо определиться с жизнью!.. С жизнью... Надо определиться». В какой-то момент Павлик скинул с себя его руку и, поддавшись внезапному порыву, стал ловить попутку. Плюхнулся на заднее сиденье затрапезных бежевых «Жигулей», заплетаясь, назвал адрес: «Т-т-ретьяпар-ковая, дом т-тррринадцать».

Когда он приехал к бабушке Ниле, было уже сильно за полночь. Он зачем-то забарабанил в дверь, хотя помнил, что справа есть звонок. Она открыла: в наспех

наброшенном на ночную рубашку халате, испуганная, с растрёпанными, выбившимися из-под гребня волосами. Павлику бросилось в глаза, что она без очков, — видно, забыла надеть спросонья.

— Ба-а-а, — протянул он и стал медленно на неё валиться. А навалившись, стиснул так крепко, как, кажется, не обнимал никого в жизни — ни до, ни, может быть, после.

Потом, за тем самым круглым столом, она отпаивала его круто заваренным горьким, что твоя водка, чаем.

— Эх, Павлушенька, Павлушенька, — бабушка Нила сидела, подперев лицо ладонью и пристально на него смотрела, пока он, обжигаясь, цедил из кружки терпкую жидкость.

— Ба! — он вдруг со стуком опустил кружку на стол. — Ба! Ну, дай уже очки померяю! — Павлик заметил, что очки — вот они, лежат на краю стола, за ними достаточно протянуть руку. Но бабушка опередила — неожиданно проворно она выкинула вперёд ладонь и накрыла ею очки.

— Нельзя! Я говорила тебе. Нельзя!

В голове Павлика ещё не рассеялся туман, душная летняя ночь сдавливала виски, казалось, что не хватает воздуха. Он медленно поднялся, почему-то ухмыльнулся. Неторопливым, как в рапиде, движением он накрыл бабушкину ладонь — маленькую, сухую, морщинистую — своей широкой. Надавил, попытался убрать её руку с очков. Бабушка оказалась сильной: за очки она держалась стальной хваткой коршуна, не желающего отпускать добычу. Бабушка... Его бабушка Нила и непреодолимая сила большой хищной птицы. Это не укладывалось у Павлика в голове.

— Отдай! — вдруг завопил он. — Отдай! Отдай! Я их отберу... Разобью!

Внезапно он почувствовал, как к горлу подступает комок. Его ладонь ослабла, подушечки пальцев покрылись липкой холодной испариной. Бабушка Нила уже без труда освободила свою руку с зажатыми в ней очками, метнулась к кровати, убрала очки в ящик тумбочки. Молча присела на край разобранной постели. Павлик весь как-то обмяк. Он снова рухнул на стул, зарылся лицом в ладони. По лицу текли горячие, как бабушкин чай, слёзы.

Они с бабушкой Нилой никогда не вспоминали тот эпизод. В ту ночь она постелила ему на раскладушке, а утром на прощание крепко обняла — будто ничего и не было. Очки он больше ни разу не просил примерить. Сейчас, сидя на кровати, как сидела тогда она, Павлик разглядывал их, словно диковинное насекомое — неожиданно пойманного гигантского жука-богомла. Ему вдруг показалось странным, что в тот вечер без очков бабушка совсем не щурилась — словно без них видела так же хорошо, как с ними. Он приблизил очки к лицу, внимательнее посмотрел на толстые стёкла. Изображение за ними никак не менялось — не становилось ни меньше, ни крупнее, не расплывалось и не казалось чётче. «Вот так так!» — присвистнул Павлик. Стёкла были без диоптрий. Павлик медленно, зачем-то прикрыв глаза, надел бабушкины очки. Её голова была явно меньше его, но очки почему-то сразу сели как влитые — ему даже не пришлось прилаживать их к переносице. Павлик опустил руки, упёрся ладонями в края застеленной мягкой периной кровати, медленно открыл глаза.

По комнате стелился полупрозрачный невесомый туман, похожий на лёгкую облачную завесу, которой иногда бывает подёрнуто небо в летний день. Вдруг медленно, чинно, как гружённые золотом и самоцветами суда, из него стали выплывать фигуры — Павлик видел людей чётко, даже почти ощущал тепло их несуществующих

тел и слышал дыхание. Сперва появился дед Василий, муж бабушки Нилы, угрюмый, с клочковатой бородой, в строгом чёрном пиджаке поверх затрапезной в жёлтую клетку рубаше. Его пронзительно-голубые глаза пристально глядели на Павлика. Следом возникла материна двоюродная сестра тётя Маша — полная, смешливая, в вечных своих платьях с яркими цветочными узорами, она умерла от диабета десять лет назад. Тётя Маша, как всегда, улыбалась — на Павлика она смотрела с нежностью. Ему даже показалось, что он ощущает крепкий аромат её любимых приторно-сладких духов. Сердце Павлика застучало. Повернувшись, он заметил в другом углу комнаты Ричарда — тот громко дышал, высунув язык, и приветливо вилял хвостом. Внезапно ему показалось, что кто-то ползёт по правой руке: наклонившись, Павлик увидел богомола Федю и едва ощутимым движением пальцев погладил его жёсткие зелёные крылья.

Но Павлик знал, что это ещё не все, что ещё обязательно должны прийти *они*, а иначе всё зря. Он оказался прав. Когда он медленно поднял глаза от руки, перед ним стояла Маринка. Худенькая, тринадцатилетняя, с рассыпанными по плечам русалочьими волосами. Она улыбнулась, и он протянул к ней руку, как в школе, когда каждый раз возвращал ей разноцветную резинку. Его остановил голос, раздавшийся откуда-то слева:

— Трогать нас, Павлушенька, нельзя. Только смотреть можно.

Он повернулся. Рядом с ним на краю кровати сидела бабушка Нила. В халате в цветочек, с аккуратно убранными под гребень волосами. Без очков.

— А... Что... Что же мне тогда с вами делать, если вас даже обнять нельзя? — дрожащим голосом произнёс Павлик.

— С нами, Павлушенька, можешь просто жить, — бабушка Нила улыбнулась. — Мы теперь будем с тобой всегда. Спой нам. Спой нам нашу любимую «Ивушку».

Павлик отвернулся, сделал судорожный вдох, собрался с мыслями. Через минуту, не отводя взгляда от стоящих перед ним людей, негромко затынул:

— И-ивушка, и-ивушка, зелё-ёная моя. Что же ты, и-ивушка, не зе-елена стои-ишь...

Хриплый голос перекрывали гудки машин за приоткрытым окном. В комнате его внимательно слушали.

Евгений Сулес

В сие ли лето, Господи, поеду в Лиссабон?

Рассказ

Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать
меня, чтоб я не превозношися...

*Второе послание к Коринфянам
святого апостола Павла (глава 12, стих 7)*

После бессонной ночи отец Мелхиседек едет на службу. Дорога пуста. В тёмных очках и с бородой он похож на сепаратиста. Живот опять сильно болит. В такие дни уснуть за рулём и не проснуться кажется неплохим вариантом. Жаль только родителей. Сначала они рожают тебя на свет, не спросив твоего согласия, а потом цепко держат на земле своими слабыми сморщенными руками.

Странные мысли для священника и монаха. И тем не менее это его мысли. Наверное, всё дело в этой чёртовой, тупой, грёбаной боли.

Можно ли служить, когда потерял веру? Потерял или забрали? Он всегда любил слова из книги Иова: «Господь дал, Господь и взял». В общем, веры больше нет. Как подходить к алтарю? Не правильнее ли взять бессрочный отпуск и уехать далеко, на край Европы, ходить по пляжу, вглядываясь в бескрайнюю гладь, на другой стороне которой Америка, бродить по старым городам, не тронутым Второй мировой, пить терпкое креплёное вино из долины реки Дуэро и думать, как же всё далеко зашло. Молчать, как молчит Бог. И, если долго молчать, если долго сидеть в темноте и молчать, можно будет понять, почему молчит Он, почему играет с нами в молчанку.

Когда это случилось и почему? Почему писатель перестаёт писать, учитель ненавидит учеников, а священник больше не верит? И что со всем этим делать?

Билеты были куплены, гостиницы забронированы, маршрут намечен, отпуск согласован. И тут — *чума на оба ваши дома*. Границы на замке, воздушное пространство отдыхает, остаётся только каждый день смотреть погоду в Лиссабоне — сегодня плюс двадцать восемь, солнечно, — чувствуя на губах горькую сладость вина, которого так и не выпил, и ехать на службу в закрытый для прихожан храм. Верующим вход воспрещён! Только ему одному. Он будет служить Богу один. Как бы в насмешку

Сулес Евгений Валерьевич — актёр, телеведущий, писатель. Родился в Москве в 1977 году. Печатался в журналах «Октябрь», «Знамя», HomoLegens и др. Один из основателей клуба ЛЖИ — Любителей Живых Историй. Автор книг «Сто грамм мечты» (2012), «Мир виски и виски мира» (2017), «Письма к Софи Марсо» (2020). Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

над утраченной верой. Может быть, в этой тишине пустой церкви он снова услышит Бога, как слышал когда-то?

Было лето, все друзья разъехались, он бродил по опустевшему московскому двору, словно Моисей, пасущий овец в пустыне у горы Хорив, только без стада, и нашёл в пыли нателный крестик, простой, из дешёвого металла, с сильно облупившейся синей краской. И обрёл веру. Стало ясно — как будто протёрли губкой тусклое стекло — Бог есть. Его существование стало неоспоримым, мальчик почувствовал присутствие Бога. Во всём вокруг и в себе. Это сложно объяснить. Кто испытал — знает, а кто нет — не поймёт. Вера всегда иррациональна, она не строится на доводах рассудка, построения разума ей чужды. Не то чтобы она совсем противна разуму, просто говорит на другом языке. Вдруг становится очевидным недоказуемое, появляется уверенность в невидимом. Вот и всё.

В тот день, в летнем полупустом московском дворе конца восьмидесятых прошлого века, в другом тысячелетии и другой стране, он слышал Бога. Бог *позвал* его. Хотя Бог и молчал. Он не говорил ему: «Саша, Саша, зачем ты гонишь Меня?», «Я есмь Суший!» или «Иди за Мною!» Ничего такого. Бог молчал. Но Саша Его слышал. Саша слышал Бога.

Это было давно. И теперь он не знает, было или не было.

Бог всегда молчит. Во всяком случае, с простыми смертными. Почему? Самый простой ответ — потому что Его нет. Другой ответ, парадоксальный, состоит в том, что Он молчит, потому что у Него нет ни языка, ни рта, нет ничего, чтобы говорить. Он не только молчит, Он не ходит, не ест, не пьёт. И, если следовать этой логике, не слышит.

Итак, что мы имеем? Священник, монах... Кстати, сколько ему лет?.. Сорок три? Понятно, — как тебе. Итак, иеромонах средних лет едет рано утром на службу. Священник в личном экзистенциальном кризисе. Он больше не верит. Сегодня он будет служить один. То есть в принципе может и не ехать. Или ехать, но не служить. Но он всё-таки едет. И собирается служить. В человеке всё привычка, ага. Это речь о личном кризисе?.. В конце он обязательно обретёт веру. На фоне рассвета, после долгой бессонной ночи, полной сомнений. Он узрит свет в самый тёмный час ночи. Я угадал? История смерти и воскресения. Уже рассвело?.. Ты сам ещё не знаешь?.. Можно, кстати, убить его в конце. Застрелить из охотничьего ружья в пустом, побелённом храме без росписи. Гулкий выстрел стихает. И кровь священника проливается на алтарь. Хорошо-хорошо, я умолкаю. Пора двигаться дальше. А что, кстати, дальше? Пусть он кого-нибудь подберёт на дороге. Лучшие девушку. И займётся с ней любовью на заднем сиденье. Раз уж веру потерял, пусть возьмёт от жизни всё. Он так долго отказывал себе в простых радостях земли! И ещё ему надо выпить, в бардачке у него должна быть фляжка с виски, все священники, потерявшие веру, пьют, мы столько раз это видели в кино. Не злись, я шучу! Он не будет с ней спать. Он её полюбит, но ему нельзя, после долгих мучений он поступит правильно. Они расстанутся, но изменённые друг другом. Они уже не те, что вначале, он снова верит, а она бросает панель. Или так, в качестве бреда, он уходит в расстриги, она рождает детей, и они помогают людям где-то в Сибири. Такой немного Толстой. Нет?.. Но кого-то он должен подобрать, он уже слишком долго один. Например, исписавшегося писателя, продавшего себя учёного, потерявшего берега пьяного народного артиста. Его машина набивается персонажами, как грибок под дождём, они сворачивают не туда, пьяный актёр сбивает с толку твоего Мелхиседека, и попадают в аномальную зону, где исполняются заветные желания. Там упал метеорит, который окажется летающей тарелкой, и от него исходит сияние. Поиграем в «Сталкера»! Не нравится?.. И что ты предлагаешь, он так и будет

один до конца, как клоун Бёлля? Он и его воспоминания? Признаюсь, я немного разочарован! Подумай!

Чтобы не уснуть, отец Мелхиседек включает музыку. Хотя больше всего на свете ему как раз хочется спать, как ученикам в Гефсиманском саду. Сон от печали, как он их понимает, растерянных провинциальных рыбаков на окраине большого города, запутавшихся в туманных словах Учителя, в притчах и метафорах, образах и символах: *«Покажи нам Отца, и довольно для нас!»*

Он вспоминает, какой мутной тоской была для него начальная школа. В детский сад он не ходил — мать не работала и всегда была дома, — и первые три класса были сущей мукой. Чувство тотальной несвободы, тюрьмы не покидало его, он чувствовал себя запертым в клетке, вызов к доске был приглашением на казнь, путём на эшафот на глазах у злорадной толпы опытных сидельцев, прошедших детский сад, а учителя — бесстрастными надзирателями, если когда-то и знавшими, что такое жалость, то давно забывшими за выслугой лет.

Заиграла Sunny Afternoon. Он вспомнил допотопное чёрно-белое видео, в котором «Кинкс» стояли под еловыми лапами в зимнем лесу в своих модных узких костюмах, надетых на белые водолазки. Однажды он был на похоронах в деревне: отец купил дом в Костромской глуши, под Галичем, и они приезжали туда каждое лето. Местные жители выкладывали путь от дома до могилы еловыми ветками. Он так и не понял, зачем. Чтобы мёртвый нашёл дорогу назад, смог вернуться домой? Они и правда хотели, чтобы он вернулся? Они были готовы увидеть его? Вылезшего из могилы, испачканного землёй, белого и холодного, начавшего разлагаться, смердеть?

Он что, бывший хиппи? Как Уминский? «Кинкс» слушает. Из олдовых хиппов в модные попы?..

Когда утонул брат, ему долго снились сны, как он возвращается. Бледный, промокший до костей, с водорослями вместо волос, на щеке пиявка, в руке рыба, беззвучно говорящая букву «о». Рыба — самый древний христианский символ. Древнее креста. Нарисуешь рыбку, и все знают, что ты свой, помогут, накормят (впрочем, если не нарисуешь, всё равно накормят и помогут), напишут письмо братьям в Коринф или куда там тебе надо.

Эпоха первых христиан всегда его будоражила. Книга *Деяний святых апостолов* была любимой после Евангелия. Христианство было живым и нежным, как кожа на пятке младенца. А потом оно грубело, веками закалялось, как сталь, твердело. Радость и любовь первых дней ушли. Первые дни были как первая любовь. Господь был *близко, при дверях*, любой день мог стать последним. И это было радостью. Страшной радостью. Господь был на каждой Вечере. Сидел с ними за столом, вкушал и давал Себя в пищу. «Христос посреди нас» — были не пустыми словами. Куда это всё ушло?

Пока ты юн, жизнь течёт по тебе, словно ток, а потом с каждым годом напряжение падает. Но ведь были же люди, которые с годами только светлели, смягчались. Таким был отец Иоанн, в его любви можно было купаться. Почему я не такой? Где я допустил ошибку? Где произошёл сбой? Когда в программу попал вирус? Или он был там изначально? Тогда что его запустило?

Двадцать лет после пострига пролетели как один день, прочитано столько книг и молитв, отслужено литургий и всенощных бдений, молебнов и панихид, сказано столько хороших и правильных слов на проповедях и в частных беседах, на исповедях и встречах, а плода нет. Он бесплоден. Как священник, как христианин, как мужчина. Его потомство, его семья, его дела не наследуют землю, не станут бесчисленными, как звёзды на небе и песок на морском берегу среди сосен и кедра ливанского. «Рахиль

плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Конечно, дело не в книгах и словах, не в количестве лет. Это как наизусть знать инструкцию по применению, но ни разу не пользоваться прибором, не применить её на практике.

Скучная история выходит у тебя, бро! Кому это сейчас нужно, кто это будет читать? Первые христиане, есть Бог, нет Бога... Кому это интересно? Это давно уже неважно и неактуально. Проехали! Теперь всё относительно: если веришь, значит, есть, не веришь — нет. Всё в твоей башке! Игры разума, иллюзии сознания, цветные и глупые сны. Ничего нет. Только ты да я. Да и меня, в сущности, нет. Только ты! Всё лишь порождения твоего ума, лучи сознания, колебания пустоты. Ты меня не слушаешь!..

Был бы я лучше, было бы во мне больше жизни, если бы она согласилась и вышла за меня? Родила бы детей... Зачем снова об этом спрашивать! Она не согласилась. А без любви, просто взять кого-то, потому что надо, я не мог.

На обочине, рядом с машиной цвета спелых вишен, танцуют две девушки в топиках. Они смотрятся экзотично, и это первые люди, которых он встречает этим утром. В них есть жизнь. В их отточенных энергичных движениях, улыбках, открытых лицах, к которым прилила кровь. Ему хочется остановиться, выйти из машины и танцевать вместе с ними. Нелепо, как получится, как сможет. Научите меня танцевать! *Освежите меня яблоками!*

В семинарии у него было послушание: он приходил первым и открывал храм, зажигал лампы, готовил всё к службе. Однажды он шёл рано утром к храму и увидел девушку в одной белой рубашке, накинутой на голое тело. Она тщетно совалась во все двери, а увидев его, обрадовалась и подбежала: «Меня тут привезли и забыли, я проснулась, а никого нет! Мне бы попить, очень пить хочется, и позвонить!» Он её потом долго вспоминал со смехом и скрытым волнением.

А он у тебя тайный эротоман, однако! Блин, ты опять не слушаешь! Ну и чёрт с тобой!..

Сейчас ему кажется, что забыли его, на этой дороге оставили одного, как в детстве. Во рту пересохло и нужно срочно позвонить. Один-единственный звонок. Каждый человек имеет право хотя бы раз в жизни на звонок Богу. Один только раз. Прощу! Господи, возьми трубку, ответь! Скажи «алло» или просто подыши на том конце, и хватит с меня.

Когда приходит пустота? Эта прожорливая пустота, съедающая всё на своём пути. Природа не терпит пустоты. Пустоту заполняет боль. Такое ощущение, будто закатали в полиэтилен и нечем дышать.

«Или, Или! Лама савахфани?» *Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?..* Или это я оставил Тебя? Ты дал, а я всё растерял по дороге, расплескал, зарыл в землю.

Он едет и думает обо всём этом по нескончаемому кругу, думает о своих старых родителях, о молчащем Боге, о том, что скоро, возможно, всех монахов припишут к монастырям, а в монастырь он не хочет, он слишком хорошо знает, что такое монастырь, и родителей не оставит, уйдёт в заштат, будет искать работу, кем и куда он сможет устроиться, что будет делать? Думает о боли в животе, боится, что это рак. Хочет нарушить эту тишину, закричать, прорвать плёнку, бороться с Богом, не отпускать Его до зари, и в её отблеске хотя бы на долю секунды увидеть Его Лицо. Иногда ему кажется, что именно этого Он и ждёт от него.

Играет Losing My Religion, R.E.M.: Rapid Eye Movement — «быстрые движения глаз» во время фазы быстрого сна. В голове кадры из клипа, вдохновлённого «Жертвоприношением» Тарковского.

Он движется дальше, дорога петляет и по-прежнему пуста, танцующие девушки остались давно позади. Может быть, он уже умер и едет на тот свет на машине Харона? По бокам жёлтое море колосьев, колосья полны зёрен, зёрна упадут в землю и снова взойдут, принесут урожай, над полем кружат птицы; если опустить стекло и выключить музыку, услышишь крик чаек, хотя никакого моря здесь нет и в помине, ни моря, ни большой реки, ни озера. Он Харон и умерший. Перевозчик и перевозимый в одном лице. Дорога не закончится, пока он не найдёт ответ. Он жаждет ответа, он умирает от жажды, как потерпевший кораблекрушение умирает от отсутствия воды посреди океана, держась распростёртыми руками за доску. На доске написано несколько букв из имени корабля. Под толщей воды много рыбы.

Он алчет ответа, и вдруг что-то щёлкает в голове, как будто сработал специальный тумблер, появляется какой-то мгновенный просвет между мыслями, щёлка, из которой бьёт свет утренней зари, ослепляет, на миг нет ничего, кроме этого света, и становится ясно. Ответ не в словах. Нет таких слов, такой их комбинации, которая может вместить ответ. Именно поэтому Бог молчит. Ему нечего сказать нам словами. Он *говорит* этим полем, этой дорогой, криком чаек, танцующими девушками в цвету на обочине, пыльным нательным крестиком, отцом и матерью, любимой девушкой, что отказала, всеми людьми на твоём пути, этой болью внутри и пустотой, унылой, как осеннее поле в среднерусской полосе, а иногда наполненностью, которая льётся через край ванны, когда ты в ней уснул или умер, какая разница, Он говорит всем, что с тобою было, есть и будет, Он кричит всем этим: «АЛЛО!!!», именно так, капслоком и с тремя восклицательными знаками, Он громко дышит в трубку полной грудью, правым и левым лёгким, миллионами альвеол, будто долго бежал, бежал за тобой, Он всегда на связи, даже когда ты вешаешь трубку, нажимаешь отбой и звонишь другому абоненту. Он никогда не молчит.

Отец Мелхиседек входит в пустую церковь, большую, только побелённую, без росписи, на роспись денег нет, и служит Богу — его голос гулко разносится под её свежими сводами, — в Которого то верит, то нет. Когда вера крепка, он может свернуть горы. Когда её нет, — он будто лежит на дне тёмной реки. В такие дни он напоминает себе колеблемое ветром дерево за секунду до падения, большое, бессмысленное. Ветер крепчает — и оно с глухим стоном падает. Корни его неглубоки, ветви пусты. Когда он верит, — его самого будто нет, он исчезает, растворяется, легчает до возможности взлететь, пойти по воде. Так ему кажется, когда он верит. Когда нет, — он снова занимает собой весь эфир. Страхи, сомнения, тоска и боль затмевают всё, заглушают все другие голоса, ничего не видно, ничего не слышно в такие дни, нет ничего, нет Бога, нет других людей, только черви внутри, медленно съедающие твою душу.

И это всё? Конец? Ну нет!.. Ты вылил на нас мутный поток чужого сознания! И прицепил к нему сомнительный вывод из сомнительных рассуждений. А где события? Где действие? Напиши хотя бы: «В Лиссабоне снова солнечно, плюс двадцать восемь!» Закольцуй конец с началом! Почему ты молчишь?

Анна Долгарева

Там, где болит — приложи подорожник

Баунти

Рождаться я не должна была.
Матери пять лет, и ещё потом
ставили бесплодие, чёрное, горькое, как смола.
В ноябре каком-то, полуснежном, полуседом,
она доехала до пасмурного села.
Бабка что-то шептала над её животом,
слушала, как её сердце бьётся.
Давала воду из местного ручья
(не исключено, что попросту из колодца),
через девять месяцев родилась я.

«Баунти» — райское наслаждение.
Так говорили по телевизору, показывая картинки рая.
Я смотрела — пятилетняя — замирая.
Это происходило как раз на разделе
большой империи, а я была небольшая.
Отцу тогда перестали платить зарплату,
он злой ходил, а тогда и вовсе,
засунул меня в куртку, потащил в тёмную осень,
до ларька, к пергидролевой продавщице патлатой,
на последние деньги купил этот баунти сраный,
я ела, захлёбываясь слезами,
он был совершенно невкусный, как деревянный,
но папе я об этом ничего не сказала.

В семь лет, отправившись в школу,
я узнала, что умерли те, о ком я читала.
В землю легли рыжие кони,
гипсовые пионеры сошли с пьедестала.
Кто писал о победе — тот стал обманщиком.

Долгарева Анна Петровна — поэт, журналист. Родилась в 1988 году в г. Харькове (Украина). Автор семи поэтических сборников, среди них «Из осаждённого десятилетия» (2015), «Уезжают навсегда» (2016), «Русский космос» (2019). Лауреат Григорьевской премии (2019). Живёт в Москве и Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» печатается впервые.

Разбилась голубая чашка,
накрылась судьба барабанищика.
Зарыты в землю герои Гайдара,
никто не шлёт привет Мальчишу.
Они проиграли, а я дышу.

Наверное, тогда я и стала старой.

Там, где я выросла, мне светит пятнадцать
Лет за экстремизм и призывы к сепаратизму.
Но эти неосвещённые дорожки мне часто снятся
и тропинка к ларьку через футбольное поле моей жизни.

И жёлтое окно на втором этаже — мамино и папино,
словно книга, что открывается на одной и той же страничке.
Когда я умру, надо мной запоёт Алёна Апина,
и я уеду прочь на ночной электричке.

* * *

Генерал Василий Филиппович Маргелов,
Командующий ВДВ,
Уверен в успехе проекта,
«Боевая машина десанта».
Это многотонный железный гроб на колёсиках,
С живыми человеками внутри,
Который предполагается выбрасывать с самолёта,
С высоты нескольких сотен метров.
Никто не верит.

Генерал Василий Филиппович Маргелов,
Командующий ВДВ,
Выбирает для испытаний младшего сына Сашу.
И, пока самолёт с Александром Маргеловым набирает высоту,
Василий Филиппович курит
Беломорину за беломориной,
Не смотрит в небо.

Позже журналисты напишут,
Что он приберёт для себя пистолет с одним патроном.
Это неправда.

Чем выше, тем холоднее.
Боевая машина десанта
Со старлеем Маргеловым Александром
Промерзает до кишок.
Скоро заброска.

Когда холодно, не растают твои крылья.
Скреплённые воском.

Это солнце, мороз, Россия, это никто не упал,
Это выше человеческого закона.
Беломорину за беломориной курит Дедал
Посреди Тульского полигона.

* * *

Собрала яблоки, а они сгнили.
Или неправильно хранила, или
Некому было есть.
Дом мой пуст. Дом мой вообще не здесь.

В детстве собирали подсолнухи и орехи,
Складывали на балконе. В эфире помехи,
Не дозвониться.
Семечки из подсолнуха сыпала птицам.

Мама, возьми трубку. Не слышит — на даче.
То, что живы — вообще большая удача.
Не жалуйся, могло быть и хуже.
Некому меня домой позвать со двора на ужин.

Яблоки мои, яблоки, катитесь по блюду.
Катятся и смеются:
«Зеркало в пустой квартире покроется пылью,
Унесли тебя гуси-лебеди на белых крыльях».

* * *

Пообещали, что к вечеру будет дождь.
Воздух горячий, трясущийся, как желе.
Тополь стоит за окном, лопотлив и тощ,
пух от него разлетается по земле.

Если поймать пушинку, придёт письмо.
Там, где болит — приложи подорожник, пройдёт само.
Если оса, то скажи ей: «соль, соль, вода».
Плавятся за спиной мои города.

Беленькая пушинка, лети, лети,
через границы стран и ждэ пути,
через минные и маковые поля,
туда, где меня забыла моя земля.

К вечеру будет дождь. На верёвках висели
простыни, но убрали. По небу течёт лиловое.
Трещины на асфальте: ночью было землетрясение.
Я выходила с клеем, заклеивала.

Александр Джумаев

Из эпохи «последнего времени»

Разрозненные мысли и наблюдения

Начну с короткого пояснения. «Последнее время» — *охир замон* — устойчивое понятие, категория в духовной жизни, в суфийском мироощущении, в старом обыденном сознании мусульманских народов Центральной, или Средней Азии и Казахстана. «Последнее время» может случиться в каждом столетии, даже не раз. Когда оно наступает, рушатся фундаментальные опоры человеческого сообщества, принципы гармонии и в самой жизни, и во внутреннем мире человека. Наступает эпоха хаоса, тотального жульничества, вседозволенности и лицемерия. Но все это нередко выставляется как расцвет духовности, процветание и благополучие. Основатель суфийского братства Яссавийа, общетюркский суфийский проповедник Ходжа Ахмад Яссави (ум. в 1165 г.н.э.), обращаясь в своих хикматах-премудростях к признакам охир замона, заметил: «Охир замон шайхлар иши хаме риё» — «Дела шейхов последнего времени — одно лицемерие».

Эти записи появлялись спонтанно. Не было намерения составить из них нечто целое и связанное. Заносились они в записные книжки, на отдельные разрозненные листки, иногда — когда ничего не было под рукой — на внутренние пустые стороны книжных обложек. Время — конец так называемой перестройки, распад СССР и первые годы национальной независимости. А точнее — безвременье, полное неопределенности и безысходности. Разумеется, не для всех. Но прежде всего — для советского человека, коим считаю и себя. Место — преимущественно Ташкент, но и другие города Узбекистана и соседних республик.

Разнохарактерность записей и эклектичность отраженных в них тем и сюжетов очевидны. Казалось, что в этом виде их вряд ли когда-нибудь можно будет опубликовать, понадобятся отбор и тщательная редаKTура. Но, просматривая эти записи по прошествии многих лет, я вдруг увидел в них определенную цельность. В том смысле, что они по-своему довольно точно отражают время. Ведь и само время тогда было разорвано на части, протекало по отдельности в разных сегментах и слоях общества. И даже в разных сегментах сознания одного и того же советского человека. Присутствие разновременности внутри одной эпохи создавало впечатление эклектичности мыслей, но оно было мнимым.

Джумаев Александр Бабаниязович — культуролог и музыковед-востоковед, постоянный автор «ДН». Родился и живёт в Ташкенте. Основные научные интересы А.Джумаева связаны с Центральной Азией и сосредоточены в двух областях: музыковедческой и культурологической. Автор более двухсот научных публикаций и книг.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 3.

Как и прежде, продолжалось чтение книг, выписывались полюбившиеся тексты, и составлялись примечания, шла научная работа, хотя теперь вне государственного научного учреждения. Сохранялось общение с друзьями и коллегами, круг которых незаметно сужался. Начался безостановочный отъезд из страны в разные стороны, который не завершён и поныне. Происходили бесконечные споры и обсуждения происшедшего и происходящего. Даже поездки по городу на автобусе или метро давали интересную пищу для размышлений.

Потом начались поездки через границы по служебным делам в соседние, бывшие братские республики и там — новые наблюдения, а к ним уже сравнения. И все это в разной степени фиксировалось. Большая страна рушилась постепенно, выработанные в ней культурные ценности вытаптывались и заменялись новыми. И все, что фиксировалось, отражало kaleidoscope изменений, происходивших со страной и с тобой, с твоим сознанием.

Строгой хронологии при составлении этих записей я не придерживался, стараясь сгруппировать их по неким «тематическим блокам». Хотя в отдельных случаях, где это имело принципиальное значение, привёл зафиксированные ранее даты, а также ввёл годы жизни для тех, кто уже покинул этот мир. Хотелось бы предупредить читателя: жизнь всегда многообразней, чем любое наше наблюдение, тем более мимолетное. И вряд ли каждое наблюдение может быть основанием для обобщающих выводов и утверждений.

* * *

А начиналось все с бесед и споров с отцом. Споры были серьезными, и иногда мы расходились по своим комнатам с обидой друг на друга. Если рассказывать обо всем, получится целая книга. Здесь же показалось важным просто определить позицию, которая выпадает из нашего времени. Полный анахронизм.

Наверное, сыновьям, во всяком случае очень многим, свойственно идеализировать своих отцов. У нас же, на Востоке, — не только идеализировать, но и безмерно почитать. Часто приходится слышать, например, от таксиста, случайного попутчика в поезде или самолете о том, как был мудр его отец, какой он удивительный, честный и порядочный человек — теперь таких нет. Какие он высказывал правдивые и умные суждения, давал бесценные советы, предупреждал, умел различать хорошее и плохое... Тогда говорю им: вот и напишите о своем отце. Но вместо этого у нас принято называть именем отца маленькие частные магазинчики-дуканы, а иногда даже кафе и рестораны. Но дуканов, конечно, больше: «Махмуд-ота», «Кучкар-ота», «Исмоил-ота», «Иброхим-ота»... Ота — значит отец. Конечно, хорошая, можно сказать, прекрасная традиция. Где еще есть такая?

Меня рассказать об отце побудила не биография его. В ней нет ничего необычного. Таких людей были сотни тысяч, миллионы. Это те, кого подняла Советская власть с самых низов, для кого эта власть стала своей, кто осознавал свою классовую принадлежность. Кто мог спросить и спрашивал чиновника и начальника прямо в лицо, не задумываясь и не взвешивая последствий: а что полезного лично ты сделал для государства и страны? И чиновник вынужден был отвечать или молчать. Рабочему-то терять нечего, кроме «своих цепей». С завода не погонят.

Сравниваю с нынешним временем и понимаю, как далеко мы ушли от той демократии и свободы. И как крепко мы опутаны тоталитарной системой экономической зависимости и произвола. Теперь любой работник боится не то что покритиковать, но даже ответить на унижение, несправедливость, защитить себя. В особенности в сфере культуры. Попробуй-ка — быстро вылетишь с работы и вряд ли потом найдешь другую, даже с меньшей зарплатой. И молчат не только рядовые работники, но и среднее звено. Чиновники-начальники теперь хозяева положения.

Будешь работать столько, сколько им нужно. Какие там 8 часов! А 12—16 не хотите? И в воскресные дни тоже. И никто их не приструнит, покуда сверху не уберут, но по другой причине: «выпал из команды», перестал заносить долю или, как они выражаются на своем криминально-поганом жаргоне, «забыковал».

Причина рассказов об отце — в осознании собственного классового происхождения. Случилось это значительно позже, уже после ухода отца из жизни и после того как в анкетах исчезла графа «социальное происхождение», а потом исчезла и сама анкета. Некоторые коллеги и знакомые ринулись восстанавливать свое классовое происхождение, восходящее, конечно же, не к пролетариям, а все больше — к аристократическим родам, ишанам, баям, святым-шейхам, ходжам, древним тюркским и иранским династиям, жузам и проч. Тогда впервые и стал задумываться: а кто же ты сам? Как примкнул к той феодально-байской традиции, которая оказалась чуждой жизненному принципу твоего отца, пролетарскому интернационализму? К традиции, которая в силу своей древности и укорененности в сознании так великолепно разделяет общество, отделяет его слои и классы друг от друга.

Класс-гегемон пролетариев послевоенного призыва давно ушел, остатки его развеялись вместе с заводами и фабриками. А вот интеллигенция все же сохранилась и теперь находится в поиске своих древних культурных корней. Твердят о восстании черни в 1917-м году, об уничтожении чуть ли не всех деятелей культуры тоталитарной системой, о жестоких репрессиях. А она тут как тут, существует, хоть была всего лишь тонкой «прослойкой» между классами. И немало уже тех, из бывшей народной, оказалось у кормушки, черпает из нее теперь уже без страха и боязни. Попутно восстанавливают свои «шаджара» — традиционные родословные (зафиксированные в виде документа, часто свитка в арабской графике), заверенные цепочкой «передатчиков», именами священнослужителей и влиятельных лиц, подписями и печатями юридических авторитетов. И готовы, если что, предъявить эти шаджара в лицо другим — противникам-завистникам, соперникам и конкурентам: вот, смотрите, кто я такой, какие у меня благородные корни. («А ты кто такой?» — «Сан ким сан?») Идет чуть ли не повальная «шаджараизация» «интеллектуальной элиты», правящей верхушки и новой буржуазии. И у нас, и в некоторых соседних странах.

Но ведь в свое время эти люди получили все, что было возможно, от советской власти: образование (многие в престижных московских и ленинградских вузах), работу, карьеру, квартиры, машины... А теперь без зазрения совести, а то и с гордостью, пишут и вспоминают, как они, их отцы и деды прикидывались коммунистами, но никогда не верили в социализм. Как скрывали ценности (золото, драгоценные камни и пр.) от конфискации, как проклятые большевики отнимали у них нажитое непосильным трудом — особняки, заводы, дуканы, землю и проч., как они поддерживали друг друга, подбирались к хорошим, хлебным должностям при Советах. И это подается в ореоле доблести, как скрытая, тайная борьба с проклятым тоталитарным режимом. Спешно, ударными методами строится — и уже, надо признать, почти построено — классовое общество на новой антагонистической базе. Закладываются основы для новых социальных потрясений в будущем. Хочется им сказать: раз вы так ненавидели тот строй, так верните все, что вы получили (фактически незаконно) от советского государства! Но некому и возвращать: той страны уже нет.

* * *

Вспоминаю свое детство и молодые годы. Долгие застолья и беседы с отцом и его друзьями — рабочими разных национальностей, русскими, узбеками, татарами, немцами, евреями, украинцами — и не нахожу этому общению лучшей альтернативы.

Даже в интеллектуальном плане, не говоря уже о человеческой, этической, нравственной стороне. Эти простые люди знали реальную жизнь, знали страну и ее нужды получше многих ученых чинуш. Да и в своем образе жизни они были естественны. На все большие праздники, в особенности на 7 ноября и 9 мая, в каком-либо дворе, чаще всего в нашем, накрывали общий стол, угощения готовили сообща, так же, как и напитки: кроме водки ценились свой самогон и домашнее вино. Пели русские народные и советские песни, в том числе и с такими словами: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём». Или: «Гремя бронёй, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведёт» (цитирую по памяти). Почему-то — наверное, за их необычную певучесть и лиризм — особенно любили петь украинские народные песни, и обязательно на украинском языке.

Помню рассказ отца о том, как его вызвали в Ташкент, в прокуратуру, по поводу покупки им на заводе в порядке очереди, как передовиком производства, автомашины «Жигули» (они тогда только появились). Кто-то написал клеветническое письмо. Следователь с изумлением спросил: «Да вы что же, неграмотный, не умеете читать и писать?! Как же вам незнакомые люди, даже не друзья, дали деньги в долг на покупку машины?!» На что отец ему спокойно и с достоинством ответил: «Зато вы грамотный и получили образование, а мы в годы своей молодости были заняты другим — восстанавливали и поднимали страну, разрушенную войной».

Или как его однажды избili торгаши-лавочники за то, что он хотел навести порядок в торговых точках на территории рабочего поселка, прекратить вымогательства и сокрытие товаров первой необходимости, торговлю из-под прилавка. Отец, конечно, не знал, что это система и что она неистребима. Не знал он и того, что она глубоко укоренилась в традиционной этике, подпитываемой вековыми догматами ислама: торговля — одна из почитаемых профессий (наряду с земледелием и ремеслом). Однако если в доктрине ислама всякий обман в торговых делах жестко осуждается, то в ту эпоху в обычай вошла иная «этика»: обман — проявление доблести.

Отец, простой рабочий, в последние годы жизни — машинист тепловоза, искренне считал, что образованный человек сам по себе и есть уже порядочный и честный. И потому постоянно призывал нас, детей, учиться, читать и читать. В школьные годы даже выдавал мне пару рублей в неделю на покупку книг по своему выбору. Миф о грамотности как безусловной порядочности развеялся у него постепенно, уже к концу жизни. Этому способствовали и мои рассказы об отношениях в нашей «интеллигентной среде», о ее нравах, о случаях конформизма и продажности, эгоизма и национализма. Для отца это было шокирующим открытием. Он ведь мыслил совсем иначе. Он мечтал видеть меня, росшего в простой рабочей семье, грамотным, образованным и честным именно благодаря тому, что я приобщусь к этому слою благородных людей, попаду в их среду. А получилось, что я вроде как предал его классовые интересы.

Конечно, я не сразу это понял, тоже постепенно. Когда стал задумываться и рассуждать: а мне-то какое дело до бед тех людей, которые считают, что они натерпелись от советской власти? Ведь им-то нет никакого дела до рабочих и дехкан, а я по происхождению вроде бы к ним и принадлежу, просто забыл об этом, «обуржуазился». Мне-то лично ничего плохого советская власть не сделала, наоборот, — только хорошее. Мне и моей семье. Может, кому-то она и сделала плохое, но мне-то что до этого? У них свое понимание, своя спайка, хотя и зубоскалят они по адресу друг друга, грызутся, как волки, но, когда надо, держатся вместе, объединились, переплелись кланами и родами, породнились — не расплетешь.

Мне казалось, что моя «философия» вполне соответствует современному процессу «демократизации», а фактически — классовой поляризации общества. Отец даже не знал, где находится консерватория, и никогда там не был, ни до, ни после моей учебы. Я сдал документы и поступил. Так же, как мои братья и сестры, — в другие вузы страны. Для интереса — это было начало 1970-х. Не было тогда даже такой мысли, что кому-то за что-то надо заплатить, чтобы устроить свои дела. От железной дороги мы получили коттедж, а потом еще от завода и квартиру: семья была большая. Давали бесплатно землю под ведение подсобного хозяйства. Детсад бесплатно, летом — пионерский лагерь бесплатно. Отца, переболевшего туберкулезом, буквально принуждали ехать в санаторий в Трускавец, бесплатно, от заводской поликлиники. Но он все время отказывался, лишь один раз все же поехал. Теперь все изменилось. Все это уже в руках «новых хозяев жизни», и лечиться стало привилегией богатых.

* * *

Бесконечные споры о Сталине. Отец защищает его, а я пытаюсь возражать. Однажды, когда, казалось, были исчерпаны все аргументы, отец в сердцах заявил: «Да если бы не Сталин, ты бы пас овец, как я когда-то! Спасибо Сталину, что разрушил все эти сословия, всю эту армию знатных бездельников!»

Сам он когда-то, еще в 30-е годы, подростком, пас овец у богатого бая, Фазил-бая, на далекой окраине, на границе с Туркменией. Бай был «добрый» — платил одной лепешкой в день. Отцу запомнились его амбары с припасами различных продуктов в больших мешках. Баю долгое время удавалось избежать раскулачивания, но потом он все же загремел.

Помню, как в конце перестройки, когда произошла встреча Горбачёва с Рейганом и их беседа наедине, отец сказал мне только одну фразу: «Да, Саша, делу рабочих пришел конец...»

* * *

Совсем другого склада был мой дядя, брат моего отца — Джуманазар-бобо. Он был истинно верующим мусульманином. Аккуратно, сверяясь по большим карманным часам, творил пять раз в сутки свою молитву в далеком кишлаке Чандыр, что недалеко от Туркмении. При себе постоянно носил маленькую самодельную книжицу — священный Хафт'як (буквально: седьмая часть Корана), изготовленную фотографическим способом на грубоватой толстой фотобумаге и прошитую по сгибу черными нитками.

Такие книжечки частей Корана и другой популярной малообъемной литературы для верующих мусульман, «изданные» нелегально в подпольных фотолабораториях, стали появляться на базарах Средней Азии, в том числе Узбекистана в 60—70-е годы, восполняя нехватку религиозной литературы. Стоили они по тем временам недешево, от 5 до 10 рублей и выше за экземпляр. Здесь же, на базаре, в ряду книжников, за эту же или немного большую сумму, можно было купить добротное старопечатное издание-литографию, а то и рукопись на арабском, персидско-таджикском или тюрки языках.

При нашей первой встрече Джуманазар-бобо молча, сохраняя внешнее достоинство, протянул мне свой Коран, надеясь, видимо, услышать настоящую арабскую речь. Сам он, по-видимому, как и многие его современники, знал суры Корана лишь в устной передаче, заучив их от местного муллы или такого же, как и он, дехканина. Хотя я не был знаком с Кораном (он не изучался в наше время), но уже мог, следуя правилам огласовки, кое-как что-то прочесть из его текста. Джуманазар-бобо был удивлен и остался мной доволен.

Обладая солидным внешним видом и большой черной — несмотря на свой преклонный возраст — бородой, Джуманазар-бобо был человеком необычайно

добродушным и терпимым. Он глазом не моргнул и не выразил никакого показного неудовольствия, когда отец достал из сумки бутылку водки и нарезал к ней колбасы явно не халяльного состава. «Ну вот, видишь, кем заделался мой брат? Настоящий мулла!» — сказал он, смеясь. И мы выпили за встречу и здоровье Джуманазара-бобо и всех присутствующих.

«Подожди немного, — говорил мне часто отец в последние годы после наших горячих споров о политике и истории страны, о Ленине и Сталине, — вот выйду на пенсию, будет время, тогда я тебе расскажу историю, да еще какую! Этого не знает ни один ученый. Все они купленные, все врут. Ты только записывай, твое дело записывать, потом опубликуем». К сказанному он относился очень серьезно, видимо, долго обдумывал ход своей истории и рассуждений. Но рассказать не успел, только и успел что выйти на пенсию...

* * *

В начале 2000-х на одной из посиделок в старом поселке Сергели, в нашем старом доме, встретил соседа, Виктора Ярыгина. Долгие годы он работал водителем на разных предприятиях, дружил с моим отцом. Разговор перешел в область политики и тех потрясающих изменений, которые произошли за последние годы в стране. Я стал рассказывать о своей научной работе, об успехах, публикациях. Но Ярыгин неожиданно прервал меня и спросил: «А что ты лично сделал для рабочих?» Тем самым он напомнил мне о моем происхождении: из семьи рабочих.

* * *

Русская женщина интеллигентного вида говорит вслух довольно громко своей соседке в троллейбусе (дело было вскоре после провозглашения независимости республики) о том, что раньше, до советской власти, у узбеков никогда не было единой нации, и это подтверждается исследованиями ученых. Они создали нацию благодаря советской власти. Ее довольно резко и испуганно обрывает другая русская женщина: «Это тема не для разговора в троллейбусе! Прошу вас, оставьте, пожалуйста, ваши научные изыскания для ваших научных споров в других местах».

Все напуганы, все хотят только одного: лишь бы не было кровопролития, лишь бы не было гонений и насилия. Все остальное пусть будет как угодно, лишь бы мирно... (Ташкент, 1992 г.)

* * *

Педагог, недавно занявший начальственное кресло, принимает зачет у студентки, пытаясь добиться от нее ответа на узбекском языке. Не добившись, «тонко» замечает, что тем узбекам, которые не знают родного языка, надо бы сменить узбекские имена и фамилии.

Один доктор искусствоведения, заметно преуспевший до перестройки в служении делу партии, недавно на одном ученом заседании публично предложил противоположный вариант выхода из создавшегося положения: узбекам, не изучившим язык за отпущенное им время, надо сменить национальность (при сохранении ФИО).

Педагог, очевидно, не знает, что его собственная фамилия имеет библейско-иудейские истоки, а имя у него — персидское. (Ташкент, 1992 г.)

* * *

На заседании ученого совета Института искусствознания директор с гордостью рассказывает присутствующим о своем выступлении в популярной русскоязычной вечерней программе Ташкентского телевидения. Перед началом, еще в кулуарах,

ведущий просит его рассказать телезрителям что-нибудь о макомах — узбекской классической музыке. «Вы знаете, — отвечает ему директор, — говорить о макомах на русском языке — и аномально, и аморально». Про себя он, наверное, считает, что нашел удачный афоризм или каламбур. Не удивительно, ведь до сего дня все свои монографии и многие ученые статьи директор исправно писал на русском, без сучка и задоринки защитив кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, — также на русском языке. (1992 г.)

* * *

Присутствую, по специальному приглашению, на собрании памяти одного известного музыковеда. Большой зал института почти полон. Открывает собрание директор, в его речи много ссылок на Аллаха, и в начале, и в конце. Все выступления — на узбекском языке. Поэт Рамз Бабаджан — образная яркая речь о нашей независимости, о нашем президенте. Одно исключение: наш старейший искусствовед, доктор искусствоведения Рафаил Хадиевич Такташ (1926—2008), он говорит на русском, но просит за это прощения у зала. Со мной рядом сидит музыковед Г.В.К-ва; говорит мне шепотом: «Как все изменилось».

Переходим в малый зал, накрыт стол, угощение. Мы расположились с краю: Р.Х.Такташ, я, наш старейший композитор Муталь Музаинович Бурханов (1916—2002), Динара Кары-Ниязова (1923—2004), дочь первого президента Академии наук УзССР. Разговоры — невеселые. Динара рассказывает о том, что недавно давала интервью одной республиканской газете об отце. Говорила о его книге «Очерки истории культуры Советского Узбекистана». Когда принесли гранки интервью ей на подпись, в них было вычеркнуто слово «советский». Это сделал редактор, красным карандашом. Рассказывает о том, что недавно отмечалось 50-летие АН Узбекистана, но никто не пригласил ее на торжества в академию. Могли бы пригласить ее брата, ведь он ученый. Но этого тоже не сделали. Обидно.

В разговор вступает М.Бурханов: «Они ждут, чтобы мы побыстрее умерли. А мы будем жить долго!» Смеется. (Декабрь, 1996 г.)

* * *

Проблема «исторического списания» и ее успешно найденное разрешение: «Все разрушили большевики». Надо поразмышлять о различии восприятия истории простым народом и «ученой интеллигенцией».

* * *

Улица Энгельса переименована в Амира Тимура, Кирова — в Улуг Турон («Великий Туран») или Кемаль Ататюрк. Вместо основоположника государства В.И.Ленина — «отец нации» Тимур. Парадокс, над которым не задумываются. В масштабах Большой Истории обе фигуры значительны. И тот и другой создавали большие государства — империи, используя все методы и средства борьбы. Правда, один подключил завоеванные государства к территории, ставшей через столетия Узбекистаном, а другой, наоборот, включил территорию Узбекистана как одну из частей в большое советское государство. Но он же был и первым, кто реально способствовал консолидации нации, заявив (еще в 1918 году) о необходимости выделения самостоятельной советской республики — Узбекии. Так что, может, поторопились сбросить Ленина с пьедестала. Хотя бы с точки зрения Большой Истории. Не было помыслов на перспективу, все сиюминутно.

* * *

Из примет времени. Молодые люди восточно-европейского типа торгуют в бойких местах города «уникальным, универсальным суперклеем» по 30 р. (цены на конец 1992 г.) за малюсенький пакетик с какими-то горошинами светло-коричневого цвета. Тут же идет демонстрация предметов, склеенных из разных материалов. «Кто разломает — получит бесплатно пакетик клея».

Старая обувь поизносилась, новая кооперативная, по ужасным ценам, «летит» через неделю, максимум месяц, хорошая импортная недоступна, ателье по ремонту переполнены на много месяцев вперед, приема уже нет... Слава тебе, господи, наконец-то заработала доморошенная предпринимательская мысль, хотя и жульническая, но все же...

* * *

«Как трудно, как невыносимо тяжело жить по принципам, — сказала как-то во время нашей беседы в 1990 году, при первом знакомстве, почему-то надолго задумавшись, Галина Лонгиновна Козловская (1906—1991), жена известного нашего композитора и подруга Анны Ахматовой. — Так жил мой муж Алексей Фёдорович Козловский». От себя добавлю: гениальный русский композитор (1905—1977), влюбленный в Узбекистан, узбекский народ и его культуру, в Восток. В 1936 году А.Ф.Козловский вместе с супругой оказался в Ташкенте в административной ссылке. В том же году, очарованный народом, его музыкой, традициями и обычаями, он создал свой певый шедевр — Ферганскую симфоническую сюиту «Лола». По словам Галины Лонгиновны, это было «первым признанием в любви» композитора узбекскому народу.

* * *

Про него говорят, что это был ужасный человек. Некоторые вообще считают его негодяем и карьеристом. Он допускал плагиат, нещадно эксплуатировал всех, кого мог, не пускал, «топил» талантливых, секретно докладывал в ЦК, писал доносы и погромные статьи, занимал сразу несколько крупных постов в культуре. Ну и что, возразят вам другие, причем даже те, кто только что говорил обратное. Ведь он сделал немало хорошего: неустанно развивал национальную культуру, бережно относился к художественному наследию, он первым среди национальной интеллигенции обратился к освоению новых для нашего искусства европейских тем, форм и жанров, отстаивал прогрессивное значение взаимодействия и взаимообогащения культур, внес огромный вклад и т.д., и т.п. И так нередко по отношению к отдельным личностям в нашей истории, и не только советского времени.

* * *

Нина Арташесовна Аведова (1923—2006)... Искусствовед. Человек со сложной судьбой, прошедший через многое, разделивший горькие моменты нашей истории. Сказать, что была скромным тружеником науки, — это штамп. Скромная, но как знала она народное искусство Узбекистана! Пожалуй, так уже не знают, и так не изучают. Она и такие, как она, жили с народными мастерами одними помыслами, они как бы вращались в их творческий процесс. Ее рассказы о себе и времени потрясают и многое объясняют почище иных научных и литературных публикаций.

Как-то наш разговор зашел о народных мастерах. Поделится своими наблюдениями над этическими предписаниями в уставах ремесленников — рисоля. Нина Арташесовна стала говорить, что теперь во многом изменились и сами мастера. Конечно, материальное положение, деньги для них всегда имели значение, и это

нормально. Но все же раньше они работали и по потребности души. Ныне же появилось осознанное стремление прославиться. Такого стремления раньше среди народных мастеров вообще не было.

То, что однажды мне рассказала Нина Арташесовна о судьбе своей семьи и о своей жизни, показалось вневременной вечной темой. Первая мысль, которая появилась еще тогда: об отношении к тем, кто не противостоит государству, но и не рукоплещет его «деяниям». А это и те, кто остался советскими людьми. Вот сокращенное изложение этой истории.

Дядя Нины Арташесовны, брат ее мамы Иван Алексеевич, «дядя Ваня», до революции имел свое дело в разных городах. В Ташкенте это было «фруктовое дело»: разводил и выращивал фрукты, виноград; свой фруктовый сад имел в Кибрае, пригороде Ташкента. Нина Арташесовна помнит полученные им дипломы и медали разных европейских выставок. В Сызрани он владел лесом, имел лесосклады, потом все это сгорело во время пожара, кажется, кем-то специально устроенного. После революции работал в ВСНХ, умер в 1927 году в Москве от заражения крови — порезался во время бритья. Мама говорила: если бы он остался жив, то все равно его бы в 1938-м репрессировали.

По словам Нины Арташесовны, всё, что помнила и рассказывала ей мама, было до того времени, когда начались страшные события в конце 1930-х годов. После них семья была просто сломана. Все, что было до того, — это жизнь. Папу взяли 3 февраля 1938 года, ночью. Он как будто предчувствовал это, ожидал. По ночам не спал, на столик ставил стакан с водой. Когда они пришли и стали стучать в ворота, папа встал и сказал по-армянски: «Пришли, пришли...» Его обвинили в том, что он «резидент иранской разведки» в Ташкенте, и он отсидел 10 лет. Тогда же арестовали и маму, она просидела почти год в Таштюрьме и вышла в январе 1939 года, тогда многих арестованных ранее выпустили на свободу.

До того как взяли папу, его друзья и знакомые собирались у нас дома вечерами. В Ташкенте было иранское консульство, и оно поддерживало связи с подданными Ирана и выходцами из Ирана. К ним принадлежала и наша семья. Вице-консул Аббас со своей русской женой Ольгой часто бывал в нашем доме. Приходили и другие, парами: Сергей Данилович Жуков — зять В.Ф.Войно-Ясенецкого со своей женой, дочерью Войно-Ясенецкого Еленой Валентиновной. Она любила выпить, любила молодых людей, влюблялась. Даже заигрывала с нашим дедушкой, всегда кокетничала с ним. Она всегда руку прятала под шалью, потому что у нее не было одного пальца. (Палец ей удалил ее отец, В.Ф.Войно-Ясенецкий, выдающийся хирург, заподозрив первые признаки саркомы. — *А. Дж.*) Сам Сергей Данилович тоже был не промах. Его посадили еще до 1938 года, вышел поздно. Приходил и батюшка В.Ф.Войно-Ясенецкий, архиепископ Лука (1877—1961); помню, как все ему целовали руку. Бывали у нас директор театра и другие люди, имена которых уже забылись. Собирались, слушали пластинки с записями А.Вертинского, была целая коробка пластинок Вертинского, которую принесли из иранского консульства. Вертинский был тогда запрещен. Когда делали опись при конфискации имущества, следовательно сказал: «Аккуратней с пластинками, хозяйка их очень любит». Пластинки не вернули, но все остальные вещи вернули по списку. Один молодой следователь отнесся к нам с сочувствием и сказал потихоньку, чтобы мы, дети, пришли позже и забрали те продукты, которые изъяли у нас в доме. После разоблачения допущенных нарушений законности он был расстрелян вместе с другими сотрудниками органов, которые сфабриковали это и другие дела. Его было жаль.

В 1938-м репрессировали почти всех из семьи Файзуллы Ходжаева. Все это широко обсуждалось в Ташкенте, об этом говорили друзья отца, когда собирались вместе. Помню, слышала, как один из них обратился к присутствующим на встрече

в нашем доме: «Господа!» У нас была служанка-домработница, татарка, которая, видимо, и сообщала обо всем куда следует.

Вице-консул Аббас вместе с женой получил потом назначение в Кабул. Оттуда как-то во время войны пришла нам посылка, там были отрез ткани, монпансье в железной банке и другие вещи. Эту посылку мы получили, и никто ею даже не заинтересовался, было такое впечатление, что это абсолютно безразлично органам. Вообще так было после того как посадили отца. Они, конечно, знали, что он никакой не резидент иранской разведки. В конце 30-х годов проездом в Ташкенте была мать Ольги, жены вице-консула, которая направлялась в Кабул. Она нас посетила, ее фамилия была, кажется, Туган-Мирза-Барановская. После ее отъезда и пришла посылка из Кабула, так они отблагодарили нас за гостеприимство.

* * *

Моя знакомая, которая теперь уже на пенсии, в советское время работала в НПО «Технолог» инженером-конструктором. У них было в Ташкенте четыре предприятия, в том числе СКТБ. Рассказывает, что в 1987—88 годах НПО «Технолог» впервые в СССР создало целый цех с полностью автоматизированными линиями, управлявшимися через компьютеры. Компьютеры были из Японии, а все остальное создали сами. В 1989 году приезжал Горбачёв. Показывали ему свою работу. Но ни одно предприятие в Узбекистане не захотело внедрять такой цех у себя, сказали, что тогда придется уволить около 300 человек, а у нас и так, мол, безработица, не хватает рабочих мест. В итоге цех демонтировали по частям. К 90-му году НПО «Технолог» уже вышло на мировой уровень, даже устанавливались связи с партнерами в США. В мире уже знали о нас и нашей продукции. Наша задача была разрабатывать новые технологии и внедрять их в производство. Но после распада СССР нам сказали: давайте, работайте на внутренний рынок. А как мы могли работать на внутренний рынок, если везде было устаревшее оборудование, еще 30-х годов? Все стало рушиться. Предприятия начали растаскивать по частям, и растащили, все разворовали. Пришли новые руководители, не имевшие отношения к технике, полные профаны. Руководитель на электросети, с огромным животом, начинает рабочий день с крика, устраивает всем стресс. Не секрет, что у нас есть предприятия, где уже работают по 12 часов в день. Крупные специалисты, инженеры после распада СССР стали разбегаться. Многие пошли на базар торговать барахлом. Зарплату ведь не платили по несколько месяцев, люди стали уезжать... (Сентябрь, 2011 г.)

* * *

Первая половина 1990-х — время, когда, пользуясь выражением одного средневекового восточного историка, «шайтаны смятения вырвались из бутылки времени»... На границах беспредел, в поездах и автобусах — тоже. Вспоминаю, как жаловалась, чуть не плача, пожилая и уважаемая профессор, получившая скромный гонорар в Алма-Ате за чтение лекций и другую научную работу, что эти деньги были безжалостно отобраны казахскими пограничниками в аэропорту. Отнимали тогда без всякого сострадания, глядя прямо в глаза, и узбекские, и казахские, и таджикские, и прочие официальные представители «братских народов». Отнимали не только деньги. Старшая дочь хотела привезти из Алма-Аты видеокассеты с мультфильмами для своей дочки, моей внучки, в Ташкент — в аэропорту отнял молодой русский лейтенант. Сказал: не положено провозить. Наверное, у него тоже подрастал ребенок. Вспоминаю, как еще недавно, при переходе казахской границы в Черняевке, казахский офицер попросил мой паспорт, зашел в будку, где сидело еще несколько человек. Потом вышел, показал мне целлофановый мешочек с какой-то травкой и сказал, громко засмеявшись: «Смотри, что выпало из твоего паспорта. Ну, дай что-нибудь». Куда денешься, кому жаловаться? В аэропорту на таможне «гурманы-потрошители»

с вожделением встречали рейсы из городов России. Тогда еще не была налажена система пересылки валюты типа Western Union. Не дай бог какой-нибудь замученный и почерневший от работы «гастербайтер» не задекларировал 20—30 долларов — выпотрошат все «на законном основании». И так продолжалось долгие годы. Так сколачивались первоначальные капиталы у будущих владельцев кафе и ресторанов, гостиниц и заправок... (Конечно, были и другие способы сколотить деньги, но это отдельная тема). Можно ли это забыть и простить «новым хозяевам жизни»? Тем более что никогда никто из них не попросил прощения у народа за это массовое разбойное ограбление.

* * *

Отсутствие общественной экспертизы культурных проектов государства — едва ли не самая печальная примета постсоветского культурного развития. «Ответственный за культуру» делает все что хочет. Мнения специалистов не спрашивают. «Обсуждение» переходит в интернет, где кипят неприязнь и ненависть друг к другу. Такое впечатление, что участники перестреляли бы друг друга, дай им оружие. Анонимность, анонимные авторы-непрофессионалы — вот еще одна из проблем. Совершенно случайные люди, можно сказать, прохожие, рыская в интернете, наткнувшись на какое-то событие, реагируют. Может, от такого обсуждения и есть польза, например, спецслужбам разных стран, для сбора сведений об общественном мнении, но для культуры — никакой. А ведь были примеры общественных обсуждений в советское время. Вспоминанию октябрь 1988 года. В Союзе архитекторов Узбекистана состоялось общественное обсуждение вопроса о строительстве торговых рядов на набережной Анхора, что уже тогда именовалось проектом благоустройства. Запомнился один крупный чиновник, то ли председатель Ташгорисполкома, то ли его зам с модным в те годы атрибутом — золотым перстнем-печаткой на пальце. В защиту природной зоны выступили тогда многие наши известные художники, архитекторы, искусствоведы. Руководство города вынуждено было отступить. Итоги обсуждения и обращение культурной общественности опубликовали в прессе. Разве это можно сравнить с нынешним положением, когда рушат все что захотят? И за последние десятилетия уже столько порушили памятников истории и культуры, что впору составлять специальный том — и он будет весьма солидным — постигших культуру утрат.

* * *

В общем и целом специалисты и люди культуры власти просто не нужны. А кто им нужен? Нужны послушные, кто бы одобрял или, точнее, обеспечивал «идеологическое» прикрытие для их темных делишек по разделу прибыли и «распиливанию» госбюджета. И нужны исполнители на местах при колоссальной централизации культурной жизни и тотальном контроле за малейшими проявлениями культурной самостоятельности.

* * *

Культурная политика государства. Приветствуются проекты, связанные с бизнесом, с коммерческим эффектом, но не с социальными проблемами и нуждами общества. Упаси Аллах, испортят имидж благополучного государства, а это может оттолкнуть «добрых инвесторов» из дальних стран или, того хуже, взбудоражат общество. Когда в начале 2000-х громили неправительственные организации (НПО) в сфере культуры, прямо предлагали: не занимайтесь социальными проблемами, «перепрофилируйте» свое НПО в коммерческое и работайте себе спокойно, зарабатывайте деньги. А если нет — все имущество конфискуем, а вас, может быть, еще и посадим.

* * *

Разговор утром (около 9 часов) с продавщицей в маленьком магазинчике-дукане в моем квартале. Она — из Узунского района Сурхандарьинской области, там остался ее отец. Говорит, что жить там невозможно, свет включают только вечером, в шесть часов, газ не подают. А раньше (в советское время) таких перебоев не было. Многие местные, в том числе и дети, болеют циррозом печени. Говорит, что причина — алюминиевый завод в городе Регаре (Турсун-Заде) на территории Таджикистана, он отравляет воздух. Заработать на жизнь там тоже невозможно. Они не могут продать два своих дома с участками, никто не берет. Поэтому все мужчины да и женщины уезжают на заработки в Россию или в Ташкент, также едут в Самарканд и Бухару. Муж у нее в России на заработках. Она сама работает в магазине каждый день без выходных, с утра до 12 ночи. Вчера закрыла магазин в 11 вечера, и хозяин устроил скандал, требует, чтобы закрывала в 12. В Ташкенте живут на квартире. Говорит, что в Ташкенте жить можно. Недавно в России умер ее брат, у него была язва желудка. Ей на попечение привезли его детей — двух и четырех лет, а жена осталась в России, чтобы продолжать зарабатывать. Они приняли российское гражданство. Хочет устроить свадьбу дочери, так как без этого нельзя, таковы наши традиции, но говорит, что требуются очень большие расходы. Надо купить приданое: мебель и другое. Свадьбу будут проводить у себя в поселке в Узунском районе. (Октябрь, 2011 г.)

* * *

Был на обеде по случаю дня рождения известного историка-археолога. Присутствовал небольшой круг наших археологов, историков, архитекторов, искусствоведов. Много вспоминали. Обсуждали и нынешнее состояние науки, культуры, образования. Общее мнение: наступило время полной деградации, профанации, невежества, даже — воинствующего невежества. Огульное охаивание достижений советского периода. Известный археолог говорила о том, что ученых вновь заставили участвовать в политических играх (это в связи с личностью Амира Тимура); если надо доказать, что Тимур достиг Северного полюса или что благодаря ему возникла русская государственность — пожалуйста. Нашлось немало ученых, которые перешагнули через все принципы порядочности, этики, чтобы выслужиться. Других просто вынудили это сделать. Архитектор К.С.Крюков говорит об ужасающей деградации, царящей в некоем проектно-институте, раньше там работали высококлассные специалисты, теперешние не знают элементарных вещей; студенты сочетают учебу с торговлей на базарах, на ипподроме. Речь заходит о начавшихся в Узбекистане чистках библиотек: стали изыматься издания советского времени. Нашелся человек, причем русская, видимо, чиновница среднего масштаба, типа представителя горно, которая находит этому ужасающему процессу (по другому-то и не скажешь) логическое объяснение. Уверенным тоном она говорит, что причина чистки библиотек в том, что школьники продолжают изучать историю по материалам советского времени, говорить о значении Октябрьской революции и т.п. Недавно, мол, я сама была свидетельницей, как одна аспирантка говорила об этом на экзамене. Но это не значит, мол, что литература уничтожается, просто переводится на специальное хранение, и каждый ученый может ею пользоваться, если ему надо. (Декабрь, 1996 г.)

* * *

Вечер у одного моего друга, известного историка, застолье с угощением и напитками. Присутствуют только представители узбекской интеллигенции. Обсуждается плачевная ситуация в образовании, культуре, науке. Брат моего друга, тоже известный человек, говорит: «Ну, мы же сами хотели избавиться от русских, мы же сами сделали все, чтобы их выгнать мирным путем, чего теперь жаловаться-то». Под русскими, конечно, подразумеваются не только русские, но и вообще советские: евреи, корейцы и другие.

* * *

Беседую с женщиной в самолете Ташкент — Алма-Ата. Женщина-узбечка по имени Камила, средних лет, летит по делам бизнеса на месяц: нужно заработать деньги для сына-студента. Разговор начинается с ее замечания о том, что она уже бывала в последнее время в Алма-Ате и поняла, что казахи утратили свой национальный язык, а это очень плохо. Затем спрашивает, чем занимаюсь я. Говорю для краткости, что я историк. Тогда она, безо всякого перехода: «А почему вы выпускаете такие агрессивные учебники по истории Узбекистана для 9—11 классов? Они просто дышат злобой и гневом. В них столько агрессии!» Но мне и самому непонятно, почему же они, бывшие советские историки, среди которых наверняка есть и бывшие коммунисты, выпускают такие учебники, где столько ненависти к русскому присутствию в прошлом и к советскому периоду истории. (Февраль, 2008 г.)

* * *

Мой товарищ, историк, рассказал об одном старом узбеке, докторе наук (технаре), который сказал недавно в Президиуме Академии наук: «Да если бы сейчас Сталин проснулся, он бы не успел пистолет вытащить, его бы сразил инфаркт, как только увидел бы, что творится...» (Июль, 2009 г.)

* * *

Вкладывали огромные ресурсы в освоение европейских жанров искусства, европейской художественной культуры. Надеялись приобщить народы к более широкому и светскому мировоззрению, к широкому кругу культурных ценностей. Достигли, несомненно, многого, создали настоящие национальные художественные школы. Но все же традиционный человек пожелал остаться в своем маленьком уютном мире наслаждений и развлечений. Называется это — тамаша. Проведение свадьбы-тоя, тоя-обрезания (суннат-той), наречения имени (акика) и прочих семейно-бытовых ритуалов.

Если относиться к «тамаша» как к категории культуры, то вспоминается прежде всего Платон, писавший, что в хорошем государстве народ должен петь и танцевать.

* * *

Против расточительности свадеб, наносящих ущерб народному благосостоянию, ведущих к обнищанию и скудости жизни народа выступали, начиная с первых лет XX века, мусульманские теологи — уламо, им вторили — но с других позиций — просветители-джадиды, затем повели борьбу большевики-коммунисты, более других добившиеся положительных результатов. Рухнул СССР, и наступила независимость: теперь за дело взялись президенты новых государств, в первую очередь в Узбекистане и Таджикистане. Все бесполезно. Такого буйного расцвета свадебного культа, как сейчас, история, пожалуй, не знала раньше никогда. Появился даже новый архитектурный проект: тойхона — помещения-дворцы для проведения свадебных пиршеств (на 200, 300, 400 и больше человек); они густой сетью покрыли территории городов.

Один знакомый искусствовед, в общем-то, хороший человек и уважаемый специалист, как-то в разговоре со мной в конце перестройки сказал, что готов скорее бросить на стол партийный билет, чем отказаться от соблюдения традиционных семейных ритуалов и обрядов.

Раньше историки культуры любили проводить такую «оппозицию»: гедонизм города — аскетизм степи. Теперь, с учетом расточительных свадеб, это не работает ни у нас, ни в степном ареале.

Но, с другой стороны, парадокс: если пышные свадебные торжества будут запрещены в Узбекистане, это нанесет огромный удар по материальному положению музыкантов-певцов и инструменталистов, которые обслуживают эти торжества, а значит, и по традиционной музыке в целом. Многие живут только за счет этого. Впрочем, так было и до революции 1917 года, да и в советское время.

Нередко в наших да и вообще восточных сказках свадебный той длился сорок дней и сорок ночей; иногда — семь дней и семь ночей. На память приходит весьма поучительный еврейский анекдот. Умирающий, проведя опрос о присутствии родственников и удостоверившись, что все в сборе, поднимается со смертного одра и сурово спрашивает: «А кто же остался в лавке?»

* * *

Махмуджон Таджибаев (1957—2020), наш выдающийся традиционный певец, рассказывал мне, что он каждый день встает рано, чтобы читать утренний намаз бомдод. Мне уже 50 лет, говорит он, и только Аллах знает, сколько осталось жить. Поэтому надо молиться. Махмуджон вынужден очень много ходить по свадьбам, так как он ведет строительство дома, у него пятеро детей (четыре сына и дочь), всех их нужно устроить, женить. Не в этом ли главное свойство нашего ислама: обязанности родителей перед детьми и детей перед родителями, «обязанности сторон». Это непререкаемо и свято. На этом все еще держится жизнь современного узбекского да и, пожалуй, не только узбекского общества.

Я спросил Махмуджона Таджибаева: похоже, наши певцы-узбеки воспринимают Физули, известного азербайджанского поэта XVI века как поэта узбекского? Махмуджон ответил: да, это действительно так. Он не воспринимается как именно азербайджанский поэт, никто вообще не задается вопросом, какой он нации-народа. (Ноябрь, 2008 г.)

* * *

На поминках у соседа перед подачей плова мулла провел, как положено, своеобразную назидательную беседу — насихат. Он остановился на следующих моментах: смысл поминок, затем — о том, что мусульманам нельзя ругать, отмечать недостатки (камчилик) и держать обиду на ушедших и ушедшее время, нужно говорить только о хорошем. В других религиях — наоборот, много ругают и разоблачают. Затем — о том, что, если у кого-то есть недостатки и ошибки, надо по-мусульмански прийти к нему и сказать об этом потихоньку, чтобы он исправил, не надо об этом говорить открыто. И в конце — о том, что все мусульмане братья и должны уважительно относиться друг к другу. Вот в чем сила исламской солидарности. (Сентябрь, 2011 г.)

* * *

На даче у моего друга в горах Чимгана. Мужская компания приступает к плову — дело, как говорится, святое. Напротив меня за столом врач Рустам-ака. Все едят руками, а у меня ложка. Спрашиваю Рустама: «Скажите, а в чем смысл поедания плова руками?» Он задумался на короткое время, потом ответил: «Саша-ака, понимаете, прямой контакт!»

* * *

Мысль европейского интеллектуала да и просто интеллигента часто скептична и иронична. Таково и его отношение к религии: чуть с насмешкой, шутовское. Сколько я слышал европейских «свободолюбивых» шуточек! Помню, один европеец сказал, когда мы искали ксерокс в Бухаре, чтобы что-то скопировать: «А что, Аллах запрещает вам ксерокопировать?» У мусульман же и сейчас (за некоторыми очень редкими исключениями) сохраняется очень уважительное отношение к религии, к исламу, к пророку, к традиции в целом. Здесь шуточки неуместны и недопустимы. Особенно

теперь, в наших новых независимых государствах, где все, и прежде всего молодежь, повально приобщились к религии. Уже немало примеров и угрожающе нешуточного отношения.

* * *

Многие из, условно говоря, «западных ученых» хотят, чтобы мы смотрели на нашу историю их глазами. В конечном счете во многом для этого и ведутся немалые исследовательские работы за пределами западных стран, вкладываются большие средства в сбор и систематизацию разнообразных источников и архивных материалов, организуются международные конференции, приглашается наша молодежь для обучения в их научные центры. (Март, 2010 г.)

* * *

В европейских городах везде, даже в самых неожиданных местах, можно увидеть большие часы, которые аккуратно отсчитывают время. У нас же такой традиции нет, иногда уличные часы, даже самые большие, могут быть сломаны и не работать годами. Так это было и бывает с главными часами на курантах в самом центре Ташкента. Или же неподалеку, с часами на издательском корпусе. А один умник-изобретатель, кажется, еще в советское время установил большие электронные часы на высотном доме около Алайского базара, которые были видны только в темное время суток. Наше ощущение времени совсем иное, и есть города, где приходить вовремя на встречу или регламентировать общение просто не принято. Это в каком-то смысле неприлично и даже некультурно. И плохо, и хорошо: время не давит на человека, не повергает его в стрессовое состояние, ведь жизнь-то все равно пролетает.

* * *

Один американский этномузыковед, получив от меня в подарок роскошный альбом «Древности Южного Узбекистана», при мне снял картонный футляр-упаковку, в котором книга была издана в Японии, и невозмутимо отправил его в горящий камин. В общем-то — мелочь, но она очень хорошо характеризует американцев, легко упрощающих все ситуации и как бы демонстрирующих демократичность во всем. Иногда такие «детали» лучших многих страниц и даже книг раскрывают нам типы, характеры и особенности наций и народов.

* * *

На дверях перед аудиторией типа амфитеатра в престижном американском колледже висит объявление о том, что вход с напитками и едой на лекции запрещен. Но в зале немало студентов, демонстративно показывающих свое пренебрежение запретом: они сидят со стаканчиками кофе и всякой снедью в руках. А одна девушка даже с большой лохматой собакой, расположившейся у ее ног. После лекции спрашиваю у того же профессора этномузыковеда, почему он не потребует, чтобы нарушители покинули аудиторию. Коллега отвечает, что это один из способов воспитания у студентов чувства независимости и свободы; нарушая не столь принципиально важные установленные правила, они, мол, тем самым повышают чувство собственного достоинства.

* * *

Во время поездки в Тегеран на научную конференцию (в июне 1998 г.). Нахожусь в университетской гостинице, в фойе по радио звучит Токката и fuga ре-минор Баха, но исполняется на национальном инструменте кеманче! Затем транслируют нашу песню «Полюшко-поле», и тоже в национальном инструментальном исполнении. Звучат популярные мелодии европейских композиторов. Многое вокруг удивляет. Про книжные ряды и целые улицы с книжными магазинами уже и не говорю. Они просто потрясают и выбором книг (оксфордские издания, русская, советская,

европейская классика в переводах, даже Хичкок в переводе на фарси), и низкими ценами, как у нас в советские времена. Наши представления о консерватизме и даже реакционности иранской культурной жизни — это сплошное недоразумение, навязанное нам непонятно кем и непонятно для чего.

* * *

Читаю лекцию о культуре ислама в Музее Востока в Москве по приглашению зам. директора Музея Тиграна Мкртычева. Привожу пример о том, что значит смена ценностей в культуре и ее «материальные индикаторы»: недавно видел в букинистическом магазине в Ташкенте собрание сочинений В. Шукшина в пяти томах всего за 15 тысяч узбекских сумов, это где-то (*на тот момент*) 12 долларов. Вот как изменились ценности. Какая-то дама из присутствующих московских интеллектуалок бросает реплику обыденным тоном: «Ну, Шукшин, это уже не актуально...»

* * *

Нахожусь в редакции журнала «Общественные науки в Узбекистане», в кабинете заместителя редактора Бориса Израильевича Кнопова. Конец 1990-х. Давно не виделись. Он спрашивает:

— Ну что, Александр, где ты сейчас, чем занимаешься?

— Да вот, Борис Израильевич, работаю в Фонде Сороса, руковожу программой «Искусство и культура»; это такая благотворительная американская организация. Ее создал один богатый человек, философ Джордж Сорос.

— Сороса, говоришь... Сороса, Сороса... Сорос — это шорошо. Он, наверное, еврей?

— Какое это имеет значение? Он выделяет огромные средства, безвозмездно помогает развитию культуры, науки, гражданского общества у нас и вообще в Средней Азии, в бывшем Советском Союзе.

— Александр, ты мне мозги не морочь. Я здесь самый старый последний еврей, и евреев я прекрасно знаю. Просто так еврей ничего делать не будет.

— Но, Борис Израильевич, о нем много пишут как о глубоко порядочном человеке, много делающем для...

— Пусть они не заливают, пусть не заливают.

Борис Израильевич сделал небольшую паузу и продолжил:

— А передачи, Александр, будем носить. Да-да, передачи будем носить.

Как в воду глядел. В апреле 2004-го фонд закрыли, а его директор успел накануне нелегально выехать из страны. Никого, конечно, не посадили, но заметно пристращали не только бывших сотрудников, не успевших покинуть родину, но и многих из тех, кто получал гранты, создавал НПО и т.п.

* * *

В 2002 году случился такой казус, о нем мне рассказали музейные работники. Министр культуры решил назначить своего дружка директором Дома-музея С.П.Бородина. Дружок был бизнесменом. Министр посоветовал ему сходить и посмотреть хозяйство музея. Человек явился, обошел все комнаты, посмотрел экспозицию, а потом недоуменно спрашивает: «А где же здесь СП?» Имел в виду «совместное предприятие».

* * *

В кафе к дыпльтам табака подали водку, которая считается сейчас в Узбекистане самой лучшей (так сказал хозяин заведения и родственник одного из моих друзей за столом). Эта водка называется «Каратау» и производится в Нукусе, столице Каракалпакии. Получается странная вещь: в Нукусе, где теперь зона экологического бедствия и очень плохо с нормальной питьевой водой, наладили выпуск отличной (говорят, что она чистая, без примесей) водки. (Декабрь, 2010 г.)

* * *

Композитор и удивительнейший человек Муталь Бурханов часто повторял в кругу близких друзей такую своеобразную поговорку, сочиненную им самим: «Если наш чиновник говорит “хоп-хоп”, это означает “жок-жок”». «Жок» — по-казахски «нет». Но почему Муталь-ака подчеркивал двуличие чиновников именно на казахском языке, остается не совсем понятным. Очевидно, эта фраза производит более сильное впечатление на казахском, чем на узбекском. Узбекское «йўқ» звучит слишком мягко. Видимо, сказалось тонкое композиторское чутье Муталья-ака.

Муталь-ака был человеком абсолютно независимым, со своими строгими принципами и не терпел, когда сталкивался с фальшью и лицемерием. До последних дней он сохранил в себе этот неукротимый дух свободомыслия. А случаев, когда он проявлял свой характер, было предостаточно, и я был свидетелем многих из них и в советское время, и уже после распада СССР. Помню, например, как он, присутствуя на одной научной конференции в Институте искусствознания, устав от демагогии и ложных заумных конструкций одного докладчика, крикнул ему с места в своей характерной манере: «Хватит врать! Говорите правду!» Кому же это понравится? Поэтому у Муталья-ака было много недоброжелателей. Но он не унывал и нередко говорил об этом со свойственным ему юмором следующее: «Я знаю, что у меня много врагов. Но я написал такую музыку, что, когда она исполняется, им приходится вставать!»¹ — и при этом по-юношески хохотал. Общеизвестно, что Муталь Бурханов — автор Гимна Узбекской ССР, замечательная музыка которого впоследствии, после провозглашения независимости, стала гимном Республики Узбекистан.

Было немало и тех, у кого принципиальность и прямота Муталь-ака вызывали уважение. Много лет с Бурхановым поддерживал дружеские отношения Д.Д.Шостакович, не забывавший поздравлять своего друга в дни праздников. Двух художников, принадлежавших фактически к разным музыкальным мирам, объединяло острое чувство справедливости.

* * *

Всю свою жизнь Муталь-ака противостоял чиновникам от культуры, вел с ними неустанную борьбу. Он постоянно обличал их бескультурие, высокомерие и чванство. Вообще он считал, что культура «передается по венам, по крови», и если ее нет, то уже ничем не помочь. В середине и второй половине 1990-х и в начале 2000-х годов мне посчастливилось много общаться и беседовать с Муталем-ака и узнать много интересного из истории нашей страны и истории культуры. Особенно это касается крайне противоречивой фигуры Абдурауфа Фитрата (1886—1938) — неистового революционера, выдающегося просветителя и подлинного энциклопедиста.

* * *

В один из дней холодного января 2008 года встречаюсь с Рафаилем Хадиевичем Такташом, нашим известным искусствоведам, художником и поэтом, сыном знаменитого татарского советского поэта Хади Хайрулловича Такташа. Встреча происходит в скромнейшей обстановке дома этого крупного ученого. Он уже безнадежно болен, но не знает о страшном диагнозе, бодрится и старается шутить, рассказывает анекдоты и забавные истории. Вот одна из них, участником которой был сам Такташ. Однажды они вместе с известным художником Александром Николаевичем Волковым (1886—1957) отправились на один из ташкентских базаров и попали в тибетесечный ряд. Вдруг Волков увидел очень яркий экземпляр тибетейки и воскликнул: «Смотри, смотри, да это же Врубель!» На что продавец тибетеек невозмутимо ответил: «Не рубль, а три рубля стоит».

¹ Эту шутку в применении к стихам Гимна Советского Союза приписывали также С.Михалкову.

Р.Х.Такташ не раз рассказывал об одном государственном деятеле Узбекистана Сергее Дмитриевиче Родичеве и его супруге Нине Степановне. По его словам, тот был председателем Ферганского областного исполкома, а в годы войны стал заместителем председателя Совмина. Эти удивительные люди вдвоем во время войны объединяли и подкармливали многих эвакуированных в Ташкент деятелей культуры и искусства и ташкентскую художественную интеллигенцию; устраивали в своем доме-особняке, где-то около кинотеатра «30 лет комсомола» «приемы», где можно было что-то поесть. Здесь бывали, по рассказам Такташа, Фаина Раневская, Алексей Толстой, Сергей Городецкий, Л.К.Чуковская, Н.Я.Мандельштам и многие другие. Р.Х.Такташ неоднократно навещал Анну Андреевну Ахматову, беседовал с ней, читал ей свои стихи. Однажды она подарила ему изданный в Ташкенте в 1943 году сборник своих избранных стихотворений, чем он очень гордился. Во время одной из наших встреч в 2001 году, уже в конце своей жизни, Рафаил Хадиевич признался мне, что совершил непростительную ошибку, о которой сожалеет до сих пор. Его матушка, как он называл свою маму Гульчару Хамзину, увидела этот сборник с дарственной надписью Анны Андреевны ее сыну и не на шутку перепугалась, так как знала или догадывалась, будучи в то время Народным комиссаром юстиции Узбекской ССР, что Ахматова находится под негласным надзором. Она потребовала от сына, чтобы он уничтожил титульный лист с ее автографом, и Такташ повиновался.

Одно из последних посещений Рафаила Хадиевича Такташа (кажется, в январе 2008 года). Он уже совсем ослаб, не встает с постели, со своей железной узкой кровати, окруженной книгами, бумагами, картинами и прочими художественными ценностями. Все вокруг выглядит как в лавке антиквара, не то что многолетнее — вековое запущение. Дарит мне ученическую тетрадку со своими стихами-эпиграммами. Повторяет несколько раз ослабевшим голосом: «Да-а... Старый дервиш направился к Богу, старый дервиш направился к Богу...» Хотя, наверное, он еще что-то говорил в эти дни (умер он 15 февраля), но эти его слова воспринимаются как самые последние по своему глубокому смыслу.

Слова во многом символичны. Они точно характеризуют прежде всего самого Р.Х.Такташа — прекрасного советского ученого, художника и поэта, олицетворявшего собой лучших людей уходящей эпохи: дервишей-бессребреников и подвижников науки и искусства. И таких же, как он, его замечательных друзей и коллег по научному цеху и героев его многочисленных книг и статей: художников и народных мастеров. Все они попали в сложный период радикальных исторических перемен, слома и разрухи... Многие из его поколения были «перекованы», «перемолоты» и вынуждены измениться вместе со временем; другие ушли от новой суеты, имитирующей бурную деятельность, в тень, в частную жизнь. Но и те и другие сохранили в неприкосновенности свой внутренний мир, свои принципы и идеалы...

Как писал Р.Х.Такташ:

Живут поэты лет по тридцать.
По девяносто — мясники.
У первых кровь из ран струится,
А у вторых из-под руки...

Айганыш Акылбекова

Осенняя хандра в Кыргызстане: недореволюция, киргизация и балконские

Я стою на площади Ала-Тоо. Утро. Шесть часов.

По улице вверх — кинотеатр, музей, флагшток с красно-желтой тканью и памятник Манасу. Величавый, он восседает на коне. Глядит на подвиги своих потомков, которые хочется взять в кавычки.

Маленькая, я часто приходила сюда по праздникам. Нарядное платье, банты, гольфы; танцующие девочки в национальных костюмах с заплетенными косами, сахарная вата, яблоки в карамели, леденцы на палочках, прочая сладость жизни.

В последние годы на этой площади мало празднуют. Всё больше бросаются камнями и громкими политическими лозунгами.

Сейчас здесь тихо и безлюдно, хотя всего несколько часов назад толпа митингующих прорвалась в Белый дом. Той осенью Бишкек повидал многое. Приехав на тихое семейное торжество, я хотела увидеть младшую сестру в подвенечном платье, а стала свидетелем того, как пала власть.

Из родного Бишкека я уехала пять лет назад. Не навсегда, нет. Я навещала его наездами-набегами по праздникам или выходным, наблюдала со стороны за незначительными изменениями: за домом построили новую дорогу, где-то, как обычно не к месту, выросли пестрые элитки, установили камеры видеонаблюдения — теперь водители, наконец, заметили стоп-линию перед светофором (все-таки штраф в 1000 сомов больно бьет по карману).

Последний приезд пришелся на март 2020 года. А после был локдаун. Ковид, карантин и новая Zoom-реальность — то, с чем пришлось столкнуться многим в ушедшем году. И, когда в августе младшая сестра написала, что будет той, я, ни минуты не сомневаясь, собрала вещи и приехала на родину.

Той для кыргызов — дело святое. Свадьбу у нас проводят дважды: первая — «Кыз узатуу» (прощание с невестой), вторая — непосредственно само торжество. Узатуу проводит сторона невесты, это обряд, при котором родители и родные невесты провожают ее в дом жениха. Официальную свадьбу проводит уже сторона жениха, на нее приглашают его родных и близких, невестинной родне «выделяют» места — обычно для тридцати, в лучшем случае пятидесяти человек. В среднем на свадьбе присутствует

Айганыш Акылбекова родилась в г. Бишкек (Кыргызстан). Финансист, живет в Алма-Ате. Посещает литературную мастерскую Алины Гатиной.

от ста пятидесяти человек и выше — в зависимости от материального положения семьи.

Наше узатуу по общим меркам было довольно скромное, со стороны жениха были приглашены всего десять человек, но стол мы накрыли, как для пятидесяти. В культуре и традициях кыргызского народа гости всегда в почете, а особенно кудалар (сваты) — им отводятся лучшие места за столом, готовят особые яства (режут барана, кобылу, готовят «чучук» и несколько горячих блюд), развлекают танцами и песнями. Все это завершается проводами девушки, которая должна выйти из дома, не повернув головы (согласно традициям, если девушка обернется, то с позором вернется в родительский дом).

Через неделю праздничные хлопоты сменились трудовыми буднями. Я продолжала работать на удаленке, а страна готовилась к парламентским выборам. По всему городу были развешаны агитационные плакаты с фотографиями очередных претендентов в 120-местный Жогорку Кенеш. С огромных билбордов (и со стен домов) на кыргызстанцев смотрели довольные лица, которые обещали точно то же самое, что и их предшественники прошлых созывов. Стало скучно. Интересовало меня другое: где были эти люди летом, когда страна задыхалась от Covid-19? Когда не хватало мест в больницах и аппаратов ИВЛ, денег на лекарства, когда врачи покупали средства защиты и питание для больных на свои бюджетные зарплаты? Когда у больных была надежда только на врачей и команду волонтеров, которую образовала группа инициативных граждан.

Кстати, на жителей, разом лишившихся заработка, депутаты просто закрыли глаза. Как в том меме: «Может, если я закрою глаза, оно исчезнет?»

Вечером в воскресенье 4 октября в Бишкеке прогремел салют. Окончились выборы в Жогорку Кенеш. В сети блуждало видео: вновь избранные кандидаты приплясывают под брызги шампанского, женщины из административной команды улыбаются во все тридцать два золотых, безымянные люди из группы поддержки потирают руки.

В парламент прошли четыре политические партии, три из которых считались провластными. Ничего нового. «В Багдаде все спокойно», — посчитали победившие и продолжили праздновать.

В обед 5 октября несколько миллионов кыргызстанцев, кто с удивлением, кто с восторгом, наблюдали, как на площади Ала-Тоо начался митинг против предварительных результатов. На небольшое пространство напротив Белого дома стекались сторонники оппозиционных партий; к вечеру толпа превратилась в многотысячную.

В середине дня я забежала в «Азию» — выцветшая желтоватая надпись, знакомые синие двери, — сколько же лет этому магазину? Зайдя внутрь, увидела как две продавщицы, нахмурившись, глазели в один телефон. Оттуда доносились резкие выкрики, и невнятная речь сопровождалась громким улюлюканьем и общим гулом. Одна, поправив очки в тонкой оправе, спросила другую, ткнув в бок:

— Сен барат белең?¹

— Ай, жинди болуп кеттинбң? Канча акча берсе дагы мен ал жакка экинчи барбайм!²

Мы встретились глазами.

¹ Ты бы пошла?

² Ты что, с ума сошла? Я второй раз туда не сунусь. Сколько бы ни предлагали!

— Здравствуйте, что вам? — спросила она на чистом русском.

Русский — важный язык в нашей стране. Многие семьи разговаривают дома на двух языках, и это считается нормой. Наши мигранты ценятся в России, потому что у нас хорошо его преподают еще с советских времен. Я сама из русскоязычной семьи и, к своему стыду, знаю русский лучше, чем родной кыргызский. Таких, как я, в столице много, нас называют «чала кыргыз» — «так себе кыргыз».

— Здравствуйте, эжеке. Пару батонов и сметану. А что там по видео? — я кивнула в сторону продавщицы с телефоном.

— Кызым, аябай жаман болуп жатат¹, — охнула она, схватившись за сердце. — Эл аянтка чыгыптыр, Ак Үйдү көздөй кетип жатышыптыр, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жатышыптыр².

— Да чего вы беспокоитесь, эже? — ответила я, пожав плечами, и протянула ей деньги. — Не в первый раз ведь. У оппозиции нет шансов, все сильные партии, у которых была возможность, прошли в парламент. Не вижу никаких причин для волнения.

— Кызым, было бы так. Но ты их не видела! Посмотри на них — столько гнева, столько злости! Видит бог, к добру это не приведет. О, кудайым сактасын! Аман эсен жашайлык! Оомин!³

— Оомин, — сказала я, подняв раскрытые ладони, и вышла из магазина.

Перебежав запруженную автомобилями дорогу, я чуть не упала, споткнувшись о разбитый асфальт, и первое, что увидела, когда распрямилась, — огромное улыбающееся лицо очередного кандидата в парламент. Плакат занимал торцовую сторону моего дома.

Дом, в котором я живу, и его родной «брат» через дорогу называются Южные ворота. В восьмидесятых это была окраина города. Два близнеца стояли по разные стороны улицы Советской (раньше она называлась Базарной — на этой дороге в 1920-х устраивали ярмарки). На стенах домов были вырезаны-вылеплены величественные фигуры. В детстве я мечтала тайком вылезти с балкона, спуститься на карниз и вплотную подобраться к барельефу, чтобы поглазеть на безликих существ и пощупать их каменные наряды.

Вечером того же дня я вышла прогуляться и взять напрокат велосипед. Мой район за эти годы приобрел благообразный вид — рядом с домом разбили два парка, вдоль которых проложили велосипедную дорожку.

В тот вечер велосипедов не было — работники проката спешно переносили их в будку.

— Здравствуйте, я возьму велик на час? — крикнула я, заглянув внутрь. С улицы они меня не слышали.

— Сиңдим, бугун биз жабылып жатабыз⁴. Ты слышала, что там происходит? На площади народ бунтует, будет революция!

Махнув рукой на необоснованные страхи, я все-таки выпросила себе велосипед.

Проезжая мимо новых парков, я смотрела на пустые скамейки: ни мам, ни детей, ни танцующей молодежи, которая обычно снимает видео для ТикТок. Тогда я не придавала этому значения. А когда прогремели выстрелы, решила, что это салюты. Я не верила до последнего, что люди способны на революцию в третий раз. Как будто первые две ничему нас не научили.

¹ Доченька, совсем плохо.

² Народ вышел на площадь и направляется к Белому дому, требуют отмены результатов.

³ Спаси нас бог, пусть мы будем все в здравии. Амины!

⁴ Сестренка, сегодня мы закрываемся.

Слова «Кыргызстан» и «революция» в скором времени могут стать синонимами, недаром российский депутат Олег Морозов ввел в оборот понятие «киргизация» — то есть *революционное* несогласие с итогами выборов. Вот с чем мы вошли в новейшую мировую историю после тридцати лет независимости.

Почему-то многие считают, что кыргызы — свободолюбивый народ. Как будто главный критерий свободолюбия — склонность устраивать революции и гнать взащей не понравившихся президентов.

Как-то ранней весной я возвращалась в Алма-Ату через Кордай. В душевной комнате в очередях к таможенникам толпились люди с чемоданами, баулами и заполненными до краев китайскими сумками в клетку. Раньше, в девяностые, этого пограничного поста не было, люди без остановок проезжали через границу.

Подойдя к автобусу, я увидела худощавого мужчину в очках, который впихивал объемистый чемодан и спортивную сумку в багажник. К нему на помощь подбежал водитель автобуса, и вдвоем они кое-как уместили груз. Устало вздохнув, мужчина достал из заднего кармана джинсов платок и протер им лицо и очки.

Он оказался моим попутчиком и занял место рядом. Иван, так его звали, был аудитором и, как выяснилось, переезжал в Алма-Ату на ПМЖ.

— Да просто я понял, что ничего не изменится. Вспомните две тысячи десятый, — он вздохнул и посмотрел на пробежавшие мимо кордайские степи. — А пятый? Помните, как грабили магазины одежды, торговые центры, продуктовые лавки? Как с ума посходили. Тогда родители лишились бизнеса за ночь — две торговые точки в ТЦ «Бета Сторес» с одеждой и техникой. Всё разгромили, украли... Дикость.

— Помню, — ответила я и отвернулась.

В тот день стояла жара, не характерная для марта. У нас были весенние каникулы, и я, вернувшись с прогулки, легла спать, а проснулась — от грохота пролетающего вертолета. Помню, как забежала мама со словами: «Доча, Акаева свергли!» — и позже мы узнали, что семья Акаевых бежала в Россию. Тогда я мало что понимала. По телевизору транслировали, как разъяренная толпа громит Белый дом, и везде будто один и тот же кадр — разбитые стекла, бесноватый народ, пожары. Один мужчина нес на себе холодильник, а женщина, нацепив на себя драгоценности, закидывала в пакеты туалетную бумагу. На первом этаже моего дома был магазин сети «Народный». Сейчас там мебельный. Ночью я видела, как пришли мародеры. Один из них разбил камнем стеклянную дверь и забежал внутрь, за ним ринулась кучка людей. Все с пакетами, кричат, толкаются. Среди них — наш сосед Влад с пятого этажа. И тут его жена с балкона: «Владик, захвати сметану!»

Все это я рассказала Ивану. Он ничего не ответил. Уставился в одну точку и, казалось, решил закончить нашу беседу.

Несколько минут мы ехали молча, потом он неожиданно усмехнулся и продолжил:

— Кстати, «Гоин» знатно распотрошили в пятом году: разбили все до единого стеклышка, камня на камне не оставили. Так что хозяева сделали ремонт и на будущее забетонировали окна — без окон, без дверей, это как раз про «Гоин». И когда случилась апрельская революция, мародеры ушли ни с чем.

— Видимо, они пошли дальше, — поддержала я. — «Бета», «Вефа», «Плаза» — это уже мелочи. Они же начали грабить дома...

— Ш-ш! Тихо вы! — повернулась к нам сонная женщина в меховой жилетке. — Чего вы так громко болтаете? Люди же спят!

— Да кто спит? — удивилась я и посмотрела вокруг.

Действительно, салон автобуса мирно посапывал. Девушка слева от нас, что закупились едой, будто ехать собиралась не четыре часа, а неделю, положила руки и голову на спинку переднего сиденья. Пара впереди нас синхронно качала головами в такт езде.

Вдруг автобус подбросило. Мы, сидевшие на заднем ряду, подпрыгнули до потолка; Иван ударился головой, а я расплескала воду из открытой бутылки прямо на платье. Такая вот трасса.

Скоро за окном показались ветряные мельницы. В любое время года и суток я с упоением наблюдала за их величием. Они всегда представлялись мне чем-то магическим и сказочным.

— А мы с другом участвовали в революции десятого года! — заговорщическим шепотом сказал Иван. — Да кто в то время не пошел бы против Бакиевых? — быстро добавил он, заметив, как вытянулось мое лицо. — Максим, Жаныш такой беспредел творили! Как раз тогда они установили платный дозвон, а всю весну люди были на веерном отключении — воду из Токтогульской ГЭС распродали соседям.

— Помню, это было последней каплей для многих.

— И тут подвернулся случай. Прибегает ко мне Эркин, сосед, и вываливает, что там, на площади, шумиха, и если мы хотим отстоять нашу страну и наши права, то надо идти и бороться. Я согласился, режиму Бакиевых должен был прийти конец. Плюс — там была неплохая оплата. Представьте себе, просто вышел на Ала-Тоо — и пятьсот сомов в кармане. Дальше больше: возьмешь плакат — сверху сотня, выступишь с лозунгом — еще. Короче, можно было за раз поднять хорошие деньги. Я тогда сидел без работы, хотел помочь родителям.

— И?

— Решился.

— А последствия первой революции вас, видимо, не впечатлили?

— Да уж, — сказал он. — Почему-то тогда мне казалось, что мы делаем что-то правильное, что-то важное для страны. А деньги были приятным бонусом.

Я промолчала.

— Седьмого мы вышли на площадь и присоединились к толпе у Дома Правительства. Нас становилось все больше, и в какой-то момент началась потасовка с милицией, охранявшей здание. Помню, как на мгновение засомневался: слишком агрессивный был у них настрой. Посмотрел на Эркина — у того аж глаза повылазили из орбит, пот выступил на лбу, так сильно он кричал. Началась борьба, менты лупили всех подряд, не разбирая. Мужчин, женщин, молодых и старых. Рядом стоявший парень в калпаке¹ вдруг завопил: «Жүргүлө, Ак Ыйгө барабыз! Бакиев чыксын! Бакиевтер кетсин!»² Мы воодушевились — как тут можно было сдаться? — и оттеснили ментов.

Позже, когда подошли вплотную к забору, я увидел, как кто-то пригнал грузовую машину, — ее захватили у милиции на Форуме. Машина разогналась и с грохотом выбила ворота Дома Правительства. Толпа ринулась, и по ней открыли шквальный огонь. Первые ворвавшиеся были убиты наповал. Водитель машины хотел задним ходом открыть вторые ворота, но подключились снайперы. После машину подожгли. Мне тоже досталось, шрам до сих пор есть, — сказал он и потер затылок. — Я тогда лежал на земле и смотрел в небо, как Болконский. И думал.

¹ Калпак — кыргызская войлочная шапка.

² Пойдемте в Белый дом! Пусть выйдет Бакиев! Выгоним их вон!

— О чем?

Меня несколько смутил его пафос.

Иван смотрел невидящим взглядом.

— Не помню. Кажется, я думал об Эркине. А революция по сути — уродлива и жестока. Никакой романтики. Почему я считал иначе? Вокруг валялись раненые, может даже, трупы. Кому из них пригодились те выданные деньги?

В больнице я узнал, что в Эркина стреляли. До сих пор задумываюсь: если бы я тогда на площади видел его раненым, спас бы его? — Он повернулся к окну и тихо добавил: — Вряд ли.

Казалось, теперь наш разговор точно был окончен. Я раскрыла упаковку печенья и предложила Ивану. Немного помедлив, он вытянул одно, улыбнувшись в ответ.

— Столько лет прошло, а помню, как вчера. В прошлом году умер отец. Он единственный не хотел уезжать из Кыргызстана, все повторял: «Никуда я не уеду, это моя родина! Хотите — уезжайте. А я останусь здесь!» Он любил в Бишкеке всё: свой дом, огород, соседей, природу, еду. А за граница ему не нравилась. Воздух, говорил, другой. В Алма-Ате особенно. А меня уже ничто не держало в Кыргызстане, вот я и двинул. Недалеко, конечно, но уехал.

Я промолчала, доедая печенье всухомятку.

Когда мы доехали до вокзала, Иван предложил подвезти. Но я отказалась, сославшись на то, что нам было не по пути.

Я заказала такси и ждала машину, любуясь видом у озера Сайран. Ночью там атмосферно: зажженные фонари, горы Ала-Тау, безмятежная водная гладь.

За мной приехала белая «Тойота». Водитель, не спросив разрешения, закурил.

— Сегодня по новостям слышал, как Алма-Ата побила рекорд по степени загрязнения воздуха, — бодро начал он, выдохнув струюку дыма в открытое окно.

Я пожала плечами и надела наушники, провожая взглядом двух бегунов, которые наматывали на мосту очередной круг.

В тот октябрьский вечер я, вернувшись после велосипедной прогулки, обнаружила дома обеспокоенных родителей. Папа качал головой и восклицал на всю комнату: «Кап, кап, ушундай да болобу? Кызым, ал жакта жаман болуп жатат!»¹

«Ну, их же разогнали», — спокойно отреагировала я и начала готовить ужин.

Я родилась в Бишкеке, но у меня южные корни. «Я — алайская», — гордо сообщала я всем знакомым в детстве. Поэтому в центре стола у нас по традиции — большая тарелка плова из узгенского риса на бараньей кости. Обязательные атрибуты плова — желтая морковь, не оранжевая, потому что только желтая придает рису сладость, головка чеснока и зира — сушеная приправа. К плову обязательно подают салат шакарап: тонко нарезанные помидоры с луком, перцем и солью. В Казахстане этот же салат называется ачучук.

Папа принес горячие тандырные лепешки, я заварила зеленый чай и приготовила пиалы с сине-белыми узорами — мастхэв любой советской азиатской семьи.

Сказали «Бисмиллях», приступили к еде и услышали звонок. Я долго не понимала, откуда он идет, потому что на домашний нам уже давно никто не звонит. У всех сейчас мобильные.

Я сняла трубку.

— Алло, алло? Ким бул? Кызым, апаңды чакырсаң!² — услышала взволнованный голос.

— Саламатсызбы, азыр³.

¹ Ужас, ужас, что творится. Дочка, там настоящий кошмар!

² Кто это? Доченька, позови маму.

³ Здравствуйте, минутку.

Мама подошла к телефону и узнала по голосу давнюю подругу — Махаббат-эже. Из трубки доносилась ее невнятная речь вперемешку со всхлипываниями. Мама дала кое-какие рекомендации (она врач) и вернулась к столу.

— Представляете, Чынгыз, сын тети Махаббат, сегодня был на митинге. Их там разогнали, но резиновая пуля рассекла ему ухо. Кудай сакта!¹ Они не стали вызывать «скорую», вот она мне и позвонила, — рассказывала мама, отламывая кусок горячей лепешки.

— Ай-ай-ай, байкуш бала. Митингге эмнеге барды? Партиянын курамында болчу бекен?² — спросил папа, покачав головой.

— Да, он был в одной из партий, что не прошли семипроцентный барьер. Одни из первых были на площади сегодня.

— И как он? Сильно пострадал?

— Думаю, что ушиб головы.

Я оставила родителей и написала Чынгызу в Ватсап. Чынгыз — мой друг детства по двору. Я всегда была тихоней и не умела за себя постоять. Чынгыз же всегда защищал меня: несмотря на маленький рост, он был крепкого телосложения и никогда ни перед кем не тушевался.

Странно, что я не узнала голос Махаббат-эже, ведь раньше мы так часто общались.

	Чика, салам)
Салам какие люди)	Ты где это пулю заполучил?
Откуда вести?)	
Слышала да)	Конечно)
	Твоя мама звонила моей
А... ясно) да вот на площади погоняли менты	
Но я увернулся	Красавчик)
:)	
Ты откуда здесь? Ты где вообще?	Приехала к родителям) пару недель как Бише)
Надолго?	Не решила еще) на удаленке.
	Пока побуду тут, недельку-другую)
Ясно	
И как тебе наши новости?	Да чет не очень)
То ли еще будет	Знатно погоняли вас там?)
Неслабо	Ну я так и думала))
Дошло наконец что мы не шутим	Никто там не шутит) Вас же по домам разогнали)
Но мы не остановимся	Да хорош)

¹ Да убережет нас Бог!

² Ай-ай-ай, бедный парень. Зачем он туда пошел? Он что, был в партии?

Нельзя все бросать сейчас.

Дальше больше

Без вариантов

В смысле?

Ты о чем?

Кто если не мы?

Простой честный народ

Вы что дальше пойдете?

Я у себя дома

Значит мне и решать кому сидеть наверху

Достало быть стадом

А тебе разве нет

Или ты тоже как эти балконские

Только и можете критиковать сидя дома

Чика, я тебя не узнаю

А что по твоему я должен делать

Свалить за бугор как ты и сидеть в теплом кресле

Работать на дядю

У нас полстраны за границей

Задумайся почему

И никто возвращаться не спешит

А ты то что сделала для страны?

Да я хотя бы ее не рушу

А чем поможет этот твой митинг?

В смысле чем? Да всем!

Я выражаю свое несогласие, я хочу

навести порядок, я хочу убрать воров, я хочу жить нормально.

я не хочу работать за копейки, кормить толстосумов

и переписываться с родственниками которые таксуют в Москве

или пропадают на стройках

это ты хорошо устроилась, но поверь не все так

не у всех есть образование

Меня лично бесит что мой народ вечно в

наемниках у других

Мы же им терпила какие-то?

Сидел этот Сооке, ниче не мог сделать

люди вон поумирали

И выборы эти сплошное вранье

Видела сколько было вбросов?

Видела

Но ты как будто забыл, что уже было две революции?!

И че толку? Поменялось что-то?

Толк то есть, но это же не сразу

Раз! И зажили как в сказке,

Надо идти дальше

просто нас используют и все время приходят не те

Да потому что революцию делают романтики

А плодами пользуются негодяи.

Вас просто всех перебьют и делу конец.

При этом вы еще рушите все — это как?

Тоже на благо родины?

Это побочка
Я лично не граблю
Тут же все стихийно, это не остановишь
Да ладно тебе, стихийно.
Все же проплачено
Сколько тебе обещали?
...(печатает)
Последний визит в 22:53
Ладно, я не хотела с тобой ссориться.
Будь осторожен
Подумай о маме
Две синие галочки.
Последний визит в 22:56.

* * *

Ночью я зашла в Инстаграм пролистать ленту и увидела в актуальных «историях» аватарку Чынгыза в красной рамке. Нажала на кнопку и попала в прямой эфир.

Весь экран занимало лицо моего друга — горящие глаза и широкая ухмылка. Обросший. Во время карантина многие стали отпускать бороду. Голова с правой стороны обмотана бинтом. Чынгыз в кепке, машет рукой в камеру: *«Саламалейкум, друзья! Я сейчас вместе с ребятами на площади. Мы были здесь с утра; вы сами видели, как нас, безоружных, разогнали, применив силу. Меня задела резиновой пудей (поворачивается), один товарищ сейчас в больнице с раненой ногой.*

Но, друзья мои, мы не сдадимся! Вы слышите? Вчерашние выборы были верхом издевательства над простым народом. Мы больше этого терпеть не будем! Не будем! К власти пробрались те же люди, которые наживались на нас все это время. Так вот — сегодня мы будем бороться за справедливость!!!» Камера отъезжает: ночь, площадь Ала-Тоо, с ним еще человек пятьдесят идут в направлении Белого дома, возле которого уже стоит толпа, скандируя: «Сооке кетсин! Сооке чыксын!»¹

В эфир добавляются люди и комментарии:

— Ойбооой, Чынгыз! Каякта журосуң, ай?²

— Ахаха, Чика, болсун болсун!³

* * *

В кадре: мужики перелезают через ворота. Какой-то дядька шатается и тащит скамейку к забору, чтобы перелезть за ними. Люди вооружены кто чем: палками, кирпичами, камнями.

* * *

В кадре: коридор Белого дома. Белые стены, на полу красный ковер с узорами. Впереди идут люди — некоторые в колпаках. Двое забежали в первый кабинет. Послышался треск. Камера подходит ближе. Молодые парни, вооружившись стульями, разбивают окна и компьютеры.

¹ Сооке — укороченное имя Сооронбая Жээнбекова. «Сооке уходи! Сооке вон!»

² Ого, ты где это, Чынгыз?

³ Молодец, Чынгыз!

В следующем кабинете мужчины срывают со стены портрет Сооронбая Жээнбекова и, бросив его на землю, пританцовывают на его изображении. Другие рыщут в шкафах, вытаскивают документы с полок и швыряют их на пол. Слышны крики и топот.

В коридоре появился дым. Камера показывает, как из дальнего кабинета выбегают трое ребят; все трое ухмыляются.

* * *

В кадре: 3:20 ночи. Несколько мужчин, вооруженные палками, идут в направлении СИЗО. Перед СИЗО собрались люди, скандирующие: «Садырды чыгаргыла!»¹

* * *

В кадре: Двое надевают калпак на голову Садыра Жапарова и под руки ведут его в сторону микроавтобуса. Ребята вокруг провожают его аплодисментами.

За несколько часов произошло многое: протестующие прорвались в Белый дом, а позже и в здание ГКНБ. Из изолятора ГКНБ выпустили осужденных политиков: бывшего президента Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова — последнего отвезли на центральную площадь Ала-Тоо, где тот произнес вдохновляющую речь. Пока весь мир наблюдал за мирными белорусами, которые уже третий месяц еженедельно выстаивали митинги; за взятием Капитолия в Штатах и за волнениями в России из-за Навального, — кыргызы за ночь свергли правительство.

Пройдет еще немного, и президент Сооронбай Жээнбеков, а следом за ним и спикер Жогорку Кенеш сложат полномочия. Садыр Жапаров станет временным премьер-министром Кыргызстана. Правительство объявят нелегитимным. Страна поделится на сторонников Жапарова и на его противников. Выборы нового президента и референдум о президентской форме правления назначат на начало января, явка на них составит 39%. По итогам голосования с большим отрывом победит Жапаров. А Кыргызстан вновь станет страной с президентской формой правления.

Народ достиг цели. Только какой ценой?

И вот я стою на площади Ала-Тоо. Утро. Шесть часов.

На деревянных скамейках мусор: пакеты, пустые бутылки, почерневшая кожура бананов. Мусорные баки перевернуты со всем их содержимым. Вокруг газонов и арыков — разбитые плиты и бордюры, поломанные дорожные знаки. В центре проспекта Чуй догорает костер: обугленный деревянный стол и макулатура. В близлежащих магазинах выбиты стекла. Кое-где можно увидеть кучи камней и поломанного кирпича — детьми мы так собирали снежки, а митингующие — готовились отбиваться. Начинают собираться люди в оранжевых куртках. Это ребята-волонтеры «Тазалык» пришли делать уборку. Некоторые из них позднее будут участвовать в добровольном движении дружинников и защищать торговые центры, Дом Правительства, кафе и магазины.

Двое подметают улицу, мягко шаркая метлами по асфальту, другие собирают в пакеты обломки плит, плакаты и упаковки от еды. Были даже школьники — шумная ватага весело собирала фантики, а маленькая девочка лет пяти, шмыгая носом, мельтешила у них под ногами. Ко мне подбегает улыбчивый мальчишка в джинсовой кепке и протягивает мешок:

— Жүрүңүз, буларды баарыбыз чогуу тазалайлы!²

¹ Свободу Садыру!

² Пойдемте, уберем это вместе!

Алексей Буров, Геннадий Прашкевич

О будущем, неуклонно превращающемся в прошлое

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

В каком времени мы живем?

Дорогой Алексей!

В октябре 1945 года в Москве вышла научно-фантастическая повесть Сергея Беляева (не путать со знаменитым однофамильцем) — «Десятая планета».

«Двадцатого октября 1956 года, — так начиналась повесть, — к вечеру погода окончательно испортилась. Над зданиями Главного астрономического института нависли серые низкие облака...»

Двадцатого октября 1956 года! Ничего себе!

Книжка вышла в октябре 1945 года, действие ее происходило в октябре 1956 года, а мне в руки она попала в октябре 1958 года, то есть всего лишь через два года после событий, описанных в ней.

Помню свое ошеломление.

Для 1945 года (а Беляев, конечно, написал свою повесть раньше) 1956 год, описанный в книжке, был для ее героев самым настоящим *будущим*. А я книжку начал читать аж в 1958 году, значит (я это сразу просчитал), все, о чем в ней говорилось, для меня было уже *прошлым*. То есть сам я по отношению к героям (а к ним я тогда относился как к реальным людям) находился в будущем, в *будущем*! Я даже кинулся к окну, поскорее увидеть, что там изменилось. Вот, обнаружили герои повести еще одну, десятую, планету Солнечной системы, расположенную (по отношению к Земле) точно за нашим Солнцем, это еще ничего, это ладно, я вполне мог проморгать такое крупное научное открытие, ведь жил все-таки не в столице, а на небольшой железнодорожной станции Тайга (Кузбасс). Ну, двигалась открытая астрономами новая планета с той же скоростью, что Земля, то есть оставалась за нашим Солнцем, оставалась для нас невидимой, это тоже ладно. Но то, что советский академик Солнцев, оказывается, уже два года назад побывал на этой планете (с помощью специально построенного для такой экспедиции планетоплана), об этом я обязательно должен был слышать, ведь репродуктор на стене у нас никогда не выключался; но проморгал!

«Ряд приземистых, низких, как бы вросших в почву строений расстилался перед ним (перед академиком). Окна в переплетах тяжелых решеток зияли, словно глаза мертвецов. У ближайшего строения стоял низколобый человекообразный маньяк. Он был тяжел и неподвижен, как изваяние. Он держал в поросших шерстью передних лапах странный длинный предмет с острием на конце...»

Такого вот типа увидел академик Солнцев на десятой планете.

Ну, это тоже ладно. Кого не встретишь на других планетах: от жукоглазых до поросших шерстью! Ученые к такому привычны. В монографии палеонтолога Алексея Петровича Быстрова («Прошлое, настоящее, будущее человека», Л., Медгиз, 1957) я уже читал о том, как отнеслись его коллеги к первым находкам костей одного из наших общих предков — неандертальца. Р.Вагнер был совершенно уверен, что найденные обломки принадлежат черепу древнего голландца. Прунер-Бей находил в ней (в черепной крышке) признаки кельта. Хами утверждал, что не раз встречал на улицах Брюсселя людей, черепа которых несколько не отличались от неандертальского. Мейер считал, что найденный обломок черепа принадлежит простому русскому солдату из монголов: в 1814 году при преследовании одного из наполеоновских отрядов он, видимо, был ранен, заполз в пещеру и там умер. А знаменитый Вирхов опытными своими глазами разглядел в неандертальском черепе остаточные следы рахита (болезни, конечно). Так что ничуть не удивило меня появление в повести Сергея Беляева какого-то инопланетного низколобого человекообразного существа. Мы слишком хорошо помнили войну, мы еще чувствовали ее тяжелое дыхание. Появление (в книжке) из каких-то кирпичных бараков изможденных, измученных, явно подневольных людей меня тоже несколько не удивило...

К счастью, и на десятой, совсем недавно открытой планете в долгой и страшной войне победили (как и у нас на Земле) не низколобые маньяки с палками, а те сильные прямые люди, что освобождали мир от всяких насильников и теперь собирались строить счастливую свободную жизнь. «Вот, взгляните, — восклицал один из героев повести, — как облагораживает творческий самоотверженный труд!»

И академик Солнцев взглянул и увидел дикие, еще не освоенные пространства.

И увидел, как красивые сильные люди очищают замусоренные войной поля, радостно возводят величественные здания. А в них, в этих величественных зданиях — просторные светлые залы, наполненные умными гудящими машинами, и знающие светлые люди — сосредоточенные и серьезные.

Преображенный мир! Мир, в котором *будущее* уже наступило.

Но когда это произошло?

Как вообще наступает будущее?

Планетоплан академика Солнцева добрался до десятой планеты нашей Солнечной системы в 1956 году, а я читал книгу Сергея Беляева в 1958-ом, то есть (повторюсь) через два года *после* уже описанных в ней событий!

Значит, я уже в будущем?!

Значит, я уже целых два года живу в будущем?!

Ну да, так получалось. Но где описанные Сергеем Беляевым чудесные высотные здания? Где невероятная, необыкновенная, фантастическая техника? Где красивые творческие веселые люди с высокими устремлениями? Вон за окном знакомая узкая улица в грязных лужах, деревянные тротуары, усталые люди в ватниках и серых плащах. Дождь сеет, листья опали. Перед «Продмагом» очередь за хлебом.

Неужели это и есть наше (мое) будущее?

Я прекрасно знал всех соседей по улице Телеграфной: кочегары, плотники, конюхи, возики, сцепщики, сторожа да просто разнорабочие, ни одного не было в Тайге астронома или палеонтолога. По праздникам пели знакомые песни, распивали сваренную брагу, обсуждали повышение цен. Да, конечно, говорили и о будущем: вот, кстати, обещали завезти каменный уголь к школе; вот, кстати, на редких уличных тумбах появились афиши новых фильмов. Все помню. «Атаман Кодр», «Андрейка», «Военная тайна», «Возвращение на Землю». Первые три понятно: тридцатые годы девятнадцатого века (конюх-молдаванин Тодор полюбил горничную своего барина); июльские дни 1917 года в Петрограде (метания героев, выбор нового); предвоенные годы (девушка Натка мечтает стать капитаном, вещь при новом строе вполне возможная). Четвертого фильма я особенно ждал: «Возвращение на Землю». В афише коротко было сказано, что молодой чабан Ермек Жакипов, мечтавший (как и я) о путешествии в космос, бросил свою отару и уехал в город. Он готов к любым трудностям, он готов выполнить любое задание, и я верил, что он вернется в конце концов не к надоевшей своей отаре, а на нашу прекрасную Землю — землю будущего.

Конюхи, кочегары, сцепщики, грузчики, пастухи окружали нас.

Будущее манило, но никак не наступало. Дождик моросил над дымными станциями. Засыпали гравием дорогу, отремонтировали клуб им.Ленина, открыли несколько новых магазинов, даже книжный! Да и как иначе? Ведь мы, если верить писателю Сергею Беляеву, уже побывали на другой планете!

Так что же это такое — будущее?

Мы задыхаемся, ждем его. Вот-вот наступит.

Вот-вот, совсем скоро исчезнут очереди в магазинах, появятся в достаточном количестве хлеб, мясо, яблоки, книги. В огородах все будет расти, как в Африке. Каменный уголь (единственный экземпляр естественной каменной книги прошлого) не будут больше сжигать в топках электростанций; это же все равно что топить печи бесценными историческими документами. Даже монтер Галкин перестанет обрезать электрические провода за скопившуюся (ну нечем платить!) неуплату.

Все ждут будущего. Обсуждают, спорят.

Впрочем, много информации — тоже вредно.

Что же оно такое, наше будущее? Можно ли понять и приблизить то, о чем мы даже ясного представления не имеем? Писатель и философ Станислав Лем, например, прямо утверждал, что *будущее непредсказуемо*. «Наши попытки, — писал он, — предсказать будущее напоминают попытки предвидеть развитие сложных шахматных партий. Причем шахматы, с которыми мы имеем дело, таковы, что игрок в любой момент может — вместо того, чтобы сделать следующий ход, выхватить из кармана нож, палку или разбить доску о голову партнера, если по какой-либо причине сочтет это нужным».

Не слишком оптимистично, правда?

У Андрея Платонова (в романе «Чевенгур») будущее мягче.

«Организуем фонтаны, землю в сухой год намочим, бабы гусей заведут, будут у всех перо и пух, — цветущее дело!» Чтобы сразу и окончательно организовать такой чудесный и простой коммунизм, такое простое и чудесное в сущности будущее, строители Платонова просто ложатся на пол в своем нищем деревянном бараке. Зачем работать, к чему тратить силы? Ведь работа — это уступка уничтоженному капитализму, работа производит продукт, а продукт напрямую приводит к эксплуатации. «Коммунизм придет сам. Если в Чевенгуре нет никого, кроме пролетариев, — больше нечему быть».

К сожалению, будущее медлит.

К сожалению, мы живем в непредсказуемом мире.

Стивен Хокинг, физик, считал: мы вообще живем в искаженной реальности. «Невозможно познать истинную природу реальности: мы считаем, что четко представляем себе окружающий мир, но, говоря метафорически, мы обречены всю жизнь провести в некоем аквариуме, так как возможности нашего тела не дают нам шансов выбраться из него».

У пророков тоже свой взгляд на будущее.

Взгляд волнующий, тревожный, это вам не полет на десятую планету.

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется...»

Но как узнать о приходе будущего?

Может, по уже выстроенным небоскрегам, по новым и новым достижениям новейших технологий? Может (а почему нет?), по похоронам? Все вокруг нас находится как бы в неустойчивом равновесии. Непрерывное появление новых особенностей у различных живых видов меняет мир. Одни уходят, должны уйти, другие приходят, свято место пусто не бывает. Или о будущем с уверенностью можно сказать только то, что оно все равно *наступит*? А раз наступит, раз это так определено,

то и думать, мечтать не нужно, будем ждать, смотреть кино про чабана, который никогда не полетит в космос. Вот, кстати, еще один вопрос: потрясающие храмы майя, города шумеров, пирамиды египтян и прочее, и прочее — все это было их будущим?

Уже цитировавшийся мною палеонтолог А.П.Быстров писал в своей знаменитой монографии: «С абстрактно-философской точки зрения, настоящее — это мгновение, не имеющее длительности во времени и отделяющее прошлое от будущего; настоящее — это передвигающаяся граница между прошлым и будущим; настоящее — это никогда не останавливающийся процесс превращения будущего в прошлое. Таким образом, настоящее — не период, а только крайне короткая фаза, длительность которой по существу равна нулю, словом, настоящее как период не существует».

Но разве мы не живем в настоящем? Разве мы ощущаем настоящее только как краткое мгновение? Разве не бесчисленный ряд событий определяет для нас вскипающее вокруг нас настоящее? При этом — длительное, очень длительное, хотя и достаточно неопределенное.

Ладно. Еще аргумент.

Будущее невозможно без технологий.

Приняли. Мечтаем. Смартфоны, цифры, скорости.

Мы все те же, но смартфон (будущее) делает нас иными.

Но мы ведь мечтали о чем-то совсем ином. Искусство, наука, философия должны были украсить *настоящее*, неуклонно обращающееся в *будущее*. Сама мораль человеческая должна была совершенствоваться. А люди со смартфонами в руках ведут себя не совсем так, как нам хотелось. Они не отрывают глаз от своих смартфонов. Они все время чего-то ждут. Снова *будущего*?

Да, мы создали виртуальный мир. Живем внутри ноосферы. Но блуждание по интернету по сути такая же безмозглая идея, как постоянное переключение каналов. Не мной сказано, но поддерживаю. Благодаря многочисленным техническим достижениям, мы не только облегчили себе быт, но одновременно чудовищно умножили обман и преувеличения, сузили свои интересы. Разрастающееся постоянно вранье во всех сферах прямо направлено против *любопытства*, против узнавания нового, то есть против того, что сделало нас Человеком. Действительно. Зачем читать книги, спорить, искать, думать о морали, если будущее никуда не денется (вспомните героев «Чевенгура»)? Будущее неизбежно. Так что будем жить, пользоваться очаровывающей нас техникой, пусть работает искусственный разум, пусть даже деторождением займутся новые технологии.

Ах, мы мечтали о чем-то другом! Ничего. Привыкнете.

Ведь вы уже в будущем... после того, своего, личного, несбывшегося... Что ж... Когда разваливается общество, появляются самые разные «свободные» личности... как огненные пионы в запущенных садах...

Утром в зеркале вижу свое лицо.

Обыкновенное лицо, лицо *человека*.

Нас таких много. Одни до сих пор милы, к другим остыл.

Давно когда-то, в юности, позировал художнику Саше Шурицу. Деревянный барак в новосибирской Каменке, начатая бутылка водки. Строгое предупреждение: «Не увлекайся, а то выражение глаз меняется». Нелегкие времена, прекрасные времена. Ведь мы же не просто писали портреты, не просто сочиняли интересные книжки, мы *ждали будущего*.

Саши нет.

По утрам вижу свое лицо в зеркале.

Всматриваюсь. Ведь созданы по образу и подобию Его.

Всегда со вниманием вглядывался и вглядываюсь в бесчисленные портреты — в Третьяковке, в Эрмитаже, в Цвингере, Лувре, в Метрополитен-музее. Увидеть, угадать божественное. Это мне Сергей Александрович Снегов (его тоже давно нет с нами) так написал однажды. «Я уверен, что в человеке заложено нечто высшее, он воистину феномен — в нем нечто божественное. Думаю, он венчает эксперимент природы — либо неведомых нам инженеров — смысл которого в реальном воплощении не мифов, а божественности. Энгельс писал, что человек — выражение имманентной

потребности самопознания самой природы и что, если он погибнет, то в ином времени, в иной форме природа рано или поздно вновь породит столь нужный ей орган самопознания. Это ли не божественность?» А дальше странное. «Быть прекрасным — вовсе не главная акциденция божества».

А будущее?

Как быть с будущим?

Там все неясно, как в ночном окне.

Путь человека к своему лицу — в *будущее* — от первых рыб, от первых земноводных, ящеров, млекопитающих был далек? Как воспринимала первая птица свой неожиданный новый облик, ведь она только что была тяжелым археоптериксом. Только ли это вот так называемое быстротекущее время превращает нас в наше *нынешнее* подобие, и что (из будущего) уже сейчас можно увидеть в наших изношенных, но всегда любопытствующих прекрасных лицах?

Ладно, гляжу в окно.

Неужели мы уже в будущем?

И если там за окном уже действительно будущее, то где же все то, о чем мы десятилетиями мечтали, писали, о чем спорили, за что убивали и спасали друг друга, где оно, *будущее*, которое приходит и приходит, сразу так же неуклонно превращаясь в *прошлое*? Неужели прав Быстров? «Настоящее — это мгновение, не имеющее длительности во времени и отделяющее прошлое от будущего; настоящее — это передвигающаяся граница между прошлым и будущим; настоящее — это никогда не останавливающийся процесс превращения будущего в прошлое»? Как на все это смотрят высшие (как бы их ни называли) силы, имеющие (или могущие иметь) прямое отношение к нашему будущему? Даже Бог подчиняется принципу неопределенности и не может знать одновременно положение и скорость частицы, утверждал Стивен Хокинг.

А Вы, Алексей, что об этом думаете?

Алексей Буров

О двух вариантах будущего

Современный человек склонен видеть в будущем прекрасную цель, которая все разрешит и все жертвы оправдает. Вновь и вновь критикуя утопии, не продолжаем ли мы неявно уничтожать настоящее перед будущим, дорогой Геннадий Мартович? Не получается ли так, что настоящее постоянно пренебрегается ради счастья *потом*, что настоящее вечно оказывается чем-то ненастоящим, годным лишь на дрова будущему, снова и снова? Но, с другой стороны, разве не расквасилось бы само настоящее, не пало ли бы оно в ничтожество без жертв лучшему будущему? Многого ли достигнет человек, решивший отказаться от каких-либо жертв будущему, да и хорош ли он будет, такой человек? Как тут разрешить, и верна ли вообще эта дилемма?

Мой друг протоиерей Кирилл Копейкин — философ, историк науки, кандидат физико-математических наук — в своей книге «Что есть реальность?» сравнивал наш мир с таким вариантом «Войны и мира», где Пьер и Андрей спорят о замысле Льва Толстого. Странность этого образа повышает его весомость в моих глазах: истина скорее дружит с парадоксальным, чем с банальным. Положим, что так и есть, что мы такие персонажи — притом способные не только спрашивать о замысле, иметь небесмысленные догадки о нем, но быть отчасти и авторами. Положим, что каждому человеку выдан определенный авторский ресурс в виде его жизни, открытой к творческому поворотам. Задача понятна: как и всякий порядочный роман, этот должен быть интересен, глубок, содержателен. Каждый мой день — те несколько строк, что пишутся сразу набело. Неважно, каковы мои обстоятельства: здоров я или при смерти,

впал в нищету или купаюсь в деньгах — задача одна: при заданных условиях, каждая моя строка должна быть хороша. Я должен сделать все, чтобы давший мне позицию в структуре романа был рад моим находкам, удивлен их красотой и крутизной и не пожалел, что пригласил меня в персонажи-соавторы. Но если так, то и дилемма между вниманием к настоящему и будущему разрешается в перпендикулярном направлении: вниманием к качеству ежедневного текста моей жизни и его структуре в целом. Compliments и критику мы непременно услышим. Возможно, на Страшном Суде будут просто показывать авторам их художества, в виде документальных съемок. Мне кажется, это могло бы быть посильнее чертей и сквородок.

В свое время я брал уроки балльных танцев, Геннадий Мартович. Их красота требует отточенности на двух уровнях. Во-первых, должна быть хороша микроструктура движений, базовый шаг. Ну а во-вторых, требуется небанальная хореография, макроструктура танца. Обе задачи трудны, но первая — наитруднейшая. Она означает реальную лепку нового тела. Все, каждое твоё микродвижение, должно быть пересмотрено и перенастроено, чтобы стать элементом артистического стиля. То же и в жизни, думаю. Но что же такое тогда её базовый шаг? Очевидно, это простые каждодневные вещи, которые на деле сплошь и рядом идут вкривь и вкось: вежливость, внимательность, корректность, недопустимость лжи, верность естественным и принятым обязательствам, мужество. Чтобы объединить эти достоинства, я не нахожу лучшего слова, чем аристократизм, от греческого аристос — лучший, благороднейший. Благородство обязывает, noblesse oblige, но верно и обратное: выдержанное обязательство облагораживает, будь оно естественным или свободно принятым. Взятые на себя и исполненные обязательства, самопожертвование, возвышает душу и наполняет жизнь смыслом так, как ничто иное. Смысл утверждается жертвой — да больше и нечем. Это и есть то счастье свободного гражданина, которому учили ещё античные философы, называя его эвдемонией, охваченностью благим духом. Рабу оно недоступно; раб не может свободно жертвовать собой, ибо себе не принадлежит. Достоинство раба может быть реализовано лишь втайне и украдкой, поэтому он обыкновенно лжив, вороват и лукав. В европейских языках есть слово *frankly* (анг.), *franchement* (фр.), *francamente* (ит.) — откровенно, нелживо. Оно идет от старофранцузского корня *franc*, через имя германского племени, давшего название и стране — свободный, щедрый, благородный. Та же идея — благородный человек нелжив, noblesse oblige.

Быть свободным — значит постоянно искать новые трудные проблемы, новую ответственность, новый риск, новые удачи, предполагая и новые поражения. Такова хореография свободы, и она почти так же трудна, как её базовые шаги. Непросто и жить среди свободных людей: ведь их свобода может обращаться несправедливостью, воровством и насилием. Поэтому и бежит человек от свободы, забываясь в автоматическом исполнении полученных распоряжений, в пустых зрелищах и забавах, в наркотическом дурмане и разнообразной бестолковщине. Бегущие от свободы народы создают запрос на большое и даже тотальное государство, массово от свободы освобождающее и берущее на себя ответственность за все. Век двадцатый завершался крушением тоталитаризма и надеждой на глобальный свободный мир; но текущий век идет строго в обратном направлении — по пути неуклонного урезания свобод, притом даже там, где они казались надежно утвержденными. Замечу, что параллельно с утратой свобод на Западе шел процесс дехристианизации. Особенно высокими темпами то и другое происходило в университетах США. Не думаю, что эта корреляция случайна. Если свобода не есть высший дар Бога, а завелась как-то сама собой, то почему она вообще должна быть особенно ценна? Столько проблем кругом, и для всех из них индивидуальная свобода — камень преткновения. Что вообще может сделать государство, если гражданин совершенно неконтролируем? Так под контроль его, пусть выполняет сто-пятьсот подпунктов! Если Бога нет, то его место занимает самый крупный и могущественный зверь на земле — государство. И зверь этот, не имея преград и ограничений, питаемый верой в него, проникает всюду и становится всем. Сдай свободу, следуй правилам, и не беспокойся — все остальное приложится тебе. А тут еще и искусственный интеллект — все рассчитает, наштампует, предпишет, усмотрит, накажет нарушителей и поощрит отличников дисциплины и отчетности. Вот все проблемы и разрешатся, и установится вечное царство гармонии

и справедливости, умных машин и правильных светлых людей, как в той повести фантаста Сергея Беляева. Будущее станет неотличимо от настоящего и даже прошлого, потому как темное неправильное прошлое быстро забудется — к чему его вообще поминать? Таким путем в нашем веке и идет Запад, догоняя Китай. В России ситуация несколько иная: для традиционной русской религиозности свобода является скорее чем-то недолжным, противоречащим правильной жизни в послушании и покаянии. Русский Бог, в отличие от западного, никогда особенно и не любил ее, свободу. За всю историю русской церкви, лишь очень редкие священники выступали в защиту гражданских свобод или даже намекали на сочувствие им. Так или иначе, хотя нынешние Запад и Россия, а также Ближний Восток, Индия, Китай, Япония друг от друга и отличаются, все они могут постепенно слиться в одной тоталитарной технократической системе, как совершенно разные звезды могли бы упасть в одну и ту же черную дыру.

Тут самое время вспомнить последнюю большую книгу философа Анри Бергсона «Два источника морали и религии», вышедшую в 1932 году. Удержание человека в подчинении неизменным общим правилам жизни племени или народа — такова суть первого, древнейшего, источник морали и религии по Бергсону. Не думаю, что древнейшие религии к этой задаче целиком сводились; было в них и то, что Эйнштейн называет космическим религиозным чувством, но изрядная правота Бергсона представляется несомненной. Второй же, более новый, источник нацелен на развитие в человеке свободных творческих начал, на открытое общество. В Библии и в истории христианства представлены они оба. Достоевский отразил их противостояние в знаменитой «Легенде о Великом Инквизиторе», и этот конфликт фундаментален. Иногда, как после поражения нацизма, как после падения берлинской стены, казалось, что вот она, великая победа свободы, что она глобальна и колесо истории не повернуть вспять, если воспользоваться этим советским штампом. Но текущий век еще раз показывает, что первый источник может брать реванш и поворачивать колесо истории в обратном направлении, да еще и пользуясь плодами своего соперника. Будущее не только регулярно становится прошлым, но иной раз прямо возвращает его. Выходит, Геннадий Мартович, что два бергсоновых источника морали и религии — это не только прошлое и настоящее человечества, но и два типа будущего. Самый капитальный всечеловеческий конфликт и самый главный вопрос видится именно тут, и он еще далек от разрешения.

Ну, а как на это все смотрят с Небес? Смотрят, думаю, со всем вниманием и надеждой. Если и вмешиваются, то лишь так, чтобы содействовать мощи всего произведения. Иначе зачем было бы и создавать столь изысканную вселенную? Вы вспомнили Хокинга; вспомню его и я. Этот удивительный человек время от времени называл себя «атеистом», но слово God (Бог) в его книгах встречается чаще, чем чье-либо имя. Напоследок приведу одно из самых значительных его высказываний, содержащее возможный ответ о природе законов природы, логико-математического каркаса вселенной.

«Эйнштейн однажды спросил: "Насколько велик был выбор Бога при конструировании Вселенной?" ...возможно, есть только одна или очень немного полных единых теорий, ...допускающих существование структур настолько сложных, что они, как и люди, способны исследовать законы вселенной и спрашивать о природе Бога». («Краткая история времени», 1988).

Никакого иного ответа на обозначенный вопрос Эйнштейна «атеист» Хокинг никогда не предлагал.

«Вирусный» мир: спасательный круг чтения

*Разговор с колумнистами Ольгой БАЛЛА и Александром ЧАНЦЕВЫМ
о литературных итогах 2021 года ведет Наталья ИГРУНОВА*

Наталья Игрунова: *По традиции — в первых номерах «ДН» подводит литературные итоги ушедшего года. В январском номере мы предложили критикам рассказать о том, что ими пережито как личное событие, связанное с литературой: прочитанная или перечитанная книга, писательская судьба, встреча, чья-то яркая гипотеза или полемическая мысль... Ключом была формула Ираклия Андроникова: «Я хочу рассказать вам...»*

Для меня — это прежде всего год утрат: Валентин Курбатов, Николай Аркадьевич Анастасьев, Игорь Шкляревский, Александр Ерёмченко, Ксения Драгунская, Василий Голованов, замечательный белорусский поэт Алесь Рязанов, армянский переводчик Георгий Кубатьян...

Ольга Балла: Среди особенно горьких утрат минувшего года я бы упомянула ещё смерть поэта и организатора литературной жизни Людмилы Вязмитиновой, филолога и просветителя Мариэтты Чудаковой, поэта Василия Бородина, юной Софии Камилл — русско-шведского поэта и переводчика. А если посмотреть за пределы нашего культурного круга, — французского поэта Филиппа Жакоте, французского философа, эссеиста Франсуа Феды, двуязычного русско-эстонского поэта Яна Каплинского (даже трёхязычного, учитывая вырусский диалект эстонского, на котором он тоже писал). Смириться со смертью не получается в принципе, но в случае Бородина и Камилл это невозможно просто никак. В лице Бородина, по собственной воле не дожившего и до сорока лет, мы потеряли, по моему разумению, одного из самых значительных — теперь уже можно не бояться говорить пафосно — поэтов нашего столетия. Это и к вопросу о писательских судьбах. История Васи Бородина произвела на меня тяжелейшее впечатление в этом июне; история (едва известная мне, но этого достаточно) Софии Камилл — чистое отчаяние: ей, яркой, сильной, щедро и счастливо одарённой, было всего восемнадцать. Теперь у нас появились веские основания к тому, чтобы издать одним корпусом и перечитать то, что они успели написать, продумать их значение, место в культуре и т.д., — но лучше бы не было у нас этих оснований, а они бы жили.

Н.И.: *Светлая память им всем и тем, кого мы не назвали. И очень хочется надеяться, что при этом продумывании их места в культуре не получится, как с ушедшим на Рождество Александром Павловичем Тимофеевским: почти все сообщения начинались с того, что не стало автора «Песенки Крокодила Гены», — то есть с того, что его всегда раздражало и обижало...*

Вы участвовали в январском «дружбинском» опроснике, Александр, и в отличие от абсолютного большинства критиков, рассказавших об одной из книг минувшего года, сделали выбор в пользу перечитывания — стихов Вениамина Блаженного.

Александр Чанцев: Мне кажется, в нашем литературном процессе — когда все, казалось бы, издается, все доступно и так далее — немало слепых пятен. Вениамин Блаженный — одно из них. Много ли рецепции (обсуждений, публикаций) заслужил Владимир Казаков, потрясающий стилист, абсурдист, вообще очень тонкий, изысканный писатель? Количество статей о нем можно проверить на «Википедии» (плюс несколько еще). Из, слава богу, ныне здравствующих — Владимир Богомяков. Когда есть очень сильный крен (подпитанный, понятно, определенными институциями, интеллектуальной модой — разговор сейчас не об этом) вроде издания полного собрания сочинений Пригова, книг о нем, посвященных ему конференций, то другие как были в тени, так там же и остались. Их — оставили.

Н.И.: *Но вы оговорили — что это одно из самых ярких впечатлений ушедшего года, что год был посвящен заполнению лакун. Какие и чем были заполнены лакуны, о чем бы хотелось рассказать еще?*

А.Ч.: Для меня ярким впечатлением были классика, перечитывание. Та же пандемия погрузила нас в странное, амбивалентное состояние. С одной стороны, все затормозилось, все приостановлено. С другой, происходят столь стремительные изменения — не только в качестве жизни, но в самом человеке, социуме, механизмах общения — что нужны какие-то основания и якоря. Современная литература не успела еще среагировать, как сейчас говорят, на новые вызовы, но можно найти что-то в старых книгах. Не только — это довольно банально, даже для поста в Фейсбуке — предсказания той же пандемии (будь это «Фауст» Гёте¹ или «Уход в Лес» Эрнста Юнгера²), но ответ на какие-то фундаментальные вопросы, на которые, видимо, люди так толком и не ответили, коли попали опять в ту же самую ситуацию.

Н.И.: *В нашем разговоре я бы предложила оттолкнуться от понятия дополненной реальности — опция своего рода виртуализации и дополнения заложена в «функционал» литературы (причем напрямую зависит от личного опыта и от полётности и дотошности воображения читателя). Прожит еще год в «вирусном» мире. Что привнесла в ограниченную пандемию, тревожную и богатую неожиданностями жизнь литература? Сейчас принято назначать главных: главный фильм года, главное шоу, главная премия, — и все же давайте будем демократичны и просто назовем самое заслуживающее внимания на наш субъективный вкус. И, конечно, обоснуем. Оговорю: это могут быть книги и журнальные (и сетевые) публикации, «художественные» тексты (проза, поэзия, эссеистика) и любой нон-фикшн, отечественные, русскоязычно-зарубежные и переводные.*

Итак.

Самые неожиданные для вас сюжеты, самые яркие герои.

А.Ч.: И герои, и сюжеты (можно ли изобрести новый сюжет сейчас? Еще Борхес был скептичен на этот счет), скорее, издательские.

Н.И.: *Оль, как ты думаешь, Александр не обидится, если тут сделать круглые глаза: «Борхес? Четыре сюжета? Что вы говорите?!» Ну серьезно, речь же не об архетипах, а о завязках и поворотах — затягивающих, остроумных, красивых.*

Спроси меня — первое, что пришло бы в голову, — роман Наринэ Абгарян «Симон», на первых страницах которого в маленьком армянском городке у одра скорострельно скончавшегося местного каменщика-Казановы собираются бывшие возлюбленные и вместе со вдовой пытаются решить проблему его посиневших ушей. Потом, конечно, оказывается, что свела их Абгарян вместе, чтобы рассказать историю каждой... Или, скажем, роман «Русский Стикс» Георгия Гратта — в непознанной местности между Смородиной и Почаем, в сказочном пространстве и времени он собирает под одной крышей классиков русской литературы. Как их занесло в эту печальную глушь, им неизвестно. Играют в карты, беседуют со своими героями, спорят о судьбах России и смысле жизни, а когда чувствуют,

¹ http://www.chaskor.ru/article/faust_koronavirus_i%C2%A0kotiki_apokalipsisa_46176

² <https://www.peremenny.ru/blog/24671>

что «на большой Земле» умирает память о них, уходят поодиночке и ступают на Калинов мост...

Вот и вы сейчас, сказав об издательских сюжетах, неожиданно обозначили важный новый поворот разговора.

А.Ч.: Я, конечно, не обижусь, но и назвать какие-то особо яркие сюжеты — какие были, например, в кинематографе, что зарубежном, что нашем, — вряд ли смогу. А вот то, что в очень непростое с финансовой, логистической и прочих точек зрения время издательства работали, издавали удивительные книги, — это, действительно, потрясающе. И делали это даже не мейджоры — им сам Бог велел — а средние, скажем так, и маленькие издательства. «Иван Лимбах», «Алетейя», Jaromír Hladík press. Последний в качестве его директора — и единственного человека в издательстве? Могу ошибаться, но других не знаю — накануне нового года объявил о покупке прав на перевод и издание 900-страничной канонической биографии Беккета, написанной Джеймсом Ноулсоном. Еще их же анонс: «В конце февраля — начале марта в Jaromír Hladík press выйдет 864-страничный сборник материалов о легендарном композиторе, музыканте, создателе ансамбля старинной музыки “Мадригал” Андрее Волконском, с многочисленными фотографиями и другими иллюстративными материалами». За издание таких книг — а этим каталог не ограничивается — нужно давать премию и в «мирное время», во времена ковидные — премию двойную.

Особенно радостно, что — думаю, я вспомнил сейчас далеко не все издательства — таких малых издательств довольно много. И если «Лимбах» и «Алетейя» — издательства старые, с традицией, то появляется и много молодых — во всех смыслах, имею в виду прежде всего возраст делающих их людей — издательств. «Носорог», «libra». Не знаю, за счет какого именно финансирования они существуют, но в любом случае это достойно снятия всех шляп.

О.Б.: К неожиданным сюжетам стоит отнести книгу Филиппа Дзядко «Глазами ящерицы», которую хочется упоминать в этом разговоре не раз и по разным поводам. Это читательский дневник, дневник понимания — «несуществующего» поэтического сборника, который волею случая составил из существующих стихотворений Михаила Айзенберга. Эти стихи Айзенберг присылал автору в письмах; потом они вошли в другом порядке в другие сборники; в глазах же Дзядко-читателя они составили целое, и он написал хронику собственных внутренних событий в ответ этим текстам. Отчасти это родственно тому, что у себя в ЖЖ под тэгом «дневник читателя» много лет с героическим одиноким упорством делает Дмитрий Бавильский, о котором мне тоже чувствуется нужным говорить здесь не просто неоднократно, а едва ли не по каждому (ну, чуть преувеличиваю) из поводов. В последнее время он пишет больше не о новейших изданиях, а о книгах, вышедших давно и перечитываемых теперь, о смыслах перечитывания, о происходящей при этом перенастройке взгляда, — я подозреваю, он чуть ли не единственный, кто делает такое сегодня, притом в той же мере основательно, в какой и бескорыстно, поскольку гонораров от Живого Журнала не дожидаться. К неожиданному: в этом году Бавильский снова стал, после очень долгого перерыва, рецензировать поэзию, написал о сборниках Галы Пушкиренко — гетеронима Олега Шатыбелко и о «Нерасторопном празднике» Ростислава Ярцева (См. рецензию Дмитрия Бавильского на книгу стихов Ярцева в январском номере «ДН». — *Н.И.*).

Ещё из неожиданного — «Разговор с отцом» священника и религиозного писателя Владимира Зелинского. Отец автора — Корнелий Люцианович Зелинский, оставшийся в культурной памяти прежде всего как одиозный критик, уничтоживший своей внутренней рецензией подготовленный в 1940 году и из-за этой рецензии так и не вышедший последний сборник Марины Цветаевой («О сволочь Зелинский!»). Честно сказать, в моем сознании два этих человека размещались на разных полюсах бытия и не соотносились друг с другом никак (ну, думалось, однофамильцы).

Они оказались ближайшими родственниками; более того, отец Владимир, носитель явно совсем других ценностей, чем Корнелий Люцианович, относится к нему с любовью и благодарностью, прекрасно отдавая себе отчёт в тёмных сторонах его личности, в сложности её, и в книге старается его понять, не судя и не оправдывая, но прослеживая устройство его мотивов. Это о том, что любовь не означает и не требует ни согласия, ни оправдания, но, не отменяя идейных различий, она важнее и сильнее их.

Самый яркий герой года для меня — поэт Богдан Агрис, стремительно набирающий силу, издавший вторую книгу («паутина повилика»), уже написавший (или почти?) третью (становление ее можно было наблюдать в фейсбуке), а осенью создавший вместе с Валерием Шубинским «авторский» — программно пристрастный, посвящённый исключительно поэзии журнал «Кварта». Вышло уже два номера, готовится третий.

Если издательство Jaromír Hladík press, как сказал Александр, действительно состоит из единственного человека — поэта Игоря Булатовского, есть все основания назначить Игоря вторым ярчайшим героем года: Jaromír Hladík издаёт книги, я бы сказала, концентрированной изысканности и высокого эстетического и интеллектуального напряжения, — большей частью прозу и эссеистику, но случаются и — редкие и яркие — поэтические вкрапления, как, например (кстати, тоже 2021 год) «Колесо обозрения» Александры Цибули. Из изданий 2021-го необходимо назвать (теперь я просто вынуждена изъясняться скороговоркой списка, иначе этот текст никогда не закончится, а упустить важное — несправедливо) «Хочется только спать» Василия Бородина, «Финские ночи» Станислава Снытко, «Отделение связи» Полины Барсковой, «Синюю изоленту» Марианны Гейде, «Роман» Марка Петрова, «Франкфуртского быка» Олега Юрьева — семь сложносоотнесённых между собою рассказов, «Составителя бестиариев» Валерия Вотрина, «Четыре поэта: Рильке, Клодель, Элиот, Целан» Ольги Седаковой и её же, переизданная Jaromír Hladík «Апология разума», интеллектуальная биография Сэмюэла Беккета «Беккет: путь вычитания», написанная Анатолием Рясковым; «Под взглядом Другого. Тринадцать размышлений о предметах видимых и невидимых» Александра Черноглазова. Из переводного: перевод (свободным стихом) избранных стихотворений Шарля Бодлера, выполненный главой издательства Игорем Булатовским; «Как текст становится евреем» — два эссе французского философа, музыковеда, специалиста по иудаике Даниэль Коэн-Левинас, в которых анализируется прочтение Жаком Деррида Пауля Целана. Ещё одно исключение из прозаических и эссеистических предпочтений издательства Jaromír Hladík — сборник пьес венгерского писателя Петера Надаша в переводах Оксаны Якименко, к разговору о котором у нас ещё будет повод вернуться.

(Список не исчерпывающий — он включает в себя только те книги, которые попали мне в руки и вмещаются в круг моего понимания и разумения. Книги о музыке — например, «Гленн Гульд берёт интервью у Глена Гульда» — к сожалению, в него не вмещаются.)

Ты спрашиваешь, Наташ, что привнесла в ограниченную пандемией жизнь литература? Она получила много новых возможностей к тому, чтобы быть написанной (например, дневник личной и семейной памяти Ольги Медведковой «Ф.И.О.», вышедший в 2021-м, напрямую обязан своим существованием самоизоляции 2020-го) — и — внимательно и жадно — прочитанной. Ограниченная во внешних формах, жизнь с необходимостью устремляется внутрь, — и литература — одно из вернейших (а по моему разумению — и наилучших) средств к этому. Словом, литература (даже без того, чтобы изменились модели, по которым она строится, — такое быстро не делается) уже привнесла в жизнь, по крайней мере, интенсивность и расширение внутренних пространств.

Пандемии обязан своим возникновением и прекрасный роман Алексея Макушинского «Один человек», изданный книгой в 2021-м (ЭКСМО), — один из первых, между прочим, литературных откликов на эту беду и притом свободный от суетной сиюминутности и поверхностности, которые, казалось бы, неминуемо должны сопутствовать такому скорому реагированию. Опять же кстати: мы говорили как о владеющей нынешней словесностью тенденциях тяге к автобиографизму, к воспоминаниям, к перепроговариванию XX века как части собственной жизни, — «Один человек» вписывается в эту тенденцию — и/но как же он при этом хорош, глубок и мудр.

Н.И.: Самая новаторская форма.

Для меня — из «на русском» и для «на русском» — роман рижского поэта Владимира Ермолаева «Движение на закат» (большой фрагмент его, как и роман Гратта, о котором я говорила, был опубликован в июльском номере «ДН», книга вышла в издательстве «Культурная революция»).

О.Б.: Да, да, радостно присоединяюсь к высокой оценке «Движения на закат»! Мне показалось, что этой совсем особенной книги никто не заметил — и как здорово, что это не так! Составленный из всех мыслимых видов фрагментарной прозы, ближайшим образом родственный «Книге непокоя» Фернанду Пессоа (которого автор не раз цитирует) и «Расщеплению» мало известного у нас норвежца Тура Ульвена, роман Ермолаева — новый для нашей словесности тип цельности: со множеством точек входа в эту цельность. (Из наших соотечественников даже не знаю, кого и вспомнить; разве что «Пенсию» Александра Ильяненена или — тоже к ярким книгам 2021-го — «Термитник» Лидии Григорьевой? — но с ними родство скорее двоюродное, если не троюродное.) Отсылки к русскому литературному и внелитературному опыту в «Движении на закат» минимальны (и то, что русскоязычный его автор живёт вне русского культурного пространства, в Латвии, еще раз подчеркнем); роман написан целиком на европейском материале, полон цитат разной степени неясности из европейских литератур; герои его принадлежат, с высокой вероятностью (и с высокой же степенью условности), к немецкому культурному и языковому кругу. В этом смысле роман продолжает линию универсализации русской словесности — и именно поэтому он очень русский: прямое следствие свойственного нашим собратьям по культуре обострённого внимания к европейским способам быть человеком и характерно-русского прочтения (западно) европейского как общечеловеческого. Из ближайших его аналогов приходит на ум, как совсем не парадоксально, город Санкт-Петербург, — построенный вроде бы целиком по европейским моделям с внимательным следованием им, он, весь целиком, — воплощение русской мечты даже не о Европе, а о всемирности.

«Глазами ящерицы» Филиппа Дзядко тоже смело может быть названа новаторской формой.

А.Ч.: Много дискутировалось появление, вхождение в плоть отечественной литературы такого явления, как автофикшн. Мне отнюдь не кажется это столь уж новым явлением — в конце концов, Лимонов писал это всю жизнь, от «Эдички» до последних книг, когда он уже давно и официально проклял жанр романа именно ради этого нового. Но явление можно только приветствовать.

Как и дальнейший фьюжн, скажем так, жанров. Из него я бы назвал новую книгу Андрея Левкина, которая еще только должна выйти. Личное повествование, эссе, музыка, мемуары, традиционный фикшн — повесть (повесть ли? сейчас исходим из показаний объема) эта настолько непредсказуема, что просто бежит каких-либо жанровых определений, отвергает саму возможность разговора на тему «а что это? проза? статья?». Это — постнонфикшн, если вспомнить название того сайта, что делает Левкин вместе с Кириллом Кобриним.

Н.И.: Идем дальше: самые модные и востребованные темы. Штамп: существует запрос на... На что есть запрос? И соответствует ли ему писательское и издательское «предложение»? В чем следуют, на чем спекулируют — это тоже в потоке определенно есть — и как формируют?

А.Ч.: Мне видится сейчас даже некоторая поляризация предлагаемого издательствами. В целом это неплохо, но крен заметен. С одной стороны, тонны массовой литературы от массовых же издательств-гигантов. С другой, почти маргинальные книги (с тиражом от хорошо если тысячи до — подставьте любое число, даже двухзначное) от издательств вроде перечисленных выше. Есть и средняя литература, вышедшая еще из советских/толстожурнальных времен — за нее отвечает Елена Шубина и «Время». Нет, скажем так, нормальной литературы для молодого среднего класса (да, можно возразить, что и его в России до сих пор плохо видно). Прочитав всего Андрея Рубанова, Шамиля Идиатуллина, Михаила Елизарова, всю Анну Козлову, они скорее всего будут читать переводное и/или англоязычное.

О.Б.: Точно существует запрос на рефлексию личного (позднесоветское и постсоветское детство) и фамильного (большей частью катастрофический и травматический XX век) прошлого, о восстановлении замолчанного и забытого, возвращении утраченного, прояснении неясного, о самой возможности такого восстановления. Явно в ответ на этот последний запрос появились книги Кати Петровской «Кажется Эстер» (книга написана по-немецки автором, выросшим в советском Киеве, и может быть поэтому отнесена к событиям не только русско-еврейского самосознания, но и русской литературы) и вспоминавшееся нами уже «Ф.И.О.» Ольги Медведковой. Возникли эти книги, вне всякого сомнения, независимо друг от друга, — тем очевиднее, что перед нами тенденция, позволяющая делать предположение о складывании мемуаристики определённого типа (архетипический её текст — из русских — «Памяти памяти» Марии Степановой). Из (менее сложных, чем названные, но хороших) книг о постсоветском детстве — дети девяностых стали уже настолько взрослыми, что их детство становится предметом рефлексии и ностальгии — мне в первую очередь вспоминается «Фарфор» Юрия Каракура: тонкая, умная, чуткая проза. На другом полюсе той же тематической тенденции — жёсткая книга о постсоветском детстве в провинции Анастасии Мироновой «Мама!!!». Из книг о детстве позднесоветском (тоже провинциальном) и взрослении на переломе эпох — эссеистика Оксаны Тимофеевой «Родина»: о трёх пространственных (и временных) истоках личности автора — сложно-тонкий текст, одновременно лирический и аналитический, соединяющий в себе почти несоединимое: жёсткость, безутешную ясность видения — и благодарность чувства.

Отдельным пунктом — тяготеющее уже к бесконечному, не лишённое черт некоторой вязкости / навязчивости перепроговаривание, перевоображение, переконструирование советского прошлого (из вышедшего в 2021-м сразу вспоминается «Истребитель» Дмитрия Быкова). Превращение его из катастрофического в (как точно заметила в связи с «Эшеломом на Самарканд» Гузели Яхиной — одной из наиболее замеченных и/или раскрученных представителей этой тенденции — критик Татьяна Веретёнова) более приемлемый, страшно вымолвить, более комфортный для памяти и самовосприятия. Честно сказать, такая domestика чудовищного не мила мне категорически: она ещё более неправда, чем вся фантастика и фэнтези вместе взятые, — эти последние, по крайней мере, не выдают себя за правду.

Явно существует и запрос на — очень настойчивые в сегодняшней словесности — темы травмы, насилия и того, как человек с этим справляется. Этому запросу явно обязаны своим успехом и роман «Рана» Оксаны Васякиной, и победившее в конкурсе премии *Поззия* стихотворение «бело-красно-белый флаг» Марии Малиновской. С этой темой давно, упорно и плодотворно работает Линор Горалик, издавшая в 2021-м сборник малой прозы «Мойра Морта мертва», в центре внимания которого —

ленинградская блокада, и роман об эвакуации в 1941-м пациентов психиатрической больницы «Имени такого-то» («Новое литературное обозрение»). Кстати, в обеих книгах Горалик происходит и осмысление советского прошлого — чрезвычайно далёкое от всякой его домостроения, скорее уж напротив: в обоих случаях, особенно во втором, текст (кстати, от совсем уже прямолинейности его спасает открытый финал, а от чистого проповедничества — внимание к внутренней сложности и процессам обращения и воцерковления) — разверстая рана, сплошная напряжённая боль.

К тем же тенденциям — перепроговаривания, переосмысления XX века с его бедами и травмами — принадлежит и одна из лучших книг года (и не только этого), «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова. Я бы отнесла сюда и «Оригена» Андрея Десницкого (издательство «Гранат») — роман о юности на рубеже восьмидесятых—девяностых, на переломе эпох, «запараллеленной» с жизнью богослова, философа, основателя библейской филологии Оригена Александрийского, пришедшейся на II–III век по Рождестве Христовом. Роман показался мне немного прямолинейным, почти проповедническим (это рассказ о том, как герой, по всей вероятности, альтер эго автора, приходит к православию), но очень симпатичным человечески — и тем ещё более был мне интересен, что наша с автором юность пришлась на одно и то же время-и-пространство, и в романе много узнаваемого.

Н.И.: *Самые острые и самые важные, на ваш взгляд, проблемы, заявленные / увлеченные авторами (и в чем совпадают и не совпадают в этом смысле — очень не люблю это слово, но — для паритета обозначения — худлит и нон-фикшн).*

А.Ч.: Я жду анонсированную книгу Оксаны Васякиной, посвященную проблеме СПИДа в нашей стране. Если это действительно так и далеко от хайпа, это большое дело. Ибо, несмотря на огромные тиражи, все разнообразие, казалось бы, тем, самые острые проблемы нашей страны оказываются совершенно незатронутыми. СПИД к ним безусловно относится. Я помню, к сожалению, пост одного умного человека, который сомневался в существовании ковида, дескать, скоро забудут, как забыли СПИД и ВИЧ. Нет, их не забыли, от них умирает огромное количество людей, даже несмотря на то, что уже существует поддерживающая терапия, но социальная особенность этой болезни в том, что даже если лекарства доступны, болеющие ей — те же наркоманы, деклассированные элементы — просто не пользуются ими... Или другая, крайне острая и сложная проблема национализма, мигрантов, зачастую немирного существования народов. Она обсуждается на уровне кинематографа, заявлена на уровне поп-музыки (наиболее яркие исполнители — «Ангел» или Моргенштерн, национальное и социальное присутствует в клипах Shortparis), но — не в литературе. Отдельные вещи Мусы Мураталиева, Аурена Хабичева, Шамиля Идиатуллина, репортажи последнего, Марины Ахмедовой. Но большой роман, «большая книга» об этом? Ее нет. В последний раз, довольно давно, об этом писал, кажется, еще Андрей Волос.

Н.И.: *Примерно тогда же — Афанасий Мамедов. Из нового — хотя бы в «ДН», но и книги тоже — рассказы Алины Гатиной, Тамерлана Тадтаева, Валерия Айрапетяна, Сухбата Афлатуни, проза Андрея Иванова. Романы Владимира Медведева «Заххок» (о постсоветском Таджикистане, финалист и лауреат нескольких литературных премий), Сергея Самсонова «Держаться за землю» (о событиях на Донбассе, получил премию «Ясная Поляна»), Анаит Сагоян «Мосты горят» (о Грузии порубежья веков), все три в «Дружбе народов» (2015, 2018 и 2020 год). Да тот же роман Ольги Брейнингер «В Советском Союзе не было аддерола» (тоже в «ДН», в 2016 году).*

А.Ч.: Здесь, мне кажется, нужно различать две темы. Просто, скажем так, письмо на восточном материале — тут можно назвать многих, от Прилепина и Садулаева до Мамедова и Иличевского. Мне вообще очень интересна эта тема: того, как существует литература на границах и обломках империй, как ощущает себя литература стран бывшего СССР (некоторая попытка осмысления — в моей статье «Среднеазиатский

вектор»¹). Вторая же тема — не менее условно — острая постановка проблемы, скажем, о том, как живет мигрантам в Москве. Рискну повториться, но в музыке и кино (фильм «Айка» 2018 года) это есть, а в литературе нет.

Н.И.: *Моя цепочка имен потянулась за названным вами именем Андрея Волоса. И это отнюдь не только «восточные» тексты. Что касается мигрантов, я, конечно же, соглашусь, что это очень острая и важная тема, актуальная для всего мира (а для нашего журнала — прежде всего в публицистических рубриках — одна из сквозных), но вот насчет отсутствия ее в литературе я бы не была столь категорична. Однако это тема для отдельного большого разговора. Сейчас назову только два текста — уже довольно давний роман Петра Алешковского «Рыба» и вот только что — в декабрьском номере «ДН» — напечатанную очень большую и жесткую, в том числе и по языку, повесть молодого литерского прозаика Сергея Симонова «Унтермениш». Это стоит прочесть, на мой взгляд.*

О.Б.: Существование литературы на границах и обломках империй — австро-венгерской (фантомные боли и фантомное чувство если не сопринадлежности, то взаимной соотнесённости — до сих пор) и российско-советской — волнует и меня, будучи символическим наследником обеих империй, чувствую некоторую, хотя бы символическую же, ответственность. Из постсоветского приграничного, развивающего идущую издавна тенденцию развития нерусской, внерусской литературы на русском языке, в первую очередь стоит назвать «Смерти.net» русскопишущей, живущей в США уроженки Беларуси Татьяны Замировской, — роман, огрублённо говоря, о цифровом посмертии (на самом деле — о судьбах и метаморфозах сознания, отделённого от привычного биологического носителя) — часть его действия происходит в Беларуси совсем недалёкого будущего (где ещё бессмертствует, вполне чудовищно, и ныне действующий диктатор). И возвращаясь к вопросу о проблемах: это темы травмы, насилия, катастрофы — и памяти, личной, семейной, родовой, поколенческой, — которая обнаружила своё глубокое, нерасторжимое родство со всем этим. (Впрочем, существование на границах и разломах неплохо вписывается в этот ряд; тут много травматичного, не говоря уж о том, что и сам разлом — несомненная травма, что не отменяется его освободительными значениями.) И да, переосмысление, перепрочитывание (обретающее, возможно, — как, впрочем, и вышеперечисленные темы, некоторые черты навязчивости) истории XX века. Во всём этом обнаруживают исключительное согласие меж собой и художественная словесность, и нон-фикшн.

Н.И.: *Принято считать, что литература даёт образцы проживания и переживаний. Критик — читатель изощренный, для него это далеко не всегда главное достоинство книги и уж точно не главный смысл чтения. И тем не менее: попала ли вам в этом году книга, которая расширила в прямом, утилитарном смысле ваш личный всякого уровня опыт?*

А.Ч.: Назову самые важные для меня нон-фикшн книги года (в порядке не рейтинга, но простого более или менее хронологического перечисления).

Манфред Кюн. Кант: биография.

Бальтюс. Воспоминания.

Андре Мальро. Голоса тишины.

Беседы с Альфредом Шнитке (переиздание).

Максим Семеляк. Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования.

Уистен Хью Оден. Рука красильщика и другие эссе.

Ханс Волльшлегер. Другой материал: фрагменты о Густаве Малере.

Владислав Дегтярёв. Барокко как связь и разрыв.

Кирилл Кобрин. На пути к изоляции. Дневник предвирусных лет.

Ольга Балла. Библионавтика: Выписки из бортового журнала библиофага.

Сергей Привалов. Буратиныч и другие: необъективные музыкальные заметки.

Сергей Зотов. Иконографический беспредел: необычное в православной иконе.

¹ https://magazines.gorky.media/novy_mi/2017/8/sredneaziatskij-vektor.html.

Евгений Головин. Там (дополненное переиздание).

Гейдар Джемаль. Сады и пустоши.

Евгений Торчинов. Опыт запредельного: религии мира.

Паскаль Киньяр. Ненависть к музыке. Короткие трактаты.

Анатолий Рясов. Беккет: путь вычитания.

Жозе Паулу Кавалканти Филью. Фернандо Пессоа: почти автобиография.

Донна Харауэй. Оставаясь со смутой: Заводить сородичей в хтулуцене.

Франсуа Досс. Жиль Делёз и Феликс Гваттари. Перекрёстная биография.

Константин Циолковский. Грёзы о земле и небе.

Н.И.: *В общем-то и расшифровка не требуется — работают имена.*

О.Б.: Говоря о расширяющем горизонты опыта, из книг минувшего года я бы снова назвала «Глазами ящерицы» Филиппа Дзядко, — эта читательская внутренняя феноменология, это выявление неявного стало для меня безусловным расширением читательского и человеческого опыта (побудив обращать более пристальное внимание и на процессы собственного смыслообразования при работе со сложными текстами), — и «Разговор с отцом» Владимира Зелинского. И ещё раз не могу не повториться: «Смерти.net» Замировской — несомненное расширение опыта: возможность представить себе параллельный нашему мир цифрового посмертия и отождествить себя-читателя в воображении с его обитательницей, от имени которой идёт повествование.

Н.И.: *В одном из наших с ним разговоров Борис Дубин сформулировал важную особенность читательского восприятия: «В читательстве есть очень сильный оттенок сверстничества. По-настоящему заинтересованно, кровно человек читает сверстников и людей чуть-чуть постарше. Между старшими и младшими братьями. Входят в душу, берут за живое, формируют опыт — такие вещи. Они могут в конце концов оказаться очень среднего качества, классики лучше и, конечно, не в пример выше. Но эти люди видят то же, что видишь ты: ёлки-палки, оказывается, это можно было рассказать...»*

О ком бы вы сегодня могли сказать так?

А.Ч.: Видимо, это действительно так. Читаешь тех, у кого можно научиться, взять в аренду опыт. Но было бы очень любопытно прочесть совсем молодых. Из общения с ними, например, моими крестником-студентом, там все абсолютно другое — другие блоги («Фейсбук? Фу, старье!»), другая музыка, другие книги, другой язык и другое мышление. Скорее, конечно, визуальное, чатовое. Даже не клиповое (как на наших глазах умирает понятие музыкального альбома, все песни издаются уже отдельно, так и стандартный музыкальный клип минут в 5 длиной уступил место крайне короткому TikTok высказыванию). То есть отнюдь не логоцентричное, не книжное. Тем более будет интересно прочесть манифест этого поколения, их «На дороге» или «Поколение Икс».

Н.И.: *Оль, а для тебя кто такой сверстник-собеседник?*

О.Б.: В первую очередь Дмитрий Бавильский (для меня он чуть младший сверстник). Он, самым своим примером, наверное, главный среди людей нашего поколения воспитатель моего читательского и человеческого внимания. Книг в этом году он не издавал, но я регулярно читаю все виды его высказываний от Твиттера и живожурнального дневника до более редких, чем в былые годы, но неизменно метких рецензий на книги и выставки. Причём это внимание — к жизни как целому, к её фактуре — он воспитывает даже своими фотографиями, подробной хроникой оттенков повседневности, хотя это уже как будто не литература, — но на самом деле тесно и прямо с нею связано.

Н.И.: *Самое точное, по-вашему, «премиальное» попадание.*

Почти все премии года уже раздали. Оль, в разговоре с тобой на сайте «Формаслов» Александр обнародовал (смайл) свое отношение к премиям: «Я критик не штатный, поэтому могу себе позволить не следить за так называемыми премиальными списками.

Ведь премии сейчас — результат не столько авторских достижений, сколько компромиссов интересов жюри и общественного мнения. Жаль, что у наших премий, как у той же Нобелевской, нет спутника в виде тотализатора — можно было бы зарабатывать, ведь очень легко просчитать победителя. Вот когда “НОС” дадут Прилепину, Патриаршую премию — Сорокину, а “Большой книгой” отметят посмертно Бакина, Кондратьева или Яркевича, тогда это будет действительно примечательной тенденцией». Ты критик «штатный», так что начнем с тебя.

О.Б.: Думаю, когда Игорю Гулину в ныне обсуждаемом 2021-м дали «Неистового Виссариона», а Льву Оборину, за критические же тексты (кстати, мечтаю видеть их изданными книгой) — премию Андрея Белого, — в обоих случаях это было точное попадание.

В моей голове в связи с премиями неизменно звучит цитата, подхваченная уж не помню где и у кого: «Их премия — кому хотят, тому и дают», — с которой я всей душой согласна. Всякое присуждение премии — продукт групповых пристрастий, поскольку жюри каждой из них, как правило, состоит если и не сплошь из единомышленников, то из людей с более-менее общими ценностями и пристрастиями. Вряд ли это никак не связано с авторскими достижениями, — когда, скажем, лауреатом «Большой книги» 2021-го стал «Филэллин» Леонида Юзефовича, это было заслуженно, «роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах героев с отсутствующими собеседниками» — книга и вправду большая. С другой стороны, мне отчаянно жаль, что первое место не было отдано (вошедшему даже в шорт-лист!) «Желанию быть городом» Дмитрия Бавильского — книге (не просто большой — даже громадной) о восприятии Италии и осмыслении этого восприятия, особенной, не похожей по своему внутреннему устройству ни на что из пишущегося сегодня, кроме разве «Музея воды» самого Бавильского, вышедшего лет шесть назад. Но это и понятно: «Филэллин» всё-таки проще, «вместимее» для «среднего» читателя. Как я понимаю, этот критерий при раздаче премий тоже учитывается не в последнюю очередь.

Н.И.: *А кому присудили бы премии «по итогам» 2021 года вы? Воспользуюсь Сашиной «наводкой» — если иметь в виду не реально существующие институты, а критерии и смыслы, заложенные в их названиях: книга года, поэзия, национальный бестселлер, мастер, просветитель...*

А.Ч.: До сих пор не слежу пристально за премиями, к тому же функционирование отдельных премий из вашего списка мне малознакомо, а судить в целом, кому дали за дело, а кому нет, считаю не совсем корректным делом. Может быть, в тот момент, когда было сказано то, что вы процитировали, я был в излишне радикальном настрое, но в целом до сих пор могу под этим подписаться. Премии нужны, хороши, какие, в конце концов, еще есть морковки перед писательским носом в его малопубличном труде. Но в нынешнем их качестве они лишь фиксируют, укрепляют клановость и нишевость нашего литературного процесса. Тогда как их большая свобода, гибкость, flexibility позволила ориентирующейся на данную премию категории читателей узнать те пласты иной литературы, до которых, возможно, сами они доберутся нескоро.

Н.И.: *Оль, тогда вытаскивать выигрышные фанты выпадает тебе.*

О.Б.: Почту за честь (смайл).

Н.И.: *Книга года.*

О.Б.: Вот есть книги, которые хочется премировать в нескольких номинациях... — «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова. Так пусть же и будет она — именно поэтому.

Н.И.: *Большая книга.*

О.Б.: Эту премию, как и было сказано, я бы дала «Желанию быть городом» Дмитрия Бавильского. Есть большой соблазн дать ей и «Просветителя» — в таком случае «Большую книгу» я бы уступила «Красной точке» того же автора: роману о взрослении людей, родившихся в конце 1960-х, которое пришлось на разлом исторических эпох, об их чувстве времени. Если нельзя давать две премии одному

и тому же автору, тогда я бы дерзнула предложить её «Снегу Мариенбурга» Григория Злоти́на. Но, насколько я себе представляю, «Большая книга» присуждается за тексты более форматные. В таком случае, без сомнения — «Вечной мерзлоте» Виктора Ремизова.

Н.И.: *Просветитель.*

О.Б. За эту премию соперничают в воображении моём несколько изданий. Мне очень хочется дать её, например, книге Владислава Дегтярёва «Барокко как связь и разрыв» («НЛО», серия «Очерки визуальности») — анализ мировосприятия и чувствительности эпохи барокко и аналогий их с мировосприятием XX века; сборнику «Лианозовская школа между барачной поэзией и русским конкретизмом»...

Н.И.: *Ух ты, как у тебя сошлось: барокко и бараки!*

О.Б.: Чем случайней, тем верней, как известно... Другие кандидаты — «Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах» Ирины Паперно (как и «Лианозовская школа» — «НЛО», серия «Научное приложение»); очень хороша книга (вышедшая в «НЛО» в той же серии) Клавдии Смолы «Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература» о том, как советские секуляризованные и ассимилированные евреи восстанавливали свою принадлежность к национальной традиции (да, это, кстати, и к разговору об особенно притягательных для нашего времени темах памяти, забвения и восстановления утраченного).

И кстати же: если уж мы о «НЛО» и сериях, — как не назвать начатую этим издательством именно в этом году серию «История звука»? В ней я должна особенно отметить книгу Анатолия Рясова «Едва слышный гул: введение в философию звука». Насколько мне известно (хотя я не специалист, а вольный читатель), работ на эту тему — по философии звука — на русском языке до сих пор не было.

Вернейший кандидат на премию «Просветитель» — пламенная просветительница Мариэтта Чудакова. За всю её деятельность в целом, которую она не оставляла до последних дней. Увы, эту премию вроде бы дают только живым.

Есть у меня ещё интересный живой кандидат — филолог, философ, историк и теоретик культуры, переводчик, сновидец (о, один из тех, наверное, немногих смертных, у которых сны — культурная форма!) Александр Марков с многочисленными его предисловиями к максимально разным книгам издательства «РИПОЛ-классик» (и, возможно, не его одного), популяризирующий в лекциях максимально же разные области гуманитарного знания, как-то соединяющий всё это в своей голове в единство (не могу понять, как оно — и порождающее его мышление — устроено, но не теряю надежды) — и издавший в истекшем году именно что популяризирующую сложное знание книгу «Критическая теория» (РИПОЛ-классик, серия «Фигуры философии»).

Н.И.: *Идем дальше. Поэт.*

О.Б.: Владимир Гандельсман, издавший в одном только 2021 году сразу две сильные и очень разные книги: «Велимирову книгу» и «Фрагменты романа / Король Лир / Миф».

Н.И.: *Поэзия — которая приняла эстафету от Поэта.*

О.Б.: И в жюри которой я в минувшем году оказалась. В центральной для неё номинации «Стихотворение года» я бы присудила, по итогам некоторой внутренней борьбы — там тоже боролись за моё сердце многие прекрасные кандидаты, — «Горьенне» Марии Галиной.

В номинации «Перевод» — Марии Степановой за её Стиви Смит.

В номинации «Критика» первым моим кандидатом был Илья Кукулин — который её, к радости моей, и получил, — со статьёй «Интернет и гетерохронность современной поэзии». Но я бы дала эту премию (не «или», а «и»!) также Ирине Машинской за статью «Поэзия без “поэзии” (Что происходит в стихотворении Стиви Смит и в книге Марии Степановой)», Алексею Масалову — за текст «Что такое

прямое высказывание?», Александру Житенёву за исследование «Об одном экфрасисе Виктора Кривулина» и Игорю Гулину за «Заметки о поэзии Виктора Некрасова».

Н.И.: *Премия Андрея Белого.*

О.Б.: В номинации «Проза» — «Южной Мангазее» Киора Янева, «Движению на закат» Владимира Ермолаева, «Привиденьевым» Юны Лец.

В номинации «Поэзия» — Гале Пушкаренко, гетерониму Олега Шатыбелко, за — вышедшие, правда, в 2020-м (но ведь дают же премии за книги, вышедшие в предыдущем году?) — сборники «Матрица Э. Дикинсон» (Екатеринбург; М.: Кабинетный учёный. — Серия «InВерсия»; вып. 4). «Invalid acid: недопустимая кислота» (М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК). — Книжный проект журнала «Воздух», вып. 89) и «Кто убил Лору Палмер» (М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы).

В номинации «Перевод» — Гали-Дане и Некоду Зингерам за «Трифона и других» Денниса Силка.

В номинации «Критика» — прежде всего я подумала об Алексее Масалове: за все его критические работы, если такое возможно.

Н.И.: *«Ясная Поляна».*

О.Б.: А пусть будет «Этот берег» Андрея Дмитриева! (В лонг-листе «Ясной Поляны» его не было; но это не страшно — «кому хочу, тому и даю».)

Н.И.: *Национальный бестселлер.*

О.Б.: Майе Кучерской за «Лескова: прозёванного гения», который, впрочем, уже и так снискал заслуженное — и героем, и автором — внимание и признание. Книга — и яркая, и общепонятная, и, думаю, общеинтересная, и проговаривает не слишком известное общекультурному сознанию.

Н.И.: *Кому даёшь за критику?*

О.Б.: На «Неистового Виссариона» у меня несколько кандидатов, ни одного не уступлю.

Если говорить о книге, то это «Книга отражений» Ирины Машинской об устройстве восприятия поэтических текстов (отчасти в родстве с Дзядко, но теоретичнее, даже с построением схем) и «В поисках тотальности: статьи о новейшей русской поэзии» Кирилла Корчагина (эта книга вышла, правда, в 2020 году, мною же читана в 2021-м).

Если о вкладе в осмысление текущего поэтического процесса, пока не обретшем бумажного (и даже электронно-текстового) облика, то непременно должна быть названа огромная и многосторонняя работа Евгении Вежлян по устному (!) рецензированию и обсуждению поэзии. Прежде всего это Ютьюб-канал «Poetry books с Евгенией Вежлян», посвящённый исключительно анализу недавно вышедших поэтических сборников (на сей день вышло шестнадцать выпусков, небольших, минут по десять, каждый из которых посвящён какой-нибудь одной книге). Кроме того, вместе с Максимом Дрёмовым, Юлией Подлубновой и Алексеем Масаловым Вежлян запустила цикл обсуждений «Поэтическая функция»: он тоже существует в видеозаписи и имеет целью «понять, из чего сегодня складывается поэзия как эстетически напряженная сборка субъективности, посредством которой мы познаем мир и себя». В каждый из выпусков приглашается кто-нибудь из «поэтов и поэтесс разных эстетических и политических конвенций, чье высказывание посредством поэтической функции расширяет границы познаваемого», — первой (вроде бы пока единственной) стала Евгения Ульянкина. Кроме того, на платформе московской «Библиотеки поэзии» стараниями Вежлян начался дискуссионный цикл «Люди и буквы», посвящённый поэтическим проектам, «издательским и не только» (в этом цикле в декабре записана уже вторая передача — о антологии «Я — тишина», посвященной слепоглухоте, с участием слепоглухих и зрячеслышащих авторов, составленной Владимиром Коркуновым). Я не представляю себе, как всё перечисленное (и я ещё

наверняка что-то упустила) может успевать один человек, особенно при этом ещё и преподающий в университете, хотя понятно, что всё это — взаимосвязанные стороны одного теоретического предприятия по осмыслению новейших поэтических практик, которые работают на целое.

Мне видится также интересным и важным дискуссионный проект «Полёт разборов», в котором Борис Кутенков привлекает к анализу и обсуждению текстов молодых авторов сильных современных критиков. Не дать ли премию организатору проекта — за вклад (там есть такая номинация)? Я бы дала.

Н.И.: Кто для тебя в этом году Мастер перевода?

О.Б.: В этом случае героев снова несколько.

Больше всего мне (при полном и, надеюсь, самокритичном осознании моей венгерской пристрастности) хочется дать её Вячеславу Середе за «Путешествие вокруг дикой груши» Петера Надаша. Это, правда, тот (единственный) случай, когда я, понимая как язык оригинала, так и язык перевода, способна оценить не только эстетическое качество переводного текста, но и соответствие его первоисточнику.

В случаях перевода с иных языков я могу говорить только о русских отражениях, — и было бы до обидного несправедливо оставить без премии Романа Дубровкина, выполнившего титаническую работу перевода «Освобождённого Иерусалима» Торквато Тассо, — книга вышла (в Издательстве Ивана Лимбаха), правда, в 2020-м, но в мои руки попала только в этом июне, — и Марию Игнатъеву, переведшую полное собрание стихотворений Иоанна Креста (Хуана де ла Крус); они вышли в 2021-м у того же Ивана Лимбаха.

Почему-то нет премии (хотя бы отдельной номинации внутри премии за переводы) за рефлекссию переводческого опыта, — а на неё очень напрашивается книга Григория Кружкова «“Исполнишь волею моей...”», или Как заново написать чужие стихи».

Н.И.: Для молодых до 35 у нас отдельная «выгородка» — в этом году вообще сразу несколько премий. Кого предлагаешь, скажем, на Лицей?

О.Б.: Ростислава Ярцева — за «Нерасторопный праздник».

Н.И.: Блог-пост.

О.Б.: Дмитрию Бавильскому за рецензии в Живом Журнале; Евгению Вежлян — за рецензии на поэтические книги в видеоблоге на Ютубе.

Н.И.: Премий стало много, включая местные и жанровые. Евгений Абдуллаев в одном из недавних эссе в «ДН» заметил, что очевидно обесценивание. Как вы считаете?

О.Б.: Я бы согласилась с Абдуллаевым, хотя и не категорично. Чего в избытке — то обыкновенно и обесценивается.

Н.И.: Мы с ним обсуждали эту тему для его рубрики в «ДН», и мне и тогда представлялось, и сейчас кажется, что проблема не в количестве премий, а в критериях выбора. И поэтому спрошу: какой премии, на ваш взгляд, остро не хватает?

А.Ч.: Премии за авангард. Мы даже как-то говорили об этом с подачи Игоря Левшина. Он предлагал назвать её премией Владимира Казакова. Посмертно её можно было дать как раз Казакову, Виктору Иваніву (блага его книги издаются — стараниями еще одного маленького и энтузиастического издательства «Коровакниги!»), Яну Никитину и кому-нибудь еще живущему — для разнообразия не дождавшись его смерти и посмертного признания.

О.Б.: Близко! Например, премии за неформатные тексты, не укладывающиеся ни в какие жанровые и прочие рамки и прокладывающие действительно новые пути, которые ещё предстоит осваивать. «Южная Мангазея» Янева — будучи формально романом, она, мощнейший вызов читательским привычкам, ожиданиям и инерциям, на такую премию просто напрашивается.

По идее, текстами этого рода у нас интересуется Премия Андрея Белого, — однако, как я вижу, присуждается она за произведения довольно-таки форматные.

Между прочим, меня порадовало в минувшем году, в том числе и своей формулировкой, присуждение её в номинации «Заслуги перед русской литературой» — я бы, правда, говорила в данном случае о заслугах — шире — перед русским самосознанием — Борису Гребенщикову «за впечатляющую жизнь и обнадёживающие труды». Премия за впечатляющую жизнь — это прекрасно. Но тексты, ломающие все мыслимые рамки, всё равно отчаянно нуждаются в отдельной премиальной рефлексии.

В номинации «Критика» премию за неформатные тексты я бы вручила Василию Ширяеву за его критический сборник этого года (критика критики, что вообще исчезающе редко, — максимальной неакадемичная) «Колодцы».

И да, премия за проекты! — её не хватает очень.

Именно такой премии заслуживают абсолютные подвижники Данил Файзов и Юрий Цветков с их «Культурной инициативой», без которой немыслима московская (с другими городами они вроде бы не очень работают) литературная жизнь уже лет, наверное, двадцать, если не больше. — Безусловно заслуживает её проект поэтических чтений «Они ушли. Они остались», посвящённый рано умершим поэтам, поддерживаемый героическими усилиями Бориса Кутенкова, Николая Милешкина и Елены Семёновой и сопровождаемый, более того, публикациями в электронной периодике (точно есть посвящённая таким поэтам серия на «Печорин.net» и на портале «Современная литература») и двумя типами книжных изданий: антологии чтений под названием «Они ушли. Они остались» (сейчас готовится уже третий том) и авторскими сборниками отдельных героев чтений: в одном только этом году вышли книги Алексея Сомова («Грубей и небесней») и Гоши (Игоря) Буренина («Луна луна и ещё немного») — это действительно сильные авторы. Фактически, Кутенков, Милешкин и Семёнова вводят забытых (часто — несправедливо) поэтов в живой культурный оборот, создают условия к тому, чтобы перечитать и продумать их (притом и за пределами Москвы, ездят по стране, что — чистый героизм, учитывая, что этого предприятия, насколько я себе представляю, никто не финансирует, — всё за свои деньги), меняют, по существу, состав культурной памяти. Это огромное и очень важное дело.

Премии за проект безусловно заслуживает Владимир Коркунов, организующий культурную и, в частности, поэтическую рефлексию слепоглухоты, внимание к ней как к человеческой ситуации, к её смысловым последствиям, — это штучная и тоже героическая работа. Его трудами в минувшем году вышла антология поэтических и прозаических текстов о слепоглухоте, свидетельств о ней изнутри и осмысления её извне «Я — тишина»: первая в мире (!) книга о слепоглухоте, написанная не учёными, а с иных — человеческих и художественных — позиций; итог проекта «На языке тишины», в котором Коркунов был не единственным, но сделал для него очень много. Он же делает интервью со слепоглухонемыми об их восприятии мира; это продолжающийся проект. Мне очень хочется, чтобы и антология, и работа Владимира в целом была замечена.

И как не сказать об — авторском и, похоже, героически-единоличном — проекте Ольги Девш, в одиночку (привлекая многих авторов, — но в одиночку отбирая, редактируя и сводя в систему их тексты) делающей электронный «независимый критико-литературный журнал» «Дегуста.ru» и, среди прочего, каждый Божий месяц отбирающей «пятёрку» лучших, на её взгляд, русских стихотворений этого месяца?

Говоря о проектах, заслуживающих внимания, не могу не вспомнить (возникший как раз в 2021-м) «Букхоппинг»¹ Марии Закрученко и её команды (Екатерина Бузурнюк, Екатерина Татаренко, Анна Захарова), цель которого — знакомить людей с книжными магазинами. Прогулки по (независимым, далеко не всегда известным «среднему» читателю) книжным: «Бункер», «Книги в арке»,

¹ <http://bookhopping.ru/>

«Книжная энтропия»... — по две экскурсии в месяц. Выбрались уже и за пределы Москвы: в Тулу, в Красноярск, то есть работают над депроvincialизацией провинции), и то ли ещё будет. И, кроме того, стимулируют появление в прессе статей о независимых книжных магазинах. По-моему, беспрецедентная и чрезвычайно полезная штука!

Ну и, как я уже сказала, премии за рефлексию собственного переводческого опыта. Книги в этом роде случаются нечасто, но тем важнее внимание к ним.

Я не уверена, даются ли премии издательствам / инициаторам за поэтические серии; кажется, нет; в этом случае верный кандидат на такую премию — серия «InВерсия» московско-екатеринбургского издательства «Кабинетный учёный», посвящённая исключительно современной поэзии (кураторы — Юлия Подлубнова, Екатерина Симонова, Наталия Санникова).

Впрочем, за один только журнал «Воздух», не говоря уже о прилагающейся к нему серии книг, я бы давно дала премию Дмитрию Кузьмину.

Н.И.: Следующий пункт подведения итогов. Самые принципиальные и полезные обсуждения и дискуссии. Толстожурнальные, на литературных порталах. Следите ли вы за дискуссиями в фейсбуке? В каком случае сами участвуете?

О.Б.: Честно сказать, слежу не очень внимательно и не участвую, потому что жаль быстротекущего времени. Стала бы участвовать, если только потребовалось бы защитить кого-то важного для меня.

Н.И.: Саш, вы тоже не следите?

А.Ч.: Сложно не следить, они же сами появляются в ленте, как и регулярная литературная ругань. Которую в этом году сменила еще более печальная вещь — некрологи, почти каждый день.

Не участвую, Боже упаси. Мне вообще не нравится функция комментариев в Фейсбуке — тот же благословенный Живой журнал, скажем, позволял отключить комментарии, в Фейсбуке же это технически довольно запутанно и сложно. Комментарии, особенно в самоизоляционные времена, стали настоящим злом — тут же агрессия, тут же спор о политике, ковидных заговорах антиваксеров и прочей мерзости. Главное же, они размывают суть высказывания в посте. Все, что я хотел сказать, я сказал в посте. Комментарии неизменно уведут прочь, добавят самых экзотических, совсем не предусмотренных автором смыслов, нюансов и коннотаций. И когда в Фейсбучных спорах рождалась истина, назовите мне хотя бы один пример.

Н.И.: Например, на чьей вы стороне в дискуссии о школах писательского мастерства и профессионализме писателей, вспыхнувшей в конце минувшего года?

А.Ч.: На стороне Кости Мильчина (вот я влез со своим комментарием). Возможно, писательские курсы хороши тем, что дите не плачет и занято вроде бы благим делом, тогда да. Но это довольно чреватое искушение. Скажу более, никогда я не верил и в Литинститут как форму обучения. Узнать литературу? Можно и на филфаке. Научиться писать? Нет, это каждый делает сам и только сам. Человек узнает лишь отрицательную сторону литературного мира в виде костров амбиций, водки и прочего промискуитета духа. Писали не в Лите, а в дворницкой при нем, где жил Платонов.

Возвращаясь к курсам же, можно вспомнить западный опыт, где это давно и прочно популярно. Скажем, большой энтузиаст этого дела — Чак Паланик. Воспитал ли он не дюжину, но хотя бы одного нового Чака Паланика? История и он сам умалчивают. Да и, если честно, сам он стал писать гораздо слабее и попсовее.

О.Б.: За дискуссией Мильчина и Майи Кучерской я тоже не особенно следила; но думаю, что школы писательского мастерства — полезная практика для начинающих литераторов, независимо от того, станут они дальше заниматься писательством или нет: предполагаю, это способно многое дать для развития личности. Сама систематическая практика письма, необходимость выполнять неожиданные для

начинающего автора задания очень воспитывает внимание, гибкость мышления, чуткость к слову и его отношениям с несловесным. Ну и, наконец, такие школы дают пишущим обратную связь, возможность быть прочитанными, среду для общения. Почему нет? Будь мне, как когда-то, семнадцать-восемнадцать благословенных лет, — я бы рада была пройти через такой опыт. Когда я в юности сама писала нечто претендовавшее на художественность, мне этого как раз не хватало.

Н.И.: Александр, в рецензии на книгу Ольги «Библионавтика. Выписки из бортового журнала библиофага» вы, ну, скажем так, посетовали: «Не секрет, что литература наша разобщена, расколота на идеологические и эстетические направления, кланы почище картелей: те дружат против тех, эти утверждают, громя всех, третьи читают только тех, кто читает их». Замечу: наша литература даже в самые глухие советские годы не была монолитом, просто страсти редко и дозированно выплёскивались на поверхность (боюсь, что главной сдерживающей силой был Главлит). Другое дело — каковы идеологические платформы, насколько убедительны эстетические поиски и критерии, где проходят разломы (это ведь далеко не всегда те культурные и цивилизационные разломы, на которых фиксирует в своей книге внимание Ольга), ради чего ведется полемика и каковы дозволенные приемы. Как все это видится вам? Если попробовать разметить?

Здесь, наверное, уместно было бы поговорить не только о тоне дискуссий — но об интонации времени.

А.Ч.: Раскол все тот же, что и два века назад — на славянофилов и западников. И это тем более печально, что, как пели U2 в песне по поводу политических (североирландских) дел, nothing changes on New Year's day. Я пишу уже лет десять о том, что нам нужна третья сила. Конечно, меня никто не слышит, это понятно, но, кажется, эта идея должна приходить во все незашоренные головы. Кто хочет взять все хорошее от обоих лагерей. И кто не хочет солидаризироваться с радикализмом обоих лагерей — плеванием на все отечественное (помните, недавний ураган повредил стену Кремля и как радостно, просто лучась счастьем, перепечатали либералы эту фотографию?) или же желанием ходить в косоворотке (как, например, любит фотографироваться замечательный переводчик Юнгера Александр Михайловский). Эти две парадигмы нужно оставить, забыть, как старый кошмар, и работать во имя альтернативной идеи. Возможно, экологии. Возможно, Бог с ней с идеей, идеологией и прочими измами, их следует просто забыть. И просто тихо работать. Пахать даже.

Н.И.: Оль, ты согласна с разметкой Александра?

О.Б.: Что касается (грубоватой, но всё-таки отражающей реальность) разметки на славянофилов-почвенников и либералов-западников, каждый — со своей категоричностью и преувеличениями, с этим я соглашусь (с поправкой, разумеется, на то, что, увы, за дискуссиями слежу минимально). А интонации времени — как и прямо следующий из них тон разговоров и споров — видятся мне ожесточёнными, категоричными и не располагающими людей к тому, чтобы они друг друга слышали. В дискуссиях, как я могу заметить, слишком много (тёмных) страстей, препятствующих конструктивности. Мне, как и Саше, очень мила идея, что лучше всего прочего просто возделывать наш сад (независимо от того, с какой степенью неминуемости этот сад будет смят гусеницами и чьими именно).

Н.И.: Существуют ли сегодня какие-то «точки сборки» и осмысления всего литературного, в целом — культурного поля? В кино, в театре, в музыке? Некие общезначимые проблемы, институты, персоны, тексты, наконец, — в условиях, когда меняются культурные коды, смысловые матрицы?

А.Ч.: Позволю себе ответить сразу на три вопроса. Не получила должного осмысления — в отличие от той же проблемы лит. курсов уж точно — колонка Бориса Кутенкова на сайте «Года литературы»¹. Между тем Борис проговаривает очень

¹ <https://godliteratury.ru/articles/2020/12/29/literaturnye-itogi-2021-goda-ot-borisa-kutenkova?>

важные вещи. Скажу более, те вещи, которые знают, думаю, все, но не говорят об этом и точно ничего не хотят менять. «Главными тенденциями 2021 года я бы назвал ещё большую девальвацию экспертного мнения, чем ранее, и стирание границ между разным рода фейсбучной перистальтикой и адекватным высказыванием. <...> Что делать со всем этим — неясно: подобно малаховским ток-шоу, всё это питается немедленным резонансом, истерикой, ответным запальчивым комментарием, и вести диалог — только дополнительно лить воду на эту мельницу. А не вести его совсем — вроде как сродни негласному одобрению. В этой ситуации нивелируется роль взвешенной отрицательной критики — а лучшая отрицательная критика, как известно, именно такова: старается учесть разные стороны предмета, понять истоки ситуации, избегает ярлыков. Литературная же атмосфера диктует ровно обратное: нахождение над схваткой как бы априорно считается наивным, а уверенная точка зрения, в которой есть разграничение на “своих” и “не своих”, — знаком принадлежности к “тусовке”, т.е. к определённом флангу литпроцесса, — а стало быть, признаком «литературной адекватности» (но в извращённой системе координат). Понимаемая таким образом политика всё отчётливее требует ответа на вопрос “чьих будешь?”, деления на чёрное и белое, и “всесторонний” разговор воспринимается как форма риторической размытости. Компромисс и попытка найти “положительное” тут и правда невозможны <...> Но такая позиция грозит утратой веры в людей и в целом разочарованием в литпроцессе — внутри себя я к этому не готов, а значит, поинтеллектуально продолжаю искать те же самые “оттенки” и “истоки”.

То есть остается в чем-то легкая, в чем-то очень сложная возможность — ухода в Лес, что подразумевает не только отказ от участия во всех этих сиюминутных дележах символического и прочего капитала, но и построение своего, принципиального нового контекста. Задача чреватая и сложная».

(В качестве P.S.: независимо от Бориса я написал в чем-то довольно схожие итоги года для сайта «Формаслов», они должны быть опубликованы 15, кажется, января.¹)

О.Б.: Я думаю, в условиях, когда культурные коды и смысловые матрицы меняются, «точки сборки» преждевременны, — они возможны, кажется мне, только при наличии достаточно устойчивых кодов и матриц, при осмыслении совершившихся перемен уже постфактум. В возможность общезначимых персон, институтов и текстов — по крайней мере, сейчас, — мне не верится. — Всего литературного, а тем более всего культурного поля, боюсь, не охватить никому — в силу их (этих полей) обширности и дифференцированности. Поэтому любая основательная рефлексия — подобная, скажем, той, что ведётся журналом «Новое литературное обозрение», — возможна только в отношении отдельных ареалов этих полей, выделяемых в соответствии с ценностными позициями и эстетическими склонностями соответствующих изданий.

Н.И.: *А какие поводы для разговора были, на ваш взгляд, нашим литературным сообществом упущены?*

О.Б.: По-моему, осталась без должного осмысления огромная и важная работа Людмилы Гогтишвили — вышедшая, к сожалению, уже после смерти автора, посвятившей своей теме едва ли не всю жизнь, — «Лестница Иакова. Архитектура лингвофилософского пространства» (Издательский дом «ЯСК»). Да, это философия, а не литература, это сложно читать и понимать неподготовленному человеку, — но к литературе как событию языка и смысла это имеет самое прямое отношение. И мне здесь не хватило усилий квалифицированных посредников между профессиональным и общекультурным сознаниями, умных и знающих популяризаторов, которые сделали бы эту книгу предметом общекультурного разговора. Я нашла только две рецензии на неё — Сергея и Василия Костырко — и написала, как смогла, третью, — но ни один из нас, увы, не философ, и мы наверняка чего-то не заметили.

Н.И.: *Вы оба делаете вылазки за пределы русской культуры. (Александр — прежде всего — в японскую и англоязычную, Ольга — в венгерскую, балтийских стран, точноно —*

¹ <https://formasloff.ru/2022/01/15/literaturnye-itogi-2021-goda-chast-ii/>

в другие европейские и не только.) В смысле этого нового опыта — зацепился ли ваш взгляд за что-то в принципе интересное и, в частности, полезное для нас?

А.Ч.: Несмотря на хорошие и ускоряющиеся темы перевода и издания важных книг, от Англии мы до сих пор отстаем очень сильно (а также от Америки, а, скажем, один из самых мощных центров мирового японоведения базируется в Университете Гонолулу — об этих книгах отечественным японоведам остается только безнадежно мечтать). Так, скажем, только за последний, в октябре, поход в мой любимый лондонский книжный — Waterstones Piccadilly — я среди прочего купил книгу о книгах Боуи, мемуары ближайшего соратника Ника Кейва Уоррена Эллиса, новую музыкальную биографию Бетховена, нового Несбё (его еще тогда у нас не перевели, а переведя, совершили настоящий подлог — книгу в 500 страниц разбили на две, два раза объявив о новинке и новой книге популярного автора), книгу Алекса Росса о вагнеризме, сборник эссе Рушди...

В Японии же идут одновременно два процесса. Глобализация — вся эта литература новых времен, роман, написанный на мобильном и для чтения на мобильном, и так далее. И глокализация — традиционный нарратив о фурусато (родном селе, городке, префектуре). Довольно скучны оба явления.

О.Б.: Из волнующего меня я бы назвала прежде всего собрание малой прозы венгерского прозаика Петера Надаша — мощного и мало у нас прочитанного — «Путешествие вокруг дикой груши» в переводе Вячеслава Середы, вышедший в Издательстве Ивана Лимбаха, — семь наиболее важных текстов за полвека его писательской работы.

В 2021-м же у упоминавшегося уже Jaromír Hladík вышел и сборник пьес Надаша в переводах Оксаны Якименко, — которая в этом же году перевела и писанный в 1935-м «Путеводитель по Будапешту для марсиан» Антала Серб — обозначение чувствительных, насыщенных исторической памятью и биографически значимых для автора точек города (по моему разумению, это — текст, для русского, далёкого от венгерских обстоятельств читателя не очень прозрачный и нуждающийся в основательном и обширном комментировании; из породы тех, подтекст которых по объёму многократно превышает их самих).

Издательство libra, выпустившее Серб, в 2021 году завело у себя целую венгерскую серию — *mérleg* (по-венгерски — то же, что и латинское *libra*, — «весы»); книга Серб стала первой в ней. Не нарадуюсь этому факту и буду с жадным интересом наблюдать, что там станет появляться, что пересаживается на русскую почву, как оно на ней приживается (Серб, по-моему, прошёл незамеченным. Что-то надо бы с этим сделать).

Из интересного венгерского надо назвать ещё «Восточный Эдем» Габора Демски (перевод Владимира Пукиша, издательство «Три квадрата» — кстати, второе из *двух единственных*, вместе с «Хладиком», русских издательств, которые издают венгров не от случая к случаю, но именно систематически), — о том, как дед автора и брат деда вместе с единомышленниками — венграми, чехами и словаками, людьми из только что рухнувшей Австро-Венгерской империи — отправились в советскую Киргизию строить социализм и что из этого вышло.

Далее, нельзя не назвать «Голоса» Яна Польковского в переводе Татьяны Изотовой. В небольшой книжечке, вышедшей в издательстве «Baltrus» (это — издательство, программно выпускающее переводы с польского, да один лучше другого, — в чистом виде *проект*, в связи с которыми очередной раз вспоминается насущно необходимая премия), один из самых значительных поэтов современной Польши говорит, как медиум, чужими голосами: голосами жертв расстрела демонстрации рабочих судоверфи в Гдыне в 1970-м, тех, кто потерял в этой катастрофе своих близких либо был убит. Живые и мёртвые говорят там с равной полнотой присутствия и обращаются друг к другу на равных.

Необходимо назвать «Точку притяжения» Томаса Венцловы, — разговоры его с Эллен Хинси, вышедшие опять же в Издательстве Ивана Лимбаха (надо будет тоже

подробно прорефлексировать письменно). Это издательство, видимо, в силу пристрастия издателей, издаёт — тоже практически программно — замечательно интересные польские книжки в русских переводах. Среди изданий 2021 года безусловно достойны упоминания дневник о событиях 1940—1944 годов Анджея Бобковского, польского писателя-эмигранта, жившего во Франции, участника Сопротивления, — «Наброски пером» (перевод Ирины Киселёвой), «Не по канону» Войцеха Лигензы о поэзии Виславы Шимборской и Збигнева Херберта (перевод Екатерины Стародворской), — никогда не перестану жалеть, что не читаю польской литературы, и поэзии в особенности, в оригинале. Знаю, что в самом конце минувшего года у них вышла антология «Современные польские поэты», — эту книгу 2021-го я ещё не держала в руках, она станет предметом чтения 2022-го, но не упомянуть её недопустимо, я уже знаю, что это важно.

Кстати, «Иван Лимбах» делает отдельные вылазки и в сторону также очень занимающих меня литератур и культур народов бывшей Югославии (та же тема разломов и травм) — вот-вот у них выйдет в переводе Ларисы Савельевой роман интереснейшего хорватского автора Миленко Ерговича «Руфь Танненбаум» о судьбе хорватских евреев во время Второй мировой. Александр уже вывел наш разговор за пределы одной только рефлексии о прошлом, заговорив об ожиданиях, так вот, это — одно из моих.

В какую-то ячейку — она тоже напрашивается быть ответом на несколько вопросов — надо поместить огромную — вот уж «Большая книга»! — «почти автобиографию» Фернанду Пессоа (автор Жозе Паулу Кавалканти Филью, переводчик Елена Тейтельбаум), — которая подробнее представляет жизнь и время героя во всех его множественных лицах.

Н.И.: *Еще совсем, казалось бы, недавно все дружно сетовали, что наша литература избегает осмысления прошлого (имелось в виду прежде всего советское). Спустя несколько лет стали говорить, что писатели прячутся в прошлом от разговора о насущных проблемах. Все, что случается, все, что подлежит рефлексии, неизменно соотносится с прошлым опытом (не только у нас) даже на уровне терминов: постпамять, посттравма, постпостмодерн... А уж когда, покончив с историей, решились снова заглянуть в будущее, открылись адские бездны антиутопий. (И пророчества начали сбываться — сколько в предыдущие годы появилось книг и фильмов о гибельных эпидемиях...) Сегодня у читателя есть возможность выбирать литературные времена, чтобы, погружаясь туда с головой, жить в них и умирать, а потом воскреснуть в собственной шкуре (желательно, в своем, а не зомбированном, уме) и в своем времени. Если бы я попросила назвать самые значимые для вас книги о прошлом, настоящем и будущем?*

О.Б.: О прошлом — «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова. Сильная, честная, умная книга.

О будущем — «Жизнь Ленро Авельца» и «Смерть Ленро Авельца» Кирилла Фокина: это, по моему впечатлению, наиболее тщательно и систематически продуманное — и наиболее убедительное — *иномирье* из всех, что были представлены в книгах и текстах, вошедших в лонг-лист «Новых горизонтов» 2021 года. В своей реалистичности это даже почти не фантастика: это хорошо знакомый нам мир, всего лишь доведённый автором до некоторых крайних следствий, усиленный в тех его тенденциях, которые мы наблюдаем уже сейчас. По существу, это политология в образах; отчасти и антропология. Ну и, конечно, «Смерти.net» Татьяны Замировской.

О настоящем... — сначала подумала, что значимой книги о настоящем пока нет, и, чтобы таковая могла быть написанной, надо всё-таки, чтобы настоящее стало прошлым, чтобы между ним и нами образовалась дистанция, дающая возможность его видеть. Хотя, впрочем... «Хочется только спать» Василия Бородина, сборничек его малой прозы, последняя книга, составленная им самим, — это же ведь целиком о настоящем, о переживаемом здесь-и-сейчас. Тогда эту книгу и следует назвать. Она — о настоящем не историческом (хотя немного и об этом тоже: о том, как автор помнит и вспоминает своё детство в девяностых), но более глубоком: сиюминутном,

даже моментальном — и в этом смысле вневременном и непреходящем, об остром чувстве настоящего.

А.Ч.: В прошлом жить слишком заманчиво, поэтому невозможно, к тому же, это сверттрагично — знать все, чем это закончится. Жить в будущем тоже нереально: последние два года пандемии показали нам, что будущее таковым и является, ибо до сих пор может преподносить сюрпризы и быть непредсказуемым. Поэтому остается — жить в настоящих книгах о будущем (такой аналог the Present Continuous Tense, настоящего времени в функции ближайшего запланированного будущего). Это — очень продвинутая в последнее время западная и китайская научная фантастика, киберпанк и научпоп книги о науке и технологий (например, почти вся соответствующая линейка «Альпины», некоторые книги «Бомборы» и мейджоров).

О.Б.: К перечисленным категориям я бы добавила ещё одну: книги о несуществующем / несбывшемся / воображаемом; об иных, не осуществившихся линиях исторического развития. Люблю страстно. Тема иной / альтернативной истории (а вместе с нею — несбывшихся возможностей, включая даже чисто языковые) всё увереннее перестаёт быть исключительной принадлежностью массового читателя и осваивается высокой сложной литературой, — и это к разговору о тенденциях. В таком случае получают полное право быть названными относящиеся явно к этой категории «Грифоны охраняют лиру» Александра Соболева (мир, в котором русская революция 1917 года потерпела поражение, рассказанный языком, не претерпевшим большевистского насилия над собой), «Снег Мариенбурга» Григория Злотина (Издательский проект «А и Б»), — условно говоря, роман (на самом деле, множественный, сложносоставный, изрядно неформальный текст, — премию! премию!!) из жизни несуществующего в нашей версии реальности государства Курляндия и объемлющего её, также отличного от нашего, мира (об этой книге писал мой сегодняшний собеседник — справедливо усмотрев в ней родство с соболевскими «Грифонами» — и непременно должна собраться написать я) и «Южная Мангазея» Киора Янева (многokrato поминавшийся добром Jaromír Hladík. Я упорно помнила, будто книга Янева — 2021 года, потому что в нём её и читала; оказалось, 2020-го, но пусть она остаётся здесь, поскольку (незабываемым) читательским событием стала в 2021-м, а границы между годами, в конце концов, всё-таки условны). Из переводного же в первую очередь идёт на ум роман француза Лорана Бине «Цивилизации» (Издательство Ивана Лимбаха), изящно вписывающий в историю европейских народов покорение Европы индейцами.

(Чуть в сторону: проникновение тем, прежде относившихся к массовому чтению, в высокую сложную литературу мы можем наблюдать и в случае романа Замировской, усвоившего мотивы и приёмы фантастики, детектива, технотриллера и даже — прочь за пределы литературы — киносериалов, синтезировавшего и переросшего их. Ещё к альтернативности истории, всё более занимающей умы серьёзных литераторов: события в «Имени такого-то» Линор Горалик тоже происходят, между прочим, не так чтобы в историческом Советском Союзе и пуще того — в альтернативной биологической реальности, — машины в этом мире — живые, чувствующие организмы.)

В минувшем году в Твери издана была покорившая меня уже самым своим замыслом «Антология ненаписанных текстов» (авторы идеи и составители — Анна Голубкова и Марина Батасова), появлению которой сопутствовал небольшой, но содержательный круглый стол о несбывшемся в литературе. Эту книжечку и этот разговор я бы тоже отнесла к значительным и в интеллектуальном, и в эмоциональном отношениях литературным событиям года.

Н.И.: *Вот на этой высокой ноте мы, пожалуй, и остановимся. Я нигде ни разу не упоминаю математику, но по самой грубой прикидке — было более или менее подробно упомянуто сотни полторы названий: от книг до предисловий, журнальных статей и интернет-публикаций, а имен и того больше. Как говаривал Кашировский: даём установку. Дело за читателями.*

Евгений Абдуллаев

Гений не нужен

Почему не нужен?

А вот просто — «не нужен».

И даже не какой-то конкретный. Поэт N или прозаик Z, например. Давно уже никого в гении не производим. Даже с «талантом» осторожничаем. Само понятие — «гений» — уже, наверное, лет тридцать не в ходу.

Где-то с конца 2020 года оно, однако, оказалось неожиданно реанимированным. Причем в несколько странном виде. Напомню.

1 декабря 2020 года были объявлены лауреаты премии Андрея Белого; в номинации «Литературные проекты и критика» премию получил сетевой проект «Ф-письмо». То есть интернет-платформа, на которой (как сообщается на ней) «публикуются тексты, задействующие, проблематизирующие или анализирующие квир- и феминистскую логику письма».

Два дня спустя участницы «Ф-письма» опубликовали коллективное письмо. В нем они отказывались от награды и объясняли причины¹. Кто-то из участниц обиделся на то, что наградили всех скопом, а не поименно; кто-то увидел в награждении «популистский ход»... Обращу внимание на аргумент, прозвучавший в высказываниях двух участниц.

«Несколько лет назад премия Белого заняла принципиальную позицию, согласно которой письмо и личные качества пишущего/ей никак не связаны. ...На мой взгляд, это проблема, о которой говорит Беньямин, когда пишет о фашизме языка. Он говорит о гении как о привилегированной фигуре, которая наделена своего рода божественным даром, способностью расслышать и зафиксировать что-то важное. Гений занят трудным божественным делом, поэтому ему позволено трансгрессировать, нарушать границы, которые не позволено нарушать остальным. Беньямин говорит о том, что такое представление о пишущем/ей, или — шире — создающем/ей что-то новое, является фашистским в своем основании, так как оно предполагает эссенциалистское превосходство одних людей над другими. Следовательно, отношение к пишущему/ей, художнику/це как к гению должно быть преодолено. ...Ф-письмо всегда было важно для меня именно потому, что мы все пытаемся говорить из каких-то других позиций, не из позиции гения. Эта позиция устарела и должна быть оставлена в двадцатом веке, где ей и место».

Это пишет Мария Бикбулатова, «выпускающая редакторка журнала Ф-письмо, философия, переводчица». Следом, буквально в тех же словах, высказывается и Ольга Липовская («переводчица, организаторка семинаров Ф-письмо»):

¹ <https://syg.ma/@mariia-bikbulatova/f-pismo-otkazyvaietsia-ot-priemii-bielogho>

«...Для меня весь этот конструкт: облеченные правом присуждатели — подверженные присуждению — уровни гениальности (кто и как их определяет?), все это — предельно субъективные категории, и их относительность резко снижает (для меня) значимость этой премии».

Прочел я это не без удивления. В текстах, связанных с деятельностью Премии Белого, «гений» обычно не звучало: ни в положении о премии, ни в произносимых при вручении речах.

Что до Беньямина, то читал его не так много, так что поправьте, если ошибаюсь. Но я в упор не помню (и сейчас не смог найти), где это он пишет о «фашизме языка». Термин этот вообще более поздний, «послевоенный». А частью расхожего гуманитарного словаря стал только в девяностые.

Но не только термина, но и мысли такой у Беньямина я не отыскал. Возможно, Бекбулатова имеет в виду фразу из его самой известной статьи «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936). Там это звучит похоже, однако...

Впрочем, лучше процитирую. Беньямин пишет, что тезисы его статьи «...отбрасывают ряд унаследованных понятий — таких как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство, — неконтролируемое использование которых (а в настоящее время сложно что-то контролировать) ведет к интерпретации имеющегося материала в фашистском духе».

Итак, понятие гения — «унаследованное» (*überkommener*); пусть даже — «устаревшее»¹. Но ничего *фашистского* в нем у Беньямина нет; сам Беньямин, кстати, в других местах понятие гения активно использовал. Лишь его «неконтролируемое использование» (*unkontrollierte Anwendung*) может привести к интерпретации эстетического материала в фашистском духе.

Да и под фашизмом в статье подразумевается нечто иное, чем то, о чем пишет Бекбулатова... Не идея неравенства, а подмена вопроса о ликвидации имущественного неравенства — возможностью «самовыражения» для масс.

Что же — если убрать, похоже, напрасно потревоженную тень Беньямина — остается в сухом остатке? Да, именно раздражение по поводу «эссенциалистского (врожденного. — Е.А.) превосходства одних людей над другими» в искусстве. Такое сильное, что «философия» объявляет его даже «фашистским в своем основании».

Хотя — что тут, собственно говоря, фашистского-то?

Люди рождаются с разными талантами, с разной степенью одаренности... И в литературе — простите за прописные истины — тоже. Есть авторы более одаренные, яркие, и менее одаренные. А порой, да, и бездарные. Последние тоже, как правило, обладают талантами, но в каких-то других областях, где они не смогли либо не захотели реализоваться.

Но именно эта иерархичность литературы и вызывает идиосинкразию у участниц «Ф-письма». Точнее, их собственное положение в этой иерархии. Отсюда и эта странноватая филиппика в адрес «гения» и «уровней гениальности»... О которой можно было бы благополучно забыть, если бы совсем недавно, 26 ноября, почти через год после тех премиальных страстей, на понятие гения не обрушилась в своем ФБ Анна Голубкова.

Приведу ее пост полностью.

«Для начала XIX века с его распадающимся сословным обществом романтическая идея вдохновенного поэта/художника/творца (=мужчина), который выламывается из обыденной реальности и противостоит всем обывателям, была безусловно

¹ Как это переведено С.Ромашко, на чей перевод обычно ссылаются. (Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. — М.: Медиум, 1996. С. 16).

прогрессивной. Она позволила создать ту новую европейскую литературу, которой мы до сих пор зачитываемся. Но двести лет спустя эта же идея, конечно, стала консервативной. И не потому, что прошло уже два века, а потому что мы живем, извините, не во времена начала технической революции, а в постиндустриальном мире, где идет активное нивелирование каких бы то ни было различий. И в этом современном экологичном контексте фигура исключительной творческой личности, значительно превосходящей всех остальных своими способностями и потому имеющей право на привилегии, в том числе и право на насилие (а так как романтический творец = мужчина, то это именно мужское насилие), кажется довольно-таки архаичной. И после этого вы хотите сказать, что в подобной позиции нет совершенно определенного политического жеста?»

Само понятие «гений» Голубкова не использует (и на этом спасибо), но логика та же. Снова о способностях, об этих несносных способностях...

«Фигура исключительной творческой личности, значительно превосходящей всех остальных своими способностями» (Голубкова). «Привилегированная фигура, которая наделена своего рода божественным даром, способностью расслышать и зафиксировать что-то важное» (Бекбулатова).

И «преференции», якобы проистекающие из этого. Разве что Бекбулатова пишет о праве «нарушать границы, которые не позволено нарушать остальным», а Голубкова — прямо-таки о «праве на насилие». С уточнением для непонятливых: «именно мужское насилие».

И снова ломаешь голову: кто же адресат этих обличений?

Или, как написал в своем ФБ Валерий Шубинский: «Какая такая концепция давала творческой личности право на насилие? Не упомяну».

И я не упомяну.

Напротив, с момента появления идеи гения (а это не «начало XIX века», а на треть века раньше, как минимум где-то с «Философского словаря» Вольтера) почти общим местом стало *отрицание* за ним права не то что на насилие, но и вообще на какой-либо имморализм.

«Не могу поверить, что преступление и гений могут быть совместимы» (А.-М.Лемьер, «Живопись», 1769). «Дурной человек не может быть хорошим автором» (Н.Карамзин, «Что нужно автору?», 1794). «Кто пленяется изящным, тот уже не может быть злодеем» (Ф.Глинка, «Письма русского офицера...», 1816). «Что такой гений без доброго сердца?» (Д.Хвостов, «Записки о словесности», 1829).

Не говоря уже о почти хрестоматийной фразе из «Моцарта и Сальери»...

Предромантизму и романтизму можно скорее предъявить претензию в слишком высоких этических требованиях, которые предъявлялись к гению. В результате секуляризации на гения переносились свойства пророка и даже святого.

Реальность, разумеется, от этого идеала отличалась. Но «романтическая идея вдохновенного поэта» менее всего в этом повинна. Поведение *gens de lettres* всегда «нарушало границы» — независимо от пола, степени одаренности и исторической эпохи. И Сафо, и Овидий, и Вийон, и Нинон де Ланкло — все они «трансгрессировали» задолго до романтизма. Да и в период романтизма поведение не только пишущих мужчин, но и женщин часто входило в противоречие с общественной моралью — вспомним Евдокию Ростопчину или Каролину Павлову...

Но достаточно историко-литературных выкладок — не для «Вопросов литературы» сейчас пишу. Главное — к истории литературы и эстетики все эти вольные фантазии про «фашизм гениальности» и право гения-мужчины на насилие не имеют отношения. Как и к современности — повторяюсь, понятия гения, «исключительной творческой личности» уже давно выпало из актуального литературного словаря. Это, скорее, мифологема, на которую, вероятно, удобно проецировать собственные фобии. Отчасти — мезандрические: гений как ипостась такого «Мужчины Мужчиныча»,

злобно помахивающего дубиной (или не знаю чем). Отчасти — да, ресентимент в отношении литературной иерархии, которая пока еще продолжает выстраиваться исходя из уровня дарований. А не из героической общественной позиции, как, судя по всему, хотелось бы нашим «авторкам».

Кстати, насчет позиции. В недавней статье под скромным названием «Какой должна быть современная поэзия» Голубкова — почему-то решив, что меня «раздражает феминистская поэзия», — зачислила меня в носители «патриархального сознания» («Литература», 2021, № 181).

Феминистская поэзия меня не раздражает. Если написано талантливо, то даже наоборот. Мне уже приходилось вполне комплиментарно писать и об Оксане Вasyкиной, и об Егане Джаббаровоy, а стихи Любы Макаревской с удовольствием опубликовал в сборнике «Кровь-любовь. Современные поэты о любви» («Эксмо», 2019). Джаббарова и Макаревская, кстати, часто публикуются на «Ф-письме».

Другое дело, что в основной части текстов на этом сайте, может, «феминистской логики письма» и много, но что касается поэзии... Хорошо бы, конечно, подкрепить это сомнение цитатами¹. Но, простите, и так уже переливаюсь за край отпущенного рубрики объема. Так что как-нибудь в следующий раз, если повод будет.

Но, главное, сомнение вызывает не само «Ф-письмо» и не качество текстов (вон сколько всего пишется-публикуется), а претензия на разрушение иерархии, построенной на художественных достоинствах. И замена ее на ту, в которой прежде всего будет учитываться «правильный» «политический жест».

Все это, разумеется, не снижает значимости вопросов, которые ставит феминистское движение. И домашнее насилие, и гендерное неравенство — все это требует обсуждения, осмысления, решения².

Проблема не в феминизме; проблема в том, насколько возможно его «скрестить» с литературой. И не только феминизм — любую идеологию. Слабое стихотворение, блистай оно хоть всеми звездами феминизма, сильнее не станет. Мы это уже проезжали. И с пролетарской поэзией, и с антиколониальной, и с религиозной...

Что до «гения», то понятие, действительно, изрядно затасканное, обветшавшее. Но идея, просвечивающая за его романтической шелухой, пока сохраняет актуальность. Отражает разную степень одаренности, не зависящую ни от какого «нивелирования различий». Возрождать это понятие не стоит; полностью отбрасывать — еще меньше. Пусть пока побудет «под паром».

¹ В том числе, может, и из «Маленькой поэмы об идентичности» Голубковой, публиковавшейся на «Ф-письме».

² В чем посылно старался участвовать (тут вынужден сказать пару слов *pro domo suo* — раз уж зашла речь о моем «патриархальном сознании»). По крайней мере, с 1990 года, когда отреферировал для ИНИОНа книгу Джейн Коннорс «Насилие против женщин в семье» («Violence against women in the family», 1989). Или позже, когда был одним из авторов первого доклада Узбекистана по выполнению ООНовской конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Или уже в середине 2000-х, когда, работая в представительстве ООН в Узбекистане, курировал несколько гендерных проектов и выпустил исследование по гендерным аспектам трудовой миграции. Да и после, окончательно уйдя в свободное литературное плавание, эти проблемы не забывал.

Борис Минаев

Пробиваясь как в туман

Когда идешь на пятичасовой спектакль, думаешь сразу о многом. Во-первых: а когда кончится, сколько антрактов, а успеешь ли подкрепиться? Хватит ли вообще сил: и душевных, и физических? Способен ли обычный человек выдержать такое (ты же обычный)? Ну и, во-вторых, возникают сомнения: а зачем все-таки пять часов? Какой в этом смысл — так мучить бедного зрителя? Зачем я вообще иду на такое?

Замечу попутно, что я, хоть и обычный, но в этом смысле — зритель подготовленный. Были в моей жизни додинские «Бесы», которые начинались практически утром, а кончались поздно вечером, «Липсинг» Робера Лепаж, который тоже шел около пяти часов, «Берег утопии» режиссера Бородина по трилогии Томаса Стоппарда в РАМТе (поставленной в один день с большими перерывами), «Вишнёвый сад» Некрошюса, который шел четыре с половиной, «Улисс» Евгения Каменьковича в Мастерской Петра Фоменко.

Надо сказать, что, если, конечно, спектакль не разваливается на глазах, — эти пять часов и два антракта, как ни странно, мобилизуют зрителя, заставляют его сконцентрироваться и собраться. Я бы даже сказал, у зрителя появляется его личная, зрительская самоотдача: раз я такое могу, значит, и спектакль того стоит. В голове немного шумит, но аплодисменты, как правило, бурные.

Больше того, пять сценических часов — опыт подсказывает — это «попадание в точку», а не режиссерская графомания: если режиссер настолько рискует, значит, он точно знает, ради чего.

И вот это главный вопрос: ради чего?

«Война и мир» Римаса Туминаса в театре Вахтангова и «Доктор Живаго» Евгения Каменьковича в Мастерской Петра Фоменко — не просто два пятичасовых спектакля, и не просто две сценические версии самых известных в мире русских романов, и не просто две попытки перенести на сцену самый сложный язык прозы — с бесконечным количеством персонажей, сюжетов, с протяженностью во времени и пространстве, с их, наконец, абсолютно легендарной судьбой в русской культуре.

Оба спектакля роднит и вот этот мучающий тебя вопрос: почему сейчас? Почему именно *это* так нужно сейчас?

Первый слой ответов — достаточно близко, ну, не скажу, что на поверхности лежит, но витает в воздухе: нужна опора. Нам. Всем. Нужна. Опора. Именно сейчас, именно в эти дни, месяцы, годы: невозможно, даже если очень хочется, целиком завернуться в комфортное цифровое бытие, запереться в своем личном мире и не видеть распада, который творится вокруг. Распада человеческих связей (умирают люди, часто, много, свои и чужие, близкие и далекие, привыкание к смерти — это и есть распад души), распада общества (то, что одних воодушевляет или просто кажется нормальным, других повергает в ужас — разговор становится невозможен, общие ценности исчезают, а еще вчера мы с этими людьми выпивали, дружили домами и были из «одного класса»); распадаются и сами ценности, и сами кодексы — этические ли, социальные, все как-то относительно и все может куда-то сгинуть и запропаститься (хороший пример: еще вчера тема сталинских репрессий была самоочевидной,

безусловной, сегодня — уже нет). Мучит угроза войны, мучит несправедливость судов, многое мучит — и нужна опора. Нужно зримое, очевидное доказательство того, что, хотя страна и запуталась, заплутала на рубежах истории, — есть в ней и огромная внутренняя сила, и компас культурной традиции. А значит, есть и свет в окошке, надежда на преодоление.

То, как общественное сознание «вытаскивает на поверхность» свои глубокие внутренние импульсы, как бурно реагирует на, казалось бы, обычный факт «новой инсценировки» или «новой экранизации», можно прочесть в статье Льва Аннинского из книги «Охота на Льва» — о взаимоотношениях Толстого с кинематографом. (Тоже уже книжки классической, хотя не Толстой и не Пастернак.)

Приведу несколько фраз оттуда:

«И все же какая-то загадка тут есть. Почему именно “Война и мир”?.. А вот, пожалуйста: сто лет назад описаны тогдашние дедушки да бабушки в годы их молодости, князья и княгини, и баталия с Буонапартием, и графинечка на балу, а потом, поверх — десять поколений, и пять царств, и три революции, и прахом все старое — отрезано, отчеркнуто, отброшено — однако под стальным небом двадцатого века, под спутниками, под стеклянными стенами кинотеатра «Россия» кричат в толпе: — Графинечка на балу не в тех туфлях была! — У нее глаза были темные! — А на охоту она, по роману, на вороном Арабчике ехала, а не на этом белом мерине!

Что-то задел в нас Бондарчук, что-то главное задел: ведь это не кисло-сладкие мнения о проходной экранизации классики: так *о себе* кричат».

...Поясню только про «толпу» — что за толпа, где кричат: это за билетами стояли, и об этом тоже писал Аннинский в той своей давней книжке, за билетами в огромный зал кинотеатра «Россия» на тысячу мест, стояли ночами, и — все-таки на всех билетов не хватало.

Так в шестидесятые проявлялась, поверх всего советского опыта, потребность в исторической России, потребность общества в новой, не советской идентичности — очень точно все это описал тогда мой учитель Лев Аннинский.

Сегодня этих очередей нет — когда сидят ночами возле касс в сквере (если погода позволяет), записываются в тетрадку, шариковой ручкой пишут номер на ладони — но все же купить билеты на туминасовскую «Войну и мир» невозможно, все продано на полгода вперед, причем билеты стоят серьезных денег, не те полтора рубля за две серии, какие платил демократический советский зритель в 1960-е...

Так в чем же дело? О чем «кричат» сейчас зрители, эти уже вполне буржуазные, тихие, сосредоточенные зрители, выходя после пятичасового спектакля в полпервого ночи на пустой Арбат? О «себе» — каких?

Вектор — на мой взгляд — со времен той статьи и той премьеры изменился на прямо противоположный. Зритель бондарчуковской версии «Войны и мира» (середина 1960-х) жаждал деталей, любовно осматривал «эти погасшие интерьеры, эти споры о смысле жизни, и красоту старых храмов, и перезвон колоколов, и красоту стаи гончих, летящих за волком по замерзшей траве», как писал Аннинский, то есть тот зритель с помощью фильма пытался реанимировать порушенное прошлое, оживить его, слиться с ним, этим сладким реабилитированным прошлым; зритель нынешней версии, театральной, находит в «Войне и мире» свое будущее: будущее больших и грозных перемен, которые грядут уже почти обязательно. Почти непременно, если не случится чуда.

Эта тема в спектакле центральная: все «человеческое», вся эта хрупкая материя семьи, любви, «наследников» и «отцов», ревность и страсть, обыденная глупость жизни и не находящий себе применения в мире ум, юношеская гордыня и родительское ослепление, — все это как будто трескается, покрывается мелкими трещинами, как огромный хрустальный шар, чтобы на наших глазах рассыпаться при встрече с этим потоком истории, с грозным будущим.

У Толстого это будущее и этот поток истории имеют ясные и точные формы: война, конкретная война с конкретным Наполеоном, вместе с тем — из того, что мы

видим на сцене, — получается, что это столкновение со страшным и великим будущим на самом-то деле все равно было или будет неизбежно, общество «устало», человеческий материал слишком размяк, ослаб, погряз во внутренней пустоте — и «эпоха перемен» обязана врезаться в него со всей своей силой.

Зритель, читавший Толстого, прекрасно понимает, что «слова» произносятся тут все те же, никто ничего не менял, не «искажал», но у режиссера Туминаса есть свои способы усилить их звучание, «поднять» тему: и старая графиня (актриса Л.Максакова), которая посылает «своих людей» поджечь Москву, расхаживающая по сцене с канистрой из-под бензина, нынешней, грязной, современной канистрой с бензоколонки, и Николенька Ростов (актер Ю.Цокуров), скачущий на игрушечной лошадке и машущий сабелькой, страстно мечтающий о войне, жаждущий ее, — застревают в памяти надолго.

Это вообще главная режиссерская специализация Туминаса — создание таких визуальных образов, от которых невозможно отвязаться, как от приставучей мелодии, которая крутится и крутится в голове. Невозможно «отвязаться» от сцены, где семейство Ростовых возвращается с бала: эта пьяная походка графа Ростова (актер А.Ильин), эти усталые люди, бредущие из огромного «танцевального зала» своей жизни — куда-то в неизвестность, под печальную и щемящую мелодию. Невозможно избавиться от образа смерти: когда раскладывают на сцене мятые грязные шинели — и так мягко, бережно и так подробно раскладывают, что шинели эти тотчас становятся убитыми солдатами.

Но война войной, а смысл заданного вопроса лишь усиливается: ведь получается, общество *заслужило* эту войну, этот кошмар, это разорение и катастрофу?

В этих терминах о войне 1812 года никто не думал (например, тогда, в середине 1960-х, когда вышла бондарчуковская «Война и мир»), она всегда вроде бы была важна как поиск национальной идентичности, как красивая, романтическая, «благородная» история, а вот сегодня ужас *полного разворота*, который придавливает и коверкает человека, проступил в спектакле Туминаса очень ясно. Этот «полный разворот», ощущение грозных будущих перемен — для сегодняшнего человека — все же не совсем про войну. Скорее — общее ощущение, дыхание мировых сдвигов, мировых событий.

Для меня, конечно, «Доктор Живаго» Каменьковича (напомню, в Мастерской Петра Фоменко) в этом смысле стал как бы «второй частью», «окончанием», смысловой развязкой того, что заложено в «Войне и мире» Туминаса.

На вахтанговской сцене показали, как разгорается костер, как задувает исторический ветер, на фоменковской — костер уже сжигает все дотла, постепенно превращая в золу, ветер становится ураганом, сметая на своем пути все: и людей, и жилища, и даже природу, — и в конце его люди ходят среди обломков, пытаясь найти хоть что-то, хоть какие-то следы своей прошлой жизни.

Каменькович — другой режиссер и идет другим путем, в его постановке нет «символизма», визуальных «обобщений», все очень конкретно, ясно, просто, подробно, понятно, чтобы сложилась именно общая картина, для расшифровки которой уже не нужно ключей: каждый характер изучен и показан до деталей, все отношения построены с математической точностью, каждый диалог движет сценическое время вперед, каждая секунда действия для чего-то нужна.

Вообще перенести на сцену огромный сложный роман — задача почти непосильная, недаром Туминасу так необходимы эти замедленные «танцы» персонажей, то есть некая символическая хореография на сцене, чтобы передать само движение толстовской строки, а Каменьковичу требуется постоянно напоминать зрителю через световое табло — где, когда это происходит, наращивая напряжение, убыстряя темп, чтобы выразить нервность строки пастернаковской. Непосильная задача, да, но все же решаемая успешно, даже не только благодаря самому театру, а благодаря тому, что изначально соответствует зрительскому глубинному ожиданию, тем смыслам, которые мы вчитываем и «всматриваем» в эти сцены. Да, нам нужна опора, повторюсь, нам нужно на чем-то стоять сегодня!

Вновь вернусь ко Льву Аннинскому: недаром в свое замечательное перечисление образов Бондарчука, между «красотой старых храмов» и «красотой стаи гончих», он вставил неожиданное — «споры о смысле жизни». Да, и в том, и в другом спектакле — эти «споры о смысле жизни» занимают огромное, просто значительнейшее место, несмотря на всю плотность событий и нескончаемую череду лиц и положений. Споры, собственно, о чем? Мы можем вычленировать из них главное — это, конечно же, в первую очередь споры о «вине интеллигенции» (или дворянского класса у Толстого), о ее «вине перед народом», о ее «ответственности за происходящее» (то есть — за войну и с «врагом», и за войну гражданскую, и за революцию в целом).

...Я всегда не любил и почти ненавидел эту тему. Да, те люди ждали перемен (я сейчас говорю в большей степени о поколении, описанном в «Докторе Живаго»), те люди хотели изменений окружающей жизни к лучшему, хотели ослабления тисков внутренней и внешней цензуры, обретения другой степени свободы, люди хотели помогать обществу, помогать *другим* путем этих перемен — за что же они (и все остальные) получили тот ужас войны и революции, за что их жизни должны были быть растоптаны и сожжены, неужели, как считали и считают многие, «по заслугам»?

Нет, конечно. Мародеры истории присвоили себе плоды революции, украли завоеванную свободу, связали и вновь бросили ее в тюрьму, но ни общество, ни интеллигенция тут ни при чем. Они не повинны в этом. Так я всегда считал — впрочем, пространство обоих романов оставляет массу возможностей обсудить все эти вещи, уже без участия посторонних: только вы и Толстой, вы и Пастернак. А театр очень сильно в этом помогает: он вместе с нами «читает» роман и ярко высвечивает главные страницы.

У Туминаса есть прекрасное место в «Войне и мире» (может быть, лучшее): когда Ростовы бегут из Москвы и в последний момент, после отчаянного крика Наташи, сломавшего сопротивление графини, сбрасывают свое «имущество», «ценные вещи» с подвод, освобождая их для раненых солдат.

Здесь и Толстой, и Туминас дают нам надежду — нет, не все потеряно в этом обществе, не все растрчено, не все пушено на ветер, есть в нем и совесть, и благородство, нужно только, чтобы *ситуация сложилась*.

Но неужели это должна быть война или революция, спрашиваю я себя, выходя из театрального зала? Господи...

Ну и еще одна заслуживающая особого внимания тема: мне кажется, с этих спектаклей начинается какой-то важный «поворотный момент» в истории нашего театра. И Туминас, и Каменькович одновременно поняли, что в этих огромных работах невозможно иметь дело лишь с «раскрученными» актерами, звездами, на которых пойдет зритель. С привычными схемами восприятия современного театра. И в «Войне и мире», и в «Докторе Живаго» никакие 30-летние женщины — которые, вне всякого сомнения, вполне могли бы по своим внешним данным, — не играют 16-летних девочек. И окружают и Наташу Ростову (актриса Ольга Лерман), и Лару Антипову (актриса Ольга Бодрова) — такие же вчерашние дебютанты и дебютантки. Особенно я бы отметил прекрасного Ивана Вакуленко в роли Юрия Живаго. Конечно, особенно ярко игра молодых смотрится на контрасте с большими мастерами, с актерами в самой золотой своей поре. В «Войне и мире» это вообще целое созвездие: Андрей Ильин, Ирина Купченко, Евгений Князев, Ольга Тумайкина, — я называю лишь тот состав, который видел сам, на других спектаклях вы насладитесь игрой Сергея Маковецкого, Евгении Ивашовой, Виктора Сухорукова. В «Докторе Живаго» — потрясающие Карэн Бадалов, Полина Кутепова, Владимир Свицкий. И да, на этом контрасте — получается нечто великое, значительное. Но дело не только в «возрастном подходе» — сами спектакли внутренне молоды. Они о главном, и главные задачи в них отданы молодым.

Новое поколение должно прийти нам на смену — и сделать что-то главное в этой стране.

Вроде мысль простая, но к ней все-таки надо еще привыкнуть. Пока еще не привыкли.

Язгуль Туркишова

Парадоксы аутентичности

Решила как-то хозяйка отвести на базар козу и продать ее. А та, видно, поняла всю пагубность этой перспективы и уперлась так, что с места не сдвинуть. Но откуда ж бедному животному знать, что женское упрямство — вещь еще более непреодолимая. Так и зафиксировал двух столь схожих характерами существ в момент их бескомпромиссного противостояния цепкий взгляд живописца...

Художника Аннагельды Меретгельдыева, живущего и работающего в туркменском городе Мары, можно было бы сравнить с пытливым фотографом, черпающим вдохновение из сюжетов повседневной жизни. Можно было бы... Но с фотографом его роднит только пристальность взгляда на окружающий мир. Ни о каком фотографичном отражении действительности тут не идет и речи. Вот, к примеру, автор делает попытку запечатлеть уличную сценку. Возникают очертания фигур и лиц, фрагменты декоративной отделки национальной одежды. Казалось бы, все находится в пределах реального восприятия традиционной национальной аутентичности...

Но дальше начинаются чудеса. Художник словно берет за руку и увлекает в чертоги своих фантазий и образов. И вот ты уже не на знакомой сельской улице, а в бездонных глубинах космоса, где ведут вечный бой добро и зло, где не стихают жаркие философские споры, а Царица-Любовь готова прикрыть мир от невзгод своим защитным покрывалом. Автор сознательно и демонстративно использует ограниченный арсенал выразительных средств, как бы подтверждая, что все гениальное должно быть простым. Самой парадоксальной в творческом методе автора остается способность оставаться глубоко аутентичным, но при этом легко вырастать из размеров национальной самоидентичности до масштабов глобальных человеческих ценностей.

Художник Аннагельды Меретгельдыев — один из ярких представителей изобразительного искусства современного Туркменистана. Он родился в селе Гызылгум Марыйского оазиса в 1956 году. Природа родных мест с бескрайним простором пустыни, синевой неба, чистой желтизной песка, с цветными пятнами растительности и белыми блюдами солончаков обладает особой красотой и притягательной силой. «Ни в одной другой стране ты не найдешь пустыни, которая мгновенно выпянет из тебя любую боль, не услышишь дождь, сливающийся со звуками туркменской мелодии», — говорил ему отец.

Детство стало для художника миром, где между мечтой и реальностью не существует границ, миром безграничной любви и непосредственности. Тогда движение крыльев нечаянно встреченной бабочки казалось чудом, ненароком сбитый ногой одуванчик превращался в волшебный цветок. Он рисовал всегда, сколько себя помнит. А еще лепил из пластилина. На подоконнике в его комнате была собственная пластилиновая Вселенная! В юношеском возрасте на учебу в столицу он ехал с горячим желанием постичь законы прекрасного, усвоить навыки, необходимые для образного отражения истинной красоты природы и человека.

Есть такие люди, которые навсегда остаются в нашем сердце. Их облик, их слова, сказанные когда-то, заставляют снова и снова возвращаться к их образам. Таким для Аннагельды стал его наставник — классик национальной живописи, народный художник Туркменистана Дурды Байрамов, картины которого в их философском осмыслении течения времени восхищают

совершенством стиля, цельностью и новизной колористической гаммы, поразительной чуткостью, с которой всматривался живописец в повседневную жизнь, улавливая поэзию в самых привычных вещах. Он — автор уникальной в туркменском изобразительном искусстве галереи образов современников, включающей в себя более 150 портретов представителей туркменской интеллигенции конца XX — начала XXI века.

Живопись Дурды Байрамова дала молодому художнику понимание потаенных законов красоты. «Когда рисуешь картину, недостаточно добиться внешнего сходства, необходимо стремиться раскрыть интонации настроения, характер и богатство внутреннего мира человека», — говорил наставник. В сердце Аннагельды на всю жизнь поселилась бесконечная благодарность своему Учителю, который научил его не только профессии, но и доброму отношению к жизни.

После окончания Туркменского государственного художественного училища в Ашхабаде Аннагельды несколько лет работал с Дурды Байрамовым, развивая свои навыки, полученные во время учебы. В 1983 году художник вернулся в Мары и сразу попал в творческий круг таких известных мастеров, как Гурбангельды Гурбанов, Аллаберды Амангельдыев, Коссекумурад Нурмурадов, Ата Акыев, Аннадурды Мурадалиев, Чары Хуммедов. Его вдохновлял опыт старших товарищей. Аннагельды участвовал в многочисленных выставках в Туркменистане и за его пределами. С 2013 года он и сам занимается педагогической деятельностью — преподает в детской художественной школе, обучая подростков тайнствам изобразительного искусства.

В работах Аннагельды Меретгельдыева ярко проявилось чувство глубокой привязанности к туркменской земле, к ее обычаям и традициям. Художника волнуют женские образы, привлекает в них внутренняя чистота и душевная деликатность, они отмечены не только своеобразным восточным колоритом, но и удивительной экспрессией. Аннагельды развил присущую ему способность к живописному выражению чувств до всеобъемлющей полноты и завораживающей наглядной очевидности.

Как композитору сочиняют музыку, проигрывая ее на «немом» пианино, так и художник вначале рисует картину в собственном воображении. Даже работая на пленэре, он не копирует, а выбирает то, что созвучно его раздумьям, его эмоциональному состоянию. Это особое видение мира, живописная метафора, в которой огромное значение имеет поэтизация образов и любовь к жизни.

В работах, иллюстрирующих сельский быт, живописец достигает пластической раскрепощенности и особой свободы самовыражения, а условность изобразительной манеры, привносящая в живопись настроение наивной сказочности, подчеркивает уникальность того, о чем хочет рассказать автор. Тонкий и добрый юмор, фантастическое смешение различных пластических элементов и колористическая свобода, граничащая с цветовой вакханалией, вводят нас в мир ярких и сакрально чистых образов.

Несмотря на то, что цветовой диапазон каждый раз многообразен, декоративность в работах художника играет вспомогательную роль и выступает в органичном единстве с художественным содержанием и образным строем. Цветовые пятна и фактурность мазков создают объем и пространство, где из минималистического набора предметов строятся неповторимые художественные сюжеты.

Туркмены в своей многовековой истории сумели сохранить чистоту языка, звучание музыки, самобытность народных праздников. За всем этим стоит выразившаяся в своей самодостаточной красоте национальная гордость. Нация, как и человек, имеет плоть, сердце и разум. Ее плоть — национальная культура, ее сердце — язык и музыка, ее разум — сознание и философия народа. Все эти понятия тесно переплетены в творчестве Аннагельды Меретгельдыева.

Если ранние работы были более сдержанными по цветовому звучанию, то нынешние произведения поражают своим живописным многоголосием. То же самое касается композиционных схем, которые разрастаются, множась, как бесконечные узоры в калейдоскопе. Сегодня произведения художника отличаются более смелыми экспериментами, использованием аллегорий и проработкой индивидуального ассоциативного ряда.

Аннагельды Меретгельдыев делает мир ярче и красочнее, зажигает солнечные искры в душах людей. Наступит новый день, и художник, выйдя на улицы родного Мары, как песню ветра, уловит сюжет для своего будущего рассказа, где пером послужит кисть, а словами — краски, передающие настроение цвета жизни, любви, душевной гармонии. Той, которую обретают персонажи его прекрасных картин.

ХУДОЖНИК АННАГЕЛЬДЫ МЕРЕТГЕЛЬДЫЕВ



На базар



Прогулка



На закате



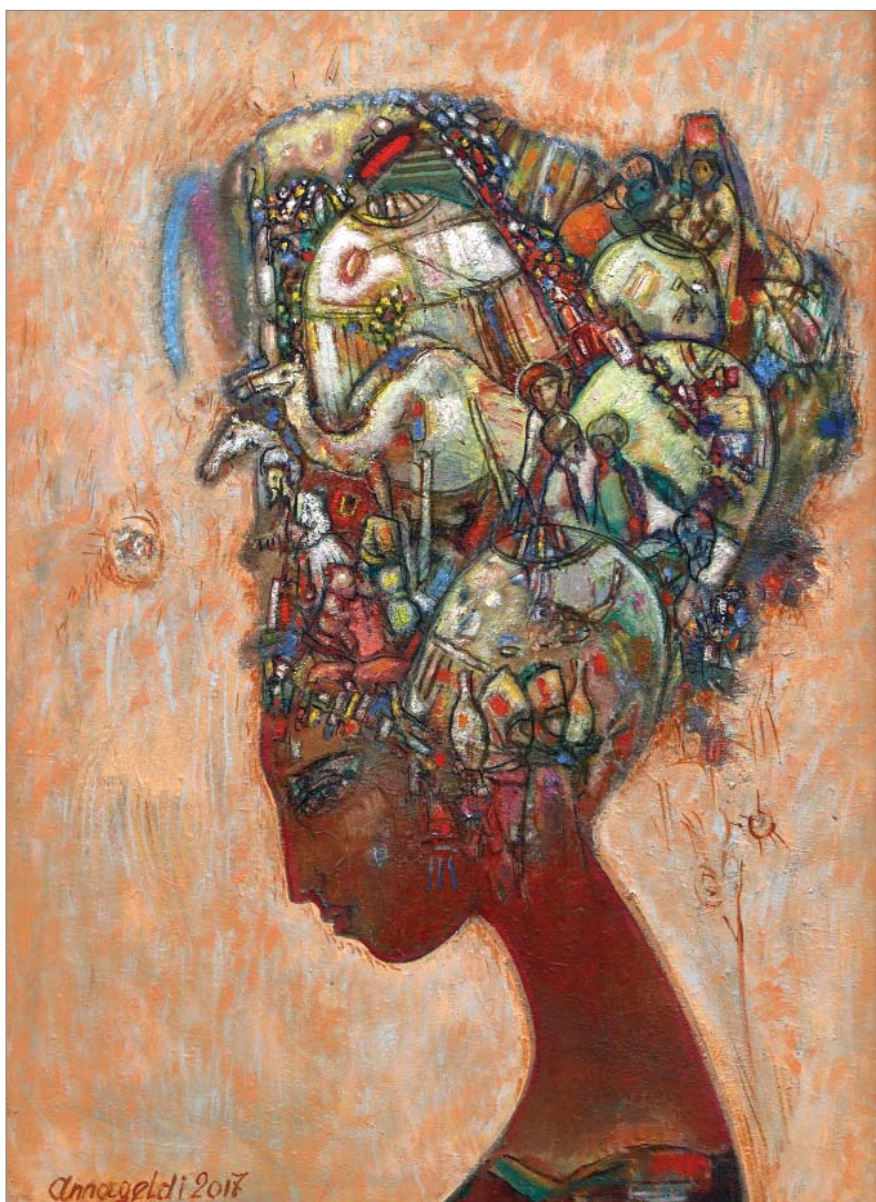
Возвращение



Семья на ослике



Каракумская сказка



Женские заботы



Вечер



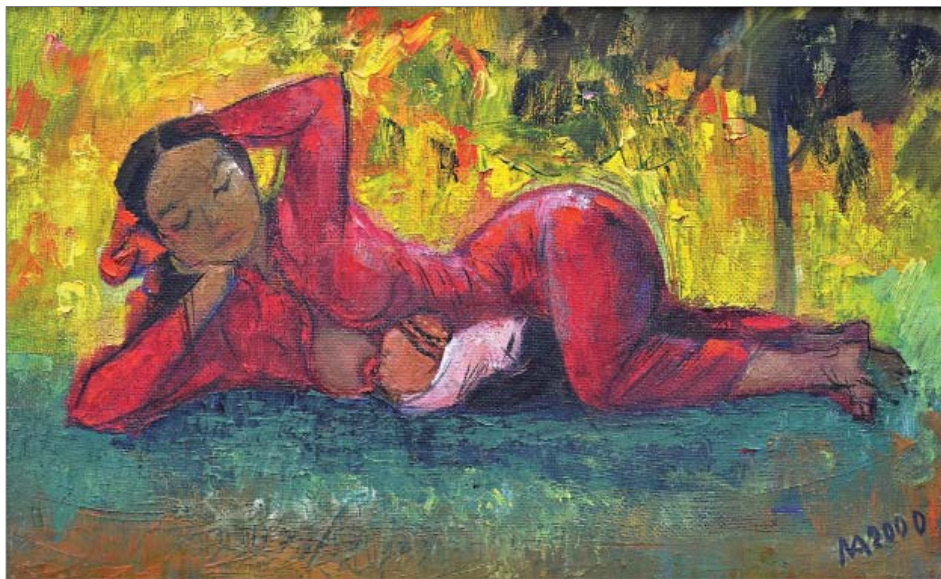
Базарный день



Сельские невесты



Хозяюшки



Полдень



Мой аул

Vladislav Gorodetskij. A Man from Kemerovo

This long short story is a saga about the voyage of a provincial from Kemerovo to the undercover life of Petersburg of the 90-s full of street phantasmagoria: burry miliciamen-werewolves, illusionists, musicians, professional beggars, market vendors, city madmen blabbling Latin... "Things taking place in this city Danila still could accept, could believe with some doubts in this mocking surrealism; but now the last serviceable gears brought from the former life stopped, broke and fell down the abyss of horror".

Vladimir Gendelsman. Out of the Top of the Head. A piece from the novel

It's a group portrait of the generation of the 1970-s and later at the background of Leningrad-Petersburg. Vivid, dense prose of the poet is saturated with philosophical meditations on writers' lives and friendships.

Poetry

Searching and comprehension of oneself, one's place in this life and the life itself is one of the imperishable topics of poetry. The poet is "like the word put in the time's mouth", — says Felix Chechik. "How much of the past", — laments Sergej Paguin. Suffering bitterness of the loss Oleg Khlebnikov "began to have dreams about how he had come to the edge". The debutant of "DN" Anna Dolgareva consoles ingenuously: "Where it hurts apply the plantain".

Alexander Djumayev. From the Epoch of the "Last Times". Fragments of the diary

"These notes were emerging spontaneously... But they reflect the time rather precisely. After all the time itself was then torn into pieces," — so culturologist Alexander Djumaev living in Tashkent introduces the fragments of his diary notes on the "last times" — the times when "the fundamental mainstays of human community, the principles of harmony are collapsing both in the life itself and in the inner world of a person".

Natalya Igrunova, Alexander Chantsev, Olga Balla. The Viral World

"It's too tempting but impossible to live in the past. Moreover it's supertragic — to know what everything will end up with. To live in the future also is unreal: the last two years have shown that the future really isn't there since it still can bring surprises and be unpredictable. That's why it remains for us to live in the actual books on the future..."

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездиковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру** в любом городе страны.

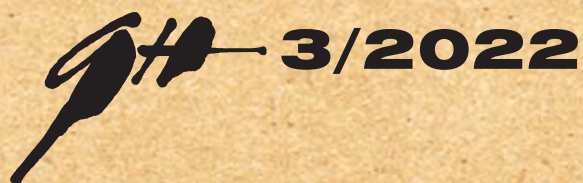
Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Читайте:

Болот Ширибазаров. Роман «Драгоценный»:

«За его компьютером сидел Шумер. Он беззаботно рубился в его любимую «стрелялку». Мама вынула из кармана халата несколько мятых купюр и положила на стол. Алексей оделся и, не попрощавшись, вышел из квартиры.

В душе он, конечно, понимал, что мать просто не желает видеть, как её сын и зять постоянно ссорятся между собой. Но она почему-то сделала выбор в пользу зятя, а не сына. Так Алексей впервые обиделся на маму, испытав к ней свою «фирменную обиду».

«Фирменными» друг детства Алексея Жора называл обиды из-за разреза глаз. Алексей считал себя русским, но никогда таковым себя не ощущал, потому что русской была только его мама. Отец был бурят, и окружающий мир с раннего детства то и дело напоминал ему об этом. И когда кто-то в чём-то отказывал Алексею или делал выбор не в его пользу, он невольно списывал это на разрез глаз.

Он ехал в троллейбусе, обманутый очередным работодателем, и взглядом, усталым от жизни, смотрел в окно на мелькающие мимо улицы Читы, когда услышал разговор двух молодых бурят, сидевших впереди. Один из парней рассказывал, как его знакомый в Бурятии подержал за руку нетленного монаха и вскоре разбогател. Недолго думая, Алексей вышел на первой же остановке, пересел на автобус и доехал до вокзала. Там он купил билет на ближайший поезд до Улан-Удэ...»

